

6.8
ГЕННАДИЙ ФИШ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Детиз-1954



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РСФСР

Москва

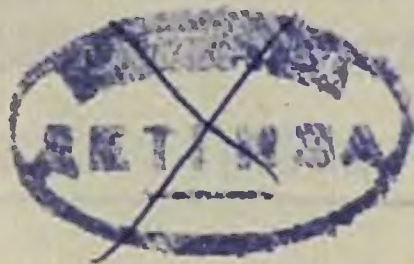
1954

ГЕННАДИЙ ФИШ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



Рисунки П. Кирпичева



47

к

33375

ГЕННАДИЙ ФИШ

Геннадий Семенович Фиш родился в 1903 году в семье инженера-строителя. Детство и юность провел в Ленинграде. В 1925 году окончил отделение языковедения и литературы факультета общественных наук Ленинградского государственного университета и одновременно Институт истории искусств. В эти же годы работал в Ленинграде в «Красной газете» и секретарем редакции детского пионерского журнала «Новый Робинзон».

Литературную деятельность начал как поэт, выпустив несколько книг стихов. Первое крупное произведение Геннадия Фиша — повесть «Падение Кимас-озера» (1932). Затем вышел ряд книг о Карелии в годы гражданской войны и социалистического строительства, о революции в Финляндии: «Мы вернемся, Суоми» (1934), «Третий поезд» (1935), «Ялгуба» (1936), «Клятва» (1937).

В 1939 году вышла книга «Вредная черепашка и теленомус» — об одной из творческих побед мичуринцев на полях Советского Союза.

В 1939—1940 годах Г. С. Фиш принимал участие в войне с белофиннами. В период Великой Отечественной войны был в рядах действующей армии военным корреспондентом — сначала в армейской газете «Во славу Родины», а затем в газете Карельского фронта «В бой за Родину». Был в частях Советской Армии, освобождавшей северную Норвегию от фашистских захватчиков. В 1945 году работал в военной газете и участвовал в освобождении Кореи и Маньчжурии.

В дни войны вышли книги: «Северная повесть», посвященная победе под Тихвином, «На земле Калевалы» — о карельских партизанах, и «Дальний поиск».

После войны Геннадий Фиш написал роман «Каменный бор» — о послевоенной жизни Советской Карелии — и книги о борьбе и победе мичуринской науки: «Советская быль», «Народная академия», «Мы обновляем землю» и др.

В действующей армии, в октябре 1941 года, Г. С. Фиш вступил в КПСС.

Писатель награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, шестью медалями Советского Союза и медалью за освобождение Кореи.

694441 кх ред

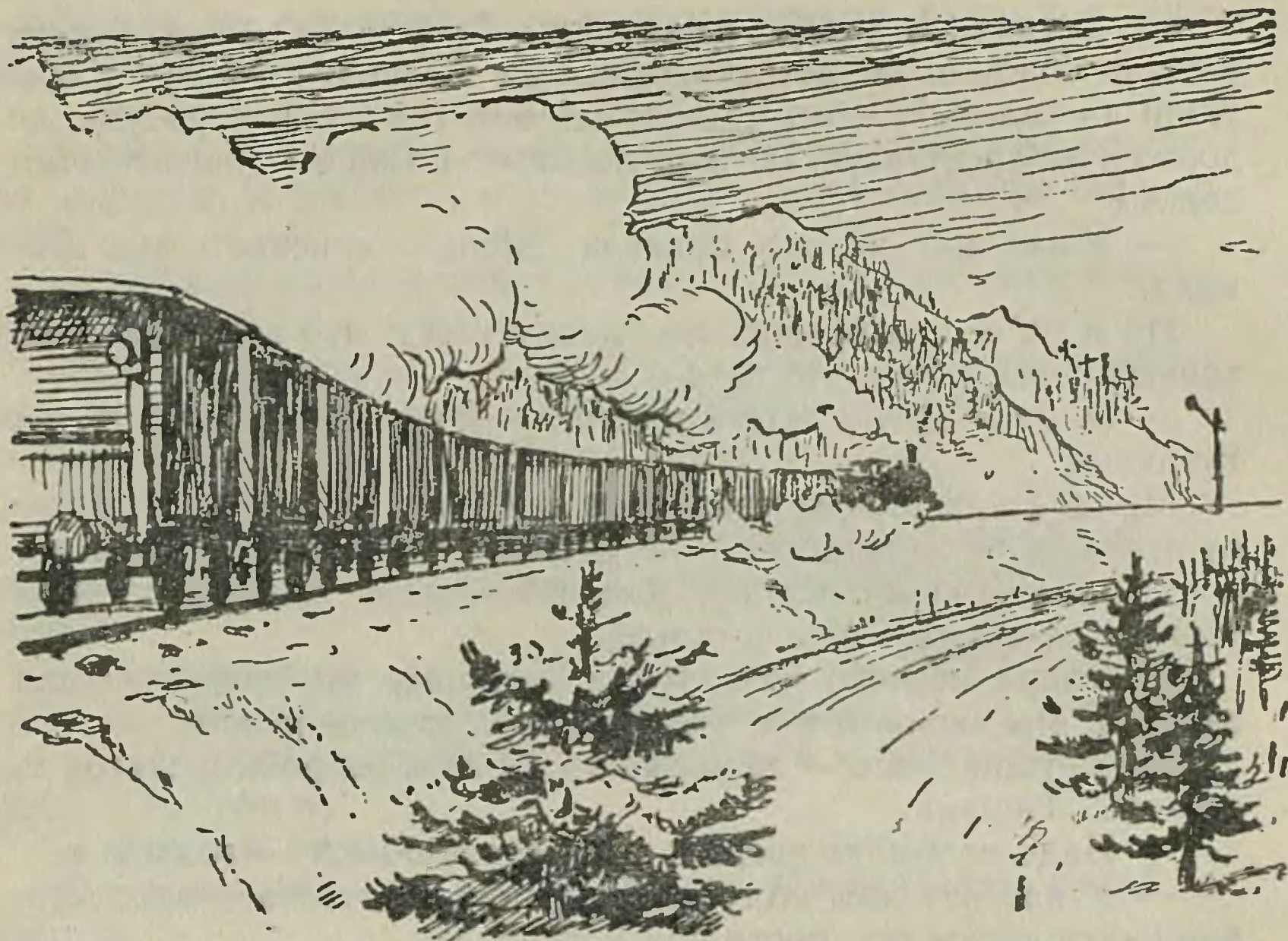
Российская государственная
детская библиотека



ТРЕТИЙ ПОЕЗД

ПОВЕСТЬ





I

Сенаторы бежали на север.

Белые отряды в Вазе атаковали русские казармы.

Красногвардейцы в Хельсинки заняли здание сейма.

Да здравствует революция!

Законники отлично всё предвидели. Перед тем как напасть на нас, они угнали десятки продовольственных поездов на север, а мы остались без муки, без хлеба...

Эх, надо было действовать нам раньше и действовать решительнее. Мы слишком тянули. Главное — начать.

— Да здравствует революция!

Это кричит во всю силу своих легких приятель мой Линола; у него на шапке красная ленточка, красная розетка в петлице и красный треугольный флажок на штыке. И у меня тоже на шапке, и в петлице, и на штыке красные лоскутки. Мы — красногвардейцы вокзального отряда.

— Слушай, — говорю я товарищу Линола, — ведь не все сенаторы бежали, не все старофинские и свинхувудские зубры ушли на север. И здесь где-нибудь они таятся. Кто-нибудь же должен их арестовать. Почему бы нам с тобой не заняться этим делом?

— У нас нет на это приказа, Эйно, — отвечает мне Линола.

Но я по его загоревшимся глазам вижу, что ему чертовски хочется ввязаться в это дело.

— Э, пока будем ждать приказа — они все разбегутся, как тараканы.

Мы достали список сенаторов и депутатов сейма. Вычеркнули фамилии бежавших — не слышать бы о них больше никогда! — узнали адреса тех, кто, по нашему мнению, должен был бы проживать еще в городе.

Квартира первого депутата, к которому мы пришли, была заперта. Мы звонили так, что чуть не оборвали звонок.

Прислушивались — не услышим ли хотя бы робких шагов за стеною... Тишина.

— Надо взломать дверь и произвести обыск, — говорю я.

— У нас нет для этого предписания, — отвечает присоединившийся к нам по дороге красногвардеец.

Я звоню в штаб отряда:

— Что делать?

— Оставить одного часового и ждать дальнейших распоряжений.

И мы, оставив дежурного с винтовкой, пошли дальше.

С Александровской мы пошли на Обсерваторную. Нам сразу же открыла дверь миленькая барышня.

На ее прическе была белая накладка горничной. Когда Линола назвал ее «товарищ», она широко раскрыла глаза.

— Где твой хозяин? — спросил Линола.

— Мой хозяин болен. Он лежит сейчас в лечебнице Кельберга на Фабианской улице, — вспыхнув, ответила она и захлопнула дверь перед нашим носом.

Третьего депутата тоже дома не было, и неизвестно, куда он скрылся.

Дородная его жена суетливо беспокоилась и спрашивала, не известно ли нам, где находится ее муженек, — не убили ли его пьяные матросы?

— Сударыня, — возмущенно сказал ей Линола, — предлагаю вам не распространять буржуазной клеветы на наших товарищей, революционных моряков! Они помогли нам добиться независимости, и они помогут нам расправиться со всей буржуазной шайкой.

Депутатша всплеснула своими короткими руками и еще больше забеспокоилась:

— Что вы, что вы, родные...

Мы не стали слушать ее болтовню. Мы спешили уже по другим адресам. И вот опять в одной сенаторской квартире сказали нам:

— Сенатор очень болен. Он находится на излечении в частной лечебнице.

На той же площадке, к нашему счастью, находилась квартира и другого подозрительного депутата.

Начищенная медная дощечка сияла.

Дверь приоткрылась.

Лиола дернул за ручку, дверная цепочка натянулась до отказа. «Странно, почему всюду встречают нас только женщины?»

— К сожалению, господина нет дома. Он болен. Он находится на излечении в одной частной лечебнице.

— Слишком много больных сенаторов и депутатов в один день, — говорю я.

— Животы от страха свело, — шутит Лиола.

И я вижу, что лицо его позеленело. Он хватается рукой за перила.

— Что с тобой, Лиола? — пугаюсь я за товарища.

Дверь попрежнему полуоткрыта, и из-за нее глядит пара любопытных глаз.

— Сейчас пройдет, — побледневшими губами шепчет Лиола. — Тошнит немного. Понимаешь, второй день хлеба не видел. — И он выпрямляется.

Он старается улыбнуться.

— Да вы бы так и сказали сразу, зачем вам нужен мой муж! — как будто даже обрадовалась женщина и захлопнула дверь.

Мы начали спускаться по лестнице. Вдруг дверь депутатской квартиры снова отворяется. Женщина кричит нам вслед:

— Пойдите, парни, куда вы? Возьмите вот это! — Она протягивает нам два ломтя свежего пшеничного хлеба.

У меня прямо засосало под ложечкой.

«А, вот почему они против максимальных цен, против введения карточек...»

— Возьмите хлеб, — говорит нам женщина.

И тогда Лиола оборачивается и кричит ей:

— Замолчите!

А мне приходит в голову мысль спросить ее, чем же наконец болен ее муж и в какой лечебнице его лечат.

— Почки и печень, — быстро, словно вызубренный урок, отвечает она. — Фабианская улица, лечебница Кельберга... Возьмите хлеб...

Тогда Линола щелкает затвором винтовки, и женщина, воскликнув: «Господи!», — быстро захлопывает дверь.

Я поднимаюсь обратно на только что оставленную нами площадку и стучу в дверь соседней сенаторской квартиры.

— Что ты делаешь? — хочет остановить меня Линола. Он уже совсем оправился. — Мы ведь здесь уже были.

— Да, были. Это ничего не значит, — отвечаю я.

И снова распахивается дверь.

— Извините, мы забыли спросить, чем болен господин сенатор и в какой лечебнице его пользуют.

— Почки и печень. Фабианская улица, частная лечебница Кельберга.

И дверь закрывается.

— Ты понял, — говорю я Линола, — чем болеют правители? Почки и печень.

Мы идем обратно, к первому законнику. Снова открывает нам дверь горничная с наколкой.

— Я уже вам все сказала, — говорит она, увидев нас на площадке. — Чего вам еще надо?

— Мы пришли полюбоваться тобой и разъяснить тебе, деревенщина, закон тридцать первого января¹, — шутит Линола.

И щеки горничной краснеют. Она опускает глаза.

— Извольте сказать, чем болен ваш хозяин? — говорю я официальным голосом.

— Печень и почки.

— Фабианская. Частная лечебница Кельберга, — подхватывает ей в тон Линола.

Девушка смущенно молчит.

— Ну?

— Зачем вы спрашиваете, если уже справлялись в лечебнице, — говорит она и закрывает дверь.

Мы одни на площадке. Линола начинает смеяться.

— Подожди, — говорю я ему, — нам еще хватит времени посмеяться.

И мы снова заходим к толстушке, которая хотела нас разagitировать. Она уже больше не суетится, не беспокоится.

— Мне только что позвонили по телефону, и я знаю, где муж. Он заболел. Был вчера вечером у друзей... Припадок. Его отвезли в частную лечебницу Кельберга на Фабианской улице.

¹ Революционный закон, уничтоживший все прежние, полукрепостнические законы о домашней прислуге.

Знаете, возраст такой... В ваши лета это трудно понять. Вы прислушиваетесь только к самым крайним мнениям. Совсем как мой муж в молодости. Он даже за это пострадал во времена Бобрикова...

Но мы не слушаем ее дальнейших разглагольствований и быстро спускаемся вниз по лестнице на свежий, морозный воздух. Все тело кажется необыкновенно легким, но винтовка тяжела, и очень хочется есть.

— Надо немедленно сообщить штабу о том, что готовится заговор и контрреволюционные вожаки собираются в лечебнице Кельберга. Вот хорошо — мы всех их одним махом и накроем.

Когда мы проходили мимо железнодорожной площади, меня кто-то громко окликнул. Это был начальник отряда Красной гвардии, в котором находились Линола и я.

— Это безобразие, товарищи, вы подрываете дисциплину: уходите из отряда без спросу. Вы должны быть сейчас на вокзале... А тебя, Эйно, я уже два часа ищу по очень важному делу. — И, не дав нам промолвить слово в свое оправдание, начальник спрашивает меня: — Ты говоришь по-русски?

— Как же, — с радостью отвечаю я. — Я с двенадцатого года ездил проводником Хельсинки — Пиетари. Но жандармское управление в пятнадцатом году запретило мне появляться в России за провоз нелегальной литературы, и тогда меня запрятали в Росованиemi, а с шестнадцатого года я здесь, старший рабочий — приемка груза из России по русским накладным.

— Ну вот, значит, я не ошибся. Всё в порядке. Ты получаешь срочное назначение в Россию.

— Товарищ начальник, что же это такое, здесь у нас революция, каждый красногвардеец нужен, а меня отсылают подальше от боев?..

Тогда начальник улыбнулся и сказал:

— Тебе дается очень важное поручение. Отправляйся немедленно в железнодорожное управление, скажи, что тебя направил я.

Я пошел, куда мне было приказано, а Линола заторопился в центральный штаб Красной гвардии: сенаторы должны быть разоблачены.

Раньше в комнатах железнодорожного управления царил мертвый порядок, скрипели перья чиновников, стучали ундервуды, шуршали казенные бумаги. Теперь же люди суетились, переходили из комнаты в комнату быстрыми шагами; столы в некоторых кабинетах были сдвинуты; в одной комнате вповалку, прямо на полу, спали красногвардейцы. В комнате, куда меня послал начальник, было очень оживленно. Люди о чем-то спорили между собой.

Я подошел к столу, за которым, по-моему, должен был сидеть старший, и отрекомендовался.

Старший спросил, понимаю ли я по-русски.

— Понимаю.

— Отлично. Тогда знакомься. Это будет твой комиссар. — И он указал на высокого, крепкого человека, самоуверенного, я бы даже сказал — важного.

Оказалось: он старший кондуктор. А кто из старших кондукторов не выглядит важным человеком? Несколько раз работал я в его поезде. Но тогда я даже подумать не мог о том, что Карвонен — член партии.

— Куда меня назначают? — спросил я.

Товарищ Карвонен спокойно вытащил из кармана пиджака истрепанную буржуазную газетку и сунул мне под нос заметку, обведенную синим карандашом.

В заметке говорилось о том, что година страданий финского народа продолжается, что один субъект, некто Рахья, привез в Хельсинки поезд со спиртом. Другой, брат его, Иван Рахья, доставил транспорт оружия, целый поезд. И в заключение записка иронически выкликала, не найдется ли где третий брат, который доставил бы голодающим финнам поезд с хлебом.

— И он нашелся, третий брат, Яков Рахья, — весело сказал товарищ Карвонен.

Машинист Яков Рахья, посоветовавшись с братьями, предложил послать в Россию товарные составы, маршрутные поезда за хлебом. Русские рабочие нам помогут.

И он сам пошел на первом поезде комиссаром.

Второй поезд отошел уже с неделю, третий уходит сегодня ночью.

Не хватает только начальника охраны поезда — красногвардейца, понимающего по-русски, слесаря для ремонта и кухарки.

Но начальник охраны уже нашелся!

У меня мелькнула мысль о тебе, Тюне, о том, что ты могла бы на нашем поезде готовить обеды для команды, и о питерском друге моем, слесаре петроградского депо Ване Заливине, Иване Фаддеевиче. Фаддеевич — это отчество. То-есть так звали отца Ивана. Очень удобный обычай у русских — отчество. Сразу узнаешь имя и человека и его отца.

— Я добуду недостающих. Слесаря возьмем из петроградского депо. Заливин. Ручаюсь, не откажется. А в кухню — мою невесту.

Карвонен улыбнулся и буркнул в подстриженные усы:

— Невеста... а Мальме предлагает взять с собой его жену. Ну ладно, чья женщина скорее придет, та и поедет.

— Можно в охрану зачислить товарища Линола?

— Я сказал, что уже все укомплектовано, — многозначительно ответил старший.

И в этот момент в комнату вошел человек в форменной фуражке телеграфиста и передал ему телеграмму. Он быстро ее надорвал и просиял:

— Рахья сообщает, что все в порядке, поезд его прошел Екатеринбург.

И тогда замолчавший на несколько минут спорщик снова подал свой голос:

— Все в порядке только до тех пор, пока дело дойдет до хлеба. В прошлом и позапрошлом году уже задерживали хлеб, закупленный на наши кровные деньги, а тогда продовольственное положение там, в России, было куда лучше, чем сейчас. Помню, я закупал отдельными мешками в разных местах муку, загрузил ими баржу на Неве, на Калашниковской набережной, чтобы в Сортавалу отправить, и что же: кто-то донес, и все пошло прахом — в последнюю минуту конфисковали. Так было еще в позапрошлом году, а теперь там голод — мне ребята рассказывали. Дадут они вам хлеб, как бы не так! Не обольщайтесь! — И он скептически усмехнулся.

Спор вспыхнул с новой силой — люди, очевидно, имели много свободного времени, а мне нужно было бежать скорее к тебе и успеть заглянуть домой, чтобы захватить чистую пару белья и чемоданчик.

Медленный снежок падал на тротуар, на мостовую, мельтешил перед глазами.

Было уже почти совсем темно, но фонари почему-то медлили зажигать. И окна высоких домов освещены были меньше, чем всегда.

Ты встретила меня смущенная и радостная.

Я не в силах был ждать, пока мы дойдем до твоей комнаты, и поцеловал тебя в коридоре.

Это, наверно, ты запомнила. Тюне, милая, ты меня поцеловала в ответ! Это запомнил я.

Ты сказала, что сегодня сыта, как раз перед этим вернулась из отряда, а там каши было вдоволь, и еще рассказала, что записалась красной сестрой милосердия и скоро должна уезжать на фронт, поближе к Тампере.

— А я думал, что ты со мной на поезде поедешь в Россию.

— Дезертировать? — строго сказала ты.

— Да нет же. — И я объяснил все, что мне было известно, и руки мои держали крепко твои тонкие пальцы.

Господи, до чего ты была хороша! И разумеется, как всегда, была во всем права. Конечно, тебе на поезд нельзя: ты едешь на фронт. Что ж, на этот раз Мальме повезло больше, чем мне...

Ты была весь этот вечер такая хорошая, что я не знаю, как хватило у меня сил и смелости расстаться с тобой! И, пожалуй, я сделал это преждевременно: мы могли бы пробыть вместе еще десять минут.

— Товарищи! — сказал нам на прощанье народный уполномоченный. — Торопитесь исполнить порученное вам революцией дело. Хлеб революции нужен до зарезу. Без него нам будет трудно победить. Возвращайтесь скорее, и еще раз повторяю — скорее!..

Когда скрылись последние семафоры, я огляделся и постлал себе постель. Другие уже спали или лежали молча.

II

Всегда, когда схлынут первые секунды волнения при отправке поезда, в голову приходят мысли о последнем дне оседлой жизни и о том, что слышал и видел в день отъезда.

Ну, разумеется, были мысли о том, что надо доставить нашим хлеб возможно скорее, чего бы это ни стоило. Я думаю, что это сделать будет не так трудно. Тем более, что денег комиссару дано предостаточно. Думалось и о тебе, конечно...

Сейчас уже ночь. Вторая. Только я вышел на большой, совсем неосвещенной станции Званка из своего вагона, чтобы отправить тебе телеграмму, как пришлось комиссару вызволять меня из беды.

Я написал: «Дорогая любимая Тюне помню тебя и люблю твой навсегда Эйно» — и подошел с этой запиской к телеграфному окошечку.

Окошечко распахнулось, и телеграфный чиновник осторожно взял к себе мою бумажку, затем, окинув ее быстрым взглядом, даже не прочитав, вышвырнул обратно:

— Нужна печать. Без печати не берем.

— Помилуйте, да ведь это частная телеграмма!

— Частная? — И лицо его проникается сочувствием ко мне. — У нас установлена очередь: сначала идут телеграммы железнодорожные, потом военные, затем... — он поднял угрожающе палец, — правительственные, то-есть советские, за ними — партийные, за партийными — других организаций и учреждений только при наличии печати, и уже после всех этих мы отсылаем частные депеши. Только смею вас уверить, что мы не успеваем даже правительственные... Вот. — И он захлопнул окошечко перед самым носом.

Я снова постучал в окошечко и так вежливо, как только мог, попросил телеграфиста:

— Пожалуйста, очень вас прошу, примите эту телеграмму. Будьте добры, если до нее очередь не дойдет сегодня, в крайнем случае отправите ее завтра. Это очень важно для меня, товарищ...

— Какой я вам товарищ, гражданин! — сухо сказал он и отвернулся. — Я думал, что вы интеллигентный человек, и все разъяснял, а вы — «товарищ»!

— Но поймите, это важно.

Он взял записку и медленно прочитал. И затем рассмеялся:

— Любовная телеграмма, в наши дни!

Но вдруг он оборвал смех, сразу стал необычайно серьезным и, приблизив бумажку к лампочке, снова прочел мою записку. Потом поманил меня пальцем и, наклонившись к самому моему уху, жарко зашептал:

— Телеграмма-то, значит, шифрованная! Понимаю: частная... Говорите — важная. Ладно, ладно, отправим вне очереди. Только уж и вы в случае чего... — и он подмигнул мне, как сообщнику, — только уж и вы в случае чего не забудьте обо мне.

— Да нет же, ручаюсь вам, что дело чистое.

Услышав это, телеграфист забеспокоился пуще прежнего. И, высунувшись из окошка, громко позвал дежурного красногвардейца-железнодорожника, гулко шагавшего с винтовкой через плечо по темному залу станции.

— Вот арестуйте этого субъекта, он подает мне шифрованную телеграмму и утверждает, что дело серьезно. Должно быть, какой-то важный контрреволюционер, казачий офицер... — затараторил он красногвардейцу.

Тот взял меня за плечо:

— Пойдемте, гражданин, в штаб.

— Да ручаюсь вам...

— Там разберут. Нынче время ответственное и подозрительных людей немало, идемте...

— Вот вам улика. — И телеграфист сунул красногвардейцу записку.

Тот прочитал ее и окончательно уверился в моей вине.

— Таких телеграмм нынче не посылают, — сказал он и снова тронул меня за плечо.

Все мои слова и объяснения были напрасны. Я услышал гудок нашего паровоза. Поезд собирался уже уходить. Неужели я так глупо застряну на этой грязной станции?..

Но в последнюю минуту меня увидел комиссар. Он предъявил свои документы красногвардейцу и быстро уладил дело.

Переводчиком пришлось быть мне, потому что, когда комиссар начинает быстро разговаривать по-русски, он вставляет в русскую речь шведские слова...

Для него они тоже иностранные, не родные. Когда он быстро говорит по-шведски, он в свою речь вставляет уйму русских слов. И при этом думает, что говорит отлично и всякий обязан его понимать.

— Видишь ли, Эйно, — сказал мне комиссар, когда мы уже сидели в теплом и уютном купе мягкого вагона, — здесь революция, а для революции, наверно, всякая любовная телеграмма — шифр.

— Но телеграфист просто дурак!

— Дурак в революции — вещь опасная! — приподнял в улыбке свои седоватые подстриженные усы комиссар. — Однако и ты, Эйно, был не очень умен... Ну, не обижайся, закурим, что ли... — И он стал набивать вкусным табаком свою трубку.

И вот телеграмма моя не догонит тебя, милая Тюне, ни в Хельсинки, ни в отряде, куда ты сейчас, наверно, уже выехала. А я обещал тебе все время давать о себе весточку. Буду писать для тебя, дорогая, о нашем поезде, о товарищах, которые посланы вместе со мной добывать хлеб, и о том, что с нами случилось в пути... И когда мы доставим хлеб в Хельсинки, чтобы накормить голодающих — не так, как Христос пятью хлебами, а сорока вагонами: перед нами идут уже два поезда, и в каждом тоже по сорок вагонов, и после нас пойдут другие поезда, — я крепко-крепко поцелую тебя, как позавчера, и протяну тебе эту тетрадку. И когда ты будешь читать ее, тебе станет ясно, как я тебя люблю, как много думал и мечтал о тебе в этой неожиданной поездке.

Записываю эти слова, а колеса стучат на стыках, дым пролетает хлопьями мимо окна.

Почерк мой неразборчив, потому что поезд трясет. Товарищи мои засыпают, некоторые уже храпят.

Вот каков наш поезд: впереди, как водится, паровоз № 607 К. З.

На здешних станциях машинисты сбегаются, чтобы посмотреть на него, такой он необычный: медная отделка блестит, труба у него пошире, чем у русских, фонари другие — и спереди предохранители, решетка построена углом. Тебе это не так уж интересно, а русским машинистам любопытно.

Багажный вагон обшит жестью. Там у нас сложены инструменты: ломы, лопаты, ключи, отвертки, обтирочное тряпье.

Вагон проходной, и сразу за ним такой же багажный, но мы

его превратили в кухню. Здесь хранится наш общий продуктовый паек. На каждого понемногу, а вместе получается внушительно. Людей на поезде — поездная бригада и паровозная — тридцать человек.

Мы должны идти безостановочно. И все время со своим паровозом — расчет на четыре смены. Да еще нас, охраны, десять человек. Видишь, какая большая компания. Так что поварихе нашей, Мальме, будет нелегко накормить нас, хотя ей и дан в помощь уборщик. Ей уже за тридцать — на целых десять лет старше тебя. Но, пожалуй, тебе бы так не управиться с этой работой. Она служила раньше в ресторане Брунспарка.

Потом идет спальный мягкий вагон второго класса. Здесь помещается поездная бригада. В отдельных мягких купе — койки с чистым бельем. Это последний проходной вагон. Из него можно пройти на паровоз, но назад, к хвосту, уже нельзя. За ним идут сорок двухосных товарных вагонов, и в самом последнем, в помещении, обычно приспособленном для кондукторских бригад, находится мое красногвардейское отделение — охрана поезда.

У нас хуже помещение, чем у поездной бригады, но если бригаде надо все время работать, то нам, наверно, больше придется отдыхать.

В задней части вагона устроено возвышение, и, взобравшись туда, можно увидеть весь наш длинный состав — крыши всех вагонов — до самого паровоза.

Да, у ребят в пути, наверно, будет много свободного времени, и можно будет заняться политической работой. У меня с собой «Коммунистический манифест» и программа партии.

Выехали мы из Хельсинки вечером. Утром пришел наш поезд в Петроград, и комиссар мне говорит:

— Обещал добыть слесаря. Добывай!

Я сразу отправился за Ваней Заливиным. Застал в депо. Объяснил, в чем дело. Он вымыл керосином руки и сказал:

— Еду, значит, хлеб революционным финнам добывать — есть такое дело! Никто здесь обо мне плакать не будет. Нет таких людей.

Так Иван Заливин попал на наш поезд.

Пока мы разговаривали с комиссаром, пришла из кухни рассерженная Мальме:

— Как я буду кормить такую ораву, когда у меня почти нет посуды? Придется в пять очередей.

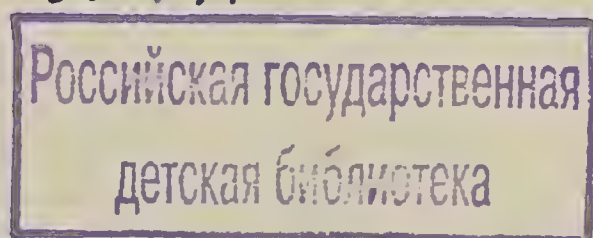
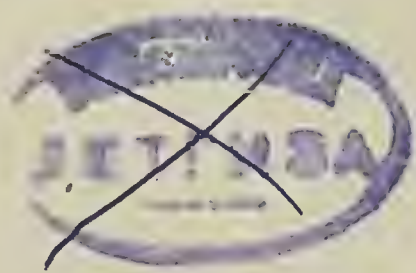
Тут Заливин ударяет себя ладонью по лбу:

— Сколько еще простои́м, товарищ комиссар?

— Часа четыре, не больше.

— Идем, — говорит он мне.

33345



И мы выходим на перрон.

— Куда мы? — спрашиваю я.

— Молчи, не твое дело.

И мы подходим к высокому дому. Он указывает на вывеску: «Гостиница «Меркурий» — ресторан до трех ночи...»

И мы входим в эту гостиницу, проходим через пустой ресторан.

— Рано еще, товарищи, да и позже тоже ничего не будет, — пытается остановить нас старый официант.

Но Ваня вежливо отстраняет его, и мы входим в буфетную. За зеркальными толстыми стеклами свежевывмытые тарелки, металлические подносы, огромные блюда, соусники, расписные чайники, кофейники, перечницы и горчицницы.

— Открывай буфет! — командует буфетчику Заливин.

— Рано еще, — пренебрежительно отвечает тот, но, увидев, что Ваня вытаскивает из кармана револьвер, изменяет свой тон и уже предупредительно: — Да все равно здесь никакой еды вы, товарищи, не найдете. Одна только посуда.

— Вот ее-то нам и надо, — спокойно отвечает Ваня.

И мы берем тарелки, блюда, кастрюльки, ложки, ножи, вилки.

— Дай корзину! — командует Ваня.

Буфетчик, перепуганный, достает откуда-то большую корзину.

— Вы дадите расписку о том, сколько чего захватили? — спрашивает он. — Посуда-то не моя... Акционерного общества.

— Дадим, — цедит сквозь зубы Ваня.

И мы наполняем корзину посудой.

Заливин одной рукой укладывает тарелки, в другой руке у него браунинг.

Все уложено. Корзина тяжела. Ее трудно поднять. Буфетчик уже успел приготовить нам расписку — остается только подпись. Ваня подмахивает ее, даже не взглянув, даже не пересчитав посуды...

Радость нашей поварихи была неопиcуема.

— Как ты это дельце обделал, Эйно? — с любопытством спросила она.

— Да это не я, Мальме, а Ваня Заливин, прошу любить и жаловать!

Мальме признательно взглянула на моего приятеля. И он мне подмигнул — идем! Мы быстро добрались до Невского проспекта.

Опять Ваня не сказал мне, что он затевает. Однако было ясно, что минуты у нас считанные. Но торопиться было трудно:

лед с тротуаров не был сколот, огромные сугробы высились у тротуаров.

Ваня всю дорогу, не переставая, болтал:

— Странные вы, финны. Как в такое, самое холодное время без зимнего пальто живете? Правда, у вас никто шуб не носит?

— Почти никто.

— Хладнокровный народец, — продолжал он.

А надо сказать, что на его плечах было истрепанное демисезонное пальтецо и мерз он сам отчаянно.

Иногда он останавливался, чтобы подышать на руки.

Я не узнавал Петрограда. Совсем другой облик. На Невском неубранные сугробы. Этого раньше не было. Но зато сколько народа на центральных улицах в картузах, в кепках, в ушанках и почти ни одной шляпы, ни одного бобра... Всё рабочая публика... Иные с винтовками за плечами. И как держатся! Не так, как раньше: сторонкой и потише, — нет, идут, не озираясь, громко разговаривают, весело смеются — осанка не та. И даже чужому человеку заметно — ведут себя как хозяева. Словно воздух другим стал.

Скользя, падая, поддерживая друг друга, мы дошли до Морской. И Ваня затащил меня с собой в книжный магазин.

Он купил толстую книгу, расплатился за нее деньгами, похожими на почтовые марки, и мы снова вышли на улицу.

— Куда?

— Обратно, на поезд, дело сделано, книга куплена.

— Мечтаешь в дороге читать?

— Нет, эта книга не для чтения. Это указатель железных дорог Российской империи: все расписания, карта и прочая штукovina.

— У вас расписания действуют?

— Не знаю. Но есть все станции и расстояния между ними, и указаны все станционные буфеты. Мы еще подзаправимся в дороге!

Пришли к поезду мы во-время. Паровоз уже развел пары, и машинист выглядывал из оконца. Жезл был вручен, и поезд наш отправился. По соединительной Кушелевской ветке мы должны были перекочевать на русские дороги.

— Наши националисты хотели строить дороги другой колени, чем русские, — сказал нам комиссар. — Они боялись умалить свою независимость. Как хорошо, что в борьбе за узкую колею националисты были разбиты и мы теперь можем прямо с наших финских дорог перевести транспорт на русские! Наше железнодорожное начальство вздумало тогда перехитрить русских. Положили более легкие рельсы и установили такие габариты, что русские тяжелые вагоны не всюду могут пройти. Их товар-

ные вагоны загружаются только наполовину, наши ведь куда мельче. Эх, куда больше хлеба могли бы мы доставить в Суоми в большегрузных вагонах!

Колеса застучали по мосту.

Перед нами расстился в сумерках Петроград. В окнах домов зажигались лампы. Церковь Бориса и Глеба и Александроневская лавра поднимали к темному небу свои кресты.

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья... —

затянул Ваня Заливин и осекся.

Вот видны кирпичные амбары мировых лабазников.

Мы все, кто не работал, столпились в узком коридоре.

— Прощай, Калашниковская набережная!

Еще прощай, моя родная,
С которой три года гулял.

— Что он поет жалобное? — спросила наша стряпуха Мальме свсего мужа.

Но ответа не получила. Муж уже забрался на верхнюю полку в своем купе и мирно почивал.

— Эх, любят нас все-таки девушки, — снова прервал свою песенку Ваня и подмигнул Мальме.

Она смутилась. А я вспомнил о тебе, моя Тюне.

По набережной шла похоронная процессия: гроб был обит красной материей, за колесницей шло много народу, несли красные знамена...

— Рабочего хоронят, наверно от ран скончался, под Гатчиной был... Мы красногвардейцев нашего района со всеми почестями хоронили.

И Ваня снял шапку.

Мы сделали то же самое...

— Вот мы мост и проехали, — сказал комиссар. — Сколько из-за него споров и драк было. Англия и Швеция очень хотели, чтобы его строили. Швеция даже собиралась большие паромы к Турку пустить и дорогу построить в 1,625 метра шириной, как в России, вместо своих 1,067, чтобы вагоны без перегрузки могли идти Владивосток — Стокгольм, Ташкент — Стокгольм. Огромный транзит. Пассажирское движение в Англию и Америку из России тоже пошло бы через Швецию — Норвегию. От Петербурга до Лондона на целых двенадцать часов этот путь короче, чем обычный — через Германию. Ну, ясно: немцы изо всех сил этому противились. Им невыгодно было. Да и войну

предвидели. Взятки давали, чтобы проект моста провалить. В шведском риксдаге из-за этого моста особые запросы министрам делали. Наши свинхувудовцы изо всех сил против этого моста боролись, государственные средства не хотели отпускать. Русским царем пугали, а оказывается, в России, кроме царя, еще и рабочие есть.

— Вот тебе и на! — с удивлением произнес Ваня, когда я ему перевел слова комиссара. — Совсем, кажется, простой, обыкновеннейший на вид мост, и столько из-за него разговора, суеты было.

Навстречу прошел русский товарный поезд. Ты знаешь, в России все товарные вагоны покрашены в красный цвет.

Правда, странно? Вначале я думал, что это в честь революции некоторые поезда покрашены, но Ваня Заливин, когда я ему это сказал, прыснул. Оказывается, это для них вполне обычно, а наши вагоны им кажутся странными. Дежурные на станциях изумляются: какой необычный состав прибыл. Мальчишки бегают по платформам и, показывая пальцами на нас, выкрикивают:

— Черный поезд, черный поезд...

— Сколько покойников везут, — сказал на станции Рыбацкое красногвардеец-железнодорожник другому, — сплошь траурные вагоны.

Я сам видел, как один мужик, ехавший на дровнях по дороге вдоль полотна, остановил свою лошаденку, скинул шапку и стал быстро, мелко креститься.

Семафор открыт, и мы на всем ходу подъезжаем к станции и только у самой платформы замедляем ход. Остановка. Дежурный, в фуражке с красным верхом, бегают около поезда и ругаются вовсю:

— Да как вы смеете, да как вы можете — мы принимали вас как товарный поезд, а вы на всем ходу подскочили к станции!

— У нас душа в пятки ушла, когда увидели, что вы таким ходом идете! — басит начальник станции. — Думали, что вы мимо проедете, а там состав с пути еще не убран. В чем дело?

— Да у нас воздушный тормоз Вестингауза, — отвечает комиссар.

— Все равно. Я жаловаться буду на вас, — уже спокойно и совсем равнодушно говорит начальник.

Потом начальник станции увидел, что у нас на заднем вагоне нет бокового огня.

— Это не по правилам! — злобно сказал он. — Я не выпускаю вас со станции.

— Товарищ начальник, — убеждал его Карвонен, — это русским поездам нужен боковой фонарь на заднем вагоне, чтобы машинист видел, что хвост поезда не оторвался. А у нас Вестингауз — нам это не надо: мы автоматические.

— Наплевать! — отвечал начальник. — Мне порядок важен, служба важна.

Тут комиссар вытащил все бумаги, документы о срочности нашего дела.

Но тот уперся — и ни тпру ни ну.

— Поставлю вас на запасный, пока не привезете мне разрешение ездить без заднего бокового огня.

— Мы за хлебом для революции едем! — крикнул высунувшийся вперед Ваня Заливин.

— А мне все равно, — равнодушно, уверенный в своей правоте, пробасил начальник, — хоть для двух революций. Мне служба важна, инструкция.

Я было схватился за свой револьвер, но потом сообразил, в чем дело, и бегом помчался к первому вагону. Вместе с помощником машиниста разыскали мы фонарь и также бегом отправились к заднему вагону. Прикрепили фонарь, зажгли и обратно.

Таймио, размахивая руками, говорит комиссару, чтобы тот попросил чиновника на перрон. Вышли все гурьбой из помещения. И видно всем, что на хвостовом вагоне сбоку фонарь светится.

— Давно бы так, — говорит начальник станции и потом, чтобы поднять свой авторитет, добавил строго: — Я бы мог вас все равно не выпустить — у вас на паровозе вместо трех глаз два. Смотрите поставьте третий.

И все-таки этот служащий задержал нас на три лишних часа! График сорвался. И мы пропустили вперед два поезда.

— Это вам не иллюминация, а сигнализация! — настаивательно пробасил на прощанье этот гад.

— Надо бы на него в Чека пожаловаться, — сказал Ваня. Передумав, махнул рукой: — Да нет, он по правилам издевался. Тоже, железнодорожник!

Перед сном я рассказал Ване, как мы с Лиола обнаружили сенаторов.

— Вот это одобряю. В прошлом году, когда революция началась, освободили мы из «Крестов» заключенных. Я сам с витрины магазина шляпы и цилиндры доставал, чтобы им было что на голову надеть вместо арестантских колпаков. У нас в районе был жандармский полковник Тюфяев, невообразимая сволочь. Сколько людей из-за него погибло! Скольких ни за что сгноил! Перед ним стой тише воды, ниже травы — иначе изни-

чтожит. И что же, схватили мы его, голубчика, и повели в Государственную думу. Ведем. Он идет прямо, твердо ногу держит. Но все же побледнел... А сзади мальчишки ему на шпоры так и норовят наступить. А иные даже и наступят. Он оглянется. Посмотрит. И ни словца не проронил, пока доставляли. Мальчишки! Даже воробьи его теперь не боятся... А это насчет сенаторов ваших ты ловко придумал. К ногтю их.

На полустанке я перешел в свой вагон. Сейчас глубокая ночь, и ты, наверно, спишь.

III

Я выскочил из вагона и побежал к голове состава.

— Почему остановился поезд, когда семафор открыт?

Было совсем темно и морозно, снег хрустел под ногами.

Комиссар тоже подошел к паровозу:

— Что случилось, Айрола?

Айрола ругался:

— Удивительная страна! Играет стрелочник на рожке, а можно подумать, что пастух собирает стадо. И что эта деревенская музыка значит — не понять!

Он был прав: на наших дорогах никаких музыкальных инструментов не применяют, — днем зеленый и красный флажок, ночью зеленый и красный огонь.

— Но семафор-то открыт!

— «Открыт, открыт»! — словно передразнивая комиссара, повторил Айрола. — Но вы посмотрите, что там сигнальщик-стрелочник вытворяет.

Стрелочник быстро вращал свой фонарь. Зеленый, белый, красный огни его сливались вместе, и не разобрать было, какой именно цвет предназначен для нас. Но вот он остановился.

Белое стекло приветливо мерцало нашему паровозу.

— Надо идти вперед к стрелочнику и узнать, что он хочет сказать своим фонарем, — сказал комиссар.

И мы отправились вперед.

Около будки стрелочника нас встретили неожиданной бранью:

— Какого чорта вы остановили поезд?

Ругался на этот раз не железнодорожник, а человек в форме военного моряка, в бескозырке, с шерстяными наушниками.

— Мы не понимаем таких сигналов. Мы из Финляндии, — сказал комиссар. — Что это значит?

— Белый означает — путь открыт, — сказал выступивший из темноты человек. — Разве вы этого не знаете?

— У нас зеленый... А вы кто будете? — обращается Карвонен к моряку.

И тут я заметил, что у того за плечами на ремне винтовка, а у пояса две гранаты.

— Проходи по своему делу, потом узнаешь!

— Что за разговоры?

— Помалкивай! — И рука матроса ползет к револьверу.

Я тоже нащупываю в кармане револьвер.

— Значит, можно идти? — спрашивает комиссар.

— Путь открыт, — говорит уклончиво человек в штатском.

У него тоже за плечами винтовка и у пояса две гранаты.

«Здесь что-то неладно», — думаю и хочу дать знать об этом комиссару. Но он уже идет к поезду рядом с матросом.

Я двинулся вслед за ним. В ногу со мной идет вооруженный штатский.

«Поезд наш должен пройти своим путем. Хлеб мы должны доставить Суоми», — думаю я, торопясь догнать комиссара. Но штатский осторожно трогает меня за рукав:

— Товарищ, по чьей путевке идет поезд?

— Идем за хлебом для революции — путевка Ленина.

Он выслушивает мой ответ и начинает жарко шептать:

— Товарищ, здесь готовится предательство! На станции стоит эшелон. Вооружены... Паровоз у них испорчен. Они ждут поезда, чтобы отнять паровоз.

— Наш паровоз не сменный, он приписан к поезду и идет из самой Финляндии.

— Да им наплевать на это. Это анархисты. Много они понимают в железнодорожном деле! Они вооружены до зубов. Они разгромили на нашей станции два пакгауза.

— Сколько их?

— Не меньше шестисот, наверно больше. За свои слова ручаюсь. Я начальник здешнего железнодорожного отряда Красной гвардии.

— Что можно сделать? Сколько у тебя людей?

— Двадцать и два пулемета. В трех верстах есть спичечная фабрика. Я послал уже туда одного парнишку за рабочей подмогой. Но сам знаешь, ночь... холодно...

Паровоз загудел и медленно повел состав к станции. Мы с товарищем красногвардейцем на ходу вскочили в вагон. От поручней холодит руки, холодный ветер обжигает лицо, а в голове одно — надо во что бы то ни стало обеспечить безопасность нашего поезда, во что бы то ни стало нужно доставить хлеб.

Мелькают огоньки семафоров и стрелок... Поблескивают темные окна придорожных сонных домиков. Толпятся на запасных путях теплушки и пустые холодные классные вагоны.

Несколько больных паровозов в стороне побелели от инея. Один из них в темноте кажется великаном. И правда, по русским дорогам ходят тяжеленные паровозы. В сравнении с ними даже наши К. З. кажутся небольшими. Поезд подкатывает к платформе.

Свет из окон станционного здания и нашего классного вагона вырывает из тьмы несколько групп вооруженных людей.

Высокие, широкоплечие парни. Анархисты. Среди них несколько матросов. У каждого на поясе ручные гранаты; за плечами на ремнях винтовки, карабины. Робко жмутся к стенкам станции забежавшие на шум поезда одинокие пассажиры. А вот уже на снегу — платформа кончилась — стоят люди в полушубках, овчинах, валенках. Тоже с ружьями.

— Это наши, — говорит мне спутник. — Я буду здесь. Надо действовать...

Он спрыгивает со ступенек. Я прыгаю за ним.

— Ну, как же? — спрашивают красногвардейцы.

— Я посоветуюсь со своим комиссаром.

— Мы будем ждать здесь. А вот и их эшелон.

На запасном пути вдоль привокзального, занесенного снегом сада вытянулся эшелон. В темноте красные теплушки кажутся такими же темными, как и наши. Порою широкие двери вагонов с визгом и грохотом открываются и, выпустив людей, с таким же визгом быстро закрываются. На перроне к нашему комиссару подбегают анархисты и, угрожая револьверами и гранатами, о чем-то начинают спорить. Поездная бригада почти вся проснулась; ребята выходят с заспанными лицами на платформу.

«Надо приготовить охрану», — думаю я и быстрым шагом, миновав комиссара и окружившую его группу матросов, бегу к последнему вагону поднимать своих... А чорт меня возьми, если я знаю, как мне надо действовать! Одно ясно, что поезд наш должен проскочить эту станцию. Когда я быстро иду, я быстро и думаю, но сейчас мысли толпятся в полном беспорядке. Из группы, окружившей комиссара, доносятся выкрики:

— Вы, наверно, коньяк везете и спирт!

— Прощупать хорошенько вас надо!

Тихие и спокойные ответы комиссара не долетают до меня. Кто-то трогает меня за рукав. Это Ваня.

— О чем тревога?

На ходу объясняю, в чем дело.

— Це дило треба разжувати, — отвечает он против обыкновения встревоженно и быстро идет за мной.

Я поднимаю своих красногвардейцев. Нет времени объяснять, в чем дело. Объявляю только, что положение серьезное.

Дисциплина и решительность. Трусов будем судить дома. Молчат. Один сказал насчет того, что жизнь ему дороже всякого хлеба. Но другие на него цыкнули, и он замолчал. Вывел я свою дружину не на платформу, а с другой стороны поезда. Выкатили пулемет. И смотрим — к классному вагону, на ступеньки, прицепились уже несколько вооруженных анархистов. Несколько парней пробуют своими штыками скосырнуть пломбы на наших вагонах. Ближние, увидев нас и наш пулемет, оставили это дело. Тут Ваня бьет меня по плечу и говорит, что надо сделать, чтобы из этой ледяной воды выйти без воспаления легких. Ваня прав. Оставляю своих людей, назначаю себе заместителя, и мы с Ваней спешим к платформе. Около комиссара — огромная толпа. Его совсем не видно за широкими матросскими спинами.

— Да что с ним долго рассуждать! Списать в штаб Духовнича, вот и все!

— Разве не видите? Вильгельмовский шпион!

Да, усы сейчас совсем не к лицу комиссару.

И я слышу его взволнованный голос:

— Товарищи анархисты, не могу вам дать паровоз, приписанный к моему поезду, я за него отвечаю перед советской властью...

Его перебивают голоса:

— Нужна нам твоя власть!

— Мы и без твоего разрешения возьмем!

Они срывают с комиссара поясной ремень с кобурой, толкают его в спину, тащат куда-то за собой. Паровоз дает толчок — поезд вздрагивает.

— Не пускай поезд! — раздаются крики.

Кое-кто из этих парней вскакивает на паровоз. И тогда, вырвав у какого-то перепуганного пассажира сундучок, Ваня Заливин, слесарь петроградского депо Финляндской железной дороги, вскакивает на этот сундучок и громко кричит:

— Товарищи, братва, об чем речь? Паровоз мы вам дадим! Нам не к спеху. Если на то пошло, мы и постоять сможем. Мы ведь тоже анархисты.

— Брось заливать, говори дело!

— Кто это выискался!..

— Я с этого поезда... работник. А ежели б не анархисты были, к чему нам черные теплушки?.. Взгляните на них, уважаемая братва! Паровоз мы вам даем немедленно, только вы его не расшибите и со следующей узловой обратно нам пришлите. Товарищи мы вам или нет?..

— Раз так — значит, друзья!

— Как это понимать надо?

— Мы сами спасаемся, — продолжал «лепить горбатого» Ваня. — За нами, анархистами, вдогонку два поезда с большевистской гвардией шпарят... Вагоны у нас, к сожалению, пустые, а то с вами добром поделились бы. И если у вас что в вагонах есть, может с нами поделитесь: нам оружие особенно нужно.

— Держи карман шире!

— Не надейся, дед, на чужой обед!

Анархисты хитро улыбались. Некоторые захохотали.

— А старичка нашего отпустите. Мы сами с ним по душам поговорим... А ну, отцепляй паровоз!

Последних слов Заливина я уже не слышал, так как шел к начальнику здешней Красной гвардии. Нашел я его там, где оставил. Мы сговорились быстро. Он понял меня с полуслова:

— По первому моему свистку навести пулемет на эшелон. Я возьму с собой кого надо. Дело будет жаркое!

Мы вошли к дежурному по станции. В диспетчерской было натоплено до духоты.

— Сволочи! — сказал равнодушно диспетчер и положил трубку на стол. — Пищик не работает. Перерезали провода!

— Давай нашего стрелочника и сцепщика, — сказал ему начальник отряда. — Нам надо загнать их на дальний запасный путь и забить оттуда все выходы порожняком.

— А как дальше?

— Утром придет помощь фабричная.

— Все возможно, — усмехнулся диспетчер, — но помощи, по-моему, ждать не приходится. А одному тебе не вывернуться.

— Делай, как я говорю, другого выхода нет. Станция должна быть большевистской, советской, — отвечает начальник.

А я мысленно добавляю: «А поезд должен вернуться с хлебом в Хельсинки».

Едва дежурный успел выполнить все, что просил у него начальник, как в помещение ввалилась группа матросов.

— Отправляем поезд!

— Паровоз добыли? — равнодушно спросил дежурный.

— Есть паровоз. Мы чего захотим — того и добьемся! — хвастливо заявил один из анархистов, усиленно оттирая перчаткой побелевшие уши.

— Чего же вы хотите? — так же равнодушно спросил дежурный.

— Анархии, — гордо сказал хвастун.

— По домам... — как-то робко вставил другой и уже увереннее повторил: — По домам, скоро ведь и посев у нас в Вятской.

— Мы пермские, — отозвался другой.

— Так, так, — сказал в пустоту дежурный и стал вызывать нужных ему для отправки эшелона людей.

Мы вышли на перрон.

Кто-то из наших отцепляет паровоз.

На паровозе уже матрос с наганом в руке.

— Все равно я не поведу! — кричит Айрола, громко ругаясь.

— Веди паровоз — я отвечаю! — кричит ему Ваня.

Но так как один говорит по-фински, а другой — по-русски, то им никак не сговориться.

— Комиссар, — раздраженно кричит Ваня, — скажи ему по-своему, чтобы делал, как велено!

Но обеспокоенный комиссар сидит молча на перроне. Никто не обращает на него внимания, и он смотрит на темную стену теплушки, словно в пустоту, и затем тихо говорит, словно про себя:

— Я тебя, изменник, пристрелю.

Говорит он это тоже по-фински, и поэтому никто, кроме меня, его не понимает. И тогда я подхожу к нему и говорю громко, будто ссорясь, будто препираясь с ним. Я нарочно не шепчу, пусть Айрола на паровозе тоже слышит, в чем дело:

— Скажи Айрола, чтобы действовал, как велит Заливин. За все я отвечу перед народными уполномоченными и рабочими Хельсинки. В открытом бою мы их не возьмем; их больше, и у них оружие. Надо их разоружить. Надо их заманить обратно в теплушки, а там... полагайся на меня.

Я хочу объяснить ему наш план, но тут двое проходящих анархистов останавливаются и подозрительно смотрят на нас.

— Немецкие шпионы, — говорит один из них.

— Нет, — успокаивает его другой, — это они по-своему, почухонски лопочут!.. А ну, прекратить! — командует он.

Но тут же Карвонен вежливо его спрашивает:

— Разрешите мне дать распоряжение машинисту, чтобы он согласился отцепить от нашего поезда свой паровоз и вел ваш поезд?

— Ну, говори, — снисходительно соглашается матрос.

И Карвонен командует:

— Айрола, делай все, что тебе скажут Эйно и Заливи! Маневрируй, но не выходя с территории станции.

Айрола что-то бормочет и соглашается. Со стуком падает кольцо сцепной связки. Буфера перестают пружинить; из тормозного шланга с шипеньем выходит воздух. Паровоз медленно отходит. Он идет набирать воду.

Наш поезд остается обезглавленным.

Теперь надо действовать решительно, осторожно и точно.

Я спешу к своим. Надо объяснить все им, чтобы всякий

проник в суть до последней мелочи. Может быть, они надумают что-нибудь и получше, чем мы с Ваней.

— Надо заманить анархистов в вагоны. Для этого мы даем наш паровоз; его прицепляют к анархистскому эшелону, Айрола дает гудок и трогает с места, сначала как-будто проверяя стяжки. Анархисты подумают, что поезд уходит, заберутся в теплушки, захлопнут двери. А тогда и начнем действовать по плану. — У Вани был план запереть теплушки наглухо и так и оставить. — Нас, вооруженных, вместе с местными красногвардейцами тридцать человек при трех пулеметах.

Чувствую весь невероятный риск затейного, но другого выхода не вижу.

Мы слышим звуки рожка стрелочника, гудки маневрирующего паровоза и громкий голос Вани Заливина, находящегося у топки рядом с Айрола и матросом.

— Пора, товарищи, пора! — говорю я своим ребятам.

И мы быстро идем по путям на соединение с отрядом русских красногвардейцев. Они уже приготовились к действиям.

— Ваш план половинчат, — говорит мне начальник отряда. — Оставить анархистов здесь, с оружием, чтобы они потом разгромили станцию!

Товарищ прав. И я додумываю план до конца:

— Ваня, ты хитрый, а я еще хитрее!..

Начальник с изумлением смотрит на меня. Пожимает плечами и потом как-то сразу загорается, жмет мне руку, смеется.

Я выхожу на перрон — анархистов стало меньше. И вот слышится металлический стук буферов прицепляемого к поезду паровоза. Скрип стяжек. Слышно, как Айрола рывком берет с места эшелон и дает громкие позывные гудки.

Подействовало. Увешанные гранатами матросы спрыгивают с перрона и бегут, пересекая железнодорожные пути, к своему эшелону.

Выскакивают отдельные фигуры из станционного помещения, скрипят двери теплушек.

— Эх, чорт! Чего они медлят... — сердится начальник.

Но никто не медлит. Кладовщик тащит дюжину огромных замков.

— Только-то?.. Снимай штыки! — командует начальник своим красногвардейцам.

Теперь уже я не понимаю, в чем дело.

— Всё в порядке, — говорит мне начальник.

К нам подходит комиссар. Обращается ко мне, как к начальнику:

— Товарищ Эйно, я приготовил поездную бригаду. В случае чего и она может пригодиться.

Мы полубегом, с винтовками в руках, направляемся к маневрирующему на путях поезду. Товарищи выволакивают пулеметы и катят их вслед за нами. Попрежнему играет пастуший рожок стрелочника, слышны свистки сцепщика, короткие гудки паровоза, стук тарелок буферов и бренчанье сцепок.

— Правильно, Айрола! — кричу я изо всех сил.

И я вижу, как пять человек из русского отряда отделяются, бегут вдоль эшелона и втыкают на медленном ходу поезда свои штыки, как засовы, в отверстия на дверях теплушек, предназначенные для замков. Штык заменяет засов.

Ловко! Теперь теплушки снаружи закрыты. Никто оттуда не выберется. Разве что из люков. А оттуда можно вылезать лишь поодиночке, так что каждого в отдельности можно взять.

— Ну, будем действовать дальше, — совсем спокойно говорит мне начальник. — Вы только скажите по-своему машинисту, чтобы он не останавливал поезда.

Я опять кричу изо всех сил. Слышим два коротких револьверных выстрела на паровозе. Русский красногвардеец-бородач крестится. Ваня соскакивает с паровоза и бежит к нам. В его руках два нагана.

— Все в порядке! Матрос-анархист больше мешать не будет.

— Приступим! — говорит начальник и начинает дубасить в дверь первой теплушки.

Поезд идет медленно, но нам нужно все же, чтобы не отставать, идти быстрым шагом.

Вторые пять красногвардейцев переходят на другую сторону поезда. Они вскакивают на ступеньки тормозной площадки, перебегают ее и исчезают.

Рядом с теплушкой наши ребята катят пулеметы. Вокруг нас кирпичные, темные от копоти железнодорожные строения, засыпанные снегом товарные вагоны, больные паровозы, штабеля дров и угля, позади белеет заснеженная крыша станции.

Начальник настойчиво стучит в дверь первой теплушки.

— Да какого же чорта? — изнутри слышна ругань.

— Весь комплект налицо!

Комиссар рукоятю нагана барабанит в дверь.

— Открой! Может, баба!

И мы слышим, как в теплушке ржут. Наконец дверь медленно начинает ползти в сторону, и пока она ползет, в теплушку успеваем влезть мы с начальником и еще один красногвардеец.

— В чем дело? — спрашивает разочарованно открывший дверь матрос.

— А вот в чем!.. — говорит начальник, взводя курок нагана.

Я делаю то же самое. Красногвардеец щелкнул затвором.

— А вот в чем дело, — повторяет начальник: — революционная советская власть рабочих предлагает немедленно сдать оружие. Через четверть часа подходит к станции эшелон латышских стрелков и красные финны — вот их делегат. — Он кивнул на меня. — Если вы не сдадите оружия — будете уничтожены все до одного. Красногвардейцы с фабрики окружили станцию и пути. Вам отсюда не уйти живыми, если не сдадите добровольно оружия. Если сдадите сразу, советская власть гарантирует вам всем отправку по домам в течение полутора суток. Финский поезд заберет с собой один вагон тех, у кого дом в Вятке, Перми и Екатеринбурге. Кто из вас оттуда?

— Я, я, я... — раздалось несколько робких голосов.

— Брось шебуршить! — прикрикнул на них, видимо, их вожак.

И тогда они зашумели, загалдели. Послышался стук взводимых курков.

— Советская власть не шутит! — громко сказал начальник и скомандовал: — Огонь!

И тогда, как было условлено, дали большую очередь в воздух наши пулеметчики. Первый пулемет замолчал. И с другой стороны поезда очередь повторил второй пулемет.

— Смотрите, — сказал начальник.

И они увидели, как рядом с вагоном идут вооруженные люди и катят пулеметы.

— Давай оружие! — И он сорвал с плеча стоявшего рядом с ним матроса винтовку.

— Ну, ну, потише! — угрожающе произнес тот.

— Не разговаривать!

И комиссар, сняв со стенки винтовку, передал ее мне. Я бросил ее наружу.

— Давай оружие!

Еще две винтовки я передал на мороз и крикнул:

— Товарищ комиссар, поездная бригада пусть берет оружие!

— Эй, ты! — увидел я парня, который спорил с другим о себе. — Ты вятский ведь, а товарищ твой — сибиряк. Сдавайте оружие, выходите. Мы вас сегодня же возьмем домой.

Это их проняло: они быстро сдают свое оружие под наведенными на них дулами, собирают сундучки и выскакивают со своим скарбом наружу, на пути.

— Возьмите у них гранату! — кричит красногвардейцам начальник.

Что делается на путях, я не вижу, не знаю, мне не до того...

— Бросьте вы морозить теплушку, закройте дверь! — сердится только что проснувшийся матрос.

Он еще не раскумекал толком, что происходит.

— Скорее сдайте оружие — скорее закроем дверь, — уверенно говорит начальник.

Наших ребят в теплушке уже десять человек. Они держат винтовки готовыми к бою. Но никто не сдает оружия, приходится нам самим снимать со стенок, вытаскивать из-под тонких матрацев винтовки.

— Руки вверх! — командует наконец начальник. — Буду снимать гранаты.

— У меня нет гранаты, — говорит один из анархистов и демонстративно засовывает руки в карманы — что, мол, взял?

Короткий удар рукоятью нагана по голове, и буян, схватившись обеими руками за голову, мешком оседает на нары.

— Я сказал — руки вверх!

Так мы выбираем из теплушки винтовки и гранаты и высккиваем на путь. Блестят на морозе рельсы. И, пересекая эти рельсы, темнеет цепь поездной бригады.

Комиссар выстроил всех наших в цепь, и по этой цепи передается оружие из матросского эшелона в наш поезд.

Цепи все время приходится менять свое положение, потому что эшелон непрерывно маневрирует.

Первая теплушка наглухо заперта.

Рядом с нею быстро идет один красногвардеец.

Он наблюдает, чтобы никто не открывал люк.

И тогда мы начинаем операцию со второй теплушкой.

О, если бы и она прошла так же хорошо, как и первая!

И вот тут-то и срывается...

Сразу, как только распахнулась на стук начальника дверь, матросы почувствовали, что творится что-то неладное.

Отворял дверь сам вожак, тот самый, который в диспетчерской распространялся про анархию.

Увидев вооруженного начальника, он выхватил маузер.

— Пулеметы — огонь! — скомандовал начальник.

И как только пулеметчики наши ответили короткой очередью в воздух, в вагоне произошло замешательство.

— Революционная советская власть... — твердо сказал начальник.

Но этот беспутный парень торопил свою смерть, он не дал договорить начальнику.

— Плевать нам на твою жидовскую советскую власть! — заорал он. — Да здравствует анархия!

И кто-то из темного угла теплушки, до которого не доходил слабый свет коптилки, крикнул:

— Правильно, Василий!

И тогда раздался выстрел.

Я не знаю, кто выстрелил: начальник ли, один из красногвардейцев или, может быть, я сам. Нервы были у меня напряжены до предела.

Анархист, неуклюже взмахнув руками, задел раскаленную печурку, стоявшую посередине теплушки.

— Правильно! — сказал начальник.

Около него уже стояли три красногвардейца с винтовками наизготовку.

— Сдавайте оружие! — И он повторил почти слово в слово свою речь.

Здесь тоже нашелся один вятский.

Стараясь не глядеть на убитого, как бы не замечая его, молча, анархисты сдавали свое оружие, винтовки и гранаты.

И так же, как в первый раз, цепью передавалось это оружие к нашему поезду, к нашим товарным вагонам.

Поезд продолжал маневрировать, и странно, что никому из моряков и солдат, находившихся в других теплушках, и в голову не пришло проверить, полюбопытствовать, кто это дает такие гулкие пулеметные очереди. Они или все уже спали, или так привыкли на фронте и за последние дни к стрельбе, что несколько случайных выстрелов ни во что не ставили.

Мы совершенно забыли об опасности и, чтобы дело шло быстрее, разбились на две группы и сразу принялись обезоруживать две теплушки с разных концов поезда, чтобы из одного вагона разоружаемые не могли перекликаться с другими.

Итак, я со своими и с Ваней Заливиным стали работать с хвоста. Нам попалась более спокойная публика.

В «наших» теплушках было много бородачей, и некоторые из них разоружались, можно сказать, даже с охотой. Особенно любезно сдавали они гранаты.

Анархисты в первых теплушках были куда активнее.

Когда мы разоружили с хвоста два вагона, в голове поезда раздался взрыв.

Я побежал к месту взрыва вместе со своими людьми, оставив наблюдать за люками двоих товарищей.

У места взрыва толпились русские красногвардейцы.

Поезд попрежнему продолжал маневрировать по пристанционным путям.

— Из люка первого вагона какая-то сволочь бросила гранату в нашего часового! — возмущенно говорит начальник.

Уже несут на станцию стонущего в беспомощности, умирающего красногвардейца. Уже выводят из притихшего вагона бросившего гранату анархиста.

Его ведут двое к водокачке.

Жалобно блеег рожок, дребезжат, сталкиваясь, буфера вагонов, ровно горят огоньки сигналов.

— Мы слишком поверхностно разоружили. Надо будет обыскать, — говорит начальник русских красногвардейцев.

И мы расходимся по своим местам и снова принимаемся за работу.

С большой неохотой дают нам на просмотр свои сундучки и мешки разоруженные.

...И вот уже оружие все, или почти все, взято. Теплушки закрыты снаружи. Паровоз наш оставил их на дальнем запасном пути и забивает сейчас этот путь порожняком.

Около вагонов дежурит охрана.

— Ну, с каждым проходящим поездом я буду отправлять один вагон, — говорит начальник и начинает оттирать себе уши снегом. — Теперь познакомимся, — говорит он мне: — Владимир Яковлев.

Называю себя; мы крепко жмем друг другу руку и идем на станцию.

— Спасибо, товарищи, — говорит Ване и мне товарищ Яковлев.

— Спасибо, товарищ, — отвечаем мы.

Русские красногвардейцы вытаскивают оружие из нашего товарного вагона.

— По-братски поделим, — говорит кто-то из них.

— Да нам оно совсем не нужно, — отвечает Ваня.

— А может быть, пригодится. Не говори так, парень, — кто нынче от оружия отказывается!

— Они отковырнули пломбы на двух наших вагонах. Ну что ж, они предвидели, что нам нужен будет порожняк. Мы и свалим туда конфискованное оружие, — говорит комиссар и пожимает руку начальнику.

В диспетчерской на диване стонет раненый.

Молочный рассвет проникает сквозь замерзшие окна в помещение.

— Через три минуты можно идти. Только идите медленно, — беспокоится о нашей судьбе дежурный по станции. — Эта сволочь порвала провода.

Мои красногвардейцы делятся с русскими красногвардейцами папиросами. Каждый говорит на своем языке, но, как видно, сейчас они сговорились и без переводчика. Русские с наслаждением затягиваются дымом папиросок, прикуривают друг у друга. Смеются... Язык курильщиков интернационален, и кажется, что сейчас русские и финны прекрасно понимают друг друга. Лица у красногвардейцев бледны от утомления.

На меня нападает отчаянная апатия, безразличие ко всему, и очень хочется спать.

Я сижу почему-то не у себя, а в купе у Заливина и говорю ему:

— А пожалуй, хорошо получилось, что мы не знали сигналов, этих рожков, поэтому мы остановились и познакомились с товарищем Яковлевым.

И тогда я замечаю, что диван подо мною дрожит, слышу мерное перестукивание колес.

Раз-два, пять. Раз-два, три, пять. Раз-два, пять. Поезд уносит нас от Суоми, от тебя, Тюне, далеко-далеко — в снежные поля, в тайгу Сибири.

IV

Поезд остановился на глухом полустанке.

Машинист громко разговаривал с комиссаром:

— На последней станции дров уже не было. Сказали, что на следующей есть, и наврали про расстояние. Вместо тридцати верст мы прошли сорок семь, и вот теперь на разъезде говорят, что до станции еще двадцать две версты. У меня не хватит дров! — горячился машинист. — Что делать? Топка может заглохнуть.

— Надо было у меня спросить! У меня справочник есть.

— Но ведь сам ты говорил, что расписание не действует.

— Расстояния остались прежние!

Комиссар перестал разговаривать с машинистом и пошел на тускло мерцавший за обледенелым стеклом огонек сторожки. По часам было всего лишь четыре пополудни. Но темнота уже заливала пути.

Уже несколько раз нам приходилось трудно из-за того, что на станциях не хватало дров и для намеченных по графику поездов, — мы же шли сверх всех расписаний.

— Отсюда версты полторы с гаком, у речки, штабеля лежат. Еще в прошлом году подрядчик сплавлять хотел, а революция вышла, вот и лежат, — ответил стрелочник комиссару, на ходу застегивая свой тулуп.

Было совсем уже темно и снежило.

— Проведи нас туда.

— Что ты, что ты, товарищ, разве могу я уйти со своего поста! Идите сами, не советесь. Прямоком.

— Ну, что, Мальме, пойдем, пожалуй, — сказал комиссар кондуктору.

Тот поежился на морозном воздухе. Сон не хотел его еще отпускать.

— Идем, — строго повторил комиссар. — Если найдем, один вернется и расскажет.

И через минуту они исчезли.

Таймио, кочегар второй смены, вышел из вагона с топором и пилой:

— Эйно, попробуем, станем лесорубами сегодня.

Метрах в двадцати от полотна железной дороги росли елки.

Идем...

Чорт дери, как глубоок снег — проваливаюсь чуть ли не по пояс, с трудом вытаскиваю ноги. Надо разыскать утонувший в снегу топор.

Таймио выронил его из рук, когда сам провалился в снег. Да, мы не ожидали этого.

Снег забился в брюки, в штиблеты, таял там и холодил тело. Но отступить было поздно — несколько человек из поездной бригады наблюдали за нами и посмеивались. Вышел и красногвардеец охраны, мой подчиненный, Вирта.

Дело у нас подвигалось медленно.

— Проклятое дерево, возьмем, что ли, другое, — предложил Таймио.

Дерево не поддавалось.

— Ничего, сделаем, — сказал я и ударил топором изо всех сил.

Снег, осыпаясь, залетал в глаза. Таял на ресницах.

Дерево закрипело и рухнуло.

— А ну, товарищи, сюда на распиловку! — скомандовал я своим красногвардейцам.

Мы принялись за вторую ель.

Красногвардейцы охраны оканчивали разделку первой. Ноги были мокры от тающего снега, а рубаха сделалась влажной от пота. Нам удалось повалить второе дерево.

— Эх, работнички! — укоризненно сказал Айрола. — Топка моя съест больше, чем вы в то же время приготовите. Ну, да все равно... Я думаю: не напрасно ли мы путешествуем? Слишком мало денег взяли. Разве кто-нибудь теперь за типографские бумажонки отдаст настоящий хлеб?

Но Таймио словно и не слышал, что говорил Айрола. Он, стирая пот со лба, мечтательно проговорил:

— Знаешь, есть такие паровозы, что на них и кочегаров нет. Стокеры работают. Такая машина есть. Вместо кочегара за топкой смотрит и топливо равномерно подкладывает.

Мы замолчали. Вагоны длинного нашего поезда темнели на линии, и только в одном классном вагоне одно купе было освещено.

— Поработаем, что ли... — вдруг спохватился Таймио.

Но было уже ясно, что так много не наработаешь, а инструмента хватило бы еще разве на одну пару.

— В этом деле есть вина и Айрола, — сказал Таймно. — Если бы он взял на той большой станции дрова — пожалуй, хватило бы еще.

— Какая вина! Разве до этого тогда было нам.

Возвратился комиссар. Он тяжело дышал.

— Надо будить всех, — приказал он. — Все на работу. Аврал.

Я послал красногвардейца поднимать охрану, а сам пошел будить Ваню Заливина.

Люди собрались. Некоторые недовольно брюзжат:

— Мы поездной прислугой работаем — грузчиками не занимались.

Я не могу разобрать, кто это там ворчит, и говорю:

— Песню, песню запевайте.

Мы трогаемся вперед и идем, проваливаясь на каждом шагу в снег. Шли долго. Я давно уже потерял ощущение пространства и не знал, где находится линия. И если бы внезапно в этом месте я остался один, ты бы меня никогда и не увидела вновь. Заблудился бы и попал на завтрак волкам и медведям.

Огненные точки папиросок и редкая ругань сигнализировали о том, что рядом идут люди.

«Это вам сигнализация, а не иллюминация», — вспомнил я слова начальника станции и засвистал.

По-моему, мы давно уже прошли две версты — гак, о котором говорил стрелочник, был, пожалуй, слишком велик.

Тут Карвонен остановился и сказал:

— Вот...

Мы стояли около высокой стены. Я подошел поближе и ощупал эту стену. Это были штабеля, огромные поленницы березовых дров. Из мрака выступил Мальме и мрачно пробасил:

— А я уже думал, что вы не придете, что придется мне идти к Христу на елку, как рождественскому мальчику. Ну вот, если кому надо — может погреться!

И он повел нас — а с другой стороны штабеля пылал яркий костер. Березовые дрова трещали. Снежок около костра стоял, обнажив черную землю. Поленница высилась у самого склона — на берегу замерзшей речки. Дрова ждали, пока вскрыется речка, чтобы пойти вниз по быстрому течению. Их никто не сторожил.

И мы принялись за работу.

Тридцать пять человек — мы встали в ряд. (С поездом-то осталось всего пять человек.) Один брал большое полено со

штабеля и передавал другому, тот — следующему. Цепь растянулась сажен на тридцать. Так полено, переходя из рук в руки, доходило до последнего в цепи, и тот швырял его на снег.

Сначала работа шла быстро, весело, да и какая это в самом деле работа? Одно полено не тяжело держать в руке. Получаешь и стоишь на месте, легкий поворот — передаешь следующему, совсем словно какое-нибудь простое гимнастическое упражнение проделываешь.

— Сколько берем дров-то?

— Полтысячи.

Так проделали мы пятьсот гимнастических упражнений. Надо распускать ворот, отирать платком пот, снимать перчатки, у кого они есть. Стало тепло. Даже промокшие ноги не так коченеют.

А дрова-то переместились ближе к поезду всего на тридцать сажен.

Цепь переходит на новое место. И снова начинается работа.

Пятьсот легких поворотов. Начинаешь чувствовать вес своих рук.

Опять цепь переходит на новое место. Опять идут по рукам тяжелые березовые дрова, и каждое полено стало тяжелее. Умолкают шутки, и разговоры тлеют и шипят, как сучья в угасающем костре.

Снова переходит цепь на другое место. Переходишь, уже не разбирая дороги, проваливаясь в следы предыдущего товарища, и ветви бьют по щекам. Как жаль, что мы теплушку с матросами, вятчиками и пермяками, отцепили на предыдущей станции. Они бы здесь, в цепи, нам здорово помогли. Вдвое быстрее шла бы работа.

— Дружнее, дружнее, ребята! — подбадривает нас комиссар.

— Работа не пыльная! — смеясь, отвечает кто-то.

Снова переход, начинаю считать поленья. Одно, два, три... пять... восемь... пятнадцать... После сорокового сбиваюсь со счета.

Надо думать о чем-нибудь другом, тогда время пойдет быстрее. Но о чем думать, когда тебе суют в руки полено и ты должен его передать дальше.

«Неженка, неженка, а еще суешься в революционное дело. Велика штука — перебрасываться в лесу поленьями. Ты бы вот попробовал в тюрьме посидеть. Другие вот пытки переносят, и то ничего, а тебе триста раз вокруг своей оси повернуться жалко. Да, тюрьма! Вот Либкнехт еще и сейчас на каторге за то, что против кайзера, против войны, за мир».

...Никогда не думал я раньше, что руки могут быть такими тяжелыми, словно они налиты свинцом.

Новый переход цепи... Ноги мокры от снега. Брюки леденеют. Хорошо тому, у кого русские сапоги. А у одного из ребят даже валенки!

Вот ты сейчас уже на фронте, а я, прощаясь с тобой, дорогая моя Тюне, забыл попросить, чтобы ты берегла себя. Ты ведь совсем не такая здоровая, как рассказываешь. Не простудись там, милая. На фронте легко схватить воспаление легких. Береги себя, нежная моя девушка. Как ты смеялась, когда я первый раз поцеловал твою ладонь:

«Таким простым девушкам не целуют рук. И потом, они у меня некрасивые».

Чепуха! Прекрасные, умелые руки...

Чорт дери! Совсем некстати снял я перчатки, заноза вошла под кожу. Ну ничего, потерплю.

Одно полено, другое, третье... десятое... двадцать первое... пятьдесят пятое... Некоторые совсем обмерзли и скользят из рук — не уронить бы раньше времени, успеть бы передать. Ну ладно, наступит же когда-нибудь конец этой работе.

— «Эй, ухнем, эй, ухнем», — запекает Ваня русскую песню «Дубинушку».

Но разве сейчас нам до песен!

— Глухонемые! — кричит Ваня. — Да с песней и работа спорится!

— Чего ругаешься, — говорит Карвонен. — Они тебя не понимают... Вот ты что запой. — И он затягивает баррикадную нашу песню.

Ваня знает мотив. Он поднимает его во всю силу своих молодых легких. И уже невозможно не петь. И вот она идет по лесу, спотыкаясь, натываясь на оснеженные стволы деревьев, проваливаясь в глубокие следы, наша песня, наш боевой марш.

И легче поворачиваться, и руки легче несут полено.

Враг наточил топор свой острый,
К схватке готовясь, грудь о грудь!
На бой последний, братья и сестры,
На баррикады ведет наш путь...

Сквозь сетку ветвей смотрит на нас наш поезд. Разводит пары паровоз, приветствуя нас протяжным гудком... Вот и верстовой столб, всего семьсот тридцать верст от Петербурга отехали.

Стучат дрова, падая в тендер. Цепь наша придвинулась к самому паровозу.

Карвонен как ни в чем не бывало разжигает трубку.

— Прошлой ночью легче было в цепи работать. Раз-раз — и готово!

— Эх, стокер бы на паровоз! — говорит сам себе Таймьо и отправляется подкладывать свежие дрова в топку.

А над полотном уже восходит красный огромный шар. Со всем как раскаленное железо — странно только, что снега, над которыми оно лежит, сейчас не шипят и не тают. Бледный полумесяц стоит в зените.

— Вот мы и выполнили вторую нашу боевую операцию, — говорю я Ване.

Солнце уже оторвалось от снегов и поползло выше. Глаза мои слипаются от усталости. Поясницу ломит. Я ложусь спать... И уже в полусне чувствую толчок — поезд наш двинулся с места. Потом дробная стукотня колес. Даже о тебе я не могу подумать, перед тем как сомкнуть глаза.

Проснулся я днем. Занимался политграмотой со своими красногвардейцами.

На одном из полустанков купил у здешнего торпаря-крестьянина плетенную из коры обувь. Лапти... Хочу привезти их тебе, показать, что это за штука. Это очень искусная работа, лыковые туфли.

Все время скандалы с начальниками станций потому, что мы подкатываем к платформам, как курьерские поезда, и из-за того, что наши вагоны черные.

V

Больше дров нет.

Несколько станций отказывали нам в дровах. Здесь уже паровозы ходят на угле...

Нам предложили переменить паровоз, но мы этого сделать не можем. Наш паровоз — и на всю дорогу он приписан к нашему составу. Значит, надо переделывать топку и колосники под уголь.

Работа серьезная, но вполне возможная. Наши слесари — Ваня Заливин, Сариниеми и Хурмеринта — берутся это сделать меньше чем в сутки.

Новая задержка.

Правда, мы проехали довольно много. От Петрограда до Вятки тысяча сто пятьдесят верст. И от Вятки до Верещагина триста тридцать семь. Но все-таки каждая задержка раздражает.

Топке надо дать заглохнуть, она должна остыть, и только тогда слесари могут приниматься за работу. Затем четыре часа придется потратить на растопку и на подъем пара. Да, в самом лучшем случае, задержка на сутки — это в то время, когда каждая сухая корка для наших красногвардейцев — подарок.

Отчаянно хочется узнать, что сейчас делается в Хельсинки, какое положение на фронте, захвачен ли нами генерал Маннергейм со своей сенаторской челядью? Что делается в Ваза?

Мы отрезаны от Суоми. Почему-то ни на одну нашу телеграмму из Хельсинки не отвечают. Можно подумать, что о нас совсем забыли.

— Знаешь что, — говорит Ваня и при этом отчаянно, как и всегда, ругается: — я полезу в горячую топку; незачем ждать, пока она остынет... Я полезу в топку! — совсем уже решительно повторяет Ваня и выходит из вагона со своим инструментом.

Я перевожу его слова Сариниеми и Хурмеринта. Хурмеринта недоумевающе пожимает плечами:

— Шутит, что ли, этот русский?

Но нет, Ваня не шутит. Он идет к паровозу, и за ним, пересмеиваясь и недоумевая, идут наши слесари и я как непременный переводчик.

Кочегары очистили топку от горючего. Но колосники раскалены, стоять около топки почти невозможно.

Ваня опускает наушники и завязывает их у подбородка; напяливает сверх своей тужурки меховой тулуп. Затем берет три толстые, короткие доски, кладет их на красную от жара колосниковую решетку и решительно всовывается в раскаленную печь. Хурмеринта и Сариниеми, разинув от изумления рты, смотрят на то, что делает Заливин.

Дорогая моя Тюне, я и сам не совсем точно знаю, какую там нужно произвести работу в топке при переходе с дровяного топлива на уголь. Скажу лишь о том, что, когда через полминуты высунулась из топки голова Вани и затем вылез он сам, мне вспомнилась рассказанная еще в школе пастором притча об отроке, ввергнутом в огненную печь, и о его чудесном спасении.

Ваня тяжело дышал и никак не мог надышаться, как будто у него были дырявые легкие. Ресницы и брови его были спалены. Через минуту он снова всунулся в топку и поработал там еще с полминуты. И тогда его оттолкнул слесарь Сариниеми.

— Тоже нашелся герой! — грубо сказал он.

И сам полез в топку. Через минуту он, как и Ваня, метнулся к свежему воздуху...

В третий раз ему идти уже не пришлось, потому что его сменил слесарь Хурмеринта.

А после Хурмеринта снова была очередь Вани.

Дожидаюсь своей очереди работать в топке, Хурмеринта один раз подошел к окошку и быстро оглянулся — не смотрит ли кто. Его рвало.

Ваню и Сариниеми тоже тошнило.

Но они старались шутить, показывали друг перед другом свое мастерство и были похожи на чертей из пекла.

Я сошел с паровоза и пошел к комиссару.

— Скоро слесари окончат работу, — доложил я ему.

— Я об этом случае буду специально докладывать нашему революционному правительству, — сказал обрадованно товарищ Карвонен.

Через три часа сорок минут после начала работы слесари доложили, что реконструированная топка находится в полной готовности, и машинист с кочегаром пошли поднимать пар.

Мы готовились к отъезду.

Нам отпускали на этой станции семьсот тридцать пудов угля.

— Отличнейший жирный уголь! — сказал, посмотрев на него, Айрола.

Он ходил около штабелей подмерзшего угля и размахивал руками. До этих пор я думал, что люди, которые размахивают руками, должны быть очень болтливыми. Но Айрола был неразговорчив.

Таймио ходил рядом с ним и, держа в руках какую-то брошюрку, пространно рассказывал старому машинисту о том, какие бывают угли и какие бывают топки.

Мы готовились к скорому отбытию и ждали встречного.

Уже слышится все нарастающий грохот приближающегося поезда.

Он быстро проходит семафор, не замедляя хода полным карьером подходит к самой станции и, на удивление всем старожилам, останавливается у станционной платформы как вкопанный, как скорый, совсем как наш. Но поезд-то товарный и вагоны — вылитая копия наших. Черные! Тормоза Вестингауза, и паровоз, как наш, и медные части блестят, как каски пожарных.

Да что и говорить, это и есть наш родной финский поезд! Вот соскакивают с площадок классного вагона люди и бегут к нам; и с последнего вагона выпрыгивают и бегут к нашему поезду люди с винтовками за плечами, в фетровых шляпах, несмотря на мороз. И на штыках у некоторых красные ленточки.

Я не помню, как я сорвался с места, когда успел добежать до товарищей, — но я уже обнимаю товарища, крепко жму ему руку, громко, громко кричу:

— Ура!

И ребята с восторгом подхватывают мой вопль, и далеко над станцией, над снежными полями разносится наш крик: «Ура!»

И вот голос, громкий голос, на родном языке приветствует нас:

— Терве, товари! (Здравствуйте, товарищи!)

Комиссар поезда товарищ Яков Рахья приветствует нас. И видно, как он взволнован этой радостной встречей.

— Скорее расскажите, что творится на родине?

— Как на севере?

— Где фронт, как дела с продовольствием, с правительством?

— Почему не отвечают нам на наши телеграммы?

Они засыпают нас сотней вопросов одновременно, и не знаешь, на какой отвечать, не знаешь, с чего начать, и сердце до краев наполнено радостью. И торопясь, проглатывая слова, мы отвечаем товарищам:

— Да, революция живет!

— Дела прекрасны!

— Враги будут разбиты повсюду!

— С продуктами стало еще хуже, приходится затягивать пояса потуже.

— Ваш хлеб будет в самый раз!

И украдкой я наблюдаю за этим коренастым человеком, носящим имя Рахья, инициатором наших маршрутов.

Он невысок, и лицо с рыжеватыми подстриженными усами, кажется, ничем особенным не выделяется. Глаза его блестят радостью, и уголки губ приподняты в улыбке, изо рта легонько вырывается пар.

— Ты не представляешь себе, — говорит Рахья Карвонену, — как приятно встретить родной поезд! Это часть Суоми встретила нас!

— Это наша революция на колесах, — смущенно шутит Таймио.

— Как достали хлеб?

— Как путь?

— Что нужно делать, чтобы скорее идти назад?

Это уже мы задаем вопросы, тоже беспорядочно и бестолково, но товарищи терпеливо отвечают нам:

— Сначала нас железнодорожные викжелевские крысы загоняли на запасные пути, но местные организации и рабочие-большевики помогали нам.

— Идем хорошо!

— Хлеб нам дали по распоряжению Омского совета рабочих депутатов, безвозмездно... Для победы мировой революции эти парни готовы отдать жизнь! — тепло говорит Рахья.

— Как мы, товарищи, плохо знали русского рабочего! Прямо совестно об этом и вспоминать. Шли в хвосте у националистов.

— У них у самих — у омских рабочих — почти ничего нет.

Итак, хлеб достать можно!

Я торжествующе обернулся, ища глазами Айрола. Но его не было.

Товарищи разбиваются на кучки. И мы узнаем, что впереди на станциях можно будет покупать хлеб — и недорого — целыми буханками; о том, что впереди совсем нет сахара. И тут же товарищи отдают нам остатки сахара, просто так, в подарок. Потому что они уже через несколько дней будут в Финляндии.

Товарищ Рахья передает комиссару нашего поезда какую-то бумагу.

— На горах, — говорит он, — чертовски трудные профили и не всегда удастся вам заполучить проводника. Так вот, я все время там, в горах, на паровозе сидел и профиль дороги записывал. Твоим машинистам он пригодится. Возьми!

Молодец комиссар-машинист!

А второго поезда он не встретил, сразу наш третий попался, потому что второй шел через Челябинск.

Но путь открыт, и поезду Рахья надо отправляться на Петроград. Вся поездная прислуга, паровозная бригада, мои красногвардейцы высыпали, толнясь, на площадку — окна в вагонах замерзли. Провожающие машут платками.

— Счастливого пути! Передавайте привет в Хельсинки! — кричим мы. — Мы выполним задание!

— Передавайте привет Сибири!

И поезд их медленно уплывает, уходит на запад. Через несколько минут отойдет и наш поезд — на восток.

Наш поезд идет следом за солдатским эшелоном. Мы не можем поэтому набирать быстроту и идем черепашьям шагом.

Я вышел на площадку подышать свежим воздухом.

На площадке стоял Таймио. Он смотрел на бегущие мимо нас необъятные равнины, занесенные глубокими снегами. На самом горизонте черной нерушимой стеной стояли леса. И не было конца-краю этим равнинам, снегам, лесам.

— Уже неделю едем, — сказал, вздохнув, Таймио, — и даже середины России не достигли. Какая она большая, какая огромная! И когда я смотрю на эти просторы, Эйно, мне вспоминается картина моего детства. Мы с отцом и с матерью на морском берегу. Отец вытаскивает из ёлы дневной улов. Мать помогает ему. И в ведре плещутся, как живое серебро, рыбешки. И вот к пристани подходит большая трехмачтовая лайба. Нам всем интересно, что привезли на этой лайбе.

«Какой груз?» — кричит наверх мой отец.

«Земля!» — кричит ему вниз в ответ матрос.

«Что?» — переспрашивает отец и прикладывает ладонь к уху.

«Земля! — повторяет матрос, перегибаясь через борт. — Обыкновенная земля!»

Я об этом вспоминаю, когда вижу эту ширь. А нам для садов, для парников и огородов из-за границы землю возить надо!..

Мы оба молчим, думая каждый о своем. Становится холодно.

— Я пойду к себе, — говорит Таймио. — Скоро надо будет на паровоз. А пока, до смены, я хочу подзубрить еще немного.

— Подзубрить?..

— Ну да, — говорит Таймио. — Я учу телеграфную азбуку Морзе. Потом пойду на телеграф работать. Среди машинистов есть революционеры, а у телеграфистов засели одни бюрократы. Вот я на телеграфе и поработаю. Очень важная вещь для революции — телеграф.

Я пробираюсь через вагон-склад к паровозу узнать у машиниста, скоро ли станция, и вижу: на площадке — незнакомая женщина, и горькие слезы текут по ее щекам. Рядом с нею — мой красногвардеец. Увидев меня, он смущается.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Женщина, плача, рассказывает, что этот человек снизошел к ее просьбам и обещал ей устроить проезд. Она заплатила ему за это, как было условлено, деньгами, а теперь, угрожая сбросить ее на ходу с поезда, он надругался над ней, и она не знает, как показаться домой честным людям.

Я записываю имя его, чтобы оно навсегда было проклято, — Ивар Гренхаген.

Он даже не понимает всей мерзости своего поступка.

Я иду на кухню и говорю Ханне:

— Немедленно вызови комиссара.

Приходит комиссар. Я объясняю ему, в чем дело.

Он покусывает концы усов и бледнеет, словно от непереносимого страдания. Потом медленно, с расстановкой, чуть ли не по слогам, говорит:

— Лучше всего было бы тебя здесь же, на месте, расстрелять. Но, к сожалению, мы не имеем полномочий революционного правительства на это. Поэтому мы сдадим тебя чрезвычайной комиссии на первой же остановке.

— А как обойдетесь без кочегара? — испуганно спрашивает бывший красногвардеец.

— Тебя это не касается! — резко отвечает ему комиссар и поворачивается по-военному на каблуках.

Женщина не понимает нашего разговора. Попрежнему слезы катятся по ее щекам.

Тогда бывший красногвардеец Ивар Гренхаген вдруг понимает всю безвыходность своего положения и торопливо начинает умолять комиссара:

— Накажите меня, как полагается по законам! Я заслужил наказание, но не оставляйте меня в чужой стране, у неизвестных людей. Здесь я совсем погибну. Я еще исправлюсь. Я молод. Это было случайно.

И он еще добавляет какие-то жалкие слова.

— Вот твой начальник, — говорит ему комиссар и показывает на меня.

— Я согласен с решением комиссара, — говорю я и обезоруживаю прохвоста, затесавшегося в наши ряды.

За спиной Ханны толпятся уже и другие.

И я слышу голос, одобряющий мои действия:

— Ивара хотели судить еще в Хельсинки: он продал там две обоймы патронов какому-то проходимцу.

Нет, уговоры бесполезны.

На первой же остановке мы ссаживаем пострадавшую женщину, даем сухарей, денег.

Она плачет, и благодарит, и снова плачет.

С рапортом-протоколом, написанным комиссаром и переведенным мною на русский язык, мы сдаем станционным красногвардейцам предателя, бывшего красногвардейца финляндской рабочей Красной гвардии — Ивара Гренхагена.

— Кто же из твоих теперь станет у топки? — говорит комиссар.

— Эх, была не была, стану я сам! — бойко говорю я. — Таймио когда-нибудь станет телеграфистом, а я — машинистом.

Поста своего не сдаю и становлюсь у топки.

VI

Теперь я понимаю, почему Таймио мечтал о стокере.

Эта мечта приходит к любому кочегару на третьем часу его работы. Я работаю кочегаром на паровозе в смене Айрола.

— Тут тебе не о политике спорить, а руками пошевеливать надо.

Но Айрола сам же через минуту начинает старый спор.

Он говорит:

— Разве ты не видишь, какая отсталая страна Россия: на тысячи верст ни одного большого города. И если наша Суоми еще не доросла до социализма... Кто прав, тот своего противника всегда сумеет убедить и без оружия.

— Айрола, сам ты говорил, что на паровозе не время и не место разговаривать о политике! — почти умоляю я своего ше-

фа прекратить этот разговор, потому что мне и без слов очень трудно справляться со своей работой.

Надо поворачиваться от слепящей и обжигающей жаром топки, загребать железной лопатой уголь и в раструску набрасывать на колосниковую решетку.

И делать это надо не раз, не два, а почти непрерывно во все время дежурства. Уголь почему-то сгорает неравномерно.

В некоторых местах он горит скорее, и там образуются продушины. И продушины эти надо забрасывать тонким слоем свежего угля. И сам чорт не разберет, почему в одном месте топки огонь затухает, а в другом возникает внезапно яркое, сильное пламя.

— Все оттого, что неверно еще работаешь, — говорит снисходительно рыжий машинист.

— Но сейчас такой сильный огонь, товарищ Айрола, что не разобрать этих чортовых продушин!

Тогда Айрола берет из моих рук и загребает полную лопату каменного угля. Затем, сбросив с лопаты уголь, он поворачивает ее обратной стороной вверх. Теперь лопата — вроде щитка от ослепительного света, и, смотря под нее и над ней, можно глазом ощупать всю топку. Хорошо видны места, где уголь слежался и где продушины.

Он бросает так еще две лопаты, затем закрывает дверцу шуровочного отверстия и, наставительно подняв палец, говорит:

— Видишь!

Потом он продолжает тоном приказа:

— Забрасывать уголь надо быстро, чтобы не охладить топку, мелкими порциями, не больше пяти лопат за раз. Сразу же закрывать дверцу.

Так я прохожу науку кочегара.

На первых порах только шуровка, а потом пойдут и все другие побочные службы кочегара.

Да, дорогая Тюне, не знаю, будет ли тебе это интересно, но на всякий случай сообщаю, что уголь надо забрасывать обязательно смоченным. Почему? Об этом я напишу в следующий раз.

Но работать надо быстро, иначе Айрола ворчит, что я сбиваю ход.

А шли мы медленно — впереди ведь эшелон. Как же надо работать на быстрых оборотах! От жара топки отчаянно хочется пить, но Айрола не советует:

— Крепись до последнего. А потом пей на паровозе теплую воду, холодной не заправляйся.

Я шурую... И в промежутке между шуровкой стараюсь отдышаться и оттираю черной рукой пот со лба.

— Трубочист! Совсем как кочегар, — язвит Айрола.

Пять быстрых лопат угля в шуровочное отверстие, в рас-
труску, по всем правилам.

Передышка — и снова работа.

На полустанке нас догнал эшелон самодемобилизовавшихся.

Он тоже шел вне всякого графика и без путевого жезла. Но машинист был опытный, из здешних мест.

Машинист подошедшего поезда подвел свой паровоз к на-
ливному крану, на котором огромными глыбами лепился лед.

Но вода по шлангу не потекла.

Машинист с кочегаром сошли с паровоза, чтобы проверить,
в чем задержка; они скользили по обледеневшей площадке и
выделывали, балансируя, такие антраша, что трудно было удер-
жаться от смеха.

Однако Айрола, наблюдая эту картину, даже не улыбнулся.

Он быстро подошел к водомерной трубке.

Воды у нас оставалось совсем немного.

— При таком уровне до следующей водокачки я поезда не
доведу.

Он озабоченно спустился с паровоза и побежал к колонке
разузнать, в чем дело.

Я же пошел к комиссару, чтобы справиться у него — скоро
ли следующая станция. И я нарушил правило, которого, впро-
чем, в ту минуту еще не знал.

Я оставил паровоз, а в это время солдаты разбитого эшело-
на и эшелона, догнавшего нас, выстроились со своими чайни-
ками, котелками в очередь у нашего тендера.

Кипятильник на платформе тоже бездействовал, а без чая
русскому не прожить, так же как и нам без кофе.

Вот они, с веселыми прибаутками, торопливо выстроились в
очередь у краника нашего тендера, расхищая нашу воду, кото-
рой и без того нам не хватало.

Айрола заметил эту очередь одновременно со мной, и мы
помчались спасать остатки драгоценной влаги.

— Товарищи! Товарищи! Нет, нет! Нельзя! — сердясь, вы-
крикивал Айрола несколько знакомых ему русских слов, пере-
мешивая их с финской бранью.

Но солдаты не отходили от краника, и было обидно смот-
реть, как струя воды, не попадая в узкое горлышко бутылки,
проливалась на снег.

— Товарищи! — закричал тогда я изо всех сил. — Отойдите,
прошу вас!

Но они и не подумали отойти от тендера. В ответ на мою
просьбу я услышал только смешки и ругань. Задние торопили
передних:

— Скорее, скорее!

Они боялись, что им воды уже не достанется.

Тогда Айрола вытащил из-за пазухи свой дамский браунинг, высунулся вперед и навел его на человека, набиравшего воду. Холодная струя воды со звоном била в жестяное дно чайника.

— Товарищи!.. — внушительно произнес он и дальше понес по-фински.

— Чего там болтает? — раздались крики из толпы.

— Убрать рыжего чорта!

Тогда я тоже обнажил свой маузер и громко, отдельно стал переводить слова машиниста Айрола.

— Закрывать кран! Если кто-нибудь еще осмелится подойти к тендеру, застрелю на месте! Браунинг заряжен.

Айрола подтвердил свои слова выстрелом в воздух.

— А может, и впрямь снег разогреть? — сказал лениво первый солдат.

— Воды не хватило?

— Не хватило воды?

— Айдайте за снегом! — загудели стоящие поодаль.

И толпа стала медленно расходиться.

Айрола перевел рычаг, и паровоз плавно пошел вперед.

— Как же мы оставляем поезд? — спросил Хурмеринта.

— Мы идем до ближайшей водоналивной колонки, набираем воду и обратно за составом. Воды для одного паровоза хватит, а поезд не вытянуть.

— А вот тот машинист иначе придумал, — сказал Ваня и показал на паровоз эшелона.

И мы увидели возню около русского паровоза.

Они решили растопить снег и так напоить паровоз.

Станция с эшелонами и нашим поездом скрылась за поворотом.

По обеим сторонам пути выросли и так же быстро скрылись скалы. Мы проскочили каменную выемку.

— Айрола... — спросил я своего машиниста, подбросив три лопаты угля в шуровочное отверстие. — Айрола, как же ты сейчас угрожал мирным людям своим браунингом? Кто прав, тот всегда сумеет убедить без оружия... Это ведь твои слова.

Айрола не сразу ответил. Он переставлял рычаги и обдумывал, как провести паровоз с минимальным расходом воды. Помолчав, он, смущаясь, ответил мне:

— Но, Эйно, было ли время на раздумье! Ушла бы вода — взорвался бы котел. Паровоз доверен мне, и я обязан доставить его в целости. А потом мы должны ехать скорее: хлеб ждут.

Паровоз шел вперед полным ходом, хотя Айрола и берёг пар. Поршень плавно толкал колеса. Я загребал уголь лопатой. Айрола выглянул в окошко.

— Только бы не было заносов, — озабоченно произнес он.

— Видишь, Айрола, ты отвечаешь за паровоз и, защищая его, хватаешься за револьвер — применяешь насилие. А революционное правительство, советская власть отвечает за судьбу революции, судьбу всего народа. И здесь иначе тоже поступить нельзя, когда бунтует буржуазия. Нет времени: уйдет вся вода — и тогда паровоз не потянет...

Айрола хотел что-то ответить, но затем призадумался и молчал довольно долго — и крыть ему было нечем, потому что не мог он гладить кошку, вместо того чтобы накормить ее, — как говаривала моя мать.

Мы проехали мимо разбитых теплушек. Здесь было крушение.

Наш паровоз вздрагивал от нетерпения.

Солнце закатывалось за дальние леса — облака и все небо стали розовыми.

Через полтора часа такого хода с водой, едва покрывавшей топку, мы в полной темноте дошли до первого семафора.

На нем не было ни красного, ни зеленого огня. Около него не видно было ни живой души, и мы не знали, открыт или закрыт путь.

Станции, скрытой за поворотом, нельзя было увидеть, тем более что путь был высечен в огромной скале, которая крутыми уступами поднималась по сторонам... Айрола ругался последними словами.

Мы проскочили семафор. Через две минуты промелькнули огоньки станции. И, миновав ее, паровоз наш подкатил к водоналивной колонке.

До чего было приятно слышать, как булькает вода, сильной струей льющаяся по рукаву в водохранилище нашего тендера!

— Смотри, смотри!.. — толкнул меня локтем в бок Айрола.

И в голосе его я услышал изумление.

Я высунулся из паровоза и увидел, что по платформе медленно движутся какие-то темные тени. Как будто стая собак.

— Смотри, Айрола, смотри, как блестят их глаза!

— Волки, волки! — прошептал Айрола.

И хотя мы находились на высоком паровозе, около раскаленной топки, мне стало жутко.

— Где же здесь люди?

— Неужели все вымерли? Как это может быть, чтобы по станции разгуливали волки?

Воды у нас уже набралось — хоть залейся.

Айрола, давая тревожные гудки, чтобы распугать волков, подвел паровоз к освещенному замерзшему окошку здания.

Волки отбежали шагов на двадцать от паровоза, но не уходили со станции. Зеленоватыми угольками блестели их глаза.

— Эйно, придется все-таки тебе сходить в дежурку и сказать дежурному, чтобы он не забывал путей и следил за семафором и что мы скоро приведем наш поезд.

Айрола остановил паровоз и, давая тревожные гудки, с шумом выпустил пар. Волки растворились в темноте.

Я проверил, заряжен ли мой маузер, и, сойдя с паровоза, перебежал через платформу.

Айрола в это время давал отчаянные, тревожные гудки, способные разбудить весь мир.

Я распахнул дверь дежурки. Положив голову в форменной фуражке на стол, сладко спал дежурный.

Я грубо толкнул его в плечо.

— Чего?

— Поезд наш идет, освободи ему путь, соблюдай сигналы! — стал кричать я на него, не скрывая своего раздражения.

— Чего кричишь? — равнодушно сказал он. — Твой поезд дошел, и слава богу. Нет теперь начальников, чтобы орать... Революция у нас теперь! — добавил он и усмехнулся.

— Не клевети на революцию, чиновник! — заорал я на него, совсем выйдя из себя. Это был явный саботажник.

— А ты что, ее доверенный, что ли? — не обращая никакого внимания на мое раздражение, продолжал он.

— Да, доверенный! — решительно сказал я и увидел на стуле две огромные буханки совсем белого пшеничного хлеба и нетронутую крынку молока.

— Чего он там старается? — спросил дежурный, только теперь услышав тревожные гудки Айрола.

— Волков пугает! — отрезал я.

— А у нас они не в диковинку, — спокойно сказал этот невозмутимый парень.

— Хлеб-то продаешь?

— Бери!

— За сколько?

— Сколько дашь.

Я вытащил из карманов своих рабочих брюк двадцатирублевую керенку.

— Хватит за пару хлебов.

— А молоко?

— Пей так.

И я стал жадно пить свежее молоко. Оно было такое вкусное, такое жирное и приятное, совсем как в детстве. Затем я взял каравай подмышку и, сказав дежурному, чтобы он готовил уголь и жезл и что мы скоро приедем, побежал к паровозу.

— А вы без жезла приехали, без жезла и езжайте дальше! — крикнул он, закрывая за мною дверь.

Паровоз наш шел обратно задним ходом, рассекая сетку все густевшего снегопада. Без стрелочника на станции трудно было развернуться.

Прощайте, господа волки!

Я уплетал за обе щеки свежий, душистый хлеб.

Как жалко, что рядом со мною не было тебя, Тюне, и приятеля Линола. Вот бы устроили тогда мы пиршество!

Как был вкусен хлеб! И как хорошо, что можно было есть вдоволь, сколько угодно!

Айрола тоже поел.

Время от времени он открывал клапаны, и раздавался оглушительный вой гудка.

Не раздавить бы кого! Не столкнуться бы со встречным!

— Мы, машинисты, — говорил он, — живем всегда на семьдесят метров впереди своего паровоза. Если человек лежит, или рельса нет на месте, или встречный — дальше семидесяти метров, тогда от нас зависит, будет ли крушение или сумеем затормозить, остановить. Если ближе семидесяти метров — считай, что человека нет. Крушение наверняка... Мы, машинисты, живем на семьдесят метров впереди своего паровоза! — убежденно повторил он.

На этот раз никаких происшествий не случилось, и мы с фасоном подлетели к станции.

Около нее были разложены костры, и вся она походила на зимний бивуак какого-то сказочного похода.

У встречного паровоза попрежнему шла возня. Солдаты растопляли снег и ведрами вливали воду в баки тендера. Нужно было еще несколько часов работы, чтобы таким образом добыть необходимое количество воды.

Наш паровоз снова повел состав в дальний путь.

Хлеба уже не было. Ваня и красногвардеец помогли мне уничтожить его.

Ваня даже отломил горбушку и спрятал в карман.

— Ханне, — спокойно объяснил он мне.

Теперь хлеб всей своей тяжестью улегся в желудке и заставлял мечтать о сне.

Я, пожалуй, уговорил бы Таймио раньше выйти на работу, мне в помощь, как было условлено, если бы не одно обстоятельство.

Когда мы разводили пары, готовясь к отходу, к паровозу подошла молоденькая девушка.

— Товарищи машинисты! — сказала она.

Пламя топки отражалось в ее глазах; вся она чем-то неуло-

вимым напомнила мне тебя, Тюне! Сколько времени мы с тобою в разлуке, и даже до середины России мы еще не доехали!

— Дорогие товарищи машинисты, мне во что бы то ни стало надо скорее в Екатеринбург, к больному жениху. На поезда никак не попасть. Провезите меня хоть несколько станций.

— Айрола, — сказал я машинисту, — к нам просится девушка.

— Пусть сидит здесь, на свету! — приказал Айрола. — И ей теплее, и на виду.

Он был трогателен и глуп.

Разве нужен мне кто-нибудь на свете, когда ты, дорогая Тюне, ждешь меня в Суоми!

Наверно, белые уже разбиты и ты возвратилась в Хельсинки!

Когда я раскрываю бумажник, мне всегда в глаза бросается твой портрет.

Незнакомке сразу же пришлось расстегнуться, раскутаться, снять теплые платки. Смею заверить тебя, это была замечательная девушка, — уж я-то в девушках толк знаю, если заховодил тебя!

Но надо, чорт дери, поворачиваться живее, сбрасывать уголь в раструску, и чтобы укладывался он как полагается и пламя было ровное, а не боковое, когда у стенок наваливается грудa угля, а в середине слой толще.

Незнакомка очень вежливо разговаривала и все больше склоняла разговор на политику. И, к моей радости, в словах ее я чувствовал наши слова, нашу революцию — большевистскую.

Мне оставалось только поддакивать, к тому же под конец смены лопата и уголь становятся очень тяжелыми.

Айрола спорить не мог.

Во-первых, после того случая, когда он вытащил браунинг, у него было меньше охоты спорить; во-вторых, потому, что он почти ничего не понимал из того, что говорила незнакомка. И, кажется, даже сердился на это.

Разные бывают на свете женщины, и та, которую мы взяли на паровоз, вероятно, тебе понравилась бы так же, как и мне.

Узнав от меня подробности о нашем поезде, она радостно вздохнула:

— Как это хорошо, что в Финляндии тоже вспыхнула революция!

— О, она бы вспыхнула еще в ноябре, если бы не такие! — И я показал ей лопатой на Айрола.

— Чего ты там рассусоливаешь! — рассердился он и выглянул в окошко.

Мы пролетали во тьме зимней ночи. Мокрые хлопья снега залетали к нам. Попадая на стенки топки, они шипели, как масло на сковородке.

— Скоро будет революция и в Германии, и во Франции, и во всем мире! — убежденно сказала девушка.

И я был с нею согласен. Она разоткровенничалась.

Никакого больного жениха и в помине не было.

Она была студенткой Пермского университета, агитатором губернского комитета партии и сейчас возвращалась обратно, совершив большую поездку по губернии.

— Мы национализировали уже все заводы в нашей губернии! — радуясь, сказала она. — Беда только, что отряды Красной гвардии очень плохо вооружены. Вот в трех верстах от следующей станции на заводе одна винтовка приходится на четырех красногвардейцев.

— Товарищ Мария... — сказал я ей. Я на всю жизнь запомнил ее лицо и имя, но вот фамилию забыл еще до первого семафора. Русские фамилии трудно запоминаются. — Товарищ Мария, мы возем с собой чуть ли не два вагона конфискованного оружия. Мы его забрали у анархистов, нам оно совсем не нужно, и мы с удовольствием отдадим его заводским красногвардейцам.

Надо было видеть, как она обрадовалась, услышав эти слова.

Я объяснил Айрола, в чем дело. Он был согласен со мной — незачем нам дальше везти оружие. Так мы и порешили.

И вот снова слепой семафор, но у нас еще есть вода, поэтому ничего не стоит замедлить ход, а потом мы уже проходили здесь, и Айрола помнит профиль дороги.

Мы подошли снова к водоналивной колонке.

Я потянулся за шлангом.

Мария спустилась по лесенке вниз и сразу стала белой от налипшего на нее снега. И нужно было напрягать зрение, чтобы не потерять ее, пока она быстро переходила пути к станции.

Вдруг раздался выстрел. Стреляла, наверно, она.

Таймио подходил уже к паровозу.

Я соскочил ему навстречу и побежал к станции.

— Таймио, за мной! — крикнул я ему. — Пассажирка в опасности!

— Как, ты взял пассажирку? — изумился приятель.

— Подробности после!

— Зачем вы стреляли, Мария? — спросил я задыхаясь, когда догнал ее.

— Я убила волка, — ответила она.

И мы вместе вошли в помещение.

Дежурный опять спал. Мы его разбудили.

В комнату вошел комиссар и стал методически счищать снег со своей одежды.

Я познакомил его с Марией. Они быстро договорились.

— Надо будет выгрузить оружие, — сказал он. — Задержка на час-полтора, а затем дальше... Дай жезл.

Но дежурный жезла дать не мог, так как в его распоряжении не было ни одного.

Мария стала расспрашивать, нельзя ли найти лошадь до завода. Но лошадей на станции нельзя было достать.

— Я пойду тогда на своих двоих, — решила она. И вытащила из сумочки бутерброд: — Вот подкреплюсь и пойду.

— Послушайте, Мария, — сказал я: — сейчас метель, темно, волки!

— Против волков у меня есть приспособление. — И она, улыбнувшись, показала револьвер. — Стрелять я умею — вы сами в этом убедились; дорога здесь прямая — и слепой пройдет.

— Подождите утра.

— Рабочие должны быть вооружены немедленно. Контрреволюционеры могут выступить каждую минуту. И потом, скажите: почему вы не ждете, не медлите с доставкой хлеба в Суоми? Ведь ночь, холодно, волки... — смеясь, продолжала она.

Хлопнув на прощанье дверью, Мария ушла со станции.

Я слышал, как со скрипом и грохотом отворялись двери вагонов, где было свалено конфискованное оружие.

Наши готовились к выгрузке.

Я вышел из помещения.

Ветер сразу же бросил мне в глаза пухлый и мокрый снег. Но даже при этом ветре слышно было, как жалобно гудят провода.

Я представил себе, как Мария по такой погоде шагает одна-одинешенька к заводу; у меня сжалось сердце, и я побежал к паровозу.

Чудесная девушка! Как она радовалась нашему решению, улыбалась, подробно расспрашивала о числе винтовок, о патронах. И при этом ее синие глубокие глаза светились.

Вот теперь и Россия встает перед нами, как эта прекрасная девушка, голодная, с сияющими глазами, восхищенная тем, что уже ею сделано, но еще больше тем, что предстоит совершить.

Айрола с Таймио и сменным машинистом о чем-то громко разговаривали в тендере.

Сменный машинист говорил о том, что он боится в такую погоду вести поезд по незнакомым местам. И что на пути наверняка есть снежные заносы.

— Надо вести! — настаивал Таймио.

И тут я взглянул на топку и обмер.

Такой позор! Я оставил открытой шуровочную дверцу!

Разговаривая об оружии с Марией и Айрола, я забыл наставление о раструске и бросал уголь в топку как придется, без раструски. Такая закидка осаживает слой топлива, уплотняет его, заглушает каналы и прекращает доступ воздуха и в слой угля и в топочное пространство — и вот результат: топка моя заглохла.

И я стою с лопатой в руках перед топкой, как болван.

Нет, не пошли мне впрок лекции Таймио о спекающихся углях, об углях длиннопламенных, о тощем и жирном угле, о шлаке и об антраците.

Теперь придется очищать топку и снова растапливать, поднимать пар. Моя оплошность задерживает поезд не меньше чем на шесть часов, а то и больше. Я вычеркиваю своим преступлением героическую работу слесарей и Вани.

Рядом со мной стоят уже Таймио, сменный машинист и Айрола. Они смотрят на заглохшую топку и на меня.

Они сразу понимают, в чем дело. И отчаяние, написанное на моем лице, очевидно, удерживает их от брани.

Но мне это молчание тяжелее сносить, чем самую оскорбительную ругань.

Айрола, наверно, думает о том, что это все из-за Марии и что рассуждать о политике легче, чем работать кочегаром.

Машинист, видимо, желая успокоить и утешить, хлопает меня по плечу:

— Не волнуйся, паренек, не волнуйся.

Как тяжела мне его снисходительность!

— Не волнуйся, я и то думал, что пора нам почистить основательно топку.

— Товарищи, через полчаса мы всё выгрузим, и можно будет отправляться, — всовывает к нам свою запорошенную снегом голову комиссар.

— Не выйдет, — тихо говорит Айрола. — Мы должны основательно почистить топку.

— Ну, тогда я пока не буду выгружать оружия в снег, — говорит комиссар и исчезает в темноте.

— Только быстрее, ребята! — доносится к нам из выюги.

Будят сменщиков.

Меня и Айрола отпускают спать. Мы и так поработали сверх срока.

Но я долго не могу заснуть. Меня мучает совесть. И мне очень стыдно и перед товарищами, и перед голодными хельсинкскими ребятами, и перед тобой.

Я просыпаюсь. Солнце светит в промерзшее стекло. Я покрыт двумя одеялами, пальто, и все-таки очень холодно.

В кухне пусто. По коридору кто-то пробегает, мне слышны быстрые шаги, хлопанье дверей и голос:

— Закутайся получше!..

Это Ханна кричит своему Мальме.

Потом я слышу голос комиссара:

— Лопат не хватает, придется что-нибудь приспособить.

Я быстро одеваюсь и, не умывшись, выскакиваю из вагона.

От холодахватило дыхание.

Вижу комиссара, лицо его укутано шерстяным платком.

Яркое солнце сияет в каждой снежинке так, что становится больно глазам. А снегу-то ночью навалило сколько!

Почти весь наш состав остановился в выемке, проделанной строителями дороги в скале. Только передние вагоны, классные и багажные, вышли вперед. И вот только они и видны, остальные целиком — так что ни колес, ни крыш не видать — засыпаны снегом. И вся выемка чуть ли не доверху, метра на четыре, наполнена свежим, выпавшим за ночь снегом. Откуда-то из-за выемки слышны голоса.

Это кричат красногвардейцы из последнего вагона.

Однако как это крик их доходит из-под снега?

— Дура ты! — объясняет мне Ваня («дура» здесь считается гораздо оскорбительнее, чем «дурак»). — Это не из-под снега. Последние вагоны ведь не в выемке стоят, их не замело. Вагонов двадцать засыпало...

— Тоже хватает! — прерывает его излияния комиссар. И обращаясь ко мне: — Тебе бы сейчас полагалось со своими красногвардейцами быть. Видишь, им без тебя сюда не добраться.

Я сам чувствую двойственность своего положения: как начальнику охраны, мне бы действительно следовало быть в хвостовом вагоне, как кочегару — отдыхать в классном.

Паровоз наш тщетно пытается сдвинуть с места поезд. Маленький, еле заметный толчок. Вот и все, что получается от всех его усилий.

Он пыхтит, шипит, выпускает пар.

— Теперь, наверно, в каждой выемке столько снега, — меланхолически говорит Таймио. — Трудновато будет проехать!

Комиссар отдает распоряжение всем взять лопаты и совки и все, что есть похожего на лопаты, и приниматься за работу.

Другого выхода, конечно, нет. Но всем еще до начала работы ясно, что на откапывание уйдет уйма времени, тем более — лопат не хватает.

Мы поднимаем на ноги всю бригаду.

Интересно знать, что делает охрана?

Помогают ли они там или только бранятся?

Один из кондукторов всю старается — он орудует простой доской.

Ханне лопаткой служит большая круглая сковородка с длинной ручкой.

Мы работаем. Но даже после получаса усиленной работы результаты ее почти не видны.

— Это все равно, что стаканами вычерпывать озеро, — говорит Мальме, переводя дыхание.

Наш паровоз, подняв пар, с разбегу подходит к поезду. И снова только легкий толчок, от которого даже не осыпаются снежинки.

Паровоз делает отчаянные усилия сдвинуть с места состав.

Мы все бросили работу и с замиранием сердца следим: вытащит, не вытащит? Вытащит!.. Не взять!

И вдруг рванул, взял, пошел!

— Урра! Урра!

Поезд идет, как ему и положено идти. Но наша радость быстро сменяется разочарованием.

Да, поезд идет — по рельсам; но этот поезд состоит всего из паровоза, тендера, вагона-склада, вагона-кухни, классного вагона и одного товарного. Остальные попрежнему погребены под снегом и покоятся на рельсах без малейшего признака движения.

— Авария... — мрачно бормочет себе в усы Карвонен. — Авария! Вырван крюк!.. А ну, за работу! — командует нам комиссар.

И мы все с остервенением принимаемся откапывать вагоны из-под снега.

С трудом открывая дверь, засыпанную снаружи плотно прилегающим снегом, из станционного помещения выходит вчерашний дежурный.

Он жмурится от яркого света и, приставив ладонь к козырьку, несколько секунд любуется на нас. Потом куда-то уходит.

Как Мария? Дошла ли она?

Дежурный притащил со станции три большие деревянные лопаты, предназначенные для очистки снега.

Мы его благодарим и с удвоенной яростью принимаемся за наш труд.

Он же стоит, как каменное изваяние, и смотрит на нас, потом растирает уши снегом и вежливо отвечает:

— Не стоит благодарности! — И, постояв минутку, уходит обратно к себе на станцию. Закрывая дверь, он кричит нам: —

Снегоочиститель с платформой к вам на подмогу с завода вышел!

Он, кажется, смеется над нами.

Мы продолжаем работать молча. А после часа такой работы необходимо выпить хотя бы стакан воды или кофе и немного подзакусить.

Ханна, проделывая чудеса со своей сковородкой, не рассчитала, копнула глубоко и загребла слишком много снега. Ручка сковородки отломалась. Ханна очень огорчена.

— Переведи ей, Эйно, мои слова, — говорит Ваня: — Ханна, не печалься. Я припаяю всё, как полагается. Лучше иди сейчас и приготовь завтрак.

И Ханна ушла на кухню.

Но сегодня мы решаем завтракать поочередно, чтобы ни на секунду не прекращалась работа.

Крики охраны перестали доходить до нас. Наверно, мои красногвардейцы тоже занялись делом. Из кухни начинают возвращаться ребята.

И у всех у них разочарованный вид. Некоторые даже отплевываются.

Ваня, конечно, как обычно ругается вовсю:

— Нет, ты понимаешь, на этой паршивой станции нет чистой, хорошей воды! Колодец один, да и тот замерз, а вода из шланга как венское питье: солоновато-горькая... Ханна мне ручкой машет — не пей, значит. А я думал, что она смеется, и залпом глотнул стакан. Нет уж, спасибо!

Айрола тоже говорит о том, что здешнюю воду нельзя пить.

Чорт дери! Если бы из-за меня не заглохла топка, поезд наш был бы далеко от этой забытой богом, занесенной снегами станции, на которой даже нет приличной питьевой воды.

Мы работаем как чорт знает кто — и вдруг слышим свистки и гул и видим: справа движется к станции снежная буря. Снежный порог, падун.

Что бы это могло значить?

Дежурный снова выходит на платформу.

Нет, он не врал. Действительно, по подъездному пути к нам навстречу, расчищая путь, разгоняя по сторонам снежные залежи, идет, ревя и грохоча, снегоочиститель и тянет еще за собой платформу, и на платформе чернеют человеческие фигуры.

Как мы до сих пор не заметили этого подъездного пути?

— Куда эта ветка? — спрашивает комиссар дежурного.

— К заводу, — отвечает дежурный и снова уходит к себе.

Снег бурлил и кипел под щетками снегоочистителя, как вода на Иматре. Наконец, подойдя чуть ли не вплотную к нашему паровозу, снегоочиститель остановился. С открытой платформы,

которая была к нему прицеплена, соскочило больше двадцати человек. Они были одеты как придется и самых разных возрастов — бородачи, лица которых морщинисты, как кожа черепахи, и совсем безусые, розовощекие парни. Двое были вооружены. Соскочив с платформы, они сразу же стали бегать на месте, хлопать ладонью о ладонь, оттирать лица снегом и бороться друг с другом.

На платформе стояло несколько больших бидонов, в каких обычно перевозят молоко, и лежала груда лопат.

Старший подошел к нашему комиссару:

— Это финский революционный поезд?

— Да.

— Я — литейщик, помощник начальника Красной гвардии здешнего завода. Товарищ Мария, — и он назвал фамилию, которую я забыл, — послала нас к вам за оружием.

— Да, у нас есть для вас оружие, — ответил комиссар. — Только оно под снегом, берите его. — И он показал на занесенные снегом вагоны.

— А мы это знали, мы откопаем! — развеселился литейщик. — Лопаты с собой прихватили.

И они сразу же, не теряя времени на лишние разговоры, приступили к работе.

— Давай наперегонки: с одной стороны ваши копают, с другой — мои. Чья возьмет!

— Ладно, — сказал комиссар.

И мы поднажали на работенку.

Через полчаса видно было, как русские красногвардейцы легко нас обштопывают.

— Нам, после литейной или прокатной, это просто отдых на чистом воздухе, — шутил литейщик.

— Твои, небось, с утра подзаправились, — вызывающе сказал Ваня, — а у нас во рту маковой росинки сегодня не было! Вода у вас — скот травить!

— Не жалуйся, Ваня, — сказал я ему.

Таймю достал с паровоза запасную тяжелую лопату.

Он швырял в сторону снег с таким видом, словно стоял у топки и шуровал. Кондуктора выбивались из сил.

Услышав Ванину жалобу, литейщик хлопнул себя ладонью по лбу:

— Вот башка дырявая! Мы знали, что на станции воду ну-тро не принимает. Специально, товарищи, для вас три бидона молока привезли и хлеба мешок. Мария велела.

И он послал людей тащить с платформы драгоценный груз.

— Куда прикажете?

Комиссар распорядился, чтобы несли на кухню.

— Пусть Ханна согреет нам немного молока.

Пока красногвардейцы таскали бидоны с молоком, мы поднажали.

— А ну, а ну веселей! — покрикивал старший литейщик на своих людей.

Просто удивительно было, как быстро пошла работа. И работать как будто легче и не так холодно.

Правда, дело к полудню приближается. Часам к двум дня отрыли мы из-под снега наш поезд настолько, что паровоз мог взять состав, не срывая с вагонов прицепные крюки.

Как только состав тронулся и поезд пошел, мы не выдержали и все враз — и русские красногвардейцы и наша бригада — в один голос закричали:

— Ура!

Подали к самой станционной площадке два вагона с сорванными пломбами и с оружием, отобранном у анархистов.

— Отняли у анархистов, передаем большевикам! — гордо сказал комиссар.

И вместе с литейщиками пошли они в дежурку составлять акт сдачи оружия, а красногвардейцы принялись выгружать из наших вагонов винтовки, револьверы, патроны, гранаты. Я же побежал к последнему вагону, к своим красногвардейцам, которые заперлись сейчас в вагоне и не подавали никаких признаков жизни. Я постучал.

Дверь отворил Вирта. Пять человек с увлечением чистили свои винтовки. Пальцы их лоснились от ружейного масла. Шомполы и протирки лежали на скамейке.

С особым азартом прочищал шомполом канал винтовки длинный Лейно.

Четверо сидели, поджав ноги, и играли в карты.

— Так ты говоришь, что козырной туз у тебя? — учтиво спросил один игрок другого.

— Да, говорю.

— Так вот съешь это!..

— Товарищи! Что вы делаете весь день?

— Как — что? — изумились они.

— А разве можно было что-нибудь делать?

— Мы покричали немножко, инструкций не получили, ну и сели играть в карты — время скоротать. Тем более, что нашились охотники почистить наши винтовки.

— Это недостойно революционного красногвардейца! — сказал я возможно решительнее и, взяв колоду, разорвал ее в мелкие клочья.

Да, я вижу, что напрасно несколько ночевок провел в классном вагоне.

По правде говоря, парни-то у меня все отличные, и все добровольцы, и все хотят драться с врагами. Я сам виноват, что не занимался с ними как следует.

К нам прицепляют вагон с оборвавшимся сцепным крюком, и наш вагон с этой станции перестает быть последним. Паровоз уже дает гудок.

Я выскакиваю последний раз на перрон.

Дежурный где-то разыскал жезл и сует его нашему машинисту. Стрелка переведена как надо.

— Впереди нас пойдет снегоочиститель, — говорит комиссар. — Спасибо за помощь, товарищи!

— Да не стоит благодарности! — уклоняется литейщик. — Не знаю уж, как вы дальше проедете: там мост через реку взорван.

— Переедем! — уверенно говорит комиссар.

— Переедем, — повторяю я за ним, но сердце у меня падает. Поезд наш двигается с места.

— Товарищ, товарищ! — кричу я с подножки литейщику. — А почему сама Мария не приехала с вами на станцию?

— У Марии обморожены ноги, она лежит в заводской амбулатории! — кричит он мне и машет на прощанье рукой.

Прощай, станция, прощай, Мария! Прощай навсегда!

Впереди нас идет снегоочиститель.

Пожалуй, мое преступление не принесет несчастья.

Если бы не задержались на станции — не было бы снегоочистителя. Он идет впереди, как водопад.

Без него мы могли утонуть в снегу на первой же версте.

Ребята набили до отказа свои животы белым хлебом.

Сейчас они лежат и блаженно улыбаются.

VIII

Сколько верстовых столбов оставили мы за собой! Две тысячи. Ночью мы проехали столб с дощечкой, на одной стороне которой написано «Европа», на другой — «Азия». Мои ребята по этому случаю дали залп в воздух.

Урал! Дорога извивается на его отрогах, как уж.

Вертимся, вертимся мы по этому пути часа два-три, чтобы потом увидеть, что не ушли никуда, а только поднялись вверх — и вот виднеется глубоко внизу ничтожным спичечным коробком полустанок, который мы оставили, кажется, так давно. На склонах гор стоят бесконечные сосновые леса. Когда наш поезд останавливается на полустанках, нас сразу окружает такая тишина, как в сказке о спящей красавице.

— Молодчина этот Рахья! — радуется Айрола. — Очень

приличные профиля вычертил. Кое-где неточно — я подправляю для следующих поездов. Но какой молодец!

На остановке Ханна хвастается сковородкой, которую Ваня починил так хорошо, что она стала даже лучше и прочнее, чем новая.

Таймио сообщил мне по секрету, что он уже выучил всю азбуку Морзе... Откуда у него хватило времени на это? Прямо удивительно.

В нашей теплушке всех потешает своими рассказами самый высокий и самый тощий из моих красногвардейцев — Лейно.

Сегодня, когда я в своей смене на паровозе шуровал, в песочницах замерз песок и перестал сыпаться на рельсы. Рельсы скользкие, поезд наш очень длинный, вагоны идут порожняком — сцепление с рельсами, значит, неважное; никак без посыпки песком не обойтись — колеса на месте скользить будут, а песочница, как назло, ни тпру ни ну. Хоть плачь. Паровоз работает с полной нагрузкой, а движемся медленнее черепахи.

— Э, нельзя же здесь замерзать нам, надо и до стокеров дожить, — сказал Таймио и, взяв большую лопатку и ведро из вагона-склада, соскочил с поезда.

Он побежал сбоку, проваливаясь в снег, и скоро обогнал паровоз и ушел далеко вперед.

Так пассажиры, когда приходится проходить много шлюзов, обгоняют свой пароход и ждут его у какого-нибудь четвертого, пятого шлюза. Так Таймио обогнал поезд.

Мы все смотрели и ждали, что же он будет делать.

А он своей лопаткой снял снег с земли и потом стал разрыхлять песок насыпи, крошить добытые смерзшиеся комья песка и насыпать в свое ведро. Наполнив его до краев, он ждет, пока паровоз дотянет весь длинный состав до того места, где он стоит, и передает кондуктору ведро, а сам берет другое — заранее приготовленное. Он велит кондуктору сесть на предохранительную решетку, что впереди паровоза, и насыпать вручную.

Вместе с Таймио теперь обгоняют паровоз уже три человека; смеясь и переругиваясь, они наскребывают из-под снега песок.

И вот уже два человека сидят на решетке, как на носу парохода, и сыплют на рельсы, под колеса, песок.

Поезд увереннее движется по рельсам. Паровоз наш ускоряет ход.

И тем, кто набирает песок, нужно идти вперед уже не медленным шагом, а бежать, как бегут спринтеры на короткие дистанции. Но они рады этому развлечению, и, глядя на них, веселятся все.

Впереди — как герольды в сказках Топелиуса — бегут до-

бытчики песка. Над самыми фонарями сидят кондукторы и вручную посыпают песком путь. И так наш поезд продвигается вперед по Уральским горам. Ты себе не можешь представить всего великолепия этой картины!

Когда наступает темнота, комиссар решает разделить наш поезд на две части и так вести до конца Уральских отрогов. Сначала паровоз выводит к станции и там оставляет первые двадцать вагонов. Потом идет обратно и подводит к станции вторые двадцать вагонов.

Так решил комиссар, и нам, охране, ничего не оставалось, как пойти в свой вагон и лечь спать до первой тревоги... Я рассказал своим парням перед сном, как мы относимся к русским социал-демократам, какая разница между большевиками и меньшевиками и почему большевики сразу признали независимость Суоми.

Ночь прошла без всяких тревог и авралов.

Утром подошла моя очередь стоять у топки.

В результате этой поездки я стану сносным кочегаром. Сейчас мне работается гораздо легче, чем в первые мои смены, и в следующий раз я возьмусь исполнять уже и другие обязанности кочегара.

Как за ночь изменился вид окружающего нас мира! Нигде уже не видно гор. Наш поезд идет во всю силу своих котлов и поршней по широкой равнине. По всему горизонту стоят темные леса и светит солнце. До чего великолепен и обширен мир!

— Ты не шути, Эйно, — сказал мне совсем серьезно Айрола: — комиссар сегодня ночью действительно спас вам жизнь.

Мимо нас пролетали снежные равнины и леса.

Литейщик был прав. Мост через широченную реку взорван.

В среднем пролете одни скрюченные балки тянутся к небу, другие устало склоняются ко льду.

Каменные быки с обычным упорством недвижно стоят на своих местах. Но их выносливость на этот раз бесполезна. Среднего пролета нет.

Мы закручинились, потому что никто из нас не мог придумать, как перевести поезд.

Наш поезд остановился около дорожной будки.

Смотритель, который остался оберегать мост, подошел к паровозу и сказал невнятно:

— Вам повезло: сегодня приехали... а приехали бы три дня назад — пришлось бы так и стоять.

— Что он говорит? — спросил Айрола.

Я сам толком не мог понять, чем доволен старик, но слова его перевел Айрола.

Айрола стал всматриваться в то, что творилось на этом берегу реки, на льду и на противоположном берегу.

— Сегодня уже третий состав переходит по льду, — гордо заявил старик, поглаживая редкую седую бороденку. — Молодцы саперы-железнодорожники! Они не только взорвать, они и построить сумеют.

И, словно отвечая на его слова, Айрола обрадованно толкнул меня в бок, так что я просыпал уголь с лопаты.

— Смотри, смотри, Эйно, они проложили рельсы по льду. По льду проложили путь, чорт бы их побрал!

— Ежели вам обратно нужно, торопитесь, не смотрите, что сейчас холодно. Не за горами и Арина — сорви берега... В России — Родион — ревучие воды, а у нас в Арину — сорви берега ледолом начинается.

Рахья ничего не сказал нам про взорванный мост. Значит, успел проскочить еще по целому.

Все население нашего поезда высыпало из вагонов.

Комиссар, Айрола, Таймио и я, сдав свою лопату сменщику, пошли посмотреть на диковинный путь, пролежавший по льду реки.

Таймио, присев на корточки, внимательно стал разглядывать рельсы.

Снизу были рельсы; на рельсы, крепко привинченные, легли пропитанные креозотом шпалы; поверх шпал, уже как обычно, были положены обыкновенные рельсы.

Неужели поезд может пройти по льду? Мне кажется, что лед этот с трудом выдерживает тяжесть самого пути.

— Все зависит теперь от тяжести паровоза и крепости льда, — резонно ответил Айрола.

— Никогда не слыхал о подобных дорогах. Думаю: их нигде не было!

Но меня осадил комиссар:

— Эйно, у тебя склонность к преувеличениям. Лично я знаю еще два таких примера. Иногда в Архангельске, в суровую зиму, прокладывают путь от вокзала к городу по льду Северной Двины; а во время войны русских с японцами через Байкал была проложена ветка, чтобы не кружить по берегам.

Он помолчал и затем улыбнулся:

— Правда, в конце концов, паровоз провалился под лед... Ерундовый был паровоз — я его спустя много лет увидел. Он тогда уже бегал по дачным местам.

Тут речь комиссара была прервана криками и выстрелами в воздух. К нам с другого берега бежали вооруженные люди. Они стреляли в воздух и делали нам знаки, чтобы мы отошли от рельсов.

Мы выполнили их требование — и тогда они, видимо, успокоились.

Это не русские солдаты, хотя в их речи я и мог уловить порой отдаленное сходство с русской.

Это и не латыши, и не немцы, и не австрийцы, хотя они и были одеты в форму австрийских солдат.

Да, не в пример нашим и русским красногвардейцам, одеты они были превосходно.

Солдаты эти оберегали новые пути по льду, которые они же сами проложили.

Закончилась постройка, как говорил смотритель моста, сегодня ночью.

Нет, они ничего не имели против того, чтобы наш поезд прошел по их пути. Они только требовали точного соблюдения их правил.

А какие это были правила, мы не могли понять, пока не пришел их унтер-офицер. Он по-русски говорил не лучше нашего комиссара, и если комиссар недостающие ему русские слова заменял шведскими, то унтер точно так же ввертывал в свою речь немецкие.

Но все же им удалось довольно скоро сговориться, хотя сначала комиссар решительно протестовал против отдельных пунктов соглашения; однако иностранный унтер был непреклонен.

Он должен был лично убедиться, что мы не везем никакого оружия.

Пришлось сбить все пломбы с дверных запоров. Он сам заглянул в каждый вагон. И осмотр этот его вполне удовлетворил.

Наши вагоны, как это тебе известно, были совсем пусты.

Теперь до Омска нам идти без пломб, и моей охране прибавляется работа — следить, чтобы в вагоны не набирались безбилетные пассажиры.

Вторым его условием было — но это уже чистая техника, а не политика, — чтобы паровоз наш не перетаскивал по рельсам, проложенным через лед, больше пяти вагонов сразу.

— Если с грузом, тогда можно только два. — И унтер многозначительно поднял руку. Ее обтягивала белая лайковая перчатка, совсем как у полицейского.

— А нельзя ли ваш паровоз совсем здесь оставить для переправы? — осведомился смотритель моста. — Легкий он!

— Молчи, молчи, — шикнул на него Ваня.

И тот замолчал.

Потом Ваня тихо спросил сторожа:

— Что это за люди?

— Люди-то они чистые, деловые. Чехословаки. Хоть и не за красных, кажется, а есть и среди них хорошие.

И в самом деле это были чехословацкие части, укомплектованные из военнопленных. Они в то время продвигались — согласно договору с Совнаркомом — на восток.

Наш паровоз с пятью первыми вагонами медленно пошел к реке.

Саперы действительно были молодцами. Они так ловко набросали, утрамбовали снег, что спуск на реку был почти не замечен.

Был предвесенний солнечный день.

Глаза болели от белизны сияющего на солнце снега. И было ясно: хотя мороз и пощипывал подбородок — зиме скоро конец.

Паровоз шел медленно — это тоже было техническим условием.

Мы бежали рядом и смотрели, как прогибаются под тяжестью вагонов рельсы, как мелкой-мелкой дрожью дрожит снежный балласт.

Мы шли, затаив дыхание, и только раз показалось нам, что мы слышим треск подающегося под тяжестью льда.

Тогда я взглянул на комиссара — лицо его было бледно. Таймио судорожно зевал. Ваня сорвал с головы шапку и запустил пятерню в свои непокорные волосы.

Но это была ложная тревога. Странно только, что все мы слышали этот треск.

Я остался на другом берегу — поджидать, пока не переведут весь поезд.

В следующие рейсы из предосторожности паровоз брал с собой только по четыре вагона и вел их еще медленнее. На переправу ушел целый день.

Я смотрел, как ползут по белому снегу через реку наши черные вагоны, и мне становилось ясным, почему наш поезд называют траурным.

Вот он приближается к этому берегу, к кострам, разложенным на откосах, у которых чехословаки кипятят себе чай и поджаривают свинину.

Они оберегают переправу.

А река-то какая широкая! Во всей Суоми нет таких широких рек, а в России эта река даже и не славится своей шириной.

— Теперь мне совсем ясно одно, — говорит комиссар, прибывший с третьей партией вагонов.

— А что именно, товарищ комиссар?

— Мы должны возвратиться гораздо скорее, чтобы успеть проскочить до ледохода.

Да, если вскрыется река, мы рискуем застрять здесь на нескончаемые времена или пойти в обход через Челябинск.

А товарищи на фронте будут без хлеба.

Скорее! Скорее! Но через лед надо медленно вести вагоны — иначе он может треснуть.

IX

Еще прошли сутки. Вот мы и миновали Иртыш.

Высокие кресты омских колоколен далеко видны... Деревянный город тянется вдоль по реке... Черный, голый березняк кладбищ и роц встречает нас. Бесконечная путаница путей — маневровых, подъездных, запасных.

Гудки, свистки, рожки.

Поезда маневрируют, проходят на всех путях взад и вперед, и только настоящий железнодорожник может разобраться во всем этом смятении.

На путях я замечаю эшелон с военными, такими же молодежаватыми и хорошо одетыми, как и те, которых мы встречали позавчера.

Вот и Омск!

Мы гурьбой вываливаемся с вокзала, оставив только дежурную охрану.

Кто идет на базар, кто просто пошататься по городу. И среди гуляющих, конечно, Ваня Заливин. Он ищет парикмахерскую.

А их у привокзальной площади целых три.

— Дяденька, как у вас там наверху? Все тихо?.. Дяденька, поймай воробышка! — увиваются за длинным Лейно ребятишки.

Но он, не понимая, о чем они тараторят, идет неприступно-важно. И даже смеется над Вирта:

— В парикмахерскую-то не зайдешь? Лысеешь?..

— Что плетешь, — флегматично отвечает Вирта, — это даже к лучшему: бог лица прибавляет.

— Это Омск? — шутя спрашивает Ваня милиционера, стоящего на перекрестке.

— Нет, — отвечает тот совершенно серьезно, — это еще не Омск, а Атамановский хутор. Омск дальше будет.

Ваня в полном недоумении переспрашивает милиционера, но тот упорствует.

— Поворачивай обратно, — растерянно говорит Ваня, — поворачивай обратно — раньше остановки слезли.

Но комиссар непреклонен:

— По твоему же справочнику, Заливин, здесь может быть только Омск — другой станции нет.

И все-таки он колеблется — наш комиссар.

Возможно, что и в справочник вкралась опечатка?

— До самого Омска-города тут еще с полверсты шагать надо, — упорствует милиционер. — Здесь Атамановский хутор, а там, на берегу Оми, — и он показал рукой, где именно, — Волчий хвост и Нахаловск... А в город, к центру, еще с полверсты. Вот!..

Нет, все-таки вышло так, что мы остановили свой поезд там, где положено.

Ребята вошли в парикмахерскую, чтобы, побрившись, отправиться на гулянье.

Мы с комиссаром остались вдвоем. Он, перед тем как уйти с поезда, чисто выбрился, выбил пыль из одежды.

И вот мы идем по незнакомым зимним улицам большого сибирского города, который, несмотря на каменные дома на главной улице, очень напоминает мне деревню.

А ведь жителей в нем вдвое больше, чем в Виипури. Нас догоняет Айрола.

Ему любопытно, как комиссар будет добывать хлеб.

В кожаной сумке, которую комиссар несет на ремне через плечо, несколько толстенных пачек керенок. Я затрудняюсь сказать, на сколько рублей, но если принять во внимание, что каждая керенка (сорок рублей) напечатана на бумажке, равной половине пятимарковой кредитки, и если я скажу тебе, что бумажек больше пяти фунтов, ты поймешь, что комиссар захватил с собой порядочную сумму.

По дороге в Совет нам пришлось пройти через базар. Здесь продавали поджаренное мясо, пирожки, пельмени, которые готовились на глазах покупателя; на рынке был хлеб — он продавался не из-под полы.

Я обязательно задержался бы на этом базаре, на котором к тому же весело играли гармонисты, но комиссар не дал мне задерживаться:

— Идем, идем!

— Газета! Последние новости! Газета! — завопил мальчишка, вынырнув неожиданно из-за угла.

Я, сгорая от желания узнать, что творится в Суоми — где фронт? захвачен ли нами уже север? — купил листок у газетчика.

— Что такое Ермак? — спросил меня комиссар.

Газетка называлась «Ермак» — «орган свободной народной мысли».

Нет, я решительно не знаю, что означает слово «Ермак». И мне пришлось, краснея, сознаться комиссару, что я совсем уж не такой хороший переводчик, каким он считает меня.

Так, разговаривая, дошли мы до здания Совета.

Народ входил и выходил из помещения. В вестибюле спали вповалку люди; винтовки были составлены в козлы.

Суется и хлопая дверьми, выбегали солидные люди, юноши с портфелями и парни в кожаных куртках шоферов.

— Куда? — остановил нас, преградив путь, красногвардеец.

Навстречу нам быстро прошел офицер-чехословак.

— К председателю исполнительного комитета.

— Подождите, там заседание президиума.

— Вот это-то и хорошо — сразу весь президиум! — обрадовался комиссар.

Но красногвардеец был неумолим.

Я вырвал из своего блокнота листок и написал: «Делегация финского пролетариата просит немедленно принять» — и, сунув бумажку проходившему мимо нас человеку с пропуском, попросил передать ее председателю.

В ожидании ответа мы с комиссаром стали разглядывать газетку под загадочным названием «Ермак».

Нет, к сожалению, здесь не было ни одного слова о Финляндии; нет, мы не нашли ни одной строки даже нонпарели о нашей революции.

Правда, была телеграмма, в которой сообщалось: «Большевистское правительство, опасаясь немцев, которые недовольны своими агентами, бежит из Петрограда в Москву». И телеграмма о том, что Соединенные Штаты согласны с союзными правительствами в том, что нельзя признавать правительства, не утвержденного учредительным собранием.

Был большой отдел «Разруха». Этого слова я тоже не мог перевести на финский, потому что не понимал сам.

— Да это такая же рвань, как наша «Саномат»! — плюнул комиссар и возмутился: — И почему русские товарищи разрешают выпускать такие провокаторские листки?

В отделе «Местная жизнь» я набрел на заметку, которая мне очень не понравилась.

«Голод в Сибири... Наш край — житница России — переживает неслыханный в нашей истории голод... Особенно голодают в городах, где население оторвано от земли... Никакими мерами не убедишь крестьян продавать хлеб за деньги, ценность которых неопределенная и на которые почти ничего купить нельзя... Если бы не германские пленные, размещенные батраками по деревням, — на предстоящий сев рассчитывать тоже никак нельзя было бы... Тем более, что кормильцы, взятые в армию — несмотря на то что большевики декларировали мир, — еще не вернулись, и неизвестно, вернутся ли домой.

Почта ведь почти бездействует... В какое страшное время живем мы!!!»

Таким возгласом, подтвержденным тремя восклицательными знаками, кончалась эта заметка, нагнавшая на меня уныние; я перевел ее Айрола.

Он покачал своей рыжей головой и укоризненно сказал:

— Я ведь говорил, что в такое время на чужой хлеб особенно рассчитывать не приходится!..

В эту минуту нас позвали на заседание президиума исполкома. Мы пошли по темному коридору.

У дверей комнаты, на стульях, сидели красногвардейцы с винтовками в руках.

Гранаты висели на их поясах; на груди перекрещивались пулеметные ленты. И, как две ручные собаки, молча стояли у их ног, по обе стороны дверей, пулеметы.

Мы вошли в комнату.

В этой комнате было трудно дышать — так было в ней накурено.

Воздух от табачного дыма казался синевато-серым.

Вокруг стола, за которым сидел председатель, заседали человек одиннадцать членов исполкома.

Заседание явно было чрезвычайным и тревожным.

— В чем дело, товарищи? Предъявите ваши мандаты, — не дав произнести ни слова, обратился к нам председатель.

Комиссар молча вытащил бумаги и расстелил их на столе перед председателем.

Тот так же молча изучал их.

— Да, — наконец сказал он, — подпись товарища Ленина на этом деле имеется... Предлагаю, товарищи, приветствовать представителей мировой революции, революции финских пролетариев. — С этими словами он встал и протянул комиссару руку.

Все зааплодировали и тоже встали со своих мест.

Какой-то веселый парень тряс руку Айрола. Тот был заметно смущен.

Председатель предоставил слово Карвонену, и комиссар рассказал о цели нашей поездки.

И тогда на минуту в комнате воцарилась тишина.

— Сколько у нас хлеба, товарищ Петров, исключая, конечно, красногвардейские запасы?

— Немного.

И снова молчание.

— На поезд целый наскребем?

— Из элеватора — нет. На двадцать вагонов — максимум.

— Наши вагоны не такие большегрузные, как русские, — попытался успокоить Петрова комиссар.

— От силы двадцать, — уныло повторил Петров. — Правда, к завтрашнему дню мы поджидаем обсз — сбоз с конфискованным хлебом, но ты ведь знаешь, что прибывающий хлеб с неделю назад расписан по организациям и учреждениям.

— Все равно надо дать, — сказал председатель. — Подумайте только, на что этот хлеб идет!.. Интересы пролетарской революции у нас на первом плане!..

— Да, но поймут ли наши сибирские голодные рабочие смысл вашего распоряжения? Финская революция далеко, а собственные животы близко. Сумеет ли крестьянство, у которого конфискован хлеб для омских пролетариев, осмыслить такую передачу? — сказал человек с подстриженной клинышком бородкой, в белом воротничке с галстуком, сбитым на сторону.

Если бы не это последнее обстоятельство, он очень был бы похож на наших профсоюзных работников и на Айрола.

И тогда молодой парень, который так горячо тряс руку Айрола, вскипел:

— Я так и знал, что представители «социалистических» патриотических фракций будут протестовать против любого акта международной солидарности! В то время, когда великие вожди научного социализма...

Председатель резко встал со своего места и, притушив папирску о край пепельницы, прервал парня:

— Как и всегда, меньшевики клеветают на русских рабочих! Наши рабочие великолепно поймут и поддержат то, что идет на пользу революции трудящихся. Вспомните забастовки солидарности, вплоть до всеобщей! Вспомните расстреливаемые на площадях демонстрации протестов! Да на каждой странице нашего движения вы найдете сколько угодно примеров. Наши рабочие, совершившие великий переворот, не поймут нас, если мы оттолкнем руку пролетариев, протянутую к нам за помощью, и наши рабочие никогда не простят нам отказа. Господа меньшевики свое нежелание хотят выдать за непонимание рабочего класса. Их номер и на этот раз не пройдет. Хлеб для братской революции мы дадим... Голосую.

Девять рук — за!

Меньшевик голосовал против, один воздержался.

— Что это ты делаешь? — удивился председатель действиям Карвонена.

Тот, отстегнув свою сумку, торжественно положил ее на стол перед председателем:

— Это деньги за хлеб, за хлеб, который вы нам дадите.

— Эх, — вздохнул Петров, — хлеб-то дороже нам всяких денег! Возьми обратно свои деньги, товарищ!

Председатель снова пожал руку комиссару Карвонену, потом пожал руку мне и Айрола.

И так мы дружески стали пожимать руки всем товарищам... за исключением, конечно, того, кто голосовал против.

Этот человек сразу же после голосования вышел куда-то из комнаты...

— Оставь деньги при себе, прикупишь на них хлеба на базаре или в окрестных деревнях. Петров оформит вам все дело.

Мы пошли к выходу в сопровождении Петрова.

— Видите ли, дорогие товарищи, — сказал Петров, собственноручно выписывая нам требование на зерно и приказ о выдаче: — на весь состав хлеба у нас не хватит, придется вам закупить в окрестных деревнях. Так вот, мне кажется, что вам легче было бы сговориться со своими финнами. В нашем уезде, недалеко от Омска, есть чуть ли не целая финская волость. Богатейшие деревни. Обратитесь к ним.

Да, я еще с детства помню разговоры об этих сибирских деревнях, куда царь ссылал воров, святотатцев, убийц и других преступников.

Говорили потом, что они и их потомство в Сибири недурно устроились. Но кто мог у нас в Суоми поверить, что в холодной Сибири можно неплохо устроиться?

— Слыхивал про эти селения, — сказал комиссар, — но полагал, что в них сплошная нищета.

— Вот что, товарищи, — решил вдруг Петров: — надо вам на всякий случай дать охрану из наших красногвардейцев. — И он стал вызывать по телефону штаб Красной гвардии и социалистической Красной Армии.

Телефон работал прескверно, но все-таки через полчаса дежурный доложил, что двенадцать красногвардейцев подошли к зданию Совета и ждут дальнейших распоряжений товарища Петрова.

Тогда Петров еще раз перерешил:

— Я пойду вместе с вами, ребята, и красногвардейцев тоже захватим, чтобы все сошло совсем гладко. И так хватает неприятностей.

Мы вышли все на морозную улицу сибирского города Омска.

Красногвардейцы шли рядом с нами, врассыпную, не соблюдая строя.

— Ну что, Айрола? — решил я посмеяться над своим машинистом-скептиком. — Ну что, Айрола, мало денег мы с собой захватили?

Но Айрола не ответил. Он шел всю обратную дорогу молча, о чем-то сосредоточенно думая, и я не стал мешать ему

думать. По дороге нам встретился трактир, на крыльце которого стояли наши слесари.

— Идемте, товарищи, к поезду! — приказал им комиссар.

— Там внутри есть еще ребята...

Они пошли с комиссаром, а я забежал в трактир, чтобы вызвать остальных.

Уже зажигали висячие керосиновые лампы.

За загородкой стояло разбитое пианино. Жалобно тянула мелодию скрипка, и один певец, тягуче и проникновенно, немного гнусавя, пел:

И будешь ты царицей мира...
Подруга верная моя..

И было в этом жарком, полутемном трактире, где воблу запивали пустым чаем, ужасно одиноко, и тоска подступала ко всем столикам.

— Послушай его, послушай его, ведь он слепой! — прошептал мне Ваня.

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное...

— Это он жене своей поет, а она за пианино сидит, и тоже слепая.

Я дам тебе все, все земное... —

продолжал жаловаться слепой певец.

— Идем, Ваня!

И я вывел его за плечо из трактира.

Поезда мы на старом месте уже не нашли.

Он, маневрируя, передвигался к элеватору.

Х

Из элеватора зерно шло по полотняным рукавам вниз, в вагоны, которые стояли на путях, почти вплотную подходивших к самому зданию. Мы ссыпали это зерно через люки, закрыв двери вагонов. Оно текло по холщовому шлангу — золотое сибирское зерно, сытная, крупная пшеница.

Ты удивилась бы, дорогая, если бы увидела, сколько голубей живет в здании элеватора! Это настоящее птичье государство. И как они смелы, эти птицы, как они злятся, когда потревожишь их! Просто удивительно, как их много.

Когда Петров предъявил сторожу все нужные пропуска и ордера, сторож, кряхтя, поднялся со своего места и, жалуюсь

на то, что никогда так мало не было зерна на элеваторе, как сейчас, открыл нам двери.

— Время уже неприсутственное... Моего начальника нету. Дайте расписку, что насильно открыли.

Нет, Петров расписки не дал, а послал одного своего крас-ногвардейца, чтобы тот доставил заведующего элеватором.

Заведующий пришел встревоженный и расстроенный; он было вообразил, что на элеватор произошел налет, но, увидев Петрова, успокоился:

— Все, значит, по закону...

А товарищ Петров свой вывод сделал и сообщил его нашему комиссару:

— Охраны здесь мало. Надо будет обязательно целый взвод поставить.

Когда мы увидимся, я подробно опишу тебе устройство элеватора, а сейчас побегу посмотреть, как течет по шлангам золотое рассыпчатое зерно в наши черные вагоны. Сторож разузнал, кто мы такие и куда повезем зерно, и заворчал на Петрова:

— У самих народ с голоду падает, а ты чухонцам хлеб stravляешь. — И потом, помолчав, спросил его: — Сколько, ты думаешь, самогону выйти может с одного вагона пшеницы?

— Не знаю! — буркнул в ответ Петров.

— Вот то-то и дело, что не знаешь! — укоризненно наставлял старик.

— Айрола, Айрола, мало, говоришь, денег с собой захватили? Не дадут нам русские хлеба — у самих, говоришь, голод?

Но Айрола не отвечает.

Товарищ Петров был прав, пшеницы в элеваторе хватило только на двадцать четыре наших вагона.

— Завтра к утру ожидаем обозы, — говорит Петров. — Кое-что от них можно будет взять. Вагонов шесть. Остальное придется вам самим в деревнях организовать, что ли.

— Ну, до свиданья, товарищ Петров! До утра.

Какой отличный солнечный день! На солнышке чуть ли не тает.

Обоз рано утром, конечно, не пришел. Петров уже второй раз наведывался к нам.

Сейчас он уехал на экстренное заседание исполкома. Но как только он уехал, показались первые сани длинющего обоза.

На санях-розвальнях наложены мешки. Даже издали мож-

но понять, что везут зерно. Впереди идут вооруженные рабочие. Около каждой саней сбоку по двое.

Рядом с обозом идет много народу со слободы. Запыхавшись, к элеватору подбегает какой-то человек и тычет заведующему бумажку:

— Я представитель национализированного завода. Из этого зерна, по разверстке комитета и Совета, нам причитается десять пятипудовых мешков.

— Ничего вы не получите, всё финны заберут! — зло отвечает ему заведующий элеватором.

— Ну, это мы еще посмотрим! — вызывающе отвечает вновь прибывший. И обращается к подоспевшему за ним товарищу: — Немедленно вызови наших ребят.

А обоз все приближается — слышен скрип полозьев, ржанье лошадей.

Вся картина напоминает мне приближение обоза из Кандалакши к Рованиemi, обоза с военным снаряжением. Какими далекими кажутся те дни!

И я вижу: у передних, остановившихся около ворот элеватора саней старик-сторож что-то говорит сопровождающим обоз вооруженным людям и случайным прохожим.

До меня доносятся обрывки фраз:

— Наш хлеб тратить на иностранцев!

— Ерунда, дед, не может быть! — отвечает сторожу один вооруженный и проводит лошадь под уздцы во двор.

Во двор вслед за первыми санями въезжает еще пятьдесят саней — и все с мешками, плотно набитыми зерном... И двор уже полон народа.

— Для чего же мы по деревням рыскали? — спрашивает один вооруженный рабочий другого.

Тот пожимает плечами и отвечает:

— Не может этого быть!

Я посылаю Ваню Заливина немедленно бытребовать по телефону Петрова, а то может произойти недоразумение.

Во двор вливается новая большая толпа рабочих и женщин в платочках, повидимому их жен.

— Правда, товарищ, что все запасы в черный поезд для заграницы погрузили? — спрашивают заведующего элеватором.

— Правда, правда! — ехидно подтверждает тот.

— Пока не выясним — не сдавай хлеб!

— Вези по организациям!

— Чего уши развесили? Возьмем обратно!

— У нас своих детей разве нет?

— Товарищи, — говорит стоящий вблизи него вооруженным людям представитель четвертого завода, — у кого из вас спис-

ки? Мы сами сейчас явочным порядком разнарядку по учреждениям и предприятиям произведем.

У самых ворот, со всего хода, кучер осаживает лошадей. Откинув полость, из саней выскакивает человек и быстро идет к элеватору.

Его встречают гулом голосов.

Он спокойно доходит до середины двора и взбирается на сани, на мешки с зерном.

— Товарищи!.. — Голос его заглушает гул.

Люди перестают шуметь и внимательно смотрят на него.

Нет, это не Петров — приехал сам председатель.

— Товарищи, зачем вы сейчас все здесь, почему такое собрание?

— Хлеб забирают для заграницы!

— Буржуи иностранные пшеницы нашей захотели!

— Товарищи, вас обманули. Никаким иностранным буржуям не дадим мы нашего хлеба ни одного золотника.

— Правильно!

— Верно говоришь!

— Отнять обратно у них хлеб!

— Вчера на заседании исполкома меньшевики говорили, что омские рабочие не понимают разницы между буржуями и своими заграничными братьями — такими же рабочими, как и они сами. И я посмел от вашего имени заявить меньшевикам, что они лгут и клеветают! Ни одного фунта хлеба западной буржуазии! Но если там трудящиеся восстанут против паразитов и если там трудящиеся устроят революцию, чтобы соединиться с нами, и если они будут там голодать так, что наши затруднения в сравнении с их голодом — детские игрушки, и если они, помогая нам, попросят у нас помощи — разве мы не поможем им? Меньшевики сказали: «Рабочие этого не поймут», — и я еще раз назвал их лгунами и предателями, и от вашего имени, омские рабочие, сказал: мы поможем!

— О чем речь? Поможем...

— Я первым записываюсь добровольцем в их Красную гвардию...

— Я вижу, что не ошибся... Нет, у них есть своя крепкая гвардия, и в помощи добровольцев сейчас они не нуждаются. Финские трудящиеся устроили у себя революцию и скинули буржуазию. Они организовали Красную гвардию. И теперь их Красная гвардия дерется с белой. И финская Красная гвардия осталась без хлеба; она дерется всюду, но если белым помогает вся мировая буржуазия, то неужели же мы не поможем революционному народу! Вечный позор тогда падет на наши головы и проклятие всех сознательных рабочих мира!

И настала тишина.

Мне кажется, что я слышал, как бьется сердце моего соседа. Молчат...

И тогда председатель сказал:

— Ну как же?

Из толпы выскочил вооруженный красногвардеец, взобрался на мешки, стал рядом с председателем и, опершись на винтовку, звонким голосом закричал:

— О чем может быть разговор! Товарищ председатель нас хорошо знает! Мы не волки в лесу — не молимся колесу, мы братьям своим должны помочь... Поможем! Я предлагаю, чтобы по справедливости — половину обоза, который мы привели, финским революционным рабочим, а другую половину оставим себе, для своих красногвардейцев, рабочих, ребятишек и жен... Правильно я говорю или нет?

И тут снова раздался гул голосов, но сейчас легко было уловить в этом гуле радостное одобрение.

— Правильно!

— Правильно! — раздались голоса. — Так и сделаем!

— Правильно! — громко сказал председатель.

— Товарищи! — это уже говорил представитель другого завода. — Чтобы смыть обиду, которую мы нанесли финским рабочим, которых приняли за буржуазию, предлагаю помочь им. А чтобы было все ясно — с каждой саней поровну! Половину оставляем, половину несем в вагоны... Товарищи финские рабочие, вы это дело можете проверить!

— Мы вам и так верим! — громко крикнул в ответ комиссар.

И вот наши парни из поездной бригады и охраны поезда и русские рабочие, красногвардейцы, словно соревнуясь между собой в силе и быстроте работы, потащили тяжелые мешки к нашим черным вагонам, которые жадно распахнули свои двери.

— Чем так тащить, лучше цепью! — кричал Ваня.

Но цепь ему не удалось организовать.

Каждый сам, лично, хотел дотащить мешок до черного вагона, а в вагонах мешки принимались другими сильными руками, которые укладывали эти плотные мешки в ряды.

— Эх, ухнем!

— Веселей! Веселей! — раздавались то и дело окрики.

Возчики подвязали к мордам лошадей кошелки, и по всему двору шел мерный хруст пережевываемого овса.

— Не можешь поднять? — издевался один рабочий над другим, неумело подхватившим мешок. — Бери пример с меня, знаменитого крючника!

Я увидел Айрола: он стоял на ступеньке паровоза и изумленно глядел, как русские, сгибая под тяжестью мешков свои

спины, весело, взапуски с нашими людьми, грузили свой кровный, с таким трудом добытый хлеб.

И я видел, как слеза текла по щеке Айрола, и он позабыл ее смахнуть... Мне стало неловко подглядывать за своим машинистом. И я побежал к саням за мешком:

— Спасибо! Спасибо, товарищи!

Наш поезд отходит на запасный путь. Подбрасывая уголь в топку, я услышал возглас председателя:

— Да здравствует международная солидарность трудящихся! Да здравствует революция!

И возглас этот был подхвачен и покрыт громким: «Ура!»

И тогда я выпрямился и посмотрел прямо в лицо — прямо в глаза своему машинисту:

— Ну как, Айрола?

И он отвечал мне немного растерянно, но с нескрываемой радостью:

— Я ошибся, я не знал русских рабочих!

XI

Так загрузили восемь вагонов. Оставалось пустых еще восемь.

— Три вагона я постараюсь закупить на вольном рынке, — сказал комиссар.

Два вагона взялся достать Ваня Заливин у местного крестьянства. И его два вагона поезд отвел на запад на тридцать верст.

Перед отъездом Ваня для чего-то забрал у нас все наличные финские марки, плутовски подмигивая и улыбаясь своим тайным мыслям.

Мне было поручено достать хлеб у финских переселенцев.

Паровоз доставил меня, троих моих красногвардейцев и три пустых вагона на какую-то глухую станцию — верст семьдесят на восток от Омска.

Затем, дав на прощанье три пронзительных свистка, он ушел обратно в Омск, оставив нас совсем одних на этой незнакомой, заброшенной сибирской станции.

Если верить рассказам, в семи верстах от станции должно было находиться большое финское село, носящее имя Хельсинки, в девятнадцати верстах — другое, Або. И дальше еще несколько селений.

Я оставил двоих красногвардейцев у вагонов, а сам с Лейнанял розвальни у случайно проезжавшего мимо станции крестьянина.

Как будто бы по заказу, последние дни были не холодные и солнечные.

— Да, — говорил степенный возница, — ни за что не пове-
ришь, что это воры и громилы, — зажиточно живут.

В село мы приехали засветло.

Большие, просторные бревенчатые дома, сытые собаки и по-
нашему одетые люди, с трубками в зубах — вот что увидели
мы, въехав по главной улице в эту просторную деревню.

— Мало у кого из них нет десяти коров, — сказал, про-
щаясь с нами, возница и, сохраняя на лице выражение край-
него почтения, концом вожжи подхлестнул лошадей.

В деревне было шумно, и я пошел на звуки гармоники. Око-
ло дома, в котором играла гармоника, столпилось немало лю-
дей.

Гармоника уступила место скрипке, а та стала тонко жало-
ваться на судьбу.

— Веселее! Веселее! — пьяные голоса подгоняли скрипку.

— Танцевальную!

Да, разговор шел на финском языке; правда, произношение
было не саволакское.

Я, распахнув дверь и пройдя сени, вошел в горницу.

— Откуда будешь?

— Прямо из Суоми, к вам!

— Давно, давно не видели мы живого человека из настоя-
щего Хельсинки.

Все окружили меня. Всем было интересно узнать новости с
родины, даже той молодежи, которая здесь родилась и выросла.

— Как там живут?

— Вышел ли закон о торпарях?

— Правда, что сейм красный? — Они забросали меня во-
просами.

Младший сын кузнеца, сосланного сюда четверть века назад
за чеканку фальшивых монет — как рассказали мне после сло-
воохотливые люди, — сегодня женится, и вот я прямо попал на
его свадьбу.

На столе стояло так много прекрасных, вкусных кушаний,
что я пожалел, почему нет рядом со мной тебя и Лиола. Здесь
были и жареные жирные гуси, и янтарный мед, и огромные бе-
лые пироги из крупчатки, и нашпигованные зайцы, и масло, и
пекки-лейпа, и простокваша, и длинные рыбы, названия кото-
рых я не помню, и патока — сахара не было, — и пузатые ков-
ши с хмельным самогоном.

Меня усадили, как почетного гостя, как вестника с родины,
в красный угол — рядом с отцом невесты и отцом жениха, ста-
риком-кузнецом.

— Я, милые, сюда по делам, — сказал я старикам.

— Ладно, какие дела, снег еще ведь не сошел. Пей-ешь. После свадьбы и поговорим.

— А когда свадьба кончится? — полюбопытствовал я.

— Через три дня.

Нет, я решил сегодня же покончить с делом — ждать три дня было бы глупо.

— А правда, что у вас у каждого по десяти коров? — рассведомился я у стариков.

Они довольно засмеялись.

— У меня тридцать одна, — сказал один.

— У меня двадцать семь, — в тон ему заявил другой.

А так как в голосе я не уловил и тени насмешки и они не оспаривали количества голов скота друг друга, приходилось им верить.

— А сколько у вас пашни?

— Не сравнить с Суоми, — заторопились с рассказами старики.

— Первый раз здесь я и понял, что такое земля.

— Да и сколько ее — во! — И старик развел руками, чтобы показать, сколько здесь земли.

А так как он был уже навеселе и не мог хорошо рассчитать движения, то задел окорок, лежавший на блюде, и чуть-чуть не сбросил его на пол.

Над этим вдоволь посмеялись.

Потом один из присутствующих поднялся и стал говорить громко и внятно, так, как говорят не совсем трезвые люди, стремящиеся доказать всем окружающим, что у них все в порядке и что пройти по одной половине — сущий пустяк.

К нему подошли жених и невеста, которая показалась мне намного старше жениха.

И он при полном молчании собравшихся совершил над ними обряд венчания.

Это меня очень удивило, и я, чтобы не оскорблять чувств родителей новобрачных, спросил у одного молодца, что это означает?

— Это Каарло Парвиайнен, прислан сюда лет пятнадцать назад — за неисправимое воровство... отличный человек... Все службы наизусть знает. У нас на всю губернию один пастор — в Омске, — и почти никогда не застать его дома. Вот у нас его и заменяет Каарло — и венчает, и крестит, и хоронит. А два раза в год приезжает пастор и законно скрепляет гуртом все, что сделал Каарло.

Немало подивившись здешним порядкам и увидев, что многие из гостей растрогались под влиянием алкоголя настолько,

что целуются друг с другом и объявляют о своей вечной дружбе, я решил, что настало самое время действовать. Я влез на лавочку и стал говорить о прекрасной нашей родине Суоми, о ее озерах и о ее свободных сынах, о ее непроходимых лесах и прекрасных девушках — слышишь, Тюне, и о прекрасных девушках! И все они поднимали свои стаканы и кричали: «Ура!»

Потом я говорил о борьбе, которую ведет наша трудовая родина с вековыми угнетателями, и о несчастье, поразившем народ, — о голоде.

Я рассказал им, как нашим голодным рабочим помогли русские рабочие в Омске, и спросил: неужели их сердца, сердца финнов, будут глухи к тому, что происходит в Суоми?

И неужели же они, самый бедный из которых богаче пятидесяти торпарей, вместе взятых, неужели они окажутся в стороне и не помогут братьям?

— Да как же это можно! — растроганно крикнула невеста.

И жених ласково взглянул на нее, радуясь такой сердечности своей любезной.

— Конечно, дадим! — сказал один из стариков.

— Дадим, а ты выпей здоровье и долголетие новобрачных!

Я проглотил залпом стакан крепкого самогона, и у меня зашумело в голове. Ноги перестали держать меня, и я, стараясь не свалиться под стол, уселся на скамейке.

Какие-то фигуры кружились передо мной, и голоса их сливались в неразличимый гул, из которого время от времени я вылавливал отдельные громкие фразы:

— Три вагона — это пустяки! Наберем!

— Двести пудов сразу дам, если один из прибывших положит меня на обе лопатки! — гордо сказал жених, выступив на середину избы.

И все кругом восторженно зааплодировали и закричали. Он был таким парнем, каким и полагается быть сыну деревенского кузнеца.

Двести пудов прельстили меня. Я встал со скамьи, но легкое прикосновение соседа заставило меня покачнуться. Нет, из-за лишнего стакана самогона эти двести пудов пошли прахом.

И я вижу, что мой красногвардеец Лейно, длинный Лейно, выступает вперед, как цапля, и принимает вызов молодожена. И завязывается борьба.

Гости обступают борющихся. Затаив дыхание, исходя потом, наблюдают они это неожиданное единоборство.

Нет, Лейно может взять первенство в лыжном пробеге, но французская борьба — блюдо не для него. И как он ни извивается, а все-таки ложится на обе лопатки.

И все хохочут и снова быют в ладоши.

И лавка подо мной кружится и хочет куда-то улететь.

— Надо закусить жирным.

Я хочу взять со стола кусок шпика, но рука хватает ломоть белого хлеба.

И тогда я вижу: молодая вскакивает на лавку и звонко кричит:

— Мой муж давал двести пудов, если кто его победит, а я даю триста за то, что победил он!

И все снова кричат: «Ура!» — и бьют в ладоши.

— Моя кровь, моя кровь! — гордо кричит отец молодой и начинает меня выпрашивать о здоровье своих дальних родственников в Финляндии, о которых я не имею ни малейшего понятия.

И снова комната идет кругом.

И тогда один из гостей встает из-за стола, выбегает на середину комнаты и рычит:

— Если Айно дала триста пудов, то неужели же я отстану!

И он рвет одну пуговицу со своего жилета и швыряет ее на пол. Словно громкий вздох проносится по избе. И тогда он рвет другую, и третью, и четвертую пуговицы жилета и швыряет их, одну за другой, на пол.

Старуха ползает по полу на четвереньках, подбирая пуговицы; потом она распарывает материю и вытаскивает из каждой блестящую золотую монету.

— Вот молодец! — шепчет мне восторженно на ухо отец жениха. — Он обокрал три собора, три собора! И тогда его прислали сюда. Это человек!

.
.

Я просыпаюсь уже на воздухе. Очень болит голова... Я открываю глаза и вижу, что лежу на мешках с зерном; впереди и позади идут еще сани, и командует обозом длинный Лейно.

И тогда я понимаю, что всё, за исключением меня, в порядке, и снова засыпаю.

Второй раз я просыпаюсь от пронзительных гудков и сильного толчка... Потом Айрола трясет мне руку и говорит:

— На паровоз!

И я просыпаюсь окончательно.

— Всё в порядке, товарищ начальник, — по-военному докладывает мне Лейно, — все вагоны загружены!

Я иду на паровоз. Новый свисток — и паровоз тащит вверенные мне три вагона к Омску. И мне тогда делается отчаянно стыдно за свое непробудное пьянство и как-то совестно спро-

силь у Таймио, который сейчас занят шуровкой, какое сегодня число. Итак, в полном неведении, сколько дней мы прокутили, сижу я на своем паровозе.

Как ловко работает Таймио! Глядя на него, ни за что не скажешь, что работа тяжелая.

А ведь он гораздо слабее меня.

— Твой приятель Ваня Заливин, — говорит мне Таймио, забросив очередную порцию угля, — натворил неподобное. Комиссар влепил ему выговор. Ты только подумай: он закупил хлеб у здешних кулаков на наши финские марки, уверив их, что это лучшие американские деньги. Он оправдывался перед комиссаром тем, что обманул только кулаков и никак не позорил поезд.

Айрола тоже возмущенно пожимает плечами. Но уже я не слышу от него обычных слов об отсталости России.

— А комиссар-то хлеб добыл на рынке?

— Не полный комплект, но добыл.

Снова составлен наш поезд, и снова паровоз стоит под парами.

В дежурке чешский офицер спорит с дежурным.

Дежурный говорит:

— Путь свободен, и у нас есть распоряжение выпустить финский поезд немедленно.

— Да, но ведь в Финляндии революция! — недоумевает офицер.

— Именно поэтому, — отвечает дежурный и вручает жезл нашему машинисту.

Прощай, Омск!

Колеса стучат уже по мосту. Внизу Иртыш.

— Скоро вскрыется, — говорит комиссар.

XII

Мы простучали по небольшому деревянному мостику.

Лед на речке был совсем темный. Вблизи от моста чернела полынья.

— Дружная будет весна! — И Таймио сбросил фуражку.

Даже без фуражки голове не было холодно.

Ветер с запада, ветер с родины трепал пряди его волос... Тюне!

На одной из станций подошел к нам вооруженный человек и потребовал провести его к комиссару.

Он сказал комиссару:

— Мы красный рабочий отряд. У нас есть сведения, что в Тюмени офицеры готовят контрреволюционный переворот. Мы спешим на помощь — сто четырнадцать штыков, — но у нас нет паровоза. Мы знаем, что ты едешь по заданию центра и у тебя есть записка от Ленина, но пойми, что нам тоже необходимо захватить врага врасплох.

— Ладно, — ответил комиссар. — Я подумаю.

Он рассказал нам о просьбе красногвардейцев.

— И ты обещал подумать? — изумился Мальме. — Почему ты сразу же не сказал, что паровоз приписан к нашему поезду и никуда мы его отпускать не можем?

— А почему я должен был так сказать?

— Вдобавок мы торопимся доставить хлеб в Хельсинки, — поддержал Мальме Хурмеринта.

— Ну да! — обрадовался Мальме. — И потом это — внутреннее дело России. Не станем же мы вмешиваться в их внутренние дела!

— А голод в Суоми — это не наше внутреннее дело? — отрубил комиссар. — Но они все-таки вмешались же в наше внутреннее дело и отдали нам свой хлеб. Нет, я думаю, что мы обязаны помочь красногвардейцам.

Тогда я вмешался в разговор:

— Товарищ комиссар, я тоже за то, чтобы помочь русским товарищам в их деле, но посмотрите, какая кругом весенняя погода.

— Ну?

— Так ведь при таком солнце ледоход каждый день может начаться. Мост взорван. Путь по льду не вечен.

Комиссар задумался.

Мальме недоуменно пожимал плечами:

— К чему ввязываться в русские дела?

Комиссар встал и сказал:

— Все в порядке. Мы сначала переправим весь поезд на тот берег — хлебом рисковать нельзя, — а потом подвезем партизан до Тюмени. Паровозом рискнуть можно.

Русских товарищей решение комиссара совершенно устраивало.

Я взял лопату. Была моя смена стоять у топки. Мы гнали вовсю.

Айрола снизошел и сказал, что я способный ученик и скоро стану хорошим кочегаром.

К вечеру перед нами легла знакомая река. Рельсы попрежнему лежали на льду. Но лед был темный, кое-где в лужах отражались звезды.

И хотя кончилась моя смена, я пошел с комиссаром в раз-

ведку по шпалам. Пришлось в темноте перепрыгивать со шпалы на шпалу. Путь в порядке.

Мы вышли на другой берег к кострам. У костров было много людей. Несколько поездов стояло у переезда. Никто не решался переводить свои вагоны по такому неверному льду, все с нетерпением ждали ледохода.

— Тогда на пароме дело сорганизуем!

Внизу у первого быка стояла большая баржа. Она здесь зимовала во льду. Саперы положили на ее палубу рельсы, укрепили их и снизу подперли палубу особыми стойками. Обо всем этом рассказывал с увлечением старик — смотритель моста.

— Ты откулешний, дед? — спросил его кто-то.

— Да железнодорожный я, родился на восемьдесят седьмом разъезде.

— Эх, может быть, есть у кого граната — взорвать бы лед, чтобы хоть большое разводье вышло... — вслух стал мечтать машинист встречного поезда.

И вдруг мы услышали гудок нашего паровоза.

Все у костра повскакали с места.

Да, наш паровоз медленно шел по ледяному пути, таща за собой один груженный товарный вагон.

Мы не выдержали — побежали ему навстречу; за нами увязались и другие.

— Потонет, обязательно провалится! — испуганно говорил старик-смотритель, но и он не выдержал и заковылял к нашему паровозу.

Таймио высунулся из паровоза и, узнав меня в темноте, помахал рукой; а я бежал рядом с паровозом по талому льду, падая ногами в лужи, в какие только можно было попасть. Я бежал рядом и заглядывал под колеса и видел, как дрожат и уступают тяжести рельсы, и все во мне замирало.

Треснет лед или нет?

И когда паровоз наш смело выкатил вагон на берег, я видел, как старик-смотритель скинул шапку и стал, крестясь, приговаривать:

— Спасибо тебе, господи! Благодарим тебя, создатель!

И никто не смеялся над стариком.

— Неужели он пойдет еще раз? — изумляясь, спросил меня какой-то человек у костра.

— Не знаю.

Но паровоз наш пошел во второй раз, он привел и третью, и четвертую, и пятую теплушки.

Он работал всю ночь. И всю ночь у костров, когда вдруг трещал сучок, все встревоженно начинали вслушиваться, не лед

ли то трещит. Никто из нас ни на секунду не сомкнул глаз в эту страшную ночь.

Но вот уже встает над рекой рассвет, и снова становится очень холодно.

Наш паровоз истратил много угля.

Сорок три переезда через реку — туда и обратно. Мы с Айрола превратились в попрошайки: пошли по машинистам поездов, скопившихся у перевоза, и каждый дал нам по десяти ведер хорошего угля.

Пополнив таким образом свои топливные запасы, наш паровоз снова перешел реку, чтобы повести с первой станции три теплушки с русскими красногвардейцами в Тюмень.

Мы целые сутки ждали нашего паровоза.

Он не возвращался. Лед стал еще чернее, луж стало больше, и около берега, правда в полуверсте от пути, появилось разводье.

Мы проглядели все глаза, но не увидели ни одного паровозного дымка. И тогда комиссар сказал машинисту встречного поезда:

— Чем так ожидать у моря погоды, лучше отвел бы наш поезд на три перегона. Плата законными деньгами, керенками!

За керенки машинист не соглашался вести.

Тогда к нему подошел Ваня и сказал:

— Я даю два пуда муки. Идет?

Машинист согласился взять в придачу к бумажкам муку.

— Откуда у тебя, Иван, мука? — полюбопытствовал я.

— Ах да, ты к своим финнам ездил и не знаешь — мы просили у комиссара в Омске разрешения для своих домашних закупить продуктов за свой счет. Ну, умный человек, конечно, разрешил, но, говорит, не больше чем по три пуда. Мы и наволокли.

И Ваня помолчал.

— У меня семьи нет, у машиниста есть. Мы и сговорились. И нам выгода, и ему.

Так Ваня отдал свой хлеб, и поезд наш снова тронулся в путь — обратный путь на родину.

Мы везем хлеб голодным товарищам!

Как же нам не радоваться, дорогая моя Тюне! Как не радоваться мне, что я скоро увижу тебя!..

XIII

Так, меняя чужие паровозы, мы дошли почти до Екатеринбурга. Но в пяти километрах от города, на полустанке, нас задержало категорическое предписание: ни одного поезда, ни од-

ного паровоза, ни одного вагона на Екатеринбург не пропускать.

Все наши уговоры и доводы были бесполезны.

На полустанке находился красногвардейский отряд, для которого распоряжения Совета были законом.

Тщетно пытался комиссар сговориться с Екатеринбургом по телефону. Телефон бездействовал.

И было неизвестно, на сколько времени эта непредвиденная задержка.

Комиссар решил послать меня пешком в Екатеринбург — узнать причины задержки.

У меня немного болело горло и было сухо во рту. Но я не сказал об этом комиссару; перекинув через плечо винтовку, взял нужные бумаги и по шпалам зашагал к Екатеринбургу.

Вокруг было так светло от солнечного сияния, что болели глаза. Усердно журчали по обочинам молодые ручьи.

Но винтовка казалась мне слишком тяжелой, ноги подкашивались, и через каждые сто метров хотелось отдыхать.

Никакого движения на путях не было.

Так через три часа я дошел до самой станции. Я не знал, в каком здании мне следует разыскивать дежурного диспетчера. И хотя у меня очень болела голова, я все же удивлялся тому, как мало народу находится на путях. И почему не слышны гудки паровозов.

Но вдруг с привокзальной площади донеслась до меня громкая команда: «Смирно!», и я, спотыкаясь, побежал туда узнать, в чем дело.

Площадь была оцеплена, но меня пропустили. Мой рабочий вид и винтовка за плечами были лучшим пропуском.

— Скорей, скорей иди в строй, команда была! — подбодрял меня караульный, приняв, очевидно, за одного из своих.

От самых вокзальных дверей, от выхода к середине площади стояли две шеренги — рабочие с винтовками за плечами. Красная гвардия.

Шеренги были повернуты лицом друг к другу и стояли на расстоянии полутора шагов одна от другой, образуя длинный узкий коридор.

Моя унылая фигура посередине площади была слишком заметна, и младший командир крикнул, чтобы я становился в строй. И я стал последним на левом фланге.

Так прошла длинная минута ожидания, пока из города на вокзальную площадь не выехали три неказистых на вид, потрепанных автомобиля.

Они остановились у конца нашего живого коридора один за другим.

В каждом сидело по два хорошо вооруженных человека.

Один автомобиль стоял в двух шагах от меня.

И тогда снова раздалась команда: «Смирно!»

Раскрылась вокзальная дверь, и из нее вышли три человека с маузерами в руках.

Они медленно пошли по коридору, и вслед за ними вышел и пошел робкий человек среднего роста. Он был совсем безоружен и, шагая вдоль шеренги, старательно смотрел себе под ноги. Тщедушное и жалкое существо среди вооруженных конвоиров.

Вслед за этим человеком шел другой с револьвером в руке, за ним — высокая немолодая дама, и рядом с ней большой мальчик.

О, эти лица мне были слишком хорошо знакомы! Я видел их на тысячах фотографий и во всех иллюстрированных журналах. Потом пошли императорские дочери.

Да, императорские, потому что, дорогая моя Тюне, это проводили под конвоем по нашему жисому коридору бывшего самодержца — императора всероссийского Николая II, Кровавого.

Я стоял в трех шагах от него, когда он при гробовом молчании садился в автомобиль.

Александра с Алексеем сели в тот же автомобиль.

Эх, слишком уж нянчатся русские со своим бывшим императором! Расстрелять бы его, и крышка!

Шоферы стали заводить моторы.

У третьей машины рукоять долго проворачивалась на холостом ходу, пока наконец не заработал как следует мотор.

Автомобильные рожки — первый, второй, третий — и «августейшее» семейство под конвоем отбывает в свои новые апартаменты. Красногвардейцы перестраиваются и быстрым шагом уходят с площади.

Они идут в ту же сторону, куда умчались автомобили.

Я остаюсь на площади. У меня болит голова, подкашиваются ноги. Я даже не могу по-настоящему радоваться, что видел Николая II арестованным.

Или, может быть, все это мне привиделось в каком-то бреду?

Но уже грузят на телеги пожитки царской семьи. И уходят эти телеги тоже под конвоем красногвардейцев.

Площадь наполняется откуда-то появившимся народом, и я разыскиваю дежурного по станции и, опускаясь в дежурке на лавочку, спрашиваю его, почему он держит наш поезд и когда пропустит его?

Дежурный с удивлением смотрит на меня: винтовка сползла с плеча, и нет силы поправить ее, и сам я слышу свой голос

каким-то приглушенным и слабым, как будто идет он издалека. Дежурный говорит по телефону:

— Пропустить финский поезд.

Голова моя склоняется к коленям.

Меня приводят в себя шум, грохот подлетевшего к перрону поезда. Я встаю и вижу, как в окне мелькнули черные вагоны нашего поезда. И ведет их... Неужели я не ошибся? Как хорошо! Да, я не ошибся! Привел их наш паровоз.

Вот Таймио соскакивает с паровоза и идет по платформе.

Он видит меня, всплескивает руками и радостно бежит навстречу. Я бормочу в ответ какие-то слова. Но Таймио берет меня под руку и ведет, вернее — тащит, к классному вагону.

И вот я лежу на полке в купе, и Ваня Заливин стаскивает с меня ботинки.

Хаанна стоит в дверях и держит в руках термометр. Пока я измеряю температуру, купе наполняется товарищами.

И Ваня, чтобы развлечь меня, говорит:

— Ты видел Александру Федоровну, а я Александра Федоровича. Ну да, Керенского. Дело было так... Гостил в Петрограде у него в гостях, на потеху мировой буржуазии, министр французский — тоже социалист — Альбер Тома. Обработывал кое-кого. Настало ему времечко восвояси двигаться. Ну, ясно, поезд на Финляндский вокзал подали — и все в порядке, путь через Швецию! Но тут, на его беду, случились мы с приятелем как раз на перроне — из депо мы, не помню почему, решили через вокзал прогуляться. Вот эти министры целуются, милуются, речи свои произносят. Эх, была не была, думаю, где наша не пропадала! Прямо противно на них смотреть. Вложил я два пальца в рот — ну и засвистал. А под навесом свист сам знаешь как отдается. Министры встревожились, стали оглядываться по сторонам, какая причина такого явления. Ну, тут мои приятели тоже разошлись — и все свистать, как соловьи, пошли, а кто-то даже закричал:

— Долой десять министров-капиталистов!

Ну, французский меньшевик сразу под наш свист и заскочил к себе в вагон. И хоть до отхода поезда больше десяти минут осталось, больше не показывался. А Керенский, Александр Федорович, плечами этак нервно пожал и побежал к выходу, а за ним его адъютант, как курица, семенит. Смешно, право! Вот, Эйно, и все мое участие в исторических моментах. Я думаю, комиссар тоже в исторических переделках побывал? Расскажи нам, товарищ комиссар!

Конечно, комиссар бывал в разных переделках. И, откликаясь на вызов Вани, он рассказал про одну:

— Когда Шауман генерал-губернатора Бобрикова застре-

лил, я уже работал на железной дороге. Тело обратно в Петербург затребовали. Мы, железнодорожники, нарочно для трупа вагон 7777 подобрали. Со всех четырех сторон на вагоне семерки стоят, как косы. И все железнодорожники на всех станциях смысл этой цифры поняли. Означала она, что как скосили мы Бобрикова, так подкосим всякого, кто над нами будет издеваться. А когда новый царский губернатор приехал, условились мы его карету-ландо задержать, а вместо кареты к вокзалу ему катафалк подали. Вот какие мы штуки в молодости проделывали!.. Ну, а ты, Мальме, участвовал в исторических событиях?

Спокойный Мальме утвердительно качнул головой.

— Расскажи.

— Я был старшим кондуктором на том поезде, на котором товарищ Ленин из-за границы приехал.

— Ого! Ну, расскажи подробности про товарища Ленина!

— Ну, какие подробности! Ничего необыкновенного.

Больше из Мальме не удалось выудить ни слова. В купе оставалось еще двое мужчин: кочегар и Таймио. И, разумеется, они тоже должны были рассказать об исторических случаях.

Кочегар сказал:

— И у меня тоже есть история. Я только перед самым отъездом в этот маршрут узнал, что принимал самое деятельное участие в переброске товарища Ленина в Суоми в прошлом году, когда он от ищеек Керенского скрывался. Ялава, машинист мой, как-то говорит мне: «Сегодня я без тебя пойду». Ну, а мне лучше. Жалованье идет. Работать не надо. Одну смену пропустить можно. Ну и напился я в этот день с друзьями. А потом оказалось, что на моем паровозе, на моем месте, товарищ Ленин в Суоми как кочегар проехал.

— Да, выходит, что и ты вполне историческая личность, — усмехнулся Таймио. — Нет, я ни в каких таких случаях не принимал участия, и рассказывать мне не о чем...

— Да, — перебил я его, — но как же паровоз твой догнал нас? Я об этом еще не знаю.

Больше говорить я не мог. Меня лихорадило. Зуб на зуб не попадал.

— Ничего особенного. Пришли мы к берегу часа через два после того, как вы уехали. По такому льду нечего было уж и думать переводить паровоз. Двое суток ждали вскрытия реки. Там саперы динамитом воспользовались, весне помогли. Ну, лед и разломало. Сколько рыбы глушеной наверх всплыло! Мы полное ведро набрали. Ну, на первом пароме, на барже, и перегнали паровоз на левый берег. Правда, очень трудно было на рельсы ставить, но, во-первых, помогли с других поездов, а во-вто-

рых, сам знаешь, у нас ведь «лягушки» с собой захвачены были как раз для таких случаев...

Он продолжал еще говорить о чем-то, но у меня поплыли круги перед глазами, и я ничего уже не слышал.

— Да у него жар! Сорок градусов! — восклицает Ханна и склоняется надо мной.

Прядь волос ее щекочет мне щеку...

— Тюне, — говорю я ей, — я не знаю никаких исторических случаев. Сенаторы бежали на север!

— Я не Тюне, а Ханна, милый. Выпей водицы.

Колеса стучат настойчиво и упорно, как молот кузнеца, и кажется, что быют они у самого уха.

Какие-то тошнотворные запахи доходят ко мне из коридора вагона. И трудно разлепить веки.

Снова сны тяжелые, которые забываются, как только откроешь глаза или повернешься на другой бок.

— Пополощи горло.

Это говорит Ханна.

Снова колеса стучат. По коридору, стуча сапогами, проходит комиссар:

— Чехословаки восстали! Кому поверили? Против кого оружие подняли?

И снова рессоры трясут. Душно. Хочется пить.

Болит горло.

Так болел я несколько дней ангиной.

Меня заменили у топки. Поезд наш шел безостановочно.

Первый раз вышел я из вагона на перрон на станции Верецагино, где снова наши слесари приспособляли топку под дрова.

Спасибо Ханне: она так много ухаживала за мной во время болезни!

Я еще очень слаб.

Но мир широк и прекрасен, и скоро я увижу тебя, дорогая моя девочка!

XIV

Когда начальник станции раздраженно говорит, что у него нет для нашего паровоза дров, я с ним много не спорю.

Я вызываю своих красногвардейцев на перрон, строю их в одну шеренгу и громко приказываю:

— Взять начальника станции с собой в холодный вагон! Мы вас отвезем, — говорю ему, — до той станции, где нам дадут дрова.

И оказалось, что дрова на станции имеются.

Перепуганный начальник привел нас в большой сарай, где было навалено сажен тридцать сухих березовых дров.

Он вздохнул:

— Это мои личные дрова, но, ничего не поделаешь, берите их.

Дрова были явно краденые. Для трех комнатенок его квартиры за глаза хватило бы и четверти.

Мы взяли, сколько нужно было на перегон.

Разве можно медлить хотя бы одну лишнюю минуту, когда уже так недалеко Суоми! Трудовая Суоми, которая так ждет хлеба!

Мы сидели с Таймио на ступеньках площадки. Перед нами раскрылась огромная лесная Россия, но нам уже не было холодно, как раньше. Мы ощущали каждым вздохом идущую нам навстречу весну. Мы видели черные пятна земли, с которой уже сошел снег. Мы слышали неумолчное воркованье холодных ручьев и громкие крики черных галок.

Большая Россия опять шла перед нами. Но скоро мы займем свои места в отрядах нашей Красной гвардии, и если противник еще не добит, мы поможем добить его. Как жалко, что здесь не найти петроградских газет, а из местных ничего не узнаешь.

В Череповце начальник станции вежливо заявил нам, что он уже все знает про наш поезд и что местные власти предложили ему задержать наш состав, не пропускать его дальше.

— Да, но наша путевка на Хельсинки.

— Ничего не знаю.

И он тычет мне под нос бумажку, в которой, действительно, предлагается не пропускать нас дальше.

— Идем, Эйно, в Совет! — приказывает мне комиссар.

И мы уходим со станции, и сердца наши останавливаются, а кулаки сжимаются, когда мы видим, как наш поезд незнакомые люди перегоняют на запасные пути.

— Что бы могло означать такое распоряжение? — спрашиваю я комиссара.

Но он знает не больше меня и поэтому не отвечает.

Нас не сразу пропускают к председателю исполкома, но комиссар дает ломоть хлеба швейцару, уцелевшему здесь с незапамятных времен, и тот проводит нас по черной лестнице.

— Мы с финского поезда.

— Ну? — сурово спрашивает председатель.

Он очень худ и все время надрывно кашляет.

— Мы везем хлеб.

— Ну?

Снова кашель.

— Наш конечный пункт — Хельсинки.

— Ну?

— Так почему же, — взрывается наконец комиссар, — зная это, вы задерживаете нас?..

— Потому что, — и председатель встает с места, — потому что я не хочу отправлять хлеб немцам, кайзеру. Ясно?

— Так какой же кайзер! — все больше раздражается Карвонен. — Мы везем хлеб Совету народных уполномоченных.

Тогда председатель, ни слова не говоря, протягивает комиссару «Красную газету». И тычет пальцем в телеграмму.

— Нет, этого не может быть!

Карвонен стоит, как каменное изваяние.

Я перечитываю телеграмму несколько раз, и слова бессмысленно прыгают у меня перед глазами.

«В Хельсинки вошли войска германского кайзера, призванные на помощь финской буржуазией... Героическая защита красногвардейцев. Зверское уничтожение рабочих!»

Нет, этому поверить невозможно.

«Число убитых и замученных...»

— Теперь вы понимаете, в чем дело? — уже тепло спрашивает председатель. — Это несчастье, большое несчастье!

— Пропусти нас тогда на Петроград, — сказал каменным голосом комиссар.

Председатель при нас по телефону отдает распоряжение о пропуске, и мы выходим на улицу.

Карвонен идет молча. А день, словно назло, солнечный и теплый.

Поезд уже давно отошел от Череповца, а комиссар сидел на скамейке в своем купе и молчал. Потом привстал, снова сел и сказал мне:

— Эйно, может быть, это неправда? Послушай, может быть, это неправда!

— Товарищ Карвонен, — отвечал я ему, — товарищ Карвонен, может быть, только Хельсинки пал, а Виипури наш, Турку наш, Тампере, Ваза еще наши! Наши отряды, наверно, дерутся — они сбросят в море немцев!

Карвонен провел ладонью по лицу, словно снимая тонкую паутинку.

— Должна же наконец и в Германии быть революция. Да, должна! — Он стукнул кулаком по столику так, что подпрыгнул железнодорожный справочник, и вышел из купе.

Я остался один: Как же это так? И как об этом я сумею рассказать своим красногвардейцам? И что тогда делать мне? Что делать им?

Но это, может быть, еще и неправда?

С каждым часом, который приближает нас к Петрограду, становится все яснее, что это правда.

Да, мы потерпели поражение. Но не уничтожены. А если не уничтожены, мы еще можем победить! Мы еще победим! Но сейчас?

Если бы хоть ты была рядом...

Красногвардейцы мои и вся поездная бригада все время молчат... Молчат комиссар, и Таймио, и Айрола, и Лейно...

Даже Ваня Заливин и тот перестал насвистывать свои частушки.

Я знаю, почему молчит комиссар.

Почти на каждой станции встречаются наши паровозы, наши черные вагоны. Они набиты всяким добром. В одном эшелоне, шедшем на Буй, ехали люди. Но нам нельзя было остановиться, чтобы порасспросить. Может быть, в этих вагонах проехали семьи многих из нас, родные, жены, дети; может быть, ехала ты?

Вот, вот он — начальник охраны первого поезда с хлебом. Он стоит на перроне и громко разговаривает с Таймио и Ханной. Я подхожу ближе и слышу обрывки речи:

— Наш поезд в Хельсинки встречали цветами. Устроили в самом большом зале торжественное заседание, и после были танцы до самого утра, и цветы, цветы... Наш хлеб пошел в оборот. Ему так обрадовались!

Нет, я не могу всего этого слушать спокойно. Я отбежал в сторону.

Наш хлеб! Для чего мы так работали, чтобы доставить его!.. Лучше бы быть там, в боях, в боях в Хельсинки, перед смертью выпустить сотню пуль в белых...

Товарищ громко продолжает свой рассказ:

— Тогда мы решили угнать от них все, что возможно, — все паровозы, все грузы, все вагоны, мануфактуру, бумагу, олово, цинк, масло... Пусть получают пустую страну, страну без людей и товаров.

Он кончает свою речь, с отчаянием взмахнув рукой.

Тогда я подхожу к нему и спрашиваю — передал ли он мою записку тебе. Он смущается и говорит, что не видел тебя, потому что ты в те дни, когда он был в Хельсинки, была на фронте.

Поезд идет...

Через несколько часов будет уже Петроград, если нас не задержит Званка.

Говорят, в Петрограде очень много финских беженцев-рабочих.

— Переведи ему, — просит меня, утирая передником глаза, Ханна. — Переведи твоему приятелю, что рассказали мне беженцы на станции про наших женщин в Хельсинки.

Я перевожу Ване ее слова, и меня наполняет ненависть.

— «Наши дрались до последнего. Знаешь, у нас в Хельсинки есть Длинный мост. По этому мосту мы ходим из своих кварталов в центр... Наши заняли хорошую позицию у моста. Защищали этот переход. И три часа белые ничего не могли сделать с нами. Три часа не могли продвинуться ни на метр.

Они предъявили ультиматум.

Наши ответили выстрелами.

И через полчаса белые снова начали наступать.

Господи! Что это было за наступление! Мерзавцы! Мясники! Они поставили перед собою женщин, захваченных в плен сестер милосердия, детей и, подталкивая их, стали — шаг за шагом — продвигаться по мосту.

Они стреляли в наших, скрываясь за спинами наших женщин... Ты все ему переводишь, Эйно?.. Да? Так вот, женщины плакали и кричали и не хотели двигаться вперед. Их подталкивали штыками. А наши мужчины молчали. Ружья отказывались стрелять по своим. И было так тихо, что можно сойти с ума! И тогда одна из женщин не выдержала и закричала красногвардейцам:

«Да стреляйте! Стреляйте же! Нам все равно погибать. Бейте белых!»

Мясник прикончил ее ударом штыка. Но когда она упала, все женщины закричали:

«Стреляйте, товарищи!»

И тогда наши товарищи стали стрелять. Ружейный залп и треск пулеметов не могли заглушить вопля и стонов детей, матерей, пленных. Они не могли заглушить стонов стреляющих красногвардейцев.

Наши отбросили мясников с моста. Но потом они все-таки обошли наших. И вот... вот нам уже не приехать домой, Ваня...»

Ваня молчал.

— Ему не понять, что значит остаться без родины, — говорит Айрола и показывает на Заливина.

Я перевожу эти слова Ване.

— Без родины? — отвечает изумленно Ваня. — А это что? — И он показывает в окно, в котором мелькают необозримые просторы и леса России. — Это вам будет родина... А потом, и в Финляндии не всегда буржуи будут, — утешая, добавляет он.

И снова умолкает. И так мы молчим до самого села Рыбацкого.

Когда поезд подходит к станции, Ханна говорит:

— У меня на Длинном мосту застрелена сестра.

Она уходит в купе, плечи ее вздрагивают.

Нас по передаточной ветке переправляют на Финляндский вокзал. На всех путях видны наши классные вагоны и черные товарные.

— Мне как-то неловко идти к себе домой, когда у вас нет дома, — говорит мне Ваня. И, подумав, добавляет: — Я останусь с вами — не прогоните?

Как разыскать мне тебя, Тюне?

Никому неохота выходить из вагонов. Так и сидим в поезде, и со всех сторон приходят к нам люди и рассказывают, рассказывают всё новые подробности, всё новые случаи.

— Да будут прокляты лахтари!¹

Да будет проклята навеки рука, направляющая немецкие штыки!

Комиссар возвратился из Наркомпрода.

Хлеб, который мы привезли, пойдет нашим эмигрантам и питерским рабочим.

Он, комиссар, предложил свои услуги Народному комиссариату продовольствия по организации маршрутных продовольственных поездов. Кто из нас желает — может остаться и работать на этих поездах...

И комиссар встает и идет к себе в купе, запирается... и целый день не выходит оттуда.

К нам на поезд пришел Линола. Он отыскивал меня. Мы так обрадовались друг другу, что даже обнялись.

— Ну, как было дело с сенаторами?

¹ Л а х т а р и — в переводе на русский язык означает «мясники». Так население Карелии окрестило финских белогвардейцев.

Он возмущенно махнул рукой:

— Слишком мягкие, нерешительные люди в наших штабах сидели. Смелости не было... Надо бы у русских товарищей лучше поучиться!.. Вот и прошляпили мы нашу революцию. Когда еще теперь снова будет... Доложил я в штабе обо всем, что мы с тобой раскрыли. О сенаторских болезнях: почки и печень. Фабианская. Частная лечебница Кельберга. А в штабе даже не почесались. Начальник записал себе что-то в книжечку. «Будет приказ арестовать?» — спросил я. А он только рукой махнул: «А зачем, если они сами от дел устарились, отсиживаются? Вот когда они активно против нас выступят, тогда, конечно, дело другое, придется арестовать». Ну вот они и выступили. Эх, ротозей!.. — И Лиола злобно выругался.

— Не знаешь, Лиола, — с замиранием сердца спросил я друга, — где сейчас находится Тюне?

— Так тебе этого еще не сказали? — изумился Лиола и, глядя куда-то мимо меня, сказал: — На Длинном мосту...

И мы молчали, сидя рядом в купе, до поздней ночи.

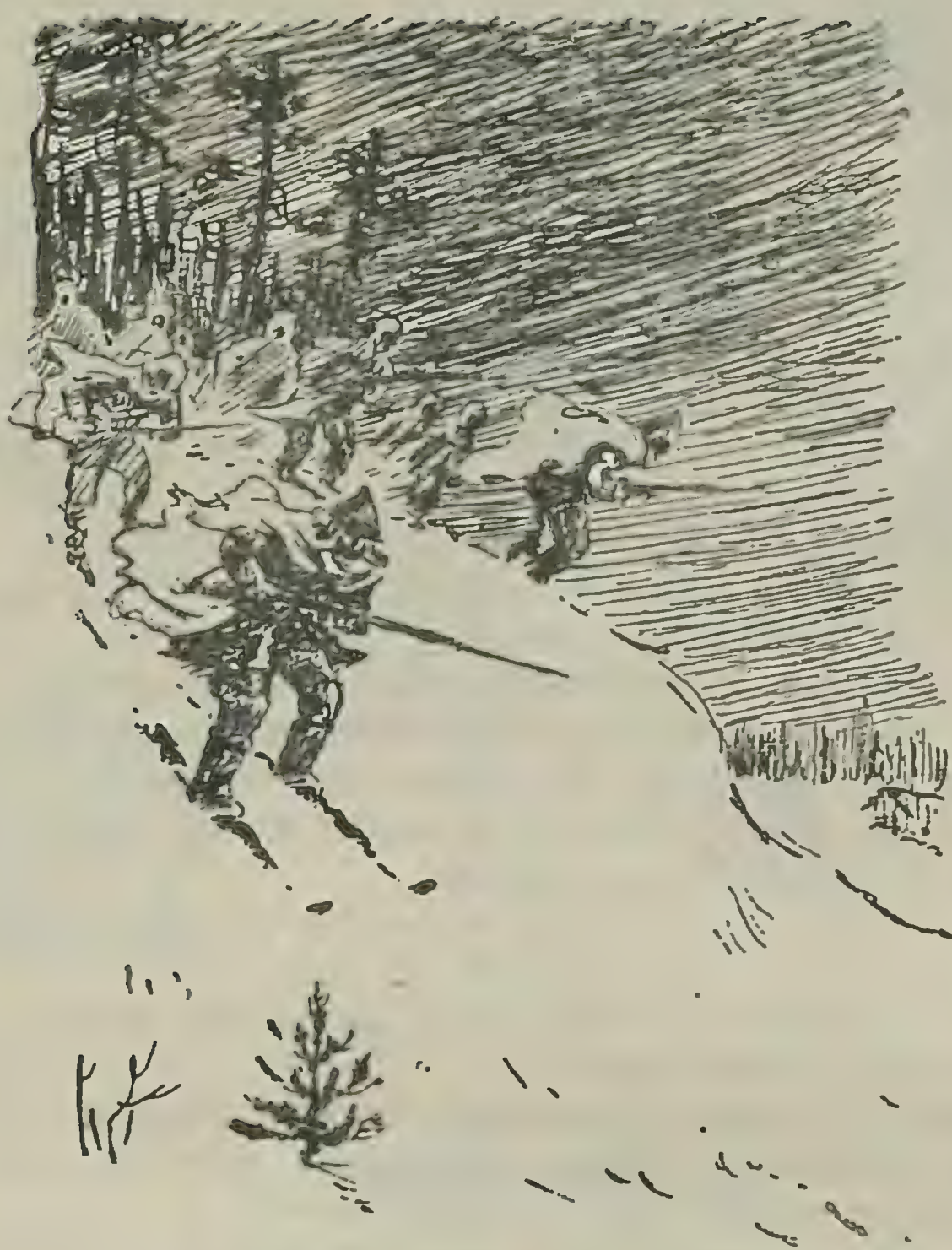
Как же это может быть? Неужели писал я эти листки мертвой! Тюне, ты должна быть живой! Ты жива, Тюне!.. Тюне! Тюне (неразборчиво).

Лиола остался ночевать у меня в купе.

— Мы еще им покажем! — сказал он засыпая. — Мы разбиты, но революция должна жить!

Я всю ночь не спал. А утром мы вчетвером пошли на Сампсониевский проспект и записались добровольцами в социалистическую Красную Армию — Лиола, Ваня, Айрола и я.





ПАДЕНИЕ КИМАС - ОЗЕРА

ПОВЕСТЬ



П Р И К А З Ы В А Ю:

Прибыв на станцию Массельгская, сразу же выгрузиться и выступить всем отрядом по направлению к селу Реболы.

Задание, которое должен выполнить отряд, состоит в следующем:

Перейти линию военных действий и, вступив на территорию, захваченную противником, уничтожать все группы противника, которые встретятся на пути. Выяснив месторасположение руководящих органов противника, отряд должен двигаться к этим пунктам и всеми доступными средствами и способами ликвидировать указанные органы. После того как село Реболы будет освобождено от неприятеля, отряду двигаться на Кимас-озеро, не допуская при этом ни остановок, ни промедлений. По взятии Кимас-озера отряду идти к деревне Тикша на соединение с 88-м пехотным полком.

Неудача наступления на село Реболы не должна служить препятствием дальнейшей работе отряда. В этом случае село Реболы должно быть оставлено и отряду всеми доступными путями продолжать движение к Кимас-озеру.

Сведений о состоянии и размерах сил противника в Реболах и Кимас-озере не имеется. По предположениям, штаб неприятеля находится в одном из этих сел. Все обнаруженные в глубоком тылу неприятеля склады припасов, вооружения и снаряжения уничтожить. Обо всех действиях отряда, как и об отношении населения к Советской власти, сообщать мне всеми доступными средствами, по возможности каждый день.

Командующий войсками Каррайона



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нужны лыжники на рискованное дело

Для военной учебы это было прекрасное время — три месяца в школе, три месяца практики на фронте.

На всех полях, где свистела сабля, во всех краях, где строил пулемет, бывали наши курсанты.

Сам я, отступавший пешим порядком от Хельсинки, раненный в перестрелке под Териоками, вывезенный последним поездом через границу в Советскую республику, дрался за нее под Царицыном, под Курганом. В 6-м Финском полку стоял за Медвежьей горой и в курсантском отряде в 1921 году отрезал бунтовавший Кронштадт от Финляндии.

Поэтому, хотя гражданская война уже и кончилась, никто из нас не удивился, когда в сумерках январского утра 1922 года перед прогулкой выстроили нас в коридорах длинных казарм бывшего кадетского корпуса.

— Хорошо бы опять на какой-нибудь фронт! — успел прошептать мне мой дорогой приятель Тойво. — И белых бы поколотили и паек бы большой получали.

Но его шопот был остановлен резкой командой:

— Смирно!

Мы замерли.

Начальник школы и комиссар были необычайно торжественны и, пожалуй, чрезмерно серьезны.

— Нужны двести человек, умеющих отлично ходить на лыжах, на очень рискованное дело!

Нас было больше трехсот, и почти все мы умели бегать на лыжах, и все без исключения рвались на рискованное дело. Самому старшему из нас едва ли было двадцать четыре года.

Все мы желали идти и поднимали руки. Видя такое единодушие, комиссар поблагодарил нас от лица службы и сказал, что двести нужных для дела ребят отберет врач школы.

Днем занятия шли как обычно.

В пулеметном классе командир роты Тойво Антикайнен, тёзка моего друга Тойво, разобрал несколько пулеметов разных систем. Все детали смешал и положил в мешок. Мы должны были с завязанными глазами вытаскивать эти детали и на ощупь определять, какая деталь.

Я был так занят тем, что произошло утром, что спутал деталь «максима» с деталью «лыюиса». Но в эту минуту, к счастью, меня вместе с Тойво вызвали к врачу.

Врач признал Тойво и меня годными к походу.

Тойво спал на койке справа от меня, голубоглазый Лейно — слева. Были мы трое неразлучными товарищами в горе и радостях. Происходя из разных мест нашей прекрасной суровой Суоми, мы все прошли по ней в восемнадцатом году в рядах Красной гвардии, чудом остались в живых, и хотя нам всем троим вместе не было и семидесяти лет, нам пришлось увидеть больше, чем столетним старикам.

Но черт побери, мы были молоды, так же как и сейчас!

— Тойво, — сказал я в тот вечер, прибирая койку ко сну, — зачем ты поднял руку? Ведь ты металлист и сам признавался мне раньше, что на лыжах ходить не пробовал.

— Молчи, Грен, — спокойно ответил Тойво, стаскивая с ноги сапог. — Я хочу драться с белыми, и мне кажется, что на этот раз это будут лахтари; я не могу оставаться в школе, когда ребята будут драться. Может быть, это малодушие, но я прошу тебя — не выдавай меня. К тому же три раза я ходил на лыжах.

Мы не могли даже представить себе трудности предстоящего пути. Желание Тойво казалось мне вполне обоснованным,

притом же хотелось видеть его рядом с собой во всех передрягах — слишком много было вместе пережито, передумано, переговорено. Переговорено — это, пожалуй, больше всего относилось к Тойво. Не в пример всем, Тойво был очень разговорчив. Он прямо так и сыпал разные анекдоты и рассказы об удивительных приключениях. Мы с ним прожили вместе, не разлучаясь, четыре года, и я не припомню, чтобы хоть раз он повторился. Но он был изобретателен не только в рассказах. Все время корпел он над разными усовершенствованиями в оружии, в быту. Бывало ночью разбудит и спросит: «Как ты думаешь о том-то и том-то?»

Нет, я никому не сказал о лжи Тойво.

Через минуту Тойво уже спал.

На ноги была наброшена шинель.

В те годы казармы отапливались не так, как нынче.

Шинель была с «разговорами», образца 1921—1922 годов, — так сказать, древнерусского стрелецкого покроя, с переходящими с одного борта на другой малиновыми мостиками.

Все это выглядело бы на парадах весьма красиво, но в бою становилось отличной мишенью для неприятельских стрелков.

Койка Лейно была пуста: он ушел в наряд.

Высокого роста, Лейно по праву был правофланговым, и койка была ему мала; чтобы уместиться на ней, Лейно должен был подгибать ноги.

«Завязывается узлом», — смеялись над ним ребята.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мы отправляемся на фронт

Как мы пели!

Мы пели песню восемнадцатого года: финскую баррикадную песню.

В теплушке было по-настоящему тепло.

Лыжи лежали вповалку — выбрать их было нелегко. Целый день привозили их на наш двор со всех частей и складов гарнизона.

Мы отбирали те, которые были нам по нраву: хапавези — длинные, благородные, тонкие; муртома — беговые, дорожные; парные, разрозненные, с ременными завязками, с проволочными креплениями.

Никогда в жизни до тех пор я не видел столько лыж, собранных вместе.

Весь день ушел на отбор лыж. Мы гнули их, просмаливали и смазывали у костров.

Лыжи я отбирал для себя, для Лейно и Тойво. Лейно находился в этот день в наряде и только к вечеру, когда мы были уже выстроены, запыхавшись попросил у начальника разрешения стать в строй. Вот почему всю дорогу в теплушке он спал так крепко, что даже наша песня не могла его разбудить.

Тойво весь день чистил мне, Лейно и себе винтовки и набивал наши рюкзаки-«обезьянчики» выданным нам на дорогу продовольствием и вещами, необходимыми во всяком долгом пути.

Мимо бежали черные в зимней ночной мгле хвойные леса.

Кипятильники на станциях не действовали. Мы набирали снег в котелки; пили в теплушках дымящийся чай, похрустывая сахаром, и пели.

— Главком меня спросил, — говорит Тойво, — здоров ли я, проверил обмундирование и только забыл спросить, умею ли я ходить на лыжах. Разумеется, я ему ничего не сказал.

— Нечего, нечего, — отвечаю я Тойво, — ты уж молчал бы лучше!

И дальше нас перебивает песня.

Наш поезд, пробираясь через снежные заносы, разбрасывая крупные искры, шел на север.

Мы ехали в Карелию.

Через год после Кронштадта мы снова получили боевую практику.

Постепенно песни затихали. Спать не хотелось.

«Надо спать, — сказал я себе: — неизвестно, как придется работать завтра».

И, слушая ровное дыхание Лейно, вспоминая о том, как нас провожали с вокзала, укачиваемый дробным стуком колес, я заснул. Проснулся уже под утро. Было еще темно.

Мы стояли на каком-то разъезде.

Встречный поезд был составлен из классных вагонов, теплушек, санитарных вагонов. Он шел на юг.

Я выскочил на воздух, умылся наскоро снегом и пошел к санитарным вагонам.

Я надеялся найти знакомых, чтобы расспросить очевидцев, и не ошибся.

В потемках рассвета, в вагоне, слабо освещенном мигающей свечой, где, мешая стоны с руганью, лежали раненые, меня окликнули:

— Матти! Ты ли это?

А так как это был именно я — меня зовут Матти Грен, — то я подошел к койке, откуда раздался этот слабый окрик.

— Прости, не могу подать тебе руку: у меня отморожены руки и ноги.

Мигание свечи, не разгоняя сумрака, мешало мне рассмотреть лицо говорившего.

Я с трудом узнал его.

Раухалаhti — мой товарищ по мастерской в Хельсинки, мой товарищ по тернокскому отряду Красной гвардии, работник Карельской трудовой коммуны — лежал передо мной без движения.

В нашей неожиданной встрече не много было радости.



Раухалаhti за полчаса, что простоял наш состав на полустанке, рассказал столько интересных вещей, сколько иной раз и за год не придется услышать.

— Все дело, Матти, в том, что наши бойцы не знают местных условий: ни этих проклятых незамерзающих болот, ни этого дикого бездорожья. Наши бойцы не умеют ходить на лыжах, а лахтари ходят на лыжах отлично — они проскакивают без дорог в тыл, они, эти финские егеря, пробегают через границы.

Еще с осени они переходили поодиночке и группами через границу, собирались в лесу, в болотах, у озер, в рыбацких банях, сторожках, накапливали оружие, а у нас по всей Карелии, по всей тысячеверстной бездорожной границе с трудом насчитывалась тысяча бойцов, и то в мелких, разрозненных отрядах.

Когда началось «движение» (ты только подумай: эти белые прикрываются «Калевалой»!¹), по нашим деревням ездил седобородый старик-торговец из Тунгуды — он называл себя Вейнемейненом — и агитировал сразу и за независимость Карелии и за присоединение ее к Финляндии.

С самого начала «движения» к этим лахтарям примкнули кулаки и зажиточные. Мы даже приблизительно (ты знаешь, какие у нас пути сообщения, — птица крыло ломит!) не представляли себе размеров восстания, а когда стали поступать запоздавшие сведения и мы посылали телеграмму за телеграммой в центр, там совсем недооценивали серьезности положения и в своих запросах иронически относились к нашим сообщениям.

¹ «Калевала» — большая финская поэма, составленная из народных песен. В ней говорится о создании земли, неба, светил и орудий труда. Главный герой — легендарный Вейнемейнен, создавший мир силой своей песни. Там же действует сказочный кузнец Ильмаринен.

Потом стали посылать красноармейские части, утомленные уже войной в Центральной России и совсем не подготовленные к нашим условиям.

Я обморозился под Кокосальмой.

Мы на рассвете вышли из Кестеньчи в Кокосальму, которую занимали лахтари. Ты себе представь: всего-навсего одна проходимая тропа!

К десяти утра мы были уже у озера — всего тысяча двести шагов от Кокосальмы.

Наши ребята, привыкшие к условиям войны в России, недостаточно хорошо наладили разведку, и мы стали разворачиваться на глазах у белых.

Разворачивались мы два часа.

В двенадцать командир приказывает: «В атаку!»

Заметь себе, что белые совсем не стреляли, не подавали даже признаков жизни.

Нам надо было пройти около версты по занесенному глубоким снегом озеру.

Позади подтянули на руках мелкокалиберное орудие. Оно за весь бой выстрелило всего раза четыре, и то каждый раз снаряды, попадая в липкий, вязкий снег, не разрывались.

Как только мы сошли с тропы, сразу провалились по пояс в густой снег. Идти было очень трудно. Каждые десять-пятнадцать шагов надо было останавливаться, чтобы передохнуть.

Так мы стали выдыхаться, не пройдя и четверти расстояния до деревни.

В движении мы потели от напряжения, но на остановках начинали мерзнуть.

Я тянул «максим», и двигаться с ним, сам понимаешь, по этому снегу было не очень весело. Но самое тяжелое было еще впереди.

Продвигаясь по льду, мы вдруг почувствовали под ногами воду. Скоро вода стала доходить до колен, и уже примерно в четырехстах шагах от противника весь наш отряд провалился по пояс в талую воду. Идти дальше было невозможно.

Лохтари, хорошо знакомые с местностью, очевидно, только этого и дожидались. Они открыли спокойный прицельный ружейный огонь и угощали нас внезапными пулеметными очередями.

Я стал налаживать свой «максим», но ты пойми: весь день температура ниже тридцати семи градусов по Цельсию — вода в кожухе так замерзла, что пустить пулемет в дело было невозможно.

У многих ребят заоченели пальцы, трудно было сладить со спусковыми крючками винтовок.

Я выхватил у одного красноармейца из отмороженных рук винтовку и, когда командир скомандовал: «Огонь!», нажал спуск, но — чорта с два! — из всего нашего отряда раздалось только семь-восемь выстрелов — честное слово, не больше.

Моя винтовка отказывалась стрелять, винтовки ребят тоже бездействовали. Видишь, в чем дело: в затворе от холода ударники примерзли к пружинам. Обмундирование же наше не ахти какое, и если замерзала сталь, то что было с людьми! И все это под точным, метким огнем лахтарей, которые, надо отдать им справедливость, били с выдержкой.

Ты не забудь, что мы находились по пояс в воде.

Понятно, ни о каком продолжении атаки не могло быть и речи.

Мы зарылись в снег, чтобы дожидаться темноты. Лежали больше трех часов, и как мы приветствовали наступление ночи — сам поймешь.

Под прикрытием темноты стали отходить назад. К счастью, беляки нас не преследовали.

Когда мы подползли к тому месту, где оставалось орудие, мы поняли, почему оно мало действовало. Командир орудия отморозил себе руки и ноги, стоя на наблюдательном пункте. Его посинелое лицо казалось совершенно мертвым, и на щеках видны были крупные слезы. Не успев сползти по небритой щеке, они превращались в ледышки.

Я видел, как наши замечательные ребята до того утомились, что стали безразличными ко всему. Некоторые ложились на дорогу и лежали совершенно без движения, распластавшись, пока их не подбирал подошедший обоз.

На обратном пути, при отходе по дороге через болота, наше орудие со всеми снарядами провалилось под лед, в воду, на глубину четырех метров.

С политруком во главе три часа работали в болоте при двадцатипятиградусном морозе — и пушку и снаряды вытащили. Какие прекрасные ребята наши артиллеристы!

Лошади и те из строя выбыли. Ну, и я, конек-скакунок, без одной руки в Питер, в госпиталь еду...

Он горько улыбнулся.



Свеча уже совсем оплыла. Зимний рассвет заливал белые снега серым светом, который пробивался в вагоны санитарного поезда.

Паровоз загудел.

От толчка проснулись раненые, застонали, заворчали, заворочались.

— Раухи, — спросил я, пробираясь уже к выходу, — что думаешь ты обо всей кампании?

— Что думаю! Наши на лыжах ходить не умеют, следовательно лахтари сумеют дотянуть до весны, а весной, летом, осенью здесь воевать совсем невозможно: болота, озера, снова болота — бездорожье такое, что во многих волостях только на смычках¹ и передвигаются.

— А тем временем белые будут орудовать в Лиге наций от имени самозванного карельского правительства!

Мы торопливо простились:

— Прощай, Матти!

— Прощай, Раухи!

Я прокричал мой прощальный привет, уже соскакивая с подножки санитарного вагона.

Какие задания мы получим? Неужели наш курс обучения будет прерван на целый год?

Всеми этими мыслями я поделился с ребятами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы получаем боевое задание

На Тойво было забавно смотреть: у него вначале лыжи разъезжались в разные стороны, и он чуть не падал носом в снег, затем, наоборот, начинали съезжаться, сближаясь и перекрещиваясь. Он беспомощно болтал палками, стараясь раскрестить лыжи, не падая. Правда, при этом он, скрывая свое смущение, без умолку болтал.

Один раз он сошел с лыж в сторону от лыжни, чтобы развести их, и сразу провалился по пояс в снег.

Он шел уже устало, вспотев, с трудом поспевая за другими (ведь всего четвертый раз в жизни он вставал на лыжи!).

Я был назначен командиром взвода. Тойво попал ко мне — это был его выигрыш. Лейно командовал отделением.

— Может быть, тебе лучше всего было бы остаться? — спросил я Тойво, когда он на легком повороте зацепился за свою же собственную палку.

Тойво обиделся:

— Я дойду до них, я буду бить беляков! Ты увидишь, как я пойду завтра, послезавтра. Велика важность — ходить на лыжах!

¹ Смычки, или волокуши, — бесколесные повозки: два длинных шеста, которые волочит по земле, по болотистому бездорожью лошадь.

Больше всего Тойво боялся упасть.

Подниматься было с непривычки трудно. Защитный белый балахон путался под ногами.

Из всего обмундирования привычным был только шлем. Валенки, бараний полушубок, шаровары на вате были новинкой; сверх этого, трехлинейная, по двести патронов у пояса, полотенце, веревочка, в мешке консервы, хлеб, шпиг, масло, сахар и по фляге спиртного — всего на человека двадцать кило.

Мы вышли со станции Массельгской без всякого обоза. Всё — на себе.

Выданное довольствие указывало на предстоящее нам большое дело, но в чем оно будет заключаться, никто еще не знал.

Мы шли в колонне по два.

Снег был рыхлый, мягкий. Головной лыжник проваливался в него по колено, но шел вперед, прокладывая лыжню, все время преодолевая отчаянное сопротивление этого мягкого, легкого, нежного снега. Через сотню метров головной лыжник выдыхался, и его заменял следующий — из этого же отделения. Так сменялись головные внутри отделения. Так же менялись и сами отделения — в голову колонны на смену одному шло другое.

Мы продвигались быстро только потому, что нас было много; пять-шесть человек в этом снегу выдохлись бы окончательно на десятом километре.

Тойво — передо мной. Я взял у него часть его груза, говоря, что когда он научится хорошо ходить на лыжах, пусть он делает то же самое для меня.

Умению Лейно бегать на лыжах я, признаться, немного завидовал.

Он шел, легко скользя впереди нас по насту, широким шагом, ловко взмахивая палками. Он был первоклассным лыжником и поэтому почти все время или шел впереди, прокладывая лыжню для отряда, или уходил в разведку.

С каким наслаждением вдыхал я свежий морозный воздух!

Идти было, по-моему, нетрудно: почти все время по дороге.

Ритм быстрой ходьбы на лыжах, радующая после казармы свежесть воздуха, настоящая молодость и сознание, что скоро придется встретиться с врагом в упор, — все это бодрило, и мне хотелось петь. И не одному мне, очевидно, хотелось петь, потому что сзади кто-то затянул боевую песню, но строгий окрик крепкого, словно из одного куска камня выточенного командира первой роты прервал песню и дал с еще новой остротой почувствовать всем, что мы действительно находимся на фронте.

Я знал, что темп нашего хода многим ребятам не под силу, и, оглянувшись, увидел, что отряд растянулся не меньше чем на километр.

Тойво все еще шел передо мной, но по катящемуся градом с его лица поту, по необычайной сосредоточенности его серых глаз видно было, что это доставалось ему нелегко.

Скоро я увидел на спине Тойво небольшое влажное пятнышко. Оно постепенно разрасталось, увеличивалось. Это пот прошиб полушубок и вышел на балахон. Когда пятно это увеличилось до размера человеческой головы, Тойво сошел с лыж и тихо сказал мне:

— Я пойду в хвосте...

Потом уже по величине пятна на спине Тойво я легко определял, сколько километров он еще может пройти без отдыха.

Лейно ушел далеко вперед.

Отдельные отстающие товарищи точками чернели позади.

— Вперед, товарищи! В Паданах у нас будет большой привал, — ободряя, громко сказал комрот-1, и мы вошли в лес.



Мы шли лесом. Это был настоящий карельский мачтовый сосновый лес.

Капюшоны слетали с голов, когда мы пытались взглянуть на оснеженные ветви вершин. Это был строевой и перестойный лес.

Дороги не было.

Мы вышли из лесу и пошли по Сег-озеру.

Белых мы еще не встречали.

Если бы не патроны у пояса, винтовка через плечо и груз за спиной, всю нашу прогулку можно было бы представить спортивным состязанием.

Меня уже начинал тяготить груз, и левая нога слишком свободно ходила в валенке. Остановившись на секунду на одном повороте, я почувствовал в пятке какое-то жжение.

«Есть небольшая потертость», — подумал я и хотел спросить, как у Тойво обстоят дела по этой части, но Тойво рядом со мной не оказалось.

«Отстал», — пришло мне в голову, и, оглянувшись, я увидел, что отстал не один Тойво, а еще несколько ребят, среди них и Каннер.

Каннер был до поступления в Интернациональную военную школу известным борцом и не на одном чемпионате выступал как чемпион Финляндии. Арены многих цирков, наверно, до сих пор помнят его неуклюжую, медвежью ловкость.

Зимняя ночь наступает быстро, но мы шли быстрее, чем зимний день.

Мы не тренировались, но за нас — наша свежесть, бодрость,

молодость и тот азарт, с которым мы взялись за дело. Поэтому часам к девяти вечера передовики входили уже в Паданы — большую деревню на берегу Сег-озера. Это была последняя деревня по нашу сторону фронта. Дальше, за деревней Лазарево, начиналась сторона белых.

В Паданах мы расположились по избам, выставив охранение.



В эту ночь в охранении я не был и спал, как убитый. Ведь мы проделали переход в семьдесят километров!

Никаких снов. Я думаю, ни одного движения за ночь я не сделал.

Разбудил меня Тойво, дергая за валенок.

Был зимний рассвет.

Тойво изнемогал от усталости, но явно торжествовал.

— Товарищ командир, — говорил он, — я пришел не вовремя, но все же пришел. Позади осталось довольно много ребят...

Здесь ему уже явно не хватило сил продолжать свою речь.

Он свалился на пол и захрапел, лежа на полу в очень неудобном положении.

Лейно, пришедший из охранения, устраивал себе в углу постель из можжевельника. Он осторожно подтянул на постель Тойво, расстегнул ему пояс и снял с его спины винтовку.

— Не думал, что он дойдет, — сказал Лейно, обращаясь ко мне. — Матти, вставай в караул.

Я никогда не испытывал в жизни такой тупой и одновременно острой боли, какая охватила мышцы всего моего тела, когда я начал приподниматься с лавки. Так бывает со всеми, когда после большого перерыва начинаешь снова тренироваться на лыжах, в ходьбе, беге, футболе, борьбе.

Эта приятная боль в мышцах, которую большинство мальчиков переносят с гордостью, превратилась сейчас в трудно переносимую боль, возникавшую и, казалось, даже усиливавшуюся с каждым новым движением.

Болели бицепсы, мышцы шеи, мускулы ног, но больше всего ныли мышцы живота. Трудно было сгибаться, но еще труднее, казалось, было выпрямляться.

Такое ощущение было не только у меня, но и у всех. Медленно, со стонами, с побряхтыванием вставали с места. Даже Лейно растирал бицепсы.

— Энергичнее, быстрее двигайся, Матти! Больше двигайся, Матти! — бросил он мне. — Тогда все скорее пройдет.

И я начал двигаться.



Мы выступили снова в поход.

Мы оставляли озеро и входили в глубокий лес, и если бы не узкая, но накатанная дорога, я сказал бы: нетронутый лес.

Отряд наш значительно поредел.

В самом хвосте, посеревший, молчаливый, угрюмо передвигал ноги Тойво.

И вдруг — голос нашего командира Антикайнена:

— Враг слева! Развернуться в цепь — вперед!

Тойво, вспомни, как мы разворачивались в цепь, быстро повернувшись в указанном направлении, как быстро летели вперед, теряясь в глубине соснового леса, как горели нетерпением, желая встретиться лицом к лицу с проклятыми лахтарями, как были разочарованы, когда узнали, что это только маневры, что никакого врага нет, что это учеба!

Особенно помню, как злился ты. Тебе-то каждый поворот с грузом за плечами, каждый такой маневр проделывать было очень трудно.

Ты напрягал все свои силы, стискивал зубы и шел вместе с другими.

Захватив таким образом одну деревушку, Антикайнен расставил по дорогам караулы, чтобы научить нас никого не выпускать из деревни.

Затем мы снова шли дальше, шли быстро по морозу. Видно было, что в этих местах недавно еще бушевали выюги. Дорога была занесена глубоким снегом, а местами и совсем исчезала.

В этот же день мы пришли в Гонга-наволоок.

За этой деревней сразу начиналась территория, занятая белыми.

Расположив свой взвод в теплой избе, сбросив с себя вещевой мешок, проверив, действует ли затвор трехлинейки, я пошел по дороге назад, чтобы помочь Тойво.

Отряд очень растянулся; по дороге шли еще наши ребята, вспотевшие, с расстегнутыми полушубками. Я приказал одному застегнуться: не нянчиться же нам с воспалением легких, в самом деле!

У многих вид был совершенно измученный; другие проходили несколько шагов и останавливались, морщась от боли.

Потертости давали себя знать.

В пяти километрах от привала я встретил Тойво.

Не обращая внимания на его ругань, взял себе его «обезьянчик»; винтовку он так мне и не отдал.

— Есть натертости? — спросил я на ходу.

— Нет, — ответил он. — Я ведь понимаю, в чем дело: я

портянки навернул как полагается. Из того, что я не умею пока порядочно бегать на лыжах, не следует еще, что я ничего не смыслю. Если бы не эта проклятая боль в мышцах, я пошел бы лучше многих из вас.

Было уже темно, когда мы входили в деревню. В избе я снял валенок. Натертость на пятке превратилась в водяной пузырь.

Я достал иголку, проколол колыхавшийся пузырь, выпустил воду и бережно обмотал ногу.

Больше подобной глупости я не повторю — нога мне еще нужна.

Тойво уже храпел в углу.

Дверь распахнулась. В избу не торопясь вошел Лейно и сразу как-то заполнил собой всю горницу.

Он уселся на лавку, вытащил из сумки карту-десятиверстку и протянул ее мне:

— Вот тебе карта. По ней ты должен отмечать весь путь своего взвода. Всем комвзводам, отделкам и прочим командирам ее дали. Я взял для тебя.

— Какой путь должен я отметить? — удивился я.

— Жаль, что ты куда-то запропастился и не был в штабе — ты прозевал много важного, но я тебе расскажу.

Лейно глянул в угол, где храпел Тойво.

Под лавкой возился кот. Он разжимал свою лапу, и из-под лапы выкатывался серый клубок — это была мышь. Не дав ей отбежать и на полшага, кот, неожиданно пригнувшись, мягко прыгал, опуская на нее свои легкие когтистые лапы.

Лейно подошел к двери и сделал мне знак идти за ним:

— Здесь нас могут подслушать, а дело абсолютно тайное.

Вслед за нами из дверей на крыльцо вырвалось белое облако пара. Снег заскрипел под ногами.

— Как живот?

— Лучше, Лейно.

На небо выползали северные звезды. Мы постояли посреди широкой улицы.

— Здесь нас никто не подслушает. По этой карте ты будешь отмечать путь, по которому пройдет твой взвод и весь наш отряд. Мы идем на лыжах. Штаб остается здесь ждать нашего возвращения или известия о нашей гибели. Отряд выходит в составе двух рот. Пулеметная рота разделяется между нами, а командир пулеметной роты Тойво Антикайнен назначается командиром всего отряда. Ты ведь знаешь Антикайнена.

О да, Антикайнена я знал более чем хорошо: это ведь после его горячей речи на митинге молодежи Хельсинки вступил я в революционный союз молодежи, а затем в партию.

Он строитель, а я металлист. И всего-то на два года он старше меня. Сейчас ему двадцать три года.

Какой молодой рабочий Хельсинки не знал организатора комсомола, яростного и проникновенного оратора, непреклонного коммуниста — товарища Тойво Антикайнена!

Я знал его отца. Это был мрачного вида обойщик, который, однако, как передавали, любил пошутить, когда был трезв. Но трезвым я его никогда не видел.

Кто из нас не помнит речей Антикайнена! Они заставляли ненавидеть врага, сжимать кулаки, стискивать зубы.

Он заставлял нас плакать о погибших товарищах и с восторгом идти в бой, чтобы воздать врагам по заслугам. А заслужили они все-таки в тысячу раз больше, чем мы им заплатили.

Но когда я начинаю вспоминать, как они расстреливали всех раненых таммерфорсского госпиталя, как они обращались с пленными красногвардейцами, когда я вспомню то, что они делают сейчас, я начинаю волноваться. А мой рассказ требует полного спокойствия.

В прошлом году я ел кашу, сваренную Антикайненом. Он был начальником заставы у станции Горской, когда мы стояли против взбунтовавшегося Кронштадта. Мы уходили в дозоры, и он оставался в избе совершенно один. Не мог же он отрывать от дела человека, чтобы тот был кашеваром! Вот он, комрот, сам и варил своим красноармейцам кашу.

Да, я отлично знал Антикайнена, а что нашему командиру было всего лишь двадцать три года, это нас тогда не смущало: большинство из нас были моложе. И только хмурый широкоплечий комрот-2 да комрот-1, голубоглазый, весь подобранный рабочий-мраморщик, организатор красногвардейского отряда гранитников-мраморщиков, имели от роду по двадцати восьми лет.

А быстрому парнишке Пуллинену, сыну железнодорожника, только что стукнуло восемнадцать. Столько же было и Вуоринену, один брат которого был убит у Белоострова при переходе через границу, а другой томится в финляндской каторжной тюрьме.

Да, сколько угодно было у нас ребят, не достигших двадцати лет!

— Наше задание, — оглядываясь по сторонам, полушопотом продолжал Лейно, — такое: пройти незаметно через фронт в тыл лахтарям. Идти с максимальной быстротой, на какую только способны. Ничего лишнего с собой не берем. Никакого обоза — всё на себе. Мы должны дойти незаметно. Для этого надо уничтожить все вражеские отряды до Ребол и постараться уничтожить штаб лахтарских войск и все склады боевого

и прочего питания в этой центральной базе. Возможно, однако, что штаб находится не в Реболах, а в Кимас-Озере. Тогда, захватив Кимас-Озеро, мы должны уничтожить штаб белого руководства и все склады. С какими силами нам придется встретиться, неизвестно. Сколько штыков у белых в Реболах и в Кимас-Озеро, неизвестно. Предположительно, человек по четыреста-пятьсот. Основная задача: пройдя по тылам, уничтожить склады, а главное — органы управления. Надеяться можно только на себя и на быстроту, неожиданность и удачу. Предприятие более чем рискованное.

Утром надо быть готовыми к отходу. Выяснилось, что из двухсот человек, отобранных в школе, только около ста тридцати могут идти дальше. Остальные стерли ноги, заболели или «просто не могли двигаться с такой быстротой», как сказал Тойво.

Я невольно улыбнулся, вспомнив эти слова.

В том поручении, которое мы должны были выполнить, было очень много, так сказать, спортивного интереса. Мы изучали историю военного дела, и я уверен, что такого предприятия не пытались осуществить ни войска Александра Македонского, ни Наполеон, ни Ганнибал, ни Суворов, ни товарищ Буденный.

А когда я получаю возможность вплотную встретиться с врагом, который сжал в кулак мою родную Суоми, с врагом, который хочет уничтожить мою советскую власть и проделать у озер Карелии то, что проделано у озер Суоми, и когда и от меня зависит выбить ему зубы, то, извините меня, я весь загораюсь и дрожу от нетерпения.

Да, на ноги надо лучше наворачивать портянки, потому что теперь ясно: только одни мои ноги могут донести меня до лахтарей.

Я разложил карту на лавке и стал измерять расстояния. По линии полета птицы надо было забраться в тыл противника километров на триста.

Никаких дорог не предвидится: напротив, досадные горизонталы указывали на крутизну. Карта говорила о труднспроходимых лесах и болотах.

Болота, если они замерзающие, — это полбеда. Но такие подробности на десятиверстку не нанесены.

Эта карта и по сегодняшний день хранится у меня на дне моего дорожного сундука. Правда, здорово измятая, с красной линией прочерченного карандашом пути.

Мне было ясно, что Тойво с нами не пойдет, а останется здесь. Поэтому, когда он проснулся на секунду и, поворачиваясь с боку на бок, спросил меня, что нового, я ему пробормотал:

— Спи. Ничего особенного не произошло.

Надо было скорее засыпать. Выступление назначено на утро. Курс — на деревню Пененга.

Я прочертил путь на эту деревню по карте в тот же вечер, совсем не подозревая, как мы его пройдем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мы переходим Массельгское щельё¹

Мы вышли строем. С утра было очень холодно. Идти надо было без дорог, через нетронутую целину, через лес — карельский, сосновый.

Мы шли не переводя дыхания. Груз давал себя чувствовать. Ремни стягивали грудь, затрудняя дыхание.

Шли быстро, уверенно и знали, что жизни наши и жизни тысяч людей, а может быть, и исход всей зимней кампании находятся сейчас в наших руках, точнее — в наших ногах.

Я не напрасно выбрал себе лыжи-хапавези: товарищам, выбравшим горные телемарки и беговые муртома, идти было гораздо труднее.

Мы всё тащили на себе: и патроны и припасы.

Если бы пища вышла до срока, пожалуй можно было бы настрелять дичи.

Вспугнутые птицы поднимались при шорохе наших лыж. Изредка, удивленная дыханием, вырывавшимся из сотни грудей, выскакивала на склонившуюся от тяжелого снега ветку белка и снова пряталась. Но еще перед самым отправлением Антикайнен запретил нам стрелять без приказа.

Ни одного лишнего выстрела, ни одного громкого разговора. Никто не должен нас видеть, никто не должен нас слышать, мы должны быть внезапны, как разрыв сердца. Поэтому... поэтому иди дальше, выполняй свой долг перед революцией и не думай о разной дичи.

И мы шли так час. Прошли километров десять и снова растянулись.

Лейно ушел вперед прокладывать лыжный след по лесу, и тут, на десятиминутном привале, я вдруг увидел Тойво. Он шел с отрядом и на первый взгляд устал не больше других. Встретив мой удивленный взор, он улыбнулся и процедил сквозь зубы:

¹ М а с с е л ь г с к о е щ е л ь ё — водораздельный кряж, идущий по южному берегу Сег-озера и отделяющий воды Беломорского бассейна от вод Балтийского.

— Товарищ комрот-1 мне разрешил идти с отрядом. А ходить на лыжах я уже почти научился.

И мы снова пошли вперед.

Мы шли, теряя самих себя в движении, быстро отгалкиваясь палками и широко передвигая ногами, всей ступней ощущая горячую и уже мокрую — не разобрать, от талого снега или жаркого пота, — портянку, целиком отдаваясь этому опьяняющему ритму бешеного движения, мельканья палок, шипенья поддающегося лыжам снега.

И мы находили себя в этом движении. Каждая мышца, напрягаясь, утверждала твое существование, каждый свежий глоток соснового воздуха, проходя через все тело, звенел в каждой артерии, каждый мелькающий обомшелый ствол, каждая жаркая капля пота говорили, ликуя: «Ты живешь, ты идешь, ты двигаешься».



Так же мы будем идти по снегам Суоми, когда она сбросит с себя ярмо, в которое ее вогнали вильгельмовские солдаты. Она опять будет принадлежать нам, рабочим Суоми. Так же быстро пойдем мы по ее снегам, каждой частицей кожи, каждым дыханием будем вдыхать прозрачный воздух, в каждом шаге ступней ощупывать почву родины своей.

Кто из нас не испытал горькой боли расставания с тобой, потери тебя! Тому, кто не сжимал в отчаянии винтовку, расстрелявшую все патроны, кто не видал, как куст за кустом, канава за канавой, дерево за деревом отходят от нас фабрикантам; тому, кто не испытал отчаянного ощущения беспомощности; тому, кто не перешел границы с последним отрядом красногвардейцев, отступая от в тысячу раз сильнеешего врага; тому, кто не испытал этой последней секунды на последней клочке своей земли, — тому трудно понять всю тяжесть потери совсем было завоеванной уже родины. О, мы помним горе утраты и митинг перешедших границу эмигрантов, в городе Ленина, в Мариинском театре, и полузаброшенное, пустое здание казармы на Марсовом поле, отведенное для эмигрантов, и сдерживаемые рыдания наших сестер.

Мы сердцем с тобой, Суоми! Мы еще покажем себя лахтарям, которые напали на Карелию и хотят ее прикарманить, хотят уничтожить нашу советскую власть.



Отряд остановился. Впереди чернели у озерка рыбачьи избушки. Около одной с поднятыми руками стояли три человека не совсем обычного вида.

Антикайнен вошел в избу; лахтарей, предварительно обыскав и обезоружив, ввели вслед за ним.

Лейно подошел ко мне:

— Я их захватил. Шел впереди, прокладывая лыжню, и вдруг вижу — вьется над хижинами дымок, синеватый такой, как от сырых ветвей. Надо разузнать. Подхожу. Распахиваю дверь. «Руки вверх!» — и все они, голубчики, как в клетке.

Комрот-1 вышел из избушки:

— Товарищи, на два часа привал!

Мы развели костры.

Линия на карте, дважды проверенная спичкой по масштабу, говорила, что мы уже прошли сегодня двадцать пять километров.

В котелках (у нас был один на четверых) растопился снег и вода начинала пузыриться.

Я огляделся. Тойво не было.

«Опять отстал», — подумал я и даже немного встревожился.

Мы уже были далеко в неприятельском тылу, и отставание ничего хорошего не обещало.

— Дурак! — выругал я вслух своего друга.

Из избы вышли Антикайнен, адъютант и командиры рот. Товарищ адъютант подошел к нашему костру и сказал:

— Эти трое имели задание проникнуть в наш тыл; они имеют явки в Петрозаводске, в Медвежьей горе. Они должны были взрывать наши железнодорожные мосты, водокачки и вообще вредить. Но они принесут нам вместо вреда пользу.

— Если они сразу признались, значит соврали, — сказал Лейно.

— Ну, для того чтобы развязать им языки, — быстро ответил адъютант, — пришлось мне полностью опустошить... — И он шлепнул ладонью по фляжке, в которой полагалось быть спирту. — Я ведь сам непьющий, как Антикайнен, а вот они совсем наоборот — даже повздорили между собой из-за того, кому больше глотков досталось. — И он продолжал, уже немного встревоженно: — Они сказали, что в Пененге, — адъютант ткнул пальцем в мою карту, — вот видишь, отсюда по прямой километров двадцать пять, — есть застава с финскими офицерами. Они нам будут проводниками. Их документы утверждают, что их четверо, а налицо трое. Как бы не прозевать одного! Если он проскользнул незамеченным к нам в тыл, он там, пожалуй, может натворить немало бед. Если он увидел нас и убежал к своим — еще того не лучше: они приготовятся и встретят нас.

Лейно встал:

— Товарищ командир, разрешите мне произвести разведку. Я по лыжному следу, может быть, раскопаю его.

Кипяток был готов, и котелок пошел вкруговую.

В эту минуту я увидел знакомую фигуру Тойво.

Палки у него находились в одной руке; в другой он держал наган. Он шел очень медленно и неуклюже, без палок.

Перед ним шел совсем без палок, воткнув руки в карманы, человек в одежде, очень похожей на одеянье трех захваченных диверсантов. Именно его и держал под дулом своего нагана Тойво.

Мы повскакали с мест и бросились навстречу.

— Субчика подцепил, — спокойно проговорил Тойво таким равнодушным тоном, как будто изо дня в день в течение многих лет ему приходилось на лыжах подцеплять «субчиков». — И я в походе — не последний человек, — сказал он мне и при этом неожиданно подмигнул, как не раз подмигивал мне в мастерской за спиной мастера после крупного разговора с ним: мол, знай наших!

Пойманного обыскали. Комрот-1 тут же его допросил.

— Всё в порядке. Все четверо говорят одинаково.

— Как? И другие попались? — изумился пойманный.

— Ну, ты еще меня в плен не взял, чтобы допрашивать! — усмехнулся комрот.

Этот человек ждал в лесу, притаившись за деревом, пока пройдет весь отряд, потом по проложенному следу — лыжне — пошел, продолжая свой путь, и тут-то наскочил на оставшего Тойво.

Тойво издали увидел его — ведь тот шел без балахона, — взял на мушку, приказал бросить оружие, отнял палки, обрезал пуговицы на брюках, чтобы беляк не мог бежать. Вот почему руки его были заложены в карманы.

Тойво показал мне пуговицу. На ней ясно было отштамповано: «Хельсинки».

Двухчасовой наш привал окончился очень скоро, и мы вышли снова в поход.

— Вперед!

Товарищ комрот-1 перед отходом отдал мне такое распоряжение:

— Иди вперед отделением на Пененгу, произведи разведку и, если там действительно есть два-три лахтаря, захвати их. До Пененги километров двадцать пять, но путь нелегкий. Ты туда дойдешь на рассвете.

— Слушаю, товарищ командир!

И я повел свое отделение. Замыкал его Тойво.

Скалистые холмы начались уже через час после привала.

Все время шел неизменный уклон, и огромные скалы упрямо выставляли свои каменистые ребра из снега. Подъем делался

круче, и брать его с каждой минутой становилось все труднее и труднее.

Это было Массельгское щельё. Сейчас по картам подъем вычисляется в 35 градусов, но на лыжах, которые все время тянули назад, при грузе за спиной в двадцать кило, при двух гранатах у пояса, эти 35 градусов превращались в 80. Но тогда на картах не были нанесены не только градусы, но даже и сами высоты.

Подъем становился все круче и круче.

Мое отделение вскарабкалось уже довольно высоко; далеко позади виднелась лента нашего отряда, когда вдруг у одного из ребят лыжи вырвались из-под ног и побежали вниз по уже проложенной лыжне. Ему весь путь приходилось начинать снова.

Моя лыжа ударилась о камень.

«Сломается еще, чего доброго!» — подумалось мне.

Я взглянул вниз — там неуклюже карабкались товарищи; я взглянул вверх — из-за вершины холмов выползала огромная луна.

— Снять лыжи! — приказал я.

И все стали снимать. Но как только мы сняли лыжи, мы провалились по пояс в снег.

По пояс в снегу передвигаться нелегко, тем более на подъеме, да еще когда за спиной груз и на плечах лыжи и палки.

— Скоро ли окончится этот чортов подъем! — выругался Лейно.

Он тащил, кроме всего прочего, еще и пулемет. Лейно был сухощав и напорист, но, сойдя с лыж, потерял, кажется, обычную свою уверенность.

Пожалуй, один только Тойво был доволен тем, что мы сошли с лыж.

Он оказался в равных условиях даже с самыми лучшими лыжниками. Он был крепыш и во французской борьбе в товарищеском кругу почти всегда выходил победителем.

Снег забивался в валенки и таял.

Дыхание возносилось легчайшим паром к черному зимнему небу. На небе звезды расположились обычным порядком, не замечая наших усилий.

Мы протолкались сквозь густой, местами липкий, как мокрый зубной порошок, снег.

Мы цеплялись руками за выступы камней, скал, царапая руки в кровь, обламывая ногти, с лыжами на плечах и с неугасимым желанием во что бы то ни стало выполнить поручение, доверенное нам революцией.

Мы карабкались вверх, срываясь, разрывая балахоны, тяжело дыша.

Я остановился, чтобы отдохнуть хотя бы секунду, и услышал отдаленный волчий вой, услышал, как нетронутую тишину зимней ночи разрывало тяжелое, прерывистое дыхание сотни ребят. Ни звука, лишь редкая ругань — сдержаться трудно! — да дальний волчий вой, да снег впереди, где за каждым случайным камнем, может быть, поджидает свинец или топор лахтаря.

Пальцы на руках коченели, подъем становился все круче.

Кто-то из ушедших вперед ребят сорвался: он бросил свои палки, и его потянуло вниз — с винтовкой, котелком, мешком за плечами.

Он проскользнул между нами, не успев ухватиться за протянутую лыжу, и, изо всех сил стараясь остановиться, неудержимо катился вниз.

Подъем становился все круче.

Парни выдыхались.

Лейно, шедший впереди, стал на колени. Мы все один за другим стали на колени и поползли вперед, цепляясь за каждый выступ.

Рядом со мной полз адъютант.

Позади адъютанта, тоже на коленях, карабкался комрот-1.

— Мы им припомним этот переход! — бормотал он. — Мы их заставим проползти на коленях все кряжи Суоми.

— Сколько еще осталось там ползти? — спросил меня Тойво. — Если долго, так мы все можем здесь остаться навсегда. Если остановка на отдых — замерзнут ребята.

— Тише, Тойво! Ни один не должен остаться здесь, — сказал я, уже почти задыхаясь.

Левая ладонь у меня была рассечена в кровь.

Мы ползли на коленях дальше.

Подъему, казалось, не было конца-краю.

И вот Лейно сел на камень, положил поперек колен пулемет и молча заплакал. Я видел, как прозрачные слезы выкатывались из его светлых глаз и замерзали на щеках. Он плакал молча. Я никогда никому не поверил бы, что Лейно может плакать, пока не увидел этого своими глазами.

Лейно плакал, и свет луны сиял на его пулемете.

Лыжи лежали у его ног, и две палки, как свечи, стояли по сторонам.

Он обратился ко мне:

— Неужели мне придется здесь кончить свой жизненный путь, Матти?

— Отдохни, Лейно! Мы еще потанцуем на свадьбах в Хельсинки, Выборге и Турку.

Он печально помотал головой и, обращаясь к Тойво, уныло, почти нараспев повторил свой раздиравший душу вопрос:

— Неужели мне придется здесь кончить свой жизненный путь, Тойво?

Тойво снял с его колен пулемет и, передав патроны Лейно мне, крикнул:

— Лейно, эй, лыжник! Идем, что ли!

И мы все опять поползли на коленях вперед.

Комрот-1 взял у Лейно лыжи.

Нам этого подъема не взять, — безнадежно пробормотал курсант Яскелайнен. — Мы уже выдохлись. Нас к утру перестреляют, как куропаток.

— Брось, Яскелайнен! Партии нужно, чтобы этот подъем мы взяли, и мы его возьмем.

Вперед, несмотря ни на что! Мы проползли почти два километра, ползти еще один не было уже сил, но подъем здесь, к счастью, кончился.

Вот мы стоим на вершине кряжа.

Луна закатывается за дальние леса. Перед нами спуск, а после — ровное большое поле, равнина, лесок, а за тем леском должна быть деревня Пененга. Весь путь — десять километров.

Карельские километры узкие — с тропы не сойдешь, — но длинные, очень длинные.

Я вспоминаю сразу приказ. Собираю отделение.

Позади слышится неровное, плотное дыхание карабкающихся на коленях.

Мы вышли утром, и скоро начинается новое утро.

— К спуску!

— Ты должен был делать так, — бубнит Тойво, обращаясь к смущенному Лейно: — выбрать себе один камень, как делал я, и думать: «Вот теперь я во что бы то ни стало доберусь до этого камня» — и выбрать камень близкий, шагах в десяти от тебя. Ну, до этого камня доберешься — конечно, намечай себе другой, метров так за пять. И опять же: неужели тебе, как бы ты ни утомился, не пройти эти пять метров? Чепуха! Конечно, пройдешь. Ну, прошел — передохни, осмотришь и опять нацелься метров на пять. Поверь мне: как бы ни устал добрый парень, а метров с шесть проползет всегда. Так, глядишь, ты уже на вершине.

Я скомандовал надеть лыжи, и мы пошли вниз.

Лететь вниз — это даже после такого подъема одно удовольствие.

Равновесие у опытного лыжника регулируется как бы автоматически: где надо — оттолкнуться, где надо — наклониться, даже присесть на корточки, а где можно — и прямо стоять, вдыхая морозный воздух.

Неопытного лыжника при спуске может опрокинуть даже едва заметная глазу кочка.

Так и случилось с Тойво.

Он сдуру пошел на спуск первым и, не успев долететь до подошвы, опрокинулся и, дважды перевернувшись в воздухе, отпустив убегающие вниз лыжи, остался лежать в снегу.

Следующий за ним парень, споткнувшись о него, брякнулся тоже, на того — второй, третий... Образовалась живая барахтающаяся куча с торчащими из снега штыками, остроконечными палками.

«Пуще всего не хочу я погибать от такого дела», — мелькнуло у меня в голове. Я оглянулся и увидел, что по лыжне, проложенной Тойво, вслед за мной быстро-быстро по склону скользят уже десятка два бойцов.

Катастрофа, катастрофа!

Кто сумеет на лету свернуть в сторону, обогнуть эту живую барахтающуюся кучу людей, штыков, подсумков, лыж, палок, гранат!

Но в то же мгновение шедший впереди меня Лейно ловко изогнулся и свернул в сторону.

Я не знаю, сумел ли бы сделать такой поворот кто-нибудь другой.

По следу Лейно проскочил я, за мной по проложенной лыжне пролетели другие.

Вперед! Останавливаться нельзя!

Я собрал отделение и повел.

Кроме царапин, полученных в этой свалке, к счастью неглубоких, никаких ранений ни у кого не было. Если бы, однако, куча выросла, нескольких глубоких ран — в лучшем случае — не избежать бы.

— Из-за твоего упрямства, из-за твоей дурацкой настойчивости чуть не произошла катастрофа! — сказал я Тойво. — Ты сам легко мог сломать себе шею.

— Ну нет, здесь я не погибну! — пытался отшутиться Тойво. — Моего брата и то мог взять только снаряд кронштадтской восьмидюймовки, а ведь он был лишь простой социал-демократ. А здесь, на фронте, у белых таких орудий и нет, чтобы меня взять. К тому же я коммунист, и меня меньше чем двадцатидюймовым не возьмешь...

— Из-за тебя могли погибнуть другие товарищи! — резко прервал его Лейно.

— Ты прав, Лейно, — уже извиняющимся тоном, смущенно отвечал Тойво. — Но теперь уже поздно...

Такого виноватого лица я до сегодняшнего дня у Тойво никогда не видел.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Встреча с лахтарями. Буденновец

Отряд получил часовой отдых.

Мы же, назначенные в разведку, должны были идти немедленно. И мы пошли.

Я разделил отделение. В полукилометре позади меня шли ребята под командой Лейно. Я же отправлялся в разведку, вперед.

Путь шел сквозь бездорожный лесок.

Мерно раскачивались, осыпая снег, мохнатые ветви.

Проходили стволы, шуршал уминаемый лыжами снег.

Точно так же около года назад я находился в глубокой разведке. Тогда наша разведка должна была отрезать подвоз боеприпасов и продуктов из Финляндии в бунтующий Кронштадт. Подвоз шел по льду Финского залива — Маркизовой Лужи. И вот я увидел близкие огни поселка Инно. Я сам оттуда родом, и вся моя семья проживала там, и по сей день там живет отец-старик с матерью. И Айно, моя Айно, тоже — я знал — жила тогда со стариками. Наш дом стоит у самого берега моря, и берег этот был от меня всего в тысяче метров. Окна дома нашего были освещены. И я пошел ближе к берегу, стараясь в тишине морозной ночи услышать скрип полозьев саней, везущих продовольствие восставшим «клёшникам». Я подошел близко к берегу, выполняя задание разведки. Дом отца (воспоминания детства!) был всего в ста метрах от меня.

На пороге показалась женская фигура: это могла быть моя старая, добрая мама или дорогая Айно. Я не видел их с весны 1918 года, с дней разгрома финской революции.

«Я зайду обнять стариков, — подумал я. — Ведь никто никогда не узнает о нашей встрече».

«Нельзя, ты ведь в разведке», — уговаривал я себя, не решаясь идти дальше.

Я смотрел на домик, где старики, наверно, тоскуют о своем единственном Матти, где Айно...

Свет из окна желтым квадратом ложился на снег. Женщина на крыльце выплеснула из ведра воду и вошла в дом, хлопнув за собой тяжелую дверь.

Я сделал шаг вперед. Десять минут я стоял вблизи дома, смотрел на него и думал. Потом круто повернул и пошел дальше, продолжая разведку.

В тот вечер я захватил и привел к нам четыре подводы с хлебом, шедшие в Кронштадт из Териок. Белому офицеру, со-

проводившему сани, посчастливилось: он ускользнул под прикрытием тьмы, осыпаясь оголтелой бранью возчиков. На подводе остался только его портфель с бумагами, с документами на имя штабс-капитана Верховского. Самого штабс-капитана и след простыл.



Усталость после бессонных суток и утомительного перехода в такой сильный мороз сказалась: все эти мысли проходили передо мной, как в полусне, да я, вероятно, и в самом деле задремал на ходу. От этих полудремотных воспоминаний и мечтаний я очнулся совсем неожиданно, услышав звуки отдаленного разговора.

Открыв глаза, я увидел в ста метрах от себя небольшой поселок.

На ближайшем доме развевался белый флаг. На крыльце этого дома стояли четыре вооруженных человека.

Я оглянулся. Метрах в двухстах позади меня кончился неровный лес, и никого из моего отделения я не увидел. Я ушел далеко вперед.

Люди у крыльца стояли довольно спокойно. Они заметили меня.

Повернуться и идти назад было бессмысленно — три-четыре пули влипли бы тогда в мою спину. Я шел размеренно, медленно, спокойно, думая о том, как бы дорожке запросить с них за мою жизнь.

Я старался замедлить каждый свой шаг, выгадать каждую секунду, и потому, что я шел спокойно, не торопясь, держа курс на крыльцо избы с белой проклятой тряпкой, освещенной уже первыми косыми лучами встающего зимнего солнца, никто из стоящих у крыльца не шевельнулся, никто не взял винтовки наизготовку.

Чем ближе подходил я к деревне, тем виднее становилось мне, что у крыльца стояли лахтари из Финляндии. Один из них откусил кусок хлеба, испеченного так, как пекут только в Финляндии: тонкие, плоские пресные лепешки пекки-лейпа, с круглой дырой посередине.

Я очень люблю пекки-лейпа, они напоминают мне годы моего раннего детства. Во всей Карелии, за исключением разве Ухты, не пекут пекки-лейпа.

Я был уже в нескольких шагах от крыльца. Двое из наблюдавших за моим приближением вошли в избу, двое остались у крыльца. Я подошел вплотную к крыльцу.

— Здравствуйте! — буркнул я себе под нос, так, на всякий случай.

— Здравствуйте, ваше благородие! — ответили они, вытянувшись передо мной в струнку.

В первую секунду я даже опешил и взглянул на опушку.

Ничто не говорило о том, что оттуда может сейчас кто-нибудь выйти.

Я стал медленно снимать лыжи. Снял одну, снял другую. Два болвана, вытянувшись, стояли передо мной в струнку. Белый капюшон балахона хорошо скрывал мой красноармейский шлем.

— Вольно! — скомандовал я и, очевидно, чем-то нарушил уставную форму, так как парни весело перемигнулись.

Или, может быть, они играют со мной, как кошка с мышью?

И я вспомнил избу в Паданах.

Где ты, Лейно, где штаб наш сейчас?

Я воткнул палки в утоптаный скользкий снег у крыльца и, медленно, вразвалку переступая со ступени на ступень, стал подниматься в избу.

— Надо сколоть лед со ступенек, — проворчал я, желая еще раз показать мое превосходное финское произношение.

— Будет исполнено, — ответил один из болванов, вытягиваясь во фронт и беря под козырек.

При этом он положил недоеденный кусок пекки-лейпа на лавку.

С каким бы удовольствием я сжевал его! Сразу захотелось есть.

«С пустым желудком легче перенести рану в живот», — вспомнил я изречение нашего курсового врача и переступил порог.

Очевидно, все шло, как ожидали эти дурни, потому что они не проявили ни малейшего признака удивления. Я видел все отлично.

Я и сейчас могу точно, подробно обрисовать все детали: как белые стояли, как лежал кусок хлеба на лавке, как слегка накренилась левая палка, воткнутая в снег, какого рисунка была резьба на наличнике двери.

Все чувства мои были обострены, и все это я помню отлично и не забуду до последней минуты моей жизни.

Входя в избу, я оглянулся на лес. На опушке не было и признака жизни.

Я вошел в помещение.

Вслед за мной в комнату протиснулись два олуха со двора.

Сразу же охватила меня, сутки пробывшего без сна на воздухе, одуряющая теплота душно натопленного, насквозь прокуренного помещения. В помещении было четыре человека; они наскоро прибирали комнату. Винтовки стояли в углу в козлах.

Как только я вошел, эти дурни вскочили и отдали мне честь. Тогда спокойно, громко, отдельно, слыша каждый удар своего сердца, я спросил по-начальнически:

— Кто здесь командует?

На мой вопрос в открытую дверь из соседней комнаты выскочил рослый человек в егерской форме, со знаками различия в петлице, с огромным, как окорок, лицом, багровым от напряжения и желания выслужиться, и стал передо мной навывтяжку.

Держа руки по швам, он начал рапортовать.

Я приложил, как и полагается при принятии рапорта, руку к козырьку, скрытому под капюшоном.

— Командую здесь я, капрал Корки, исполняя порученную мне задачу: освободить Карелию от русских красных бандитов.

Нервы мне изменили здесь: при словах «красных бандитов» рука, поднятая к козырьку, сама собой сжалась в кулак, и кулак захотел опуститься на физиономию капрала, чтобы сделать из нее отбивную котлету.

Большим усилием воли заставил я себя разжать кулак и отвести ладонь назад, делая все время вид, что внимательно слушаю рапорт.

— Всего нас четырнадцать человек, — продолжал капрал, — и командует всей заставой поручик Ласси.

Услышав эту фамилию, я вздрогнул. Видя удивление в зрачках капрала, отвел свою поднятую руку назад и... и, вероятно, обнажил из-под капюшона кусок шлема — ту его часть, где краснела пятиконечная наша звезда.

Я понял это по внезапной бледности, залившей багровое до того лицо капрала, по тому, как он стал запинаться, очевидно удивив этим всех слушавших (их было теперь в помещении восемь человек: двое вошли сразу вслед за капралом из соседнего помещения), и, наконец, по его прямому вопросу:

— Так вы красный?

— Да, я красный... — подхватил я его реплику и тоном приказа, не терпящего никаких возражений, продолжал: — ...и приказываю вам всем немедленно сдаться мне.

Они стояли оторопев.

В моей левой руке уже была граната, в правой — наган.

— Пока я с вами вел беседу, мои товарищи окружили селение. Ни один из вас не уйдет живым, если будете драться. Сдавайтесь!

Здесь Корки, а вслед за ним и я взглянули в окно.

Метрах в пятидесяти, рассыпавшись цепью во главе с товарищем Лейно, шло мое отделение, быстро приближаясь к нам.

— С другой стороны — два взвода. Сдавайтесь!

Никто из белых не успел ничего ответить, как под тяжелым ударом валенка дверь распахнулась и в комнату влетел Лейно.

Увидев белых, он, размахивая гранатой, крикнул:

— Руки вверх!

Все находившиеся в комнате подняли руки.

В эту секунду на улице раздался глухой револьверный выстрел.

— Ты держи их здесь! — крикнул я Лейно, выскочил на улицу и приказал одному из товарищей с винтовкой встать у окна.

Тойво вбежал в избу — помочь Лейно разоружить белых.

Снова раздалось несколько выстрелов.

Пробираясь по деревне, отстреливаясь, уходил офицер.

Я снял с плеча винтовку и медленно стал целиться.

Офицер уходил, и это был несомненно Ласси.

Я нажал на спусковой крючок. Он не подавался. Выстрела не произошло. «От мороза, что ли?» — вспомнил я рассказ Раухалаhti в санитарном вагоне. Я нажал еще сильнее. Отдача была сильная.

Офицер рухнул в снег.

Я пошел к нему.

А так как лыжи мои остались у крыльца, я шел медленно, зачерпывая валенками снег.

Выстрелы в деревне не прекращались, но становились все реже и реже. Из леса выходили уже передовые бойцы нашего отряда.

Позади меня шел Лейно.

Офицер пытался приподняться на локте.

— Ласси! — крикнул я уже почти иступленно. — Ласси, наконец-то мы можем окончить здесь наш диспут!

От неожиданности он даже приподнялся и, увидев меня, поднял маузер.

— Я не увижу моей великой Суоми, и тебе, Матти, уже не купаться больше в ее озерах! — сказал он и вдруг, выплевывая изо рта кровь, крикнул: — Продавшейся красной собаке — собачья смерть! — и выстрелил.

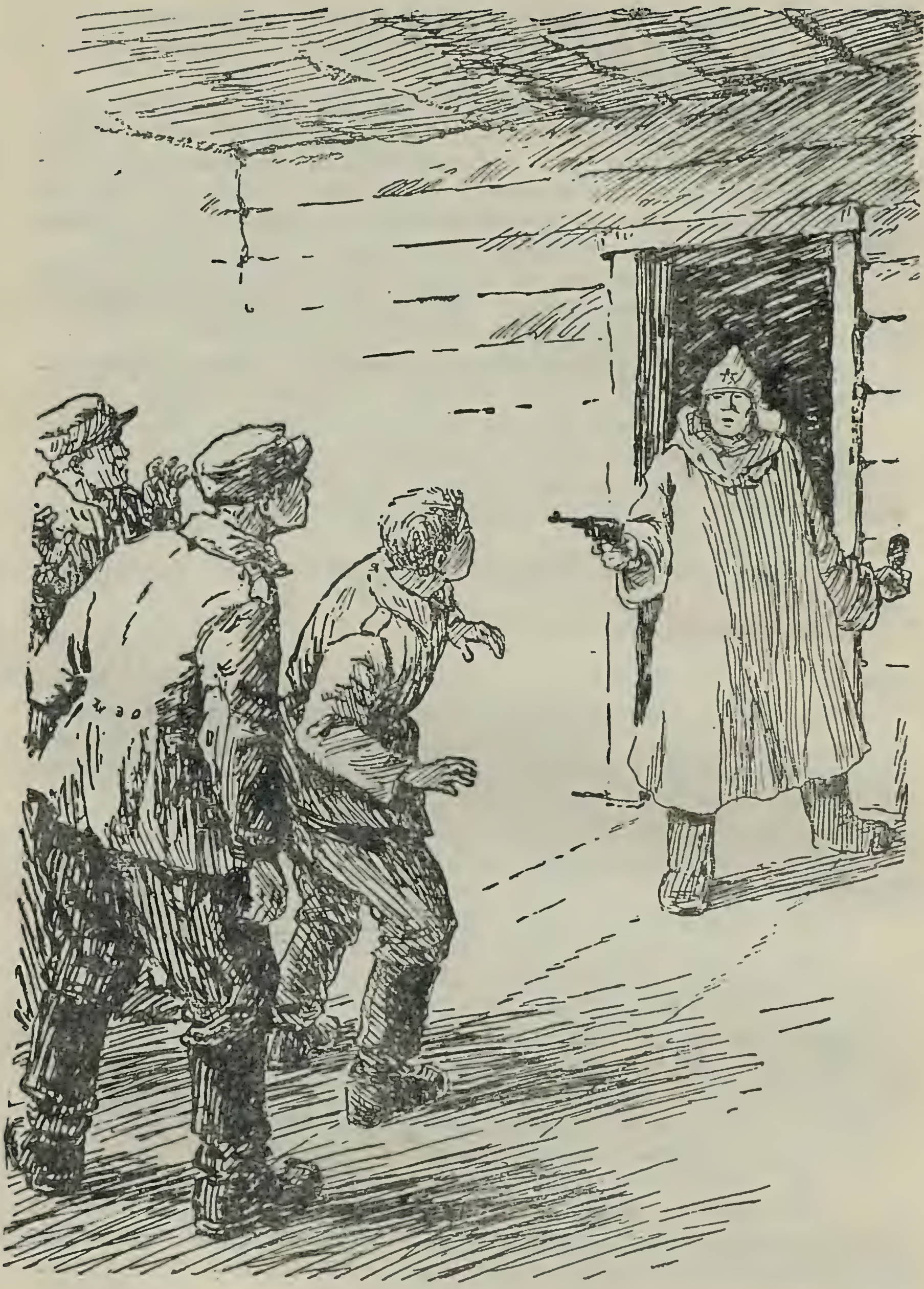
Ласси был отличным стрелком, но гнев и рана сделали его руку нетвердой. Пуля прошла через мой капюшон и оставила в нем дыру.

— Ты опять не попал, Ласси, а вот я попаду...

Он снова поднял револьвер, почти касаясь моего полушубка его дулом.

Я опустил приклад.

Выстрела из маузера не последовало.



Я знал Ласси с детства. Он — сын хозяина лесопилки, на которой работал мой отец. Во время революции он был шюцковским офицером.

Был митинг на лесопилке. Выступил Ласси, выступил и я, приехавший на побывку из Хельсинки. Мы установили на заводе Ласси восьмичасовой рабочий день и организовали завком, а когда пришли в контору проверить конторские книги, Ласси отказался дать их нам и сказал: «С такими негодьями и грабителями, как вы, приходится говорить языком оружия».

Тогда он вдруг исчез, но теперь мы поговорили все-таки друг с другом языком оружия. Это может подтвердить дыра в капюшоне моего балахона.

Я обыскал труп Ласси, взял документы и пошел обратно в деревню.

Тут только я понял, как нестерпимо я устал.

Не помню, как я добрался до избы.

Отряд наш уже прибыл в поселок и располагался на привал. Антикайнен, наш командир, распоряжался, высылая вперед новую разведку.

Посреди улицы лежал, раскинув руки, убитый лахтарский офицер.

Я его не знал.



Я свалился, как сноп, на пол, не дойдя двух шагов до скамейки. Может быть, меня перекладывали, может быть, по мне ходили — я не знаю, ничего не помню. Я спал глубочайшим сном.

Но спать можно было не больше трех часов.

В двенадцать часов дня надо было уже выходить и идти на Челку.

Из-под моей головы вытянули подушку.

Я проснулся. Комрот-1 держал в руках подушку.

— Чего же ты обидел бабушку? — укоризненно спросил он.

Старушка встала с печи и, взяв подушку из рук комрота, стала его о чем-то нерешительно спрашивать.

Комрот-1 пристально смотрел на нее своими голубыми глазами и старался успокоить ее.

— Так вы в самом деле красные? — наконец, расхрабрившись, громко спросила она командира.

— Разве ты не видишь, как мы расправились с лахтарями?

— Видишь ли, родной: офицеры говорили, что на триста верст вокруг нет ни одного красного. Даже красная птица сюда не залетит, не то что красноармейцы. Вот почему я и сомневаюсь.

— А ты, бабка, не сомневайся, а лучше посмотри на красные наши звезды!

Этот аргумент, очевидно, убедил старуху окончательно. Сморщенное, как печеный картофель, лицо ее засияло; настороженность, которая чувствовалась в каждом ее движении, исчезла.

Она подошла к двери и стала копаться, вытаскивая из-за резного дверного наличника какие-то бумаги.

Вытащив пачку документов, она стала перебирать их и, найдя наконец нужный, протянула его командиру.

Командир принялся читать.

Это была бережно сложенная, заверенная всеми печатями и подписью самого командарма почетная грамота, выданная штабом Первой Конной армии на имя бойца товарища Юкко Петрова¹.

— Ну что ж, вижу: грамота товарища Буденного...

— Да ведь Юкко — это мой сын! — залопотала старуха волнуясь. — Он сейчас с товарищами в лесу от лахтарей скрывается.

— Зови немедленно ребят из лесу!

Старуха заторопилась.

Я видел, как она стала на самодельные карельские лыжи и пошла в лес.

Не многие наши питерские спортсменки-физкультурницы умеют бегать на своих телемарках так, как шла эта старушка!

К тому времени, когда отряд совсем уже был готов к отходу, из лесу под предводительством старухи вышла группа людей на лыжах.

Увидев нас, они остановились. Один пошел прямо к нам.

Этот парень и был буденновец. Вместе с ним ушли в лес, скрываясь от насильственной мобилизации, произведенной лахтарями, еще девять мужчин.

Они перехватили две подводы с продуктами для заставы и питались захваченным продовольствием. Активно бороться с лахтарями из-за отсутствия оружия они не могли. Продукты были у них совсем уже на исходе — и вдруг явились мы.

Петров не вполне был уверен в сообщении матери, что действительно пришли красные, и, чтобы не подводить остальных ребят, вышел к нам один. Его пригласили в дом.

Сомнения его быстро рассеялись.

— Как это вы, ребята, здесь очутились?

¹ Большинство карелов самодержавием были обращены в православие и получили типично русские фамилии: Петровы, Хрисанфовы, Ипатьевы и т. д.

— Как бы мы здесь ни очутились: сами ли пришли или с неба свалились, но мы здесь, — сказал комрот-1.

Антикайнен, молчавший все время и, казалось, занятый только сшиванием разодранного балахона, вдруг встал и сказал:

— Назначаю тебя, товарищ Юкко Петров, комендантом деревни. Двенадцать захваченных винтовок оставляю твоему отряду. Из девяти тысяч трофейных патронов забирайте восемь тысяч. Двух ребят ты выделишь конвоировать пленных. Приказываю тебе именем советской власти соблюдать дисциплину отряда и бить лахтарей без пощады!

Петров, как побывавший в переделках боец, принимая приказ, стоял, вытянув руки по швам.

Выслушав приказ, он сказал:

— Служу трудовому народу!

И, выйдя на крыльцо, сорвал белый флаг — наши ребята забыли это сделать в пылу схватки — и стал им размахивать.

Парни, оставшиеся в лесу, увидев сигнал, пошли, предводительствуемые старухой, к деревне по той самой лыжне, которую проложил я на рассвете, полусонный, подходя к этой деревне.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В глубоком тылу у лахтарей

Мы снова, построившись как полагалось, вышли в путь. Небольшая закуска и три-четыре часа сна подкрепили нас, и если бы не острая боль в плечах от лямки мешка и ремня винтовки и не ноющая боль в ногах и бицепсах от движения, все было бы прекрасно.

— Не забыл отмечать путь по карте? — спросил, обгоняя меня, адъютант.

— Нет, не забыл, товарищ адъютант.

Тут только я понял вдруг, насколько труднее, чем нам, приходится командиру.

Он должен проделывать точно такой же путь, какой проделываем мы; кроме того, на стоянках он должен заботиться о безопасности всего отряда, о каждом карауле, посылать разведку, намечать ей цели, выслушивать донесения, допрашивать пленных. Это работа нелегкая. А адъютант еще ведет все время дневник отряда. Как у него не замерзли пальцы во время писания, я не понимаю! Как он после разбирал эти каракули, начерченные в тетради на морозе?

Мы снова шли вперед, рассекая грудью морозный воздух.

— Эх, напрасно я петуха салом кормил! Какой кусочек загубил! — жалел Тойво.

— А для чего же ты его кормил?

— Как — для чего? От сала петух голос теряет. Ну, я и дал ему... Пусть не будит до света. Так нет, все равно — не петух, так приказ разбудил! — продолжал сетовать Тойво.

Повалил снег, густой, липкий, мохнатый.

Наш взвод шел сейчас в середине отряда, но за густой стеной падавшего снега не было видно головных и арьергардных.

Мы шли вперед, пробираясь сквозь эту пелену.

Шли быстро. Опять мелькали палки, ноги, хрустел и шуршал уминаемый снег, и свистящее наше дыхание снова разрывало тишину.

Мы шли очень быстро, с грузом в двадцать кило.

Я опять потерял Тойво из виду.

Он отставал.

Опять пробежал мимо меня от хвоста отряда к его голове неутомимый Антикайнен.

Опять нам становилось все жарче и жарче.

Опять капли пота стали стекать на лицо из-под шлема.

Мы шли, чорт побери, вперед! И мы заставляли идти за собой пленных лахтарей.

Им было идти легче — без винтовок, без патронов, без гранат и без запасов еды, как теперь ходят, когда сдают нормы на ГТО. Все они были лыжниками. Но, даже боясь ослушаться приказа, они стали все же роптать.

Один из них улучил секунду, когда мимо пробежал Антикайнен, и сказал:

— Ваше превосходительство, мы не можем так быстро идти, мы задыхаемся.

— Кто не сможет идти, тот не сможет и жить дальше! — крикнул, пробегая, товарищ Антикайнен, и он был прав: ведь ни одна собака не должна была знать о нашем движении, ни одна!

Мы шли вперед и вперед.

Передовые свернули вниз.

Мы покатались по откосу берега.

Один за другим скатывались на покрытую льдом и снегом реку. Мы пошли вперед по ней.

Капли пота, стекая со лба на глаза, мешали смотреть сквозь пелену падавшего снега.

Ремни натирали плечи.

Я пробовал несколько раз передвинуть их немного в сторону — не помогало: через минуту они снова соскальзывали обратно.

От пота рубаха стала совсем мокрой и плотно прилипла к телу.

Но мы шли все вперед, вперед... Все мои ощущения, все мои мысли, кажется, уходили в ноги.

— Ребята, нажимайте, скоро привал! — говорил я своему взводу. — Не подавайте виду пленным лахтарям, что вы устали. Пусть почувствуют, как мы отличаемся от них.

Так подбадривал я своих ребят. Мне казалось, что ноги мои разбухают все время, превращаются в чурбаны, на которые вплотную, как резиновые, прилитые, насажены валенки.

Рубахи наши были мокры от пота. И пот проступал через рубахи на мех полушубков. В самом деле, мех уже был настолько мокр от пота, что отдельные капли, стекая, собирались на углах полушубка и, медленно сочась, падали прямо в валенок.

Если бы мне кто-нибудь рассказал об этом, я бы не поверил, но теперь дело было не в том, верить или не верить, а в том, чтобы идти вперед во что бы то ни стало. Вперед!

Я увидел, что немного отстаю, нажал, оттолкнулся палками и в мутнеющем сумраке наступающего зимнего вечера чуть не наскочил своими лыжами на лыжи впереди идущего. Я осмотрелся.

— Что с тобой, Аалто? — спросил я запыхавшись.

У него не было балахона: балахон был разодран штыком, и чтобы он не путался под ногами, Аалто его снял.

— Что с тобой, Аалто? — повторил я. — У тебя ведь полушубок покрыт льдом, ты весь оледенел. Что с тобой?

— А ты посмотри, может и сам не лучше! — буркнул под нос Аалто.

Я снял с левой, пораненной руки варежку и стал ощупывать свой полушубок. Аалто был прав: мой полушубок был тоже покрыт ледяным покровом, хрустящей корой.

Почти у всех ребят образовались на полушубках ледяные корки.

Пот, проходя через баранью кожу наружу, сразу остывал: его схватывал мороз.

Ледяная корка на полушубках — и пот, стекающий каплями по мокрому меху! И то и другое сразу! И мы разгоряченной грудью вдыхали морозный воздух, рискуя с каждым глотком получить воспаление легких, и продолжали идти вперед в мокрых, обледенелых полушубках.

Мы шли по реке, и в сумерках наступающей ночи не было видно передовым товарищам, что местами, чорт знает откуда, вода выходила из-под льда.

Передовые проскочили на лыжах эти опасные места, и за ними — весь отряд.

Кто хоть раз в жизни надевал на ноги лыжи, тот поймет, что это значило. Лыжа снизу быстро застывала; вода, попавшая на нее, замерзала и, прилипая, тормозила движение. К лыжам прилипал комками снег, и они уже никак не хотели идти ни вперед, ни назад.

Легче идти по глубокому снегу пешком, чем на таких лыжах. И почти у всех нас лыжи въехали в воду.

Мы шли уже около пяти часов, и можно было бы сделать привал; теперь же совершенно необходимо было остановиться почистить лыжи.

Антикайнен скомандовал остановку.

Отряд остановился.

Мы направились к берегу.

Захрустел валежник, застучал топор, отыскивая сухостойное дерево.

Я стал утаптывать снег, чтобы очистить место для костра, и, оглянувшись на реку, увидел несколько стоящих без движения фигур. Они, опираясь грудью на палки, стояли молча, без движения, без признаков жизни, как замороженные статуи.

— Лейно, узнай, в чем дело!

Лейно устало подошел к ним.

Я увидел, как он стал толкать этих истуканов, стоявших на лыжах, словно замерзшие снежные бабы. Они зашевелились, пошли к берегу.

— Они спали стоя, — сказал Лейно. — Палки в грудь — и райские грезы. Спокойной ночи!

— Привал большой, — сказал, проходя мимо меня, Антикайнен. — Привести себя в порядок и отдохнуть!

Большой привал — значит, можно развести ракотулет. Я не знаю, где бы еще, кроме дремучих лесов Суоми, разбивали ракотулет.

Ракотулет устраивают так. Валят два больших бревна, сдвигают их. Предварительно на тех сторонах, которыми бревна соприкасаются, топором делают глубокие засечки, своего рода бахрому. Их поджигают. Они горят медленно, сначала только тлеют, да и после нет такого яркого огня, какой бывает при обыкновенном костре. Но жар от ракотулета очень большой, за ним не нужно ухаживать все время, не надо каждую минуту подходить, подкладывать новые сучья, и сгорает он медленно.

Между шеренгами ракотулетов бывает порядком жарко даже в самую холодную ночь.

Ночь действительно была холодной. Не меньше тридцати пяти градусов, по уверению адъютанта.

Большой привал.

Мы стали делать ракотулеты, набивать котелки снегом. Установили винтовки в козлы и стали очищать лыжи от налипших комьев снега.

Это работа очень неприятная и кропотливая. Лыжи ведь близко к огню держать нельзя: если они разогреются, то когда станешь на них, снег под ними начнет таять и налипать. Вот почему у нас в Суоми и в Карелии они стоят всегда в сенях.

Повозились уж мы с лыжами на этом привале!

Обледенелые полушубки от огня стали топорщиться, корежиться.

Я поднял руку, чтобы обломить нависшую над ракотулетом ветку ели, и вдруг почувствовал, что в моей одежде что-то оборвалось, треснуло, и мне стало очень легко поднимать руку. Я снял балахон. Обледенелый полушубок мой треснул, покорежившись на сгибе плеча. Рукав совершенно свободно теперь снимался отдельно от всего полушубка.

— Я придумал, что надо делать, чтобы полушубки впредь не леденели, — сказал комрот-2.

Он стал выворачивать свой полушубок наизнанку и, вывернув, надел на себя.

Такую же процедуру с полушубками проделали и многие ребята, и мы ходили мохнатые, как медведи.

Мой рукав не отваливался после от полушубка лишь благодаря балахону.

Ночь предстояла очень холодная. Концы пальцев холодели даже в рукавицах.

Лежа в снегу, я посмотрел вверх и через тяжелые от снега мохнатые ветки увидел большие северные звезды, опрокинутый ковш Большой Медведицы и мысленно стал проводить линию к Полярной звезде.

Я задремал.

Проснулся я от отчаянного жара — мне казалось, что правая сторона моего тела, обращенная к ракотулету, раскалена донельзя, левая же сторона погребена во льдах. Я повернулся на другой бок и продолжал спать.

Так крепко спать, я думаю, мне больше никогда не придется.

Один раз, когда я повернулся с боку на бок, я увидел, как Лейно быстро вскочил с постели, устроенной из свеженаломанных веток, и, быстро скинув полушубок, стал его уминать на снегу.

Он увидел мой полусонный, но, вероятно, очень удивленный взгляд и сказал:

— Спалил полушубок головней...

Но я заснул, не дослушав его.

Снов не было. Опять спине стало очень холодно. И я проснулся оттого, что кто-то положил руку на мое натруженное плечо. Я с трудом разлепил веки. Надо мной стоял испуганный товарищ Антикайнен. Он бережно — видимо, стараясь не разбудить — переворачивал меня на другой бок, отдирая примерзшую к снегу полу моего полушубка. Я видел, как он подозвал часового и приказал ему каждые четверть часа переворачивать спящих с боку на бок.

— Чтобы не замерзали и не пригорали...

Так он заботился о нас, своих бойцах.

Конца их разговора я не слышал.

И когда в другой раз я проснулся и открыл глаза, то увидел Тойво, укладывающегося у ракеты.

Он выглядел постаревшим на несколько лет и очень похudevшим.

— Опять, что ли, словил кого-нибудь в хвосте? — спросил неожиданно подошедший Антикайнен.

— Мое время еще не ушло — погоди, словлю еще десяток-другой! — пробовал отшутиться Тойво, но ему явно это не удавалось.

Он снова отстал от отряда и только что пришел.

— Товарищ начальник, — сказал он Антикайнену, — дозоры у нас слабо смотрят: меня никто по пути не остановил.

Командир пошел дальше — осматривать стоянку и проверять дозорных.

В своем опоздании Тойво мог найти и некоторую долю утешения. Увидев разложенные костры, он вышел на берег, пошел к ним напрямик и таким образом не попал в воду; поэтому ему и не нужно было так возиться с лыжами, очищая их. Но, к чести Тойво, надо сказать, что это было последнее его отставание.

Все остальные переходы он проделывал так, что только опытный глаз мог отличить в нем новичка.

Он прошел ускоренный курс подготовки на лыжника. Во что ему обошлась эта подготовка, говорили его лицо, напряженное, заострившееся, как у человека, долго болевшего, и глаза, горевшие странным блеском.

Отряду же обучение Тойво едва не стоило катастрофы при спуске перед Пененгой.

По-настоящему я понял, во что обходился поход Тойво, лишь в Челке.



Было еще только четыре часа ночи, когда мы поднялись и вышли вперед. Снова вперед!

Было совсем темно.

Опять мы шли по реке. Опять мой взвод шел посередине отряда.

Вначале идти всегда казалось невероятно трудно. Ну, разве что заставишь себя сделать, и то через силу, шагов двести-триста.

Ныли мышцы на ногах, на руках, мышцы живота. Болели натертые плечи, разбухали ноги. Стирались валенки.

Но через сто-двести шагов делалось уже вполне понятным, что можно пройти больше.

Мышечная боль растекалась, рассасывалась. Морозный воздух, пронизывая все тело, бодрил.

Да, пройти можно было гораздо больше, чем двести шагов.

Пройти можно столько, сколько нужно, чтобы принести победу революции.

Мы шли вперед по реке, отталкиваясь палками, оставляя глубокий след в рыхлой целине.

Снегопад прекратился. Ясная, морозная луна освещала наш утренний путь.

На снег ложилась полоса — лунная дорога, какая бывает на озерах.

Передовики шли сейчас внимательнее. Заметив талую воду, они взяли курс на берег. За ними пошел весь отряд.

Мы прошли это место, снова спустились на лед и пошли по льду. На этот раз передовики прозевали и с размаху влетели в талую воду, скрытую снегом.

Отряд остановился. Мы вышли на берег.

— Остановки не будет! — скомандовал звонким своим голосом товарищ Антикайнен. — Они почистятся и догонят.

Таким образом, мой взвод стал головным. Мы вышли на берег и уже больше не спускались на предательский лед реки. Мы шли вперед.

Луна закатилась.

Рассвет подступал к отряду из-за каждого беличьего дупла, волчьей норы. Мутно-молочный рассвет. Мы шли.

Скоро должна быть деревня Челка. После Челки наш путь лежал уже прямо в Реболы, где, по всей вероятности, находился штаб фронта. Пленные говорили, что там триста лахтарей.

— Матти, ты пойдешь со мной вперед, в разведку. И возьми с собой одного курсанта! — сказал комрот-1.

Я выбрал Лейно.

— Метрах в двухстах от деревни останови отряд и, если будут выстрелы, окружи деревню, чтобы никто не мог проскочить! — отдал приказ комроту-2 товарищ Антикайнен.

Мы вышли вперед и через пятнадцать минут хода были у самой деревни.

Деревня, как и большинство карельских деревень, расположена у воды и окружена приземистыми банями. Мы обошли деревню задами. Ни над одной избой не развевался белый флаг. Из нескольких труб поднимался уютный дымок. Протяжно мычала корова.

Женщина вышла на крыльцо, постояла, сбежала с крыльца, перешла улицу и исчезла.

Несколько ребятишек возились на улице с огромной кудлатой собакой.

Никаких, даже отдаленных, признаков лахтарей не было видно. Деревню война, казалось, обошла.

— Да, здесь, конечно, тоже никто нас не ждет, — улыбнулся мне комрот-1. — Но мы все-таки здесь!

Для проверки мы выбрали самый крепкий, богатый на вид дом в деревне, где, конечно, остановились бы белые, и пошли к нему. Лыж снаружи не было видно. Все было попрежнему спокойно. Я постучал в дверь. Хриплый женский голос ответил мне по-фински:

— Войдите!

— Спасибо! — отвечал я. — Нас трое.

И мы вошли через сени в горницу.

Горница был чисто прибрана, половики разостланы на сияющем чистотой полу. Покрытый сверкающей клеенкой стол, образ в углу.

Мы предусмотрительно сняли шлемы: откинули капюшоны так, что шлемы остались в капюшонах. Рослый, упитанный, неповоротливый мужчина встал с кресла при нашем появлении.

— Здравствуйте! — сказал товарищ комрот.

Мужчина что-то промычал в ответ.

Из соседней комнаты, в которой топилась плита, покрасневшись от жара, выскочила женщина лет тридцати пяти и затараторила:

— Здравствуйте! Это мой муж. Он глухонемой. Как хорошо, что вы пришли к нам! Вы давно из Финляндии?

— Позавчера! — глухо ответил комрот.

Я взглянул на него недоуменно. Он подмигнул и скривил угол рта мгновенной улыбкой:

— Разве здесь никого из наших нет?

— Нет, нет... — И женщина быстро перед глазами мужа задвигала пальцами: так разговаривают с глухонемыми.

Он сделал к нам шага два навстречу, ухватил руку командира, потом радостно стал пожимать мне руку, и живейшее удовольствие было написано на его заросшем кустами волос лице.

— Он принимает нас за финских офицеров, — успел шепнуть мне комрот, в то время как глухонемой тряс руку Лейно.

— Дорогая хозяйюшка, нам с дороги молочка бы выпить! — обратился к хозяйке Лейно.

Через полминуты мы уже сидели за столом, покрытым сияющей клеенкой. Перед каждым из нас стоял кувшин с парным молоком. Приторный вкус молока и тепло горницы размазывали.

Хозяйка весело хлопотала у плиты в соседней комнате, что-то спешно для нас стряпая.

— Пей в два горла, Лейно! Не скоро еще дождешься такого угощения, — обтирая губы, сказал комрот.

Лейно улыбнулся, хотел что-то ответить, но поперхнулся и закашлялся. Несколько капель молока упало на клеенку.

Хозяин, наблюдавший за нашей трапезой, с почтительным восторгом и радостной преданностью подскочил в одну секунду с полотенцем в руке и, предупредительно изогнувшись, быстро вытер с клеенки капли.

Финский офицер имел в этом доме, очевидно, право на почтительное уважение.

Желая, наверно, еще раз подчеркнуть свою преданность нам и ненависть к советской власти, глухонемой подошел к комоду, покрытому кружевным ручником, выдвинул ящик, из ящика вытащил шкатулку, из шкатулки — несколько советских знаков миллионного достоинства, выразительно плюнул на них, бросил на пол и стал изо всех сил топтать их.

— Погоди, я разделаюсь с ним! — прошептал мне на ухо Лейно и стал медленно вытаскивать из кармана ватных штанов бумажник.

На громкое шарканье мужа вышла из соседней горницы хозяйка, подобрала денежные знаки и, взяв из рук мужа шкатулку, бережно сложила их туда и вышла из комнаты.

Лейно тем временем вытащил бумажник из кармана и, разложив его на столе, вынул хранимую им с 1918 года финскую марку — марку, выпущенную Советом народных уполномоченных Финляндии, с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и подал эту марку кулаку.

Кулак, увидев финские буквы, не потрудился даже прочесть их внимательно. Он, как полоумный, запрыгал, поднес марку к своим губам, стал ее целовать. Было одновременно и смешно и противно.

— Матти, — обратился ко мне комрот, — пойди приведи отряд.

Я вышел и, надев лыжи, отправился к отряду, который, как условлено, должен был ждать результатов разведки вблизи от деревни. Дозорный наш окликнул меня.

— Можно идти вперед! — ответил я ему на ходу и остановился, увидев картину, подобную которой я, надеюсь, до самой смерти своей не увижу больше.

Почти весь отряд спал, стоя на лыжах, уткнув палки в грудь, беспомощно опустив головы и руки.

У некоторых изо рта тянулась тонкая, замерзавшая в воздухе слюна.

Мерное сопенье вырывалось из утомленных грудей. Закрытые глаза, мерное дыхание, беспомощно повисшие плетями руки самых здоровых парней, каких только мне пришлось встречать на своем веку, показывали крайнюю степень утомления. Это подтверждалось полным отсутствием разговоров и шуток.

Даже Антикайнен с трудом удерживал себя от сна.

— Товарищ командир, деревня свободна, — отрапортовал я и пошел обратно.

Разбуженный отряд медленно пошел в деревню.

Когда я вошел в избу, комрот и Лейно аппетитно уплетали большую яичницу-глазунью.

Я присоединился к ним, но едва успел отправить в рот блестящий от масла, янтарный поджаренный желток, в горницу вбежала девчонка лет двенадцати и бросилась прямо в кухню, к хозяйке.

Несколько секунд за перегородкой был слышен приглушенный шопот.

Полногрудая хозяйка выпорхнула в нашу горницу, подбежала к оконцу и, взглянув в него, замерла. Румянец быстро сошел с лица. Она подошла к глухонемому, дернула его за рукав и подвела к окну.

Глухонемой замычал, и в этом мычании было что-то жуткое.

Я встал и взглянул в окно.

По улице продвигался наш отряд. У многих были откинuty капюшоны, и красные звезды сияли всей своей красотой.

Глухонемой обернулся к нам и залопотал что-то. Его лопотанье хозяйка перевела на чистый финский язык:

— Господа офицеры, в деревню вошли красные! Мой муж предлагает вам спрятаться у нас под полом, пока они не уйдут, или дождаться ночи, чтобы спокойно уйти от красных бандитов.

— Я очень тронут, хозяйюшка, вашим любезным предложением, — спокойно отвечал комрот, — но мне нечего бояться этих красных бандитов, тем более что сам я их начальник.

И с этими словами он высвободил свой шлем из капюшона и нахлобучил его на свою круглую светловолосую голову.

Глухонемой, увидев красноармейский шлем на голове того, кого он считал финским егерским офицером, издал протяжный вопль, вопль отчаяния, и, весь изменившись в лице, сразу рухнул в стоявшее рядом с ним кресло.

В этом кресле, все в том же положении, безучастный ко всему, что творилось в комнате, не издавая ни одного звука, глядя прямо перед собой неподвижными глазами, он оставался все время, пока мы были в деревне.



Наши караулы уже оцепили деревню. Никто не мог из нее выйти без нашего ведома и раньше нас.

Адъютант, доедая яичницу, записывал что-то в походный дневник отряда.

Его мучила мысль, что он не мог до сих пор переслать в штаб ни одного донесения, а там могли подумать, что отряд уже погиб, взят в плен, расстрелян или где-нибудь застрял.

Адъютант также думал о том, что отряд не получает никаких известий из внешнего мира, да и получить их совершенно невозможно.

Сейчас, может быть, снова объявила войну Польша или японцы пошли через буферную Дальневосточную республику на Страну Советов, а мы здесь ничего этого и не знаем...

— Матти, — обратился ко мне адъютант, — сколько километров пути ты отметил на карте за эти сутки?

— Шестьдесят пять, товарищ адъютант, по линии полета птицы.

— Ты забыл наши отступления по этой линии, извилистое русло реки, наши выходы на берег...

— Тогда около ста, товарищ адъютант.

Солнце сияло вовсю, снежные искорки золотились на улице, переливались всеми цветами радуги и задорно хрустели. Было великолепное зимнее утро.

В комнату быстро вошел Антикайнен. Он не взглянул на нас и не заметил даже нашего присутствия.

Не раздеваясь, казалось в полном изнеможении, он рухнул на хозяйскую кровать. Рука его свесилась с постели.

Адъютант, также не заметив появления Антикайнена, продолжал делать записи в своем дневнике. Услышав скрипенье

пера, Антикайнен тихонько приоткрыл глаза и только теперь заметил нас. Тогда он стал шарить рукой по постели и, сделав вид, что он что-то искал здесь, медленно поднялся и как бы про себя произнес:

— Нет, не то.

И уже стоял перед нами, снова подтянутый, подобранный, боевым командиром.

Видимо, даже и перед друзьями стеснялся он показать свою усталость. Таким уж он был.



Был большой, пятичасовой привал.

Ночью мы должны были снова выйти в поход — уже в район, где находился неприятельский штаб. Ребята спали вповалку на полу в избах. Лишь некоторые счастливицы имели силы добраться до полатей или сделать себе подстилку.

Блаженное выражение полного отдыха блуждало на лицах многих, другие спали сосредоточенно. Тойво с одним курсантом забрался на мягкую постель и спал без памяти.

Перед тем как улечься спать на соломе на полу, я подошел и взглянул на лежавшего на краю постели Тойво.

Он тяжело дышал, и руки его сгибались, и ноги сгибались и распрямлялись, пружиня, подобно тому как это бывает при лыжном беге. Лицо его было сосредоточенно, прерывистое дыхание вырывалось из его груди. Мышцы рук и ног мерно, в такт сокращались и расслаблялись.

Было ясно, что Тойво шел на лыжах и во сне.

Двигая руками и ногами, он задевал своего соседа по постели. Но тот спал так крепко, что, казалось, ничто не в состоянии было разбудить его.

В тот же день, в начале второго, мы снова вышли в путь — вперед, на Реболы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мы захватили Реболы. Я снова иду в разведку

Небо было черное, как и стволы мачтовых сосен, когда вокруг луны показались кольца северного сияния.

Они не походили сейчас на изображения северного сияния в хрестоматиях и учебниках географии — они не были разноцветными. Тусклый желтовато-белый свет освещал их как будто изнутри.

Луну окружили два огромных концентрических светящихся кольца. Потом ночь их размыла, и остались опять холодная,

огромная небесная пустыня и наш маленький отряд, идущий через лес, перелески, рощи, опушки, долины, лесные речки, по твердому насту и по разрыхленному снегу — всё вперед и вперед...

И казалось, что мы идем так бесконечно, и начало похода, еще такое недавнее, совсем потерялось в таких уже далеких мирных и невозвратных днях, что даже и вспомнить было трудно, были ли когда-нибудь такие дни. И трудно было подумать о том, что будет, когда поход окончится (о, как натирает ремень!). И разве может он закончиться, а снега, растаяв, обнажить топкие болота Карелии?

Мы шли... Рядом со мной шел Лейно.

После Челки в снегах был сделан еще один привал. Отряд приближался к Реболам. Антикайнен распорядился обойти Реболы, чтобы приблизиться к деревне со стороны финской границы, откуда нас меньше всего можно было ожидать.

Предстоял жаркий бой. Лейно шел по склону к озеру. Я остановил его на минутку.

Мы стояли на склоне; отряд шел по озеру. Я молча смотрел на товарищей. Перед тем как оттолкнуться палками и пойти вслед за другими вниз по склону, Лейно сказал мне:

— Вот смотрю я на ребят и думаю: если бы я сам не был в отряде, а так, случайно, очутился в эту секунду на склоне и увидел наших курсантов, идущих, как сейчас, молча, в этих белых балахонах, в свете луны, по льду озера, я бы испугался и, будь я человеком суеверным, подумал бы, что идут привидения, тени людей.

И действительно, отряд, идущий в лунном свете по озеру, напоминал процессию призраков.

— Но только твои привидения, Лейно, слишком по-человечески, по-зверски даже дышат!

Сильные выдохи и вдохи, сопенье нарушали ночную тишину зимнего озера.

Мы шли всё вперед. Лейно мне говорил:

— Я уже однажды сделал на лыжах глубокий рейд. Но тогда я был совершенно одинок, и рядом со мной не было ни одной родной души...

Я был захвачен под Выборгом в плен лахтарями и случайно приговорен не к расстрелу, а к десятилетней каторге.

Меня вместе с другими тридцатью тысячами товарищей продавали в рабство в германские колонии, в Африку.

Если бы я уважал их законы, то сидел бы и поныне в каменном мешке и не пошел бы в этот рейд. Но я уважаю только такие законы, которые помогают бить лахтарей, и поэтому, когда представился случай, я бежал из тюрьмы.

Ты знаешь, что в каторжных централах ворота широко открываются только внутрь, и выйти нелегко. Но я вышел...

Нас, арестованных, переводили в другую тюрьму. На двадцать человек было четыре конвоира. Я уже заранее сговорился с товарищами, и они сделали так, как было условлено.

По дороге через лес — в пяти километрах от тюрьмы — два товарища поссорились и начали драться. В драку ввязались еще двое. Конвоиры бросились разнимать дерущихся. Воспользовавшись этой суматохой, я, перепрыгнув через обочину, пустился наутек в лес.

Вдогонку мне раздалось несколько выстрелов, но в сумерках, за деревьями не так-то легко попасть. Бежать же за мной конвоиры не решились, боясь, что тогда разбегутся и все остальные арестанты.

Разумеется, я пошел сразу же в другую сторону, а не в ту, куда меня вели под конвоем. Потом я сошел с дороги в лес, изменил направление и снова вышел на дорогу. Я пошел по ней на восток. Шел ночью, спал днем в стороне от дороги. В обочинах было сыро. И однажды на рассвете ко мне подошел полицейский:

«Ваш документ!»

«Сейчас...»

Я стал делать вид, что вытаскиваю из кармана паспорт, вытащил давно просроченный членский билет союза строителей (я ведь каменщик) и сунул ему под нос.

Он наклонился, чтобы разглядеть, и в ту секунду, когда он читал, наверно, слова: «Профессиональный союз рабочих...», я изловчился и сделал ему нокаут под нижнюю челюсть. Он не успел прийти в себя — я ведь не стоял над ним, как арбитр, отсчитывая секунды, — как я уже отнял у него револьвер и, выстрелом ранив его в ногу, чтобы он не мог побежать за помощью, оттащил его подальше от дороги.

На сутки по крайней мере он был для меня неопасен. С револьвером я чувствовал себя лучше; этот маузер у меня и по сей день...

— Я предпочитаю наган, — сказал я, ощупывая свой безотказный револьвер.

— Я вскоре стал на лыжи, тоже добытые таким способом, который не поощрило бы благотворительное общество разведения канареек, а судья — тем более, и продолжал на лыжах свой глубокий рейд на восток.

Я шел семнадцать дней и перешел границу в Олонецком районе. Дальнейшие мои приключения тебе, Матти, отлично знакомы, но никогда до сих пор я не думал, что проклятые плечи могут так болеть от потертости.

...Было уже два часа.

Пришла разведка, несколько разочарованная: по ее словам, в деревне не наблюдалось не только неприятельских крупных сил, но даже постов.

Все это противоречило и нашим предположениям, и показаниям пленных, и желанию уничтожить неожиданным налетом центр.

Оторванные от всего мира, мы не знали, что в те дни противником у Андроной горы был почти уничтожен красный батальон с трехдюймовками. Мы находились в очень глубоком тылу.

Антикайнен решил послать вторую разведку.

Отряд остановился в лесу. Чтобы не привлекать ничьего внимания, костра не раскладывали.

Было очень холодно. Начиналась карельская таежная выюга. Снег попадал за шиворот, востром его швыряло в глаза. Плевок шлепался на снег уже ледяшкой.

За хлопьями бурана в черноте январской ночи в двух шагах нельзя было отличить человека от сугроба, наметенного около ели. Выюга заносила лыжный след через несколько минут после того, как он был проложен.

Разведка долго не возвращалась.

В свисте резкого ветра мне слышались отдаленные шумы стрельбы.

Неужели наша разведка завязла и погибла?

Может быть, мы еще можем спасти ее, а стоим без движения здесь, в глухом лесу, и замерзаем без всякой пользы для дела!

Антикайнен обошел отряд; за ним шел наш комрот.

Антикайнен сказал мне:

— Если через двадцать минут разведка не придет, мы налетаем на деревню.

Я пытался пробуравить тьму метельной ночи, бросавшей в глаза острый, колючий снег. Мне даже казалось, что я вижу очертания деревенской колокольни.

— Развертываться! — дал уже команду Антикайнен, когда неожиданно, как бы вырастая из наметенных сугробов, появилась разведка.

Разведчики отрапортовали, что никаких следов неприятеля ни в деревне, ни около нее не замечено. Они обошли почти все избы, прошли даже по главной улице и ничего похожего на лахтарей не обнаружили.

Весь отряд, каждую секунду остерегаясь попасть в заранее устроенную засаду, пошел в деревню, разбившись на три колонны.

«Теперь бы теплую русскую печь или хотя бы полати в курной избе, но только в закрытом помещении!» — мечтал я, с трудом передвигая ноги.

Сведения разведчиков о полном отсутствии в деревне врагов произвели на нас неожиданное действие.

Я и еще многие ребята, которые последние километры шли на нервах, сразу размагнитились.

Почувствовалась непреодолимая, свинцовая усталость в ногах, мешок за плечами стал в десять раз тяжелее, и потертость плеч чувствовалась сильнее, чем ожоги.

И я дремал на ходу — не помню, как это случилось.

Помню лишь сквозь дымку обрывающегося полусна, как я лежу на снегу и хочу спать, помню наклоненное надо мной круглое, скуластое лицо Тойво, иссеченное мелкими, острыми снежинками.

— Матти, вставай! Надо идти — выпаться успеешь в Реболах. Так ты замерзнешь.

Я иду, помогая себе лыжными палками: подбородок мой то и дело ударяется о ремень винтовки.

Никакие усилия не могут расклеить моих плотно слепившихся век. И я отчасти даже доволен этим.

В уши рвется мне свист вьюги, и я шепчу себе:

— Матти, самое главное — дойти. Дойти — самое главное в этом деле, Матти... Отстанешь — замерзнешь наверняка или тебя загрызет волчица. Плохо бывает, Матти, когда грызет волчица: сначала один палец, потом другой, потом всю руку — и доберется до сердца...

И так, в полусне шел я на лыжах, как всадники спят в своих седлах, на секунду раскрывая глаза, когда оступится конь.

Как мы вошли в деревню, не помню.

Разведка была права: лахтарей в деревне не было.

Помню свои отрывочные мысли: «Почему почти не видно местных жителей?»

Помню свое удивление перед колокольней. Она оказалась совсем не такой, какой я ее представлял, и совсем в другом конце деревни.

Проснулся я от резкой боли в плече.

Передо мной стоял комрот и похлопывал меня легко по плечу.

— Что, и у тебя плечо стерто? — Он покачал головой.

Было уже совсем светло. Буран прошел, и свет холодного солнца, проникая сквозь замерзшее окно избы, ложился на пол яркожелтыми квадратами.

Левое плечо мое было натерто до крови. За ночь рубашка присохла, и отдирать ее было очень больно.

Синий шрам глубокой потертости на плече и по сей день очень интересует моего семилетнего сына Лейно, названного так в память погибшего товарища.

Но тогда шрам был багрово-красным и сочился кровью. Кожу на стертом месте плеча уже не было, открытое мясо натиралось суровым полотном рубахи.

Так было не у одного меня.

Мне было, пожалуй, еще легче, чем другим: у меня были в целости ноги — ни одной кровавой мозоли, а также ни одной дыры в валенках.

— Ты хорошо спал всю ночь, Матти, — сказал мне командир. — Теперь ты пойдешь в большую круговую разведку. Лахтари ушли из деревни часов за пять, за шесть до нашего вступления; их было триста человек. Штаба здесь нет уже очень давно. Некоторые говорят, что он находится в Кимас-озере, другие — что поблизости, в одном из окрестных селений. Жителей в селе тоже почти нет. Часть мобилизована лахтарями в бандитские отряды, часть угнана с лошадьми в порядке гужевой повинности, а другие — среди них много женщин — попали на лесоразработки. Реки отсюда текут в Финляндию, и вот лесопромышленники всю стараются, чтобы к весне заполучить лес ценой пяти пальцев. Это все, что удалось узнать от оставшихся жителей. В какую сторону ушли отсюда лахтари, неизвестно: следы их замела вчерашняя буря. Мы будем здесь сутки. Радиус твоей разведки невелик — пятнадцать километров. Так что, когда ты возвратишься, мы еще будем здесь. Можешь идти.

И я пошел, оставив часть поклажи в избе.

Я шел в разведку на северо-запад, вдоль по берегу. Реки отсюда текут в Финляндию.

Солнце освещало мой путь. Белый балахон хорошо скрывал меня от непрошенных взглядов.

«Если бы я не знал, что иду по этой тропе, то сам бы себя не заметил», — попробовал я пошутить сам с собой.

Но здесь концы моих лыж уткнулись во что-то твердое, черневшее из-под снега.

Я пригляделся, палкой сбил снег.

Перед мной, несомненно, лежал труп; вблизи от этого трупа лежало еще два изуродованных человеческих тела.

Это было в двух километрах от деревни. Черепа у всех были проломлены — казалось, обухом топора. У убитых брюки были спущены, сапоги сняты.

Трупы были скованы морозом, и поэтому трудно было разобрать, давно ли они лежат так. Во всяком случае, было ясно, что не меньше нескольких дней.

Надо было идти дальше.

Я налег на палки, стал нажимать. Отдых одной ночи сказывался.

Так я шел полчаса спокойно, без всяких встреч, но вскоре услышал внизу по реке женский голос, напевавший заунывную финскую колыбельную песню, такую, какой убаюкивали нас наши матери в раннем детстве.

Я остановился на секунду.

По льду замерзшей реки навстречу мне шла женщина. Она несла в руках сверток, который укачивала и пыталась согреть своим дыханием. За ней, цепляясь за подол, дыша на свои пальцы, всхлипывая, тащился мальчик.

— Стой! Куда?

— В Реболы! — закричала женщина. — Неужели же мне до конца жизни моей не попасть в Реболы? Дитя совсем замерзнет! — И она ткнула мне под нос сверток.

Это действительно был укутанный младенец. Меня поразило, что пар дыхания не поднимался из его рта. Было никак не меньше тридцати градусов.

Плакавший мальчик, увидев меня, притих на минуту.

— Лахтари вы, вот кто! — сказала мне женщина.

— Что произошло, женщина?

В ответ она начала всхлипывать. Она, казалось, была не в своем уме.

— Выехали из Кимаса в Реболы, в гости к сестре, и вот на рассвете встретился мне отряд лахтарей. Отняли у меня сани, лошадь, сбросили меня с детьми с саней, повернули их в другую сторону и сами на них уехали. А у меня мальчишка уже совсем замерз.

Она ткнула пальцем на мальчика, который снова принялся всхлипывать.

— Слава богу, этот успокоился! — она кивнула на сверток.

Я наклонился над ним. Ребенок был, по-моему, мертв.

— Сколько до Ребол?

— Не меньше восьми километров... Иди сюда, — поманил я мальчишку, — дай руки!

Он протянул мне свои руки.

Пальцы его начинали уже коченеть. Я вылил последние капли спирта из фляги и стал растирать руки мальчугана. Он даже заревел от боли.

Мне надо было продолжать свой путь, и женщина, вымаливая у господы тысячи благословений на голову доброго лахтаря, побрела, с трудом вытаскивая ноги из снега, к оставленной мной деревне.

Я шел дальше, и с каждой секундой мне становилось яснее, что младенец, которого убаюкивала эта женщина, был мертв.

Уже наступали сумерки, когда я услышал в глубоком отдалении человеческие голоса и звуки топоров, подобные стуку дятла.

Я стал осторожно пробираться на звук.

Вскоре за деревьями я заметил отдельных людей и, спрятавшись за широкий ствол вековой сосны, стал наблюдать.

Люди (по их полушубкам, финским ножам, валенкам можно было сразу определить, что это местные крестьяне) подрубали сосны, валили лес, очищали стволы от веток. Делали они это лениво, по-моему неохотно, не торопясь.

Несколько поодаль, у костра, стояли два человека с винтовками.

Они резко выделялись среди работающих по одежде и выправке. Серое сукно их шинелей и шапочки, похожие на шапки егерей, выдавали их.

Я был так близко от них, что великолепно слышал, как один из них насвистывал неизвестный мне мотив.

Я запомнил этот веселый мотив, и, перенятый мною со свиста, он после отлично высвистывался и Тойво, и Лейно, и Антилой, и другими курсантами.

Здесь же были и землянки для работающих.

«Ах, так! Хотите сплавить в Финляндию и дальше, в Англию, наш трудовой карельский лес? Не пройдет номер, не пропустим! Тоже, хозяева нашлись!» — думал я, глядя на раскрывшуюся передо мной картину.

В мою голову даже и такая мысль заползла: не подстрелить ли мне из моего прикрытия двух охраняющих егерей и не выскочить ли после этого к работающим крестьянам, объявив, что я вестник красных, передовик, и приказываю им мобилизоваться против лахтарей.

Но я вспомнил параграфы устава о разведке, о точном своем задании, о том, что врагов, может быть, много еще в какой-нибудь землянке, и о том, что если хоть кто-нибудь из врагов узнает о движении нашего отряда, все дело вместе с отрядом может погибнуть.

Все это удержало меня от ложного шага.

Запомнив все, что видел, я пошел обратно.

Я не хотел прокладывать особый, свой лыжный след, по которому меня могли бы догнать, если бы заметили, и неожиданно пустить в спину пулю. Нашел чужой след и пошел по нему.

Это была счастливая мысль, потому что след был проложен, по всей вероятности, десятником на работах.

Сделав тридцать-сорок шагов обратно от лесоразработок, я увидел лежащую в снегу книжку в синей обложке. Она могла сослужить службу в разведке. Я поднял ее. Это были незаполненные бланки расписок в получении заработной платы лесорубов лесопромышленного объединения Финляндии «Гутцейт»¹.

«Эта штука мало поможет в оперативной разведке, — подумалось мне. — На уроках политграмоты она пригодится больше».

Других приключений на обратном пути со мной не случилось, и я шел спокойно и даже не особенно торопился, как будто вышел на дальнюю прогулку.



Я шел по снегу и, глядя на кончики лыж, вспомнил, как в юности попались мне три томика Джека Лондона и с каким нетерпением ждал я конца рабочего дня, чтобы бежать к себе в каморку и погрузиться в чтение.

Какими необычайными и невозможными казались подвиги и герои этих книг и как хотелось хоть на минутку походить на них!

А сейчас я иду один, почти у Полярного круга, через далекий лес. И такие же трудные морозы, и такие же ночевки в лесу на снегу, и куда более быстрое движение без помощи собачьих упряжек — все те же самые трудности, только вдобавок за каждым стволом сосны, может быть, спрятаны и поджидают меня вражеские снайперы.

Их заветная мечта — уничтожить все, что мне дорого, за что дрался я на многих фронтах, уничтожить и меня самого; а я вот иду как ни в чем не бывало, и все это необыкновенно просто, и если бы не боль в плече, так, пожалуй, и совсем ладно было бы.

Вот я даже и засвистать бы мог, если бы не опасность: меня пуля может найти по этому свисту.

Действительно, найти она меня могла только по свисту. Было уже темно.

¹ В Финляндии большую материальную поддержку белому «восстанию» оказывало лесопромышленное объединение «Гутцейт». В 1921 году это общество получило солидный заказ от английских промышленников — на один миллион телефонных столбов и несколько тысяч штук мачт для кораблей. Большую часть заказа общество «Гутцейт», повидимому, рассчитывало выполнить в Советской Карелии.

В начале «восстания» общество передало в распоряжение «повстанцев» всех лошадей и свои помещения в Лиекса и Панкакоски, оказав при этом финансовую поддержку белокарельскому правительству.

Джеклондоновские парни богатели, как черти, от таких своих проделок, а мы?

Те, кто из нас вернется, вернутся такими же парнями, какими вышли из корпусов школы. Но им будет принадлежать Карельская республика, и Украинская, и все Советское отечество.

Было уже совсем темно.

Ясная январская полночь стояла над Реболами, когда меня окликнул стоящий в дозоре Тойво.

— После рапорта пойдешь и выпишься. Утром уходим, — сказал он мне. — Брусники с клюквой и мяса на твою долю я уже взял.

Что и говорить, Тойво любил поесть! Тойво очень аппетитно ел, когда было что. Жаль, ему не досталась крынка с молоком у немого кулака.

Я доложил обо всем, что разведаль, товарищу Антикайнену.

Сразу за мной пришли в избу командира разведчики со стороны Колвас-озера и Емельяновки.

— Штаб неприятеля, очевидно, в Кимас-озере. Туда мы выходим на рассвете. Всему местному населению сообщите, что нас полтысячи и что мы — только передовой отряд, за которым движется еще несколько полков. Про трупы у реки я уже знаю. Это члены волостного исполкома, убитые лахтарями, и товарищ Юстунен, школьный учитель, финн, коммунист — его взяли из школы во время занятий в классе и застрелили в лесу. Но с нами так легко не справиться. — Антикайнен выпрямился во весь рост, и тень, колеблемая тусклым пламенем, закачалась на потолке и стенах избы. — С нами так легко не разделаешься!.. Иди, Матти, спать, — обратился он ко мне. — Можешь идти, Матти.

На крыльце стояли два мальчика. Они вопросительно посмотрели на меня.

— Идите, идите, ребята! — стал прогонять их старик-сторож.

Но один из мальчиков решился и подошел ко мне:

— Мы хотим тебе, товарищ начальник, рассказать про нашего учителя.

Ребята очень волновались.

— Двадцать первого ноября мы занимались в школе. Был урок арифметики. Мы дошли уже до самых дробей. Учитель наш, Юстунен, только начал объяснять нам про дроби, как вдруг в класс вошли пять мужиков с ружьями. Там был Осип Сергеев из Лув-озера..

— И Алексей Васильевич из Березовского-наволока, — вставил второй мальчик. — И еще главный их, Александр Ни-

китич из Челмужи. Всё кулаки. Они сказали учителю: «Ты коммунист», взяли его с собой и увели, и уроков с тех пор у нас уже два месяца нет. На чем остановились, на том и стоим...

— Да постой же! — продолжал рассказ первый мальчик. — Вечером мы пошли вдвоем снова в школу. В школе арестованных держали. Мы попросили, чтобы нас пропустили к учителю, потому что мы ему табаку покурить принесли. Он очень обрадовался, когда увидел нас, и сказал, что его теперь, наверно, заберут лахтари с собой в Финляндию, и просил не забывать его, навещать и передавать привет другим ребятам.

На другое утро мы пришли навестить его, но сторож сказал, что арестованных увели в другую деревню.

Мы пошли сзади по следам. Скоро мы слышали, как стреляют в лесу. Мы перепугались и побежали обратно домой.

На третий день мы снова пошли по следу и увидели, что учителя нашего убили. Он лежал за бревном, и там было еще два убитых.

Я целый месяц один боялся в темноте оставаться, а другие ребята не верили, что убили учителя, но в ту сторону леса боялись идти.

Мы тебя, начальник, проведем туда завтра. Теперь у нас занятий ведь нет.

— Не надо, я уже видел сам, — ответил я ребятам и вышел из школы.

На крыльцо поднимался другой разведчик-курсант. Он шепнул мне радостно:

— С юга подходят к Реболам части южной оперативной колонны наших войск! Они скоро займут село.

Я пошел в избу, где расположился мой взвод.

Почистив лыжи и приготовив снаряжение к утреннему походу, я улегся на солому.

Укладываясь, я увидел на полу большое пятно — доски пола обуглились в середине избы и были совсем черны.

Лейно проснулся и подвинулся, чтобы уступить мне местечко рядом с собой.

— Почему пол горел, Лейно, не знаешь?

— Как не знать! Хозяйка говорила. Лахтари хлеба требовали, и один из них разложил костер на полу и угрожал сжечь избу, если не выдадут пуд муки. Хозяйке пришлось последний пуд отдать. Вот какие дела...

И мы заснули.

Если бы не ныли натертые плечи при поворачивании с боку на

бок, то всем моим друзьям я пожелал бы всегда так крепко и глубоко спать, как я спал тогда.

Проснулся неожиданно — как бы вынырнув из глубокого сна.

Почти весь отряд был готов к выходу. Лейно рядом с нами не было.

— Где Лейно?

— В соседней избе — повивальной бабкой!

— Как?

Выстроив взвод и отдав команду об отходе вслед за вторым и третьим взводами, я забежал в соседнюю избу.

В первой, совершенно разоренной горнице сидела женщина, та самая, которую я встретил вчера на пути. Волосы ее были распущены. Она сидела в тулупе, но босиком, и не отвечала ни на одно мое слово.

Из соседней комнаты раздался вдруг раздирающий душу вопль, но женщина даже как будто и не слыхала его.

Она продолжала мурлыкать колыбельную. И сразу вслед за воплем я услышал в соседней комнате голос Лейно:

— Ну, милая, крепись, крепись! Скоро, должно быть, все пройдет... Крепись, дорогая!

Я вошел в соседнюю комнату.

На пороге меня встретил и не узнал мальчишка, которому я вчера оттирал спиртом руки. У него был испуганный вид, глаза его блестели в полутьме.

На кровати лежала молодая женщина.

Лейно держал в руке кружку с водой:

— Выпей глоток, милая! Хлебни глоток, может лучше станет...

У него вид был растерянный. Первый раз приходилось выступать ему в роли бабки.

— Лейно, мы уходим, — сказал я.

— Матти, я не могу оставить так бедную женщину. Разреши мне остаться на полчаса, на час. Я догоню отряд. Ведь на лыжах я хожу не хуже Тойво, — попытался он шутить.

Но громкий вопль страдающей женщины ворвался в его шутку.

— Ладно, догоняй! — крикнул я товарищу, быстро выскочил на улицу и пошел за отрядом.

«Нервы, что ли, испортились у меня, что не могу выносить криков роженицы? Ведь это — обычное дело».

И чтобы немного успокоить себя, я стал насвистывать мотив, подхваченный мной вчера у лахтаря.

Так я поравнялся с Тойво, и мы пошли рядом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Без дороги — в лесах, в тылу неприятеля — мы идем вперед!

Мы снова шли без дорог по глубокому снегу, через трудно-проходимый лес.

Опять шуршанье поднимаемого лыжами снега, опять обильный пот, прошибающий даже полушубки, опять мельканье сосен и снежная пыль.

Что нового было в этом переходе?

Разношенные валенки, теряющие свою форму, пища, сводящая животы. Ведь мы шли уже без хлеба. Брусника, несколько картофелин и кусок вареного мяса — вот наша еда. В Реболах зарезали несколько коров. Некоторые ребята брусникой пренебрегали — у них животы сводило от резкой боли. Но такая пища сказывалась на всех.

Потом появились нарывы. Нарывы на ногах, бедрах, спине. Они лопались, и белье прилипало к телу.

Лейно говорил, что от гноя нарывов белье у него стало совсем накрахмаленным. У меня кальсоны прилипли к бедру, и каждый раз, когда после остановки надо было идти вперед, приходилось осторожно отдирать материю от тела.

Но мы все-таки шли вперед!

Шли быстро и на растертых своих плечах несли все, что нужно было, чтобы прописать лахтарям «лечение», от которого им никак уже не оправиться.

Когда мой взвод вошел в деревню Конец-остров, я приказал занять крайнюю избу, чтобы расположиться в ней на краткий отдых.

В избе мы нашли только одного дряхлого, совсем седого старика. Он бросился нам радостно навстречу и, видя, что я командир, спросил:

— Вы кто: белые или красные?

Соблюдая конспирацию, я сурово ответил:

— Разве ты ослеп от старости и не видишь, что мы белые и боремся за то, чтобы Карелия была только для карелов?

Старик-карел сразу как-то осунулся, помрачнел, сел в угол и стал вздыхать.

Наконец, на что-то решившись, он быстро перекрестился и снова подошел ко мне:

— Зачем ты обманываешь старого человека? Вы от меня не скроете, что вы красные: это я по вашим штыкам сразу отличил. У белых совсем другие штыки, и они их не так носят.

Старик был прав и неправ.

Белогвардейские активисты, шюцкоры и кулаки были воору-

жены винтовками самых разнообразных образцов: и русскими, и немецкими, и даже японскими.

Я промолчал в ответ, а старик, видя в молчании моем подтверждение своих догадок, радушно захлопотал, стараясь, чтобы мы поудобнее устроились на отдых.



Разведка вернулась поздно ночью.

Неприятельский отряд, очевидно не ожидавший нападения, после небольшой перестрелки отошел в Финляндию.

Наша разведка дальше преследовать не стала и, не доходя двух-трех километров до границы, повернула обратно: легко было попасть в засаду.

Отряд утром снова вышел вперед — вперед, на Кимас-озеро.

Нам оставалось до цели по линии полета птицы около шестидесяти километров, но птицам, как известно, не приходится пробираться сквозь густой лес, где каждое дерево, каждый хвойный куст цепляется за тебя и хочет задержать; птицам не приходится тащить на себе легкие пулеметы.

Тяжесть легких пулеметов, когда идешь по снегу больше недели и питаешься печеной картошкой и брусникой, тоже достаточно велика.

Мы продирались через густой лес.

Озер в лесах Карелии очень много.

Высокий вековой бор вдруг расступается и уступает место озеру.

Лесные озера, окруженные мачтовым лесом, как и у меня на родине, в Суоми, изобилуют рыбой и очень тихи. И когда идешь по лесу, иногда не ждешь, что через несколько шагов появится озерная гладь.

На берегу таких озер строятся рыбачьи бани, низенькие курные хибарки.

Почти весь этот день мы двигались совсем без дорог, против сильного, острого, до костей пронизывающего ветра. Он пробирался даже и через густой лес.

Под вечер начался буран.

Идти дальше было очень трудно не только для Тойво.

Мы прошли уже около двадцати километров, когда вдруг лес расступился перед нами, чтобы дать место заколдованному озеру.

И здесь я увидел рыбачью баню. Лейно шопотом, похожим более на крик — так как шептать приходилось ему против бури, — обратил мое внимание на легкий дымок, восходящий к морозному небу.

Луна уже сияла на темном небе.

Мы втроем — Лейно, Тойво и я — подошли к бане. Тойво занял пост у крошечного оконца, покрытого ледяной росписью, Лейно во весь рост встал у дверей, а я, с силой распахнув дверь, вошел в избу.

В избе было очень жарко натоплено и совсем темно. Из одного угла долетал мерный, спокойный храп. Я зажег спичку.

От чирканья спичкой по ребру коробки человек проснулся и забеспокоился:

— Кто это?

— Свои! Выходи, тебя ждут.

Человек, кряхтя, стал собираться.

— Да быстрее же, тебя ждут ведь!

Человек подошел к дверям, но на пороге, преграждая ему путь и направив дуло винтовки прямо в грудь, стал Лейно. Мой наган был уже у виска незнакомца.

— Руки вверх!

Так мы захватили в этой лесной бане этап белой эстафеты и одного эстафетчика.

Испуг и изумление — в особенности изумление — так ярко были написаны на его лице, что меня разбирал смех.

Лахтарь этот оказался разговорчивым.

Комрот-1 с Антикайненем вывели у него много очень интересных для отряда сведений.

...Буря разыгрывалась все больше и больше. Мороз достигал тридцати семи градусов.

Дороги не было, а тут, как назло, отказались служить компасы. Разнобой в показаниях компасов сводил на нет все наши предположения. До сих пор я не могу себе объяснить это явление.

Совершенно ясно было, что продвигаться в таких условиях сейчас же вперед было рискованно. Антикайнен отдал распоряжение сделать большой привал.

Я нанес пройденный путь на карту и вышел из бани помогать ребятам строить шалаши из ельника — свежего, пахучего, колкого ельника. Другие ребята складывали ракушечник.

На теплой еще постели эстафетчика улегся поспать на несколько часов Антикайнен; затем его место должны были занять комрот-1 и комрот-2, так как командиры наши спали по очереди.

Я уже устроил себе матрац из можжевельника и собирался заснуть, как увидел быстро идущего со стороны озера человека.

Это был совсем незнакомый мне человек, и одежда его не походила на нашу.

«Надо будет проверить, как это дозорный прозевал постороннего», — подумал я и встал навстречу идущему.

Комрот-1 был уже рядом со мной.

Человек с винтовкой германского образца за спиной подошел прямо к командиру, отдал ему честь и, вытащив из своей походной сумки небольшой пакет, передал его в руки командиру.

Комрот взял пакет и, выразительно смотря на пришедшего, подмигнул мне. Я сразу понял его немой приказ и, став позади этого типа, вытащил свой наган.

— Довольно шутить! — вдруг сурово произнес комрот. И, обращаясь ко мне: — Товарищ комвзвод, арестуйте этого человека!

Забавно было смотреть на растерянное лицо лахтаря.

Он сначала подумал, что товарищ комрот ошибся, потом — что сам он сошел с ума. Однако, увидев у своего виска дуло нагана, эстафетчик, очевидно, убедился в реальности происходящего.

— Товарищ командир, куда его прикажете отвести? — спросил я, обезоружив пленного.

Слово «товарищ» в обращении к командиру, очевидно, окончательно убедило захваченного, что он попал к красным, а так как это был, видимо, убежденный белогвардеец, то он сразу замолк, и ни одного слова я от него больше не услышал.

Письмо, врученное эстафетчиком командиру, заключало в себе очередное распоряжение командующего фронтом Ильмаринена начальнику заставы в Конец-острове, фельдфебелю Риута.

В распоряжении, между прочим, говорилось о том, что до штаба доходят смутные слухи о появлении около Ребол какой-то красной банды — вероятно, местной партизанской; требовалось немедленное донесение, соответствуют ли эти слухи действительности, и сообщалось, что на всякий случай для усиления отряда Риута к нему из Кимас-озера выходит подкрепление, которое прибудет в Конец-остров не позже чем через двадцать четыре часа после письма.

Значит, отряд Риута отошел через Ровкулы в Финляндию. Значит, через несколько часов нам предстоит встреча с подкреплением, идущим из Кимас-озера. Значит, в Кимас-озере ничего не знали по-настоящему о нас.

Пока все было благополучно, если не считать нескольких случаев рвоты у ребят.

Если бы не мы сами зарезали корову, мясом которой питались, никто не усомнился бы, что мы питались какой-то падалью.

Комрот усилил караулы.

Медленно проходила зимняя метельная ночь в лесу у ракутулетов.

Решительный бой был близок.

По рассказу эстафетчика, в Кимас-озере было больше трехсот вооруженных лахтарей, да и в ближайших деревнях не меньше того. Мы были в самом центре вражеских боевых сил и на расстоянии трехсот километров от своих.

Утром мы снова пошли вперед, таща на себе боевой груз, отощав, как кони от бескормицы, готовые каждую секунду принять бой.

Снова мельканье палок, сосновых стволов, снова хрустящий снег под скользящими лыжами, снова перелески, овраги, снова лес, замерзшие речки и лесные озера...

Мы идем вперед. Метель улеглась спать в пуховые сугробы.

— Кстати, Лейно, кто родился: мальчик или девочка?

— Гражданин Советской Карелии, — улыбнулся Лейно.

— Нажимай, нажимай, ребята! — подгоняет товарищ Антикайнен. — Товарищи, кто из вас говорит с карельским акцентом? — спрашивает он.

Товарищи Рахияки и Яскелайнен вызвались. Им еще до революции приходилось бывать в Карелии на лесоразработках. Никогда не думали их родители, что они будут учиться на красных командиров, — судьба готовила им профессию лесорубов.

Мой взвод был головным, Рахияки и Яскелайнен пошли с моим взводом.

— Крепкий мальчик, говоришь? — обращаюсь я к Лейно на ходу.

— Спрашиваешь! — торжествующе отвечает он. — У такой акушерки да чтобы плохой был!

Мы идем впереди своего отряда в белых балахонах, без всякой дороги. Груз давит мне на плечи, но, чорт побери, не все ли равно теперь уже! Завтра, может быть, из всего отряда ни одного парня не останется в живых. А какие парни, какие молодцы! И все — коммунисты.

— Иди, иди живее! — покрикиваю я на пленного эстафетчика, который ведет нас по им же самим проложенному следу.

И вдруг замечаю: метров за пятьдесят идет навстречу группа людей — вооруженных людей, одетых не по форме, но не совсем штатских. Они увидели нас и остановились.

— Начинай! — дал я знак Рахияки.

Рахияки протяжным напевом, напоминающим русский, запел песню на карельском диалекте.

Пел он спокойно и медленно, и шли мы тоже медленно,

внешне не принимая никаких мер предосторожности. На самом же деле я, взяв одну из палок подмышку, освободившейся рукой поворачивал под балахоном барабан нагана, ощупывая, все ли патроны на своих местах в гнездах.

— Тоже господин фельдфебель, дает приказания! — делано недовольным тоном перебил песню Яскелайнен. — Пошел бы в такую дорогу сам Риута!

Эти слова, несомненно услышанные лахтарями, окончательно убедили их в том, что мы свои.

— Кто вы?

— Из отряда Риута. Нет ли у вас, ребята, покурить? — приостановил свой запев Рахияки.

Мы плотно въехали в середину отряда противника. На двух лахтарях были форменные егерские шапки. Нас было девять, их — десять.

— А мы на помощь отряду Риута. Действительно красные бандиты у вас там зашевелились?

— Сказки одни! — ответил Лейно. — Откуда им здесь взяться?

— А если бы и взялись, так смерти своей не порадовались бы, — вступил в мирную беседу лахтарь в егерской шапке, парень лет двадцати.

Во время разговора, который мы вели нарочно в замедленном темпе, передовая часть отряда незаметно подошла к месту действия и почти вплотную окружила нашу группу. Куст можжевельника качнулся; подошедший Тойво дышал прямо в затылок. Я живо обернулся, увидел поднимающийся пар его дыхания и громко крикнул:

— Смирно, слушай мою команду! Руки вверх!

Лактари не успели даже толком сообразить, что и почему, как были захвачены и разоружены.

Впрочем, они и не думали сопротивляться.

Самый старший из них — человек с окладистой русой бородой — заявил Антикайнену на вопрос, как он попал в отряд лахтарей:

— Как не попасть, когда мобилизация поголовная, от восемнадцати до сорока лет! — И он злобно плюнул на снег. — Когда они пришли сюда из Финляндии, говорили, что им семь держав помощь посылают, и хлеба семь миллионов килограммов уже в пути находятся, и продналог и продразверстку совсем, навсегда отменяют. Многие тогда сдуру и записались сами. Ну, а потом на попятный двор с этими нелегко пойти. — И он со злобой взглянул на парня в егерской шапке. — Ну, а я сам-то мобилизованный, силой мобилизованный.

Из десяти человек семь оказались мобилизованными.

Двое, в шюцкоровских шапках, прибыли из Финляндии в момент восстания.

Один из них, повидимому начальник группы, был студентом Хельсинкского университета, другой — сыном деревенского торговца.

Это были «освободители» Карелии. Они «освободили» ее от всего того немногого, чем она до того владела: они и подобные им «освободили» от жизни тысячи карельских трудящихся, тысячи финских рабочих, и если бы могли, они, не задумываясь, перерезали бы сотни тысяч русских рабочих...

Студент замкнулся в себе и все время молчал.

Второй же сначала, видимо, очень боялся, что мы прикончим пленных таким же манером, каким в подобных случаях действовал он сам; но, видя, что мы, кроме жесткого допроса, ничего с ним не собираемся делать, разошелся, начал болтать и говорить даже то, о чем его никто и не спрашивал. Через полчаса он даже обнаглел и развеселился.

От пленных мы узнали, что следующий этап связи находился в рыбацких хижинах, верстах в четырнадцать от Кимас-озера, что туда должен скоро прийти, а может быть, даже уже пришел второй отряд, идущий на помощь фельдфебелю Риута.

Мы пошли вперед.

У нескольких пленных сняли верхнюю одежду — их полушубки, валенки, варежки, шапки, — и, по приказанию нашего изобретательнейшего командира товарища Антикайнена, Рахияки, Яскелайнен и Лейно нацепили на себя всю эту сбрую и отправились минут на восемь-десять ходьбы впереди отряда.

Они должны были явиться в лесную избу и сказать, что фельдфебель Риута сам со своим отрядом идет из Конец-острова в Кимас-озеро, что никакой опасности нет и что лучше всего подкреплению ждать самого фельдфебеля и не тратить лишних сил на ходьбу. Во время этих разговоров отряд наш должен был окружить избу со всеми, кто в ней находился, потому что ни один человек не должен был уйти от нашего отряда, ни один человек не должен был проскочить, убежать и прийти в Кимас-озеро раньше нашего отряда.

Это было условие, не выполнив которого мы сразу проиграли бы весь наш поход.

Один человек, видевший нас и не захваченный нами, означал бы полную гибель нашего отряда.

Мы шли вперед, осторожно следя за каждым деревом, за каждым кустом.

Лишних выстрелов не могло быть. Каждый выстрел был бы здесь лишним.

Уже кончился короткий зимний день, и ночь полностью охватывала леса со всей пернатой, и млекопитающей, и плохо питающейся — как мы, например, — живностью, когда мы увидели яркий костер у рыбацких изб.

Около избы стояли сани. Несколько человек беседовали у костра с нашими посланцами; беседа протекала, повидимому, мирно.

Развязываются кисеты, и запах табака-кепстена тревожит наши привыкшие к махорке ноздри.

Мы окружали избы. Мы подходили к ним всё ближе, почти вплотную.

И вот резкая команда:

— Смирно, руки вверх! Кто побежит — будет мертв!

И они все застыли в изумлении от неожиданности.

Но один из них сделал резкий скачок в сторону от костра, к лесу. Я, не успев прицелиться, выстрелил в него из верного моего нагана. Однако он исчез в темноте.

Я побежал за ним. У него было преимущество: он был в темноте — я шел от костра на него. Но я тогда об этом не думал. Главное — не упустить. Главное — не дать ему уйти.

— Сдайся, и ты будешь жить! — крикнул я.

Но в ответ получил дикую ругань и выстрел.

Из вспышки выстрела я выпустил один за другим три патрона.

Ответа не последовало. Я прошел вперед.

В пяти шагах от меня лежало еще теплое тело. Человек был мертв.

Десять пленных были живы. А всего мы захватили за сутки двадцать человек. Их надо было отправить в тыл, в Реболы, куда уже должна была прибыть часть южной колонны.

— Ночевать будем здесь, — объявил нам Антикайнен с веселой усмешкой. — Можете заваривать в котелке весь ваш чай. В Кимас-озере получим новый, а до него всего четырнадцать верст.

И мы расположились на последнюю нашу ночевку перед решительным боем. Может быть, последнюю ночевку для большинства из нас...

Костры горели ярко — я никогда не видал таких ярких костров, как в ту ночь. Я у костра отчерчивал сегодняшний путь на карте, когда адъютант встал и пошел от рыбацких хижин.

— Куда он? — спросил я у сидевшего рядом со мной ком-рота-1.

— Завтра утром — решающая операция. Товарищ адъютант сам пошел в разведку.

Пленный сынок торговца из Финляндии тем временем совсем разошелся:

— Зачем я пошел в армию и сюда, в Карелию? А потому, что с детства еще очень люблю командовать. Я хочу офицером стать.

Другой пленный, студент, смотрел на краснобая с нескрываемым презрением.

— На нашу голову офицером стать захотел! — хмуро вставил пленный, мобилизованный лахтарями уроженец Конце-острова.

— Тоже, человек! — сказал бородач, обращаясь к Тойво. — Неделю назад, когда некоторые ребята наши сказали, что не хотят драться с красными, как собака перед строем забегал, маузер вытащил и вопил: «Всех расстреляю!»

Сын торговца, слушая эти слова, даже съежился немного.

— Макарьев из Кимас-озера вышел вперед и сказал ему, — продолжал мобилизованный: — «Стреляй, коли рука не дрогнет! Много ль перестреляешь? Слышали мы выстрелы и сами готовы стрелять, когда потребуется!» Так тот тип, которого он убил, — пленный кивнул головой в мою сторону, — на месте Макарьева пристрелил. Вот как!..

— Ты, может быть, к нам в Петроград на командные курсы поступишь? — спокойно спросил Тойво. — У нас на командиров обучают.

Сынок торговца принял слова Тойво за чистую монету и обрадованно забеспокоился:

— А что, меня примут? Если примут, так что же, я не против... Я даже очень хорошо красным офицером выйти могу: ведь я очень люблю командовать, а сам я всегда левым был... Вы мне дадите рекомендацию в вашу школу? — залебезил он перед Тойво.

Но здесь добродушие покинуло Тойво, и он крикнул:

— Я дам тебе лучшую рекомендацию — на тот свет! Приготовь там помещение для твоего папаши: его тоже скоро пошлют вслед за тобой.

— Лейно, у меня осталось еще полфунта хлеба. Дай нож, я разделю на троих.

Я разломал остаток краюхи. Вероятно, для многих из нас это последний ужин.

Мы засыпали.

Так проходила морозная ночь, последняя перед Кимас-озером.

Опять нажигало с одного боку и подмораживало другой; опять трещали сосны и сидели у костров сторожевые; опять ка-

залось в полусне, что не было начала походу нашему, не будет ему и конца...

Если завтра мы не уничтожим неприятельский штаб (цель нашего рейда), война может затянуться до весны.

Летом воевать здесь невозможно: болота, озера, полное бездорожье.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Падение Кимас-озера

Мы вышли в четыре часа утра 20 января. Было совсем темно.

Пленных отправили в тыл.

Всех пленных конвоировали только два человека. Это был, пожалуй, немалый риск: ведь каждую минуту можно было встретить белых.

Не знаю, знакомо ли тебе подобное ощущение: ты очень устал, только что стал входить в сон, как вдруг тебя выбивают из этого сна.

Ты только что стал отогреваться у огня лесного костра, и тебя отрывают от него, чтобы послать в холодную, черную зимнюю ночь.

И мы шли...

Никаких разговоров, никаких перекуров.

Шли в сосредоточенном молчании. Даже Антикайнен и комрот-1, любившие пошутить, молчали. И лишь по их напряженным лицам да по тому еще, как Антикайнен рывками оттакивался на ходу палками, а не плавно, как он делал всегда, можно было догадаться о серьезности положения, о трудности нашего предприятия. Так мы шли, в напряженнейшем молчании, почти бегом, больше часа, когда перед нами на условленном месте вырос адъютант.

Наш батальон остановился. Товарищ Антикайнен, командиры рот и адъютант стали в кружок.

Лицо адъютанта казалось серым даже в полутьме наступающих сумерек. Он не спал уже больше суток, прошел за эти сутки около пятидесяти километров и произвел труднейшую ночную разведку.

Позади адъютанта сидел на своих дровнях крестьянин из Кимас-озера.

Командиры решили действовать, как обычно: захватить все дороги и в условленное время одновременным ударом захватить село. По сведениям, добытым от крестьянина, лахтарей в селе не больше трехсот: штаб фронта, 1-й Лесной полк, белый отряд

Иссатила Анти — того зверя, который в 1919 году неистовствовал в Олонце.

Мы сейчас стоим на дороге из Челм-озера в Кимас, отрезая штаб от фронта. Надо закрыть дорогу в Финляндию и ударить с запада. Это поручается второй роте. В наступающих сумерках рассвета крупная фигура комрота-2 кажется еще больше.

Дорогу на Барыш-наволок, проложенную сейчас по льду озера, должна перехватить первая рота. Первой же роте поручался лобовой удар.

Было очень тихо.

Можно было расслышать пение петухов в селе, можно было расслышать биение наших сердец. Во всяком случае, дыхание наше большинству из нас казалось слишком резким и шумным.

Вторая рота пошла влево. Второй и третий взводы нашей роты стали удаляться вправо.

Мы подошли почти к самому краю склона, ведущего вниз, к озеру. Внизу, на расстоянии полукилометра от нас, на мысу, дымились трубы изб, мычали коровы, блеяли овцы, кукарекали петухи; от нас же в деревню шла тишина.

Весь путь, который мы проделали, все, что мы перенесли, — все это мы сделали для сегодняшнего боя.

Комрот-1 подходит ко мне на скрипящих лыжах. Его валенки потеряли свою обычную форму, как бы расплющились. Его обычно начисто выбритое лицо поросло щетиной, но голос его попрежнему уверен и глаза сосредоточенно блестят перед боем.

«Кто из нас переживет этот день? — думаю я. — Как бы там ни было, каждый наш убитый заберет с собой в царство небесное не меньше двух лахтарей».

Комрот подходит ко мне:

— Матти, возьми отделение и отправляйся вперед! Надо прощупать положение до конца.

— Есть, товарищ командир!

В первом отделении со мной — Лейно, Тойво, Яскелайнен и еще четыре человека.

Я беру под козырек, скрытый под балахоном, и, собрав свое отделение, отправляюсь вперед.

— Осторожно, товарищи! — говорю я ребятам и даю последние указания.

Так мы подходим к скату, к самому краю. Уже почти рассвело, и снег от рассвета серый.



Все, что потом произошло, каждую секунду следующего получаса я запомнил до самых незначительных мелочей на всю жизнь: и неловкие шаги Тойво, вспоминающего, наверно, свой

последний спуск с горы, и сверкающие глаза Лейно, и его продранную варежку, из которой нелепо вылезал большой палец, и ноющую боль от глубокой царапины на ладони, полученной во время перехода через Массельгское щельё.

— Вперед! — сказал я и нагнулся немного, приготовившись к крутому спуску. — Вперед, товарищи! — повторил я и оттолкнулся двумя палками.

И сразу рывок этот вынес меня вперед и понес вниз — вниз по прекрасному снегу, с быстротой, захватывающей дыхание, с плавностью легкого планера.

Что может быть лучше быстрого спуска по снежному склону на крепких лыжах!

Я летел вниз. С такого разбега можно было спокойно пролететь по ровному месту шагов триста. Так я и сделал.

Лыжи несли меня прямо на деревню по гладкому снегу, по ровному озеру.

Я стоял, уже выпрямившись во весь рост, и тут увидел в ста-полтораста шагах от себя трех вооруженных людей, стоявших у крайних изб (может быть, бань). Люди эти заметили наш спуск.

Я оглянулся — в десяти шагах позади меня шел Лейно. Остальная шестерка барахталась шагах в двухстах, у самой подошвы склона.

Один собирал разъехавшиеся в стороны лыжи, другой поднимался на ноги, стряхивая снег, набившийся за шиворот и в валенки. Все, к счастью, были в балахонах.

У Тойво свалился штык, он его сейчас насаживал на место. Опять, наверно, из-за Тойво эта свалка произошла. И я разозлился на Тойво за дурацкую настойчивость, с какой он вынес весь этот трудный путь, чтобы, может быть, подвести в самую горячую минуту, и на себя — за то, что потворствовал этой его глупой настойчивости.

— Лейно, идем вперед! — шепнул я своему верному другу.

Он кивнул мне, показывая всем своим видом, что понимает и серьезность нашего положения и задуманный мною план.

Мы медленно, сдерживая себя, пошли вперед, навстречу лахтарям.

Я вытащил незаметным движением наган и, взяв обе палки в левую руку (в другой — револьвер) и держа их за спиной, медленно продолжал идти вперед.

Сухо щелкнули затворы винтовок неприятельского дозора.

— Кто идет?

— Бросьте ваши штучки, ребята! — сказал я возмущенно. — Мы из отряда Риута — в своих не стреляем!

Лахтари держались еще настороженно, недоверчиво и не опускали ружей, взятых наперевес.

Я оглянулся.

Отделение все встало на лыжи, и Яскелайнен шел уже по следу Лейно.

Я подумал: «Может быть, этим ребятам известна каждая морда в отряде Риута» — и, подходя еще ближе, сказал:

— Нам бы в баню нужно. Нет ли у тебя закурить?

Неужели они не узнают нас по штыкам, как старик в Конеч-острове?

Мой вопрос о табаке, однако, разогнал остатки настороженности дозора.

И в самом деле: откуда здесь, в центре белого движения, могли появиться красные? Даже предположение такое казалось нелепым.

Лахтарь опустил винтовку, вытащил из кармана кисет и стал его развязывать.

Лейно вплотную подошел к другому лахтарю.

Остальные ребята были уже шагах в семидесяти.

Я бросил на снег палки и рукояткой нагана ударил по голове лахтаря. Он зашатался и рухнул наземь.

Лейно приставил острие штыка к груди другого.

Около третьего уже стоял я со взведенным курком нагана.

На все это потребовалось гораздо меньше времени, чем для того, чтобы отхлебнуть глоток кофе.

Ребята были шагах в тридцати. Лахтарям ничего не оставалось сделать, как бросить на снег винтовки.

Ошеломленный ударом лахтарь стал шевелиться, приходя в сознание. Он, очевидно, был начальником: в его кармане я нашел хорошенький, полированный заряженный браунинг. Я опустил его себе в валенок.

Валенки до того разносились, что браунинг легко соскользнул вниз, едва ли не до самой щиколотки.

Ребята уже подошли и были немного сконфужены тем, что так не во-время упали.

— Тойво, стереги этих пленных и смотри не падай! — приказал я.

И мы бросились вперед.

Надо было произвести панику во что бы то ни стало к моменту комбинированного удара со всех сторон.

И вдруг загрохотал, зазвонил во всю мочь колокол кимас-озерской церкви. Он бил, казалось, в каком-то неистовстве.

Неужели набат? Неужели нас открыли и собираются к отпору?

А как же иначе? С чего бы стал пономарь в такую рань, в мороз тревожить себя? Мы открыты.

— Посты у них тут, во всяком случае, лучше, чем в Реболах, — криво усмехнулся Лейно.

Яскелайнен поставил пулемет на снег у плетня.

Шагах в пятидесяти-шестидесяти от нас шагал отряд примерно человек в двадцать.

Нас было семь.

Я оглянулся и посмотрел на склон, по которому минут пять назад скатывалось наше отделение.

Сейчас развернутой шеренгой, словно на спортивном параде, шестьдесят человек в белых балахонах скатывались вниз по горе, держа ровные интервалы.

Было приятно смотреть на такой спуск: никто из них не только не свалился, но даже не накренился.

Впереди летели комрот-1 и Антикайнен.

И опять слышалось в тишине морозного утра сухое щелканье затворов.

Ребят уже не было видно на склоне. Они, наверно, катились по озеру.

Отряд лахтарей попрежнему шел на нас по улице.

И сразу мы услышали несколько выстрелов у пройденного нами берега. Из домов повыскакивали какие-то черные фигуры, и снова — казалось, над всем озером, над окрестными лесами — раздался громкий голос оратора нашего, командира нашего, товарища Антикайнена.

Он ругался теперь последней бранью:

— Сволочи! Мы идем к вам на поддержку, пробрались из Финляндии, а вы нас так встречаете!

И опять молчание. И опять мерные шаги лахтарского отряда, идущего прямо на нас. И опять тревожное гуденье набата. И вдруг новый взрыв отборной ругани и беспорядочные выстрелы позади.

— Огонь! — скомандовал я Яскелайнену.

И морозный воздух январского утра был разодран сухим треском пулемета.

Два человека из неприятельского отряда рухнули. Пулемет смолк. Остальные рассыпались в недоумении, не зная, что делать. Огромный фельдфебель с рыжей бородой скомандовал:

— Обойму в магазин! Прицельная рамка...

— Вперед, товарищи, ура! Бей лахтарей! — скомандовал я и, размахивая наганом, выскочил из-за плетня.

Ребята все выскочили за мной.

Я выстрелил из своего нагана два раза, взяв себе мишенью рыжую бороду, но промахнулся.

В пятнадцати шагах от дороги — сарай с двумя большими щелями вместо окон.

— За мной! — кричит фельдфебель и бежит в сарай.

За ним поднимаются из снега другие.

Вбегая в сарай, рыжий оборачивается и, не целясь, бьет из маузера.

Колокол все еще продолжает бубнить, но в его звоне я начинаю улавливать обычную спокойную размеренность, а не панику набата.

Пуля из маузера рыжего фельдфебеля попала в курсанта из моего отделения. Он присел на снег.

— Матти, не робей! Всё в исправности! Ничего — легко! — кричит он мне, явно сдерживая стон.

Я разрядил вслед рыжему наган, но напрасно: дверь сарая захлопнулась.

Толщина его стен неизвестна, лишних патронов нет и нет времени на осаду, а из оконной дыры они могут многих угробить.

Ребята остановились, вскинули винтовки. В моем нагане нет больше патронов. Но ничего, дело поправимое. Я на бегу опускаю руку в валенок, чтобы выудить из него мой трофейный браунинг.

Чорта с два! Браунинг за что-то зацепился, и его невозможно вытащить.

Я уже вплотную у сарая.

У самой стены сарая лежат в поленнице дрова. Я подбегаю к поленнице, хватаю небольшое, но занозистое полено. Кричу громко, чтобы слышали в сарае:

— Товарищи курсанты, отойдите подальше: я бросаю в сарай гранату!

Изо всей силы мечу в дыру сарая полено и подскакиваю сразу к двери.

Занозы остаются в ладони.

Умный Лейно — рядом со мной.

Дверь быстро распаивается, и с маузером в руке выскакивает рыжий детина. Но, почувствовав у своего виска дуло моего — чорт возьми, незаряженного! — нагана, быстро бросает маузер на снег.

За фельдфебелем выскакивает второй лахтарь. Его принимает Лейно. Я передаю бородача подошедшему курсанту и, стреляя из маузера в темноту сарая, кричу:

— Бросайте оружие, выходите на свет — жизнь будет сохранена!

И, лишённые своего командира, один за другим выскочили испуганные лахтари из своего убежища.

Так первая часть нашей работы проведена была чисто.

Одиннадцать пленных, горячий маузер в руке, три револьвера — для одного боя более чем достаточно.

От сарая видна была церковь с колокольней.

Звон прекратился.

Из церкви выскакивают белые. Многие вооружены. Некоторые из них вскидывают винтовки к плечу и стреляют в сторону берега.

— Яскелайнен, — говорю я товарищу, — пулеметный огонь! Направление — храм божий!

Яскелайнен застрекотал на своей «швейной машинке».

Лахтари, беспорядочно отстреливаясь, рассеялись.

— Вперед, ребята!

У сарая остался один из нас караулить пленных. Пять человек бежали за мной.

Площадь перед церковью была уже пуста. Но не успели мы добежать до нее, как из-за изб и изгородей справа выскочил адъютант с группой курсантов.

Комрот шел впереди.

— Вперед! — крикнул он.

И мы бросились за ним.

Мы находились на краю мыса. Остальная часть деревни — как раз та, где находился штаб, — лежала перед нами на северном берегу озера, метрах в двухстах — двухстах пятидесяти от нас. Мы выбежали на лед. На другом берегу бегали, суется, лахтари. Два человека в офицерской форме распоряжались всем. Один налаживал пулемет.

— Так-то вы встречаете помощь из Финляндии! — закричал гозарищ комрот.

И вдруг в тылу белых, с запада, раздались выстрелы, сначала разрозненные, а затем правильно организованные. Это начала наступление, едва успев занять исходное положение, вторая рота.

Офицер остановился, прислушался: он, казалось, понял, что мы его обошли. Затем он обернулся и стал быстро уходить на своих лыжах налево, к лесу.

За ним побежал второй офицер и еще несколько беляков.

Я не привык обращаться с маузером, и, кроме того, у этого револьвера была слишком резкая отдача. Вот почему все три пули пошли «за молоком». Но все же, размахивая разряженным револьвером, громко выкрикивая ругательства, я бежал вперед, к двухэтажному дому, над которым развевался белый флаг. Лейно был уже впереди меня.

Я выскочил на крыльцо.

Слева приближались курсанты второй роты: их вел комрот-2.

Комрот-1 быстро шел, отдавая приказания:

— Немедленно крой вперед, вправо! Необходимо перехватить штабистов!

На дверях было написано: «Штаб». У крыльца в нетерпении рыл снег копытом породистый белый жеребец.

Выстрелы прекратились.

— Мы взяли деревню, — сказал мне спокойно, как на вечерней поверке, комрот-1. — Матти, где твой шлем?

Только после этого внезапного вопроса я почувствовал холодок на голове.

Проведя рукой по смерзающимся от выступившего ранее пота волосам, я убедился, что действительно шлема не было.

— Лахтарская пуля, должно быть, сбила его ко всем чертям! — почему-то очень громко прокричал я и вскочил в помещение штаба белых.

Комната напоминала обычную полковую канцелярию. Адъютант уже рылся в бумагах, разбирая их. Несколько папок с делами валялось на полу.

Я взглянул на часы-ходики: они шли спокойно, как будто ничего не случилось.



Полчаса, всего полчаса назад я отдавал приказание отделению идти за мной вниз по склону.

И вдруг я вижу — адъютант поднимает со стола папку, а под папкой лежит портфель, кожаный портфель со знакомой монограммой. Ведь это была точно такая же монограмма, как и на портфеле штабс-капитана Верховского, и портфель был вылитой копией портфеля, захваченного мной в рейде под Кронштадтом!

Я подскочил к столу, рванул к себе портфель. Он был открыт.

Из него посыпались на пол записки, письма, бумаги. Я поднял конверт и прочитал: «Штабс-капитану Петру Ивановичу Верховскому. Хельсинки...» — и так далее. Штемпель — Париж.

Я поднял листовку. Она была напечатана по-русски.

Адъютант мне быстро перевел ее на финский язык.

Листовка сохранилась у меня вместе с истрепанной картой до сих пор.

Вот она:

«Красногвардейцы! Я, финский писатель Клайдо Ильинарк, обращаюсь к вам от имени Временного ухтинского правительства Карелии.

Если вы не уйдете из свободной Карелии, то готовьте себе общую братскую могилу, ибо гнев наш будет ужасен.

Красноармейцы! Арестовывайте своих коммунистов и комиссаров и переходите к нам. Только в этом ваше спасение!»

Несмотря на усталость, несмотря на возбужденность, какая бывает в бою, несмотря на серьезность минуты, я не мог удержаться от громкого смеха. И действительно, русский штабс-капитан дерется за освобождение Карелии от «русского красного ига» под лозунгом: «Карелия для карелов!» А я, финн Матти Грен, и финны Лейно, комрот-1, комрот-2, Тойво, Яскелайнен, Антикайнен, Аханен, адъютант, Антила, Кярне, Гренлунд и сотни других — боремся за Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику и ее автономную часть — Карелию — для трудящихся.

Да, мы прежде всего коммунисты, а эти белогвардейцы и гады — прежде всего буржуи.

Было над чем посмеяться, второй раз в жизни захватив портфель неуловимого офицера!

Антикайнен вошел в штаб. Вид у него был очень недовольный.

— Улизнули! Ильмаринен и несколько штабистов удрали в лес, и в лесу же рассеялось около двух сотен лахтарей.

— Мы победили! — вставил вошедший за начальником комрот-2.

Но мы могли схватить и уничтожить головку, если бы успели перехватить дорогу на Барыш-наволок и не нервничали так, что обыкновенный колокольный праздничный благовест показался нам тревожным набатом.

Я выглянул в окно: захваченные моим отделением пленные, пригнанные Тойво, уже стояли у дома штаба.

По улице наши конвоиры подгоняли еще пленных.

Антикайнен и комрот-1 вышли на улицу, адъютант разбирал бумаги; поэтому вошедшая в комнату женщина — повидимому, хозяйка — обратилась прямо ко мне:

— Господин красный командир, майор Ильмаринен очень любил гороховый суп, и мне на сегодняшнее утро был заказан хороший суп с ветчиной. Суп уже готов. Прикажете подавать?

— Подавай сюда через десять минут все, что приготовила, — приказал я и, отдавая такое неожиданное приказание, почувствовал одуряющие приступы волчьего аппетита, и ноздри мои защекотал чудеснейший аромат горячего горохового супа со свининой.

Я мог бы сам съесть за один присест десять обедов майора Ильмаринена, с обедами штабс-капитана Верховского впридачу. Но тут мое внимание привлекли какие-то странные шорохи под полом.

Я прервал свои гастрономические мечтания и стал прислушиваться.

Под полом шептались и кто-то шевелился.

Я стал прислушиваться внимательнее и толкнул адъютанта, чтобы он оставил бумаги.

Трофейный маузер горел у меня в руке.

Это спрятались лахтари, не иначе! И я, приподняв крышку люка, выстрелил вниз, в темноту.

Оттуда в ответ послышался громкий вскрик и затем стоны, приглушенные захлопнувшейся крышкой.

Шопот на время замолк.

Может быть, сейчас они сжигают ценнейшие документы, готовясь взорвать нас, находящихся в этой комнате! Но тут, к моему удивлению, крышка люка чуть заметно зашевелилась и затем стала приподниматься.

Я приготовил маузер.

В валенке терся о кожу браунинг.

«Натереть ногу браунингом — это было бы оригинально», — подумал я.

Крышка люка приподнималась снизу не руками, а какой-то странной деревяшкой, похожей на ножку стола.

Как только приоткрылся немного люк, из-под пола женский голос стал выкрикивать невероятнейшие проклятия:

— Чтобы это было последнее утро для вас, лахтари! Чтобы корка хлеба стала у вас поперек горла, проклятые лахтари!..

Люк был почти совсем открыт.

— Не бранись так, женщина! — крикнул я вниз. — Лохтари в Кимас-озере сегодня были действительно последнее утро! Сейчас здесь красные!

Крышка сразу захлопнулась, и шопот под полом перешел в громкий разговор, выкрики:

— Не стреляйте в нас, мы красные! Мы были взяты в плен лахтарями!

— Ладно! — крикнул я. — Сколько вас?

— Тринадцать.

— Вылезайте по очереди! Но если солгали, ни один не выйдет живым.

Крышка снова заколыхалась и приподнялась.

Я отшвырнул ее в сторону с силой.

Первым вылез пожилой человек.

Вместо левой ноги у него была деревяшка, та самая, которой он приподнял крышку люка и которая показалась мне ножкой стола.

Этого человека мы всем отрядом прозвали Пуялко, что в переводе на русский означает «деревянная нога».

Несмотря на то что у него не хватало одной ноги, Пуялко был еще крепким мужчиной и замечательным шутником; его прибаутки смешили и забавляли весь лыжный батальон.

И даже в ту минуту, когда он вылез из люка, он не мог удержаться от прибауток.

— Из того, что я потерял ногу на постройке мурманской железной дороги в 1916 году от оброненного рельса, — из этого еще не следует, что я должен погибнуть от руки своих же, красных, в самом начале 1922 года, — недовольно ворчал он.

Затем из люка вылезла растрепанная седая старуха.

Ей было не меньше шестидесяти лет, и уцелела она, если судить по ее речи, со времен «Калевалы».

Она была приговорена к смерти через расстрел, как и все освобожденные нами товарищи.

Казнь должна была состояться завтра на рассвете, после праздника.

Наше появление пришлось поэтому как нельзя более кстати.

Вина старухи заключалась в том, что она спрятала у себя тяжело раненного красноармейца из погранохраны. Она почти выходила его, когда местным кулаком был сделан на нее донос и ее вместе с выздоравливающим красноармейцем бросили в этот погреб, темный и холодный.

Пограничник заболел здесь и находился при смерти...

— Все мы здесь были при смерти. Кто-то вечером спустился к нам и сказал: «После праздника все до единого будете списаны в расход, а то еще нянчиться с вами! Лишние рты, да и часовых на вас изводить надо», — рассказывал третий, вылезая из люка.

Освобожденные были голодны, как черти в великий пост.

Как мне описать радость их при освобождении, их счастье увидеть свет солнечного зимнего приполярного утра в крепко натопленной комнате!

Комната штаба была уже полна курсантов.

Последним вылез до смерти перепуганный лахтарь-часовой, которому было поручено сторожить пленных.

Услышав выстрелы, он так перепугался, что пробрался в подвал к арестованным и спрятался среди них. Это был мобилизованный лахтарями местный крестьянин.

— Вот твой шлем, Матти, — сказал товарищ Яскелайнен. — Я подобрал его на льду озера. Лахтари устроили в нем вентиляцию. Антикайнен требует тебя к себе.

Я вышел.

На крыльце начальник отдавал очередные приказания. Через два-три часа мы должны будем покинуть деревню.

— Вблизи есть крупные неприятельские отряды, — сказал он мне, — но мы здесь уничтожим все их боевые припасы, центральную питательную базу их фронта. Мы захватили четырнадцать подвод с лошадьми. Все, что можно, погрузить на эти подводы, остальное должно быть уничтожено дотла. Поручаю это дело тебе, Матти, с твоим взводом.

Мы пошли по деревне. Почти все склады находились в сараях, выстроенных заново, и в старых, вокруг здания штаба. Под штаб было занято лучшее здание деревни — школа.

Мы захватили больше полумиллиона боевых патронов; тридцать смазанных винтовок (кроме отнятых у пленных); несколько тяжелых пулеметов и автоматов; несколько полевых аптек с амбулаторными принадлежностями; триста снарядов мелкокалиберной пушки.

Целый сарай был полон обмундированием, валенками, полушубками, теплым бельем, меховыми шапками.

Огромные помещения набиты мешками с крупой, солониной, консервами. Несколько ящиков с коньяком и залежи муки.

Кроме больших обычных мешков с крупчаткой, какие можно найти в любом лабазе, были еще маленькие мешочки-пудовики, и к каждому такому пудовичку привязана была деревянная дощечка, на которой было обозначено полностью имя дарителя, благодетельствующего армию «восставшего карельского народа».

— Здорово много жратвы! — обрадовался Тойво.

— Не так много в сравнении с обещанными лахтарями семью миллионами килограммов, — процедил Лейно.

Наши ребята укладывали, что было нужно и возможно уложить, на трофейный полковой обоз.

«Обезьянчики» за плечами и патронташи снова потяжелели, и вид у всех стал веселее.

То, что нельзя было захватить с собой, мы обливали керосином, заваливали сухой соломой и поджигали.

Надо было уничтожить такое невероятное богатство.

Склад артзапасов можно было зажечь только при самом отходе, как и штаб.

Очень жалко было сжигать все это несметное добро, но иначе нельзя было поступить. Предполагать, что мы, усталые, можем удержать за собой деревню, не подготовленную к осаде (в течение минимум десяти дней, пока подойдут наши отряды), против свежих сил во много раз превосходящего противника, нечего было и думать.

Если же, разгромив штаб, мы уходим, — у нас был прямой приказ уничтожить тыловые базы неприятеля.

Все захваченные патроны были обернуты в синюю плотную бумагу, и на каждой обертке стояла — это я тоже могу подтвердить документально (я захватил одну из них с собой) — совершенно отчетливо марка патронной фабрики Рахимяки.

Пожар начался.

Легкие языки пламени заструились, как бы играя в пятнашки, один за другим.

Времени наблюдать это зрелище у нас не было.

Я вернулся в здание штаба. Папки были сложены одна на другую, бумаги складывались стопками и окружались сухой соломой.

Адъютант сидел за пустым столом в переполненном помещении и спокойно, как будто не было ни бессонных суток, ни отчаянного боя, выводил в дневнике отряда:

«Захвачено 42 пленных, освобождено 13. Белых убито 5 человек, из них двое — финские офицеры, что установлено по документам, найденным при них. У нас два товарища легко ранены.

Запасов захвачено...»

Тут он обратился ко мне.

Я в точности отрапортовал о проделанном мной обследовании. И цифры, сообщенные мной, были вписаны в дневник отряда.

Дальше адъютант продолжал:

«К сожалению, сам майор Ильмаринен с другими руководителями бандитского восстания избежали достойной кары, уйдя на лыжах в лес».

Он прервал свою запись.

— А жеребца ильмариненского мы все-таки захватили, Матти!

Посреди комнаты ребята черпали из большого котла самый ароматный гороховый суп из всех, какие я только хлебал. Суп, приготовленный для Ильмаринена и его штабистов!

Смешил своими прибаутками ребят, пристукивая деревяшкой, неутомимый Пуялко:

— Ильмаринен меня спрашивает: «Ага, и ты, калека, прибыл?» — «Прибыл, коль привели», — отвечаю я ему...

Я снял валенок, вытащил зацепившийся за штанину браунинг и деревянную ложку и принялся вместе со всеми хлебать суп.

С каждой горячей ложкой входили в меня спокойствие и дремота.

Полный желудок заставлял мечтать о сне, о полном отдыхе.

Сторожиха школы — та самая, что приготовила эту райскую похлебку, — стоя около котла, бубнила:

— Командир их еще вчера вечером показывал мне пузырек и говорил: «Здесь у меня смертельный яд. Я в плен к красным попасть не могу. В случае чего — глоток... Но, — говорит, — за двести верст отсюда ни одного красного нет». И вдруг...

— Нас здесь, милая, пятьсот человек. Мы уходим дальше, а за нами идут несколько тысяч таких же, — как бы нечаянно процедил сквозь зубы Лейно.

— И все такие же небритые? — смеясь, переспросила женщина.

— Нет, они сами любого отбреют!

В эту секунду в сенях раздался громкий смех успевшего уже отобедать Тойво.

Дверь распахнулась, и в комнату, сопровождаемые Тойво, вошли два лахтаря.

Лица их были синими от холода, зубы отбивали барабанную дробь тревоги, полуспущенные ватные шаровары открывали тоже посиневшие от мороза зады.

— Представьте себе, ребята, — грохотал Тойво: — захотелось мне в уборную сразу, как мы захватили деревню, еще до гороховой похлебки. Ну, сунулся я в здешнюю скворечню — заперта! Думаю, переждать надо. Через десять минут опять дернул — закрыто изнутри. У кого, думаю, такой запор может быть? Ну, вместе с ребятами гороху отведал. И снова стучу. Закрыто! Ах, так! Я как рванул дверь с петель, а там, смотрю, эта пара милейшая заседает, и заседает уже не меньше часа. Отсидеться думали. Нет, голубчики, номер не прошел! Они вначале меня за полоумного приняли, залопотали: «Мы... мы... красные, от белых здесь отсиживаемся». Как же, отсиделись, голубчики!

Адъютант перечеркнул в своем дневнике цифру «42» и вместо перечеркнутого написал: «44».

Курсанты хохотали, слушая рассказ Тойво.



— Мы доставим трофеи, пленных и освобожденных в наши части. Они должны быть сейчас где-нибудь между Конец-островом и Реболами, — сказал Антикайнен и отдал приказание об отходе.

Склады уже превратились в пылающие факелы, здание штаба охватывало огнем. Языки пламени играли на бревенчатых стенах, бегали, как детвора, играющая в горелки.

Отряд начал строиться. Передовые уже вышли.

Строили пеших пленных по четыре человека в шеренге.

Пуялко суетился больше других. Он подскочил к Антикай-нену:

— Товарищ начальник, что прикажешь мне делать? Для моей деревяшки лыжи еще не приспособлены, а летать я не умею. Снова, что ли, мне в подвал садиться да лахтарей поджидать?

— Не тарахни, Пуялко, — сурово ответил занятый командир. — Седлай себе ильмариненского жеребца и катись на нем на здоровье.

Так был решен вопрос о коне Ильмаринена.

Окончу рассказ об этой великолепной лошади сейчас же. Ее потом доставили в Петрозаводск, оттуда — в Ленинград. И еще в прошлом году, когда я во время служебной командировки проезжал Ленинград, меня затянули ребята на бега.

Там — правда, уже не в прежней сияющей красоте, но все еще отличный по всем статьям — на ипподроме бегал этот конь.

Одноногий Пуялко верхом на этом белом жеребце — гораздо более белом, чем наши загрязнившиеся балахоны, — представлял собой веселое зрелище.

Приказ отдан. Мы выходим.

Но как только мы вышли, началась метель.

— Отлично, отлично! — тер свои замерзшие щеки комрот-1. — Во-первых, раздует пожар, а во-вторых, заметет наши следы. Вперед!

Снова входили передовые в густой обледенелый лес.

За нами шли военнопленные, за военнопленными — основные силы отряда, за отрядом — обоз и, предводительствуемые Пуялко-всадником, освобожденные нами из плена товарищи.

— Давай закурим, Ильмаринен! — шутя кричит, обращаясь к Пуялко, комрот.

Старуха шла со всеми — она даже обиделась, когда ей предложили место в санях.

— Слава богу, не раненая я еще, чтоб своим в тягость быть!

За освобожденными шли четырнадцать груженных подвод, за подводами — мой (на этот раз арьергардный) взвод.

Шли мы в начинавшем бушевать бурене несравненно медленнее, чем раньше.

Лошади не могли бы идти с такой скоростью, как мы, да и сами мы сейчас были нагружены больше, чем раньше, и устали тоже отчаянно.

Нас качала усталость, убаюкивала, неожиданными кочками подкатывалась под лыжи, неожиданной остротой колола натруженные плечи и склеивала веки.

И ко всему этому встречный ветер швырял в лица курсантам мелкие, острые частые снежинки.

Впрочем, это, вероятно, было очень хорошо: иначе мы заснули бы.

С вершины склона я оглянулся: сквозь снег метели видно было яркое пламя горевших складов.

Я посмотрел на часы: было около двенадцати.

Не прошло еще четырех часов, как я отдавал приказ своему отделению скатываться вниз; не прошло еще полных четырех часов с той минуты, как мы услышали отдаленное пение петухов в деревне. Это были самые наполненные часы в моей жизни, и я знаю, что никогда не смогу по-настоящему рассказать, что пережил тогда.

Штаба неприятельского фронта нет! Какое счастье: базы белого фронта нет!

Здесь мы отплатили за поражение под Таммерфорсом, за поражение под Выборгом. Так же мы уничтожим штабы всех армий, которые посмеют обрушиться на наше отечество — Союз Советских Социалистических Республик!

Я шел в арьергарде. Мы снова вступили в лес. Здесь один человек догнал наш отряд. Он тоже бежал на лыжах и вспотел.

— Разрешите мне уйти с вами! Меня выбрали по настоянию Ильмаринена в Карельское учредительное собрание, но я теперь окончательно знаю, что не пойду с финляндскими убийцами. Они пугали нас, что красные пришлют сюда китайские части, жестокие китайские части, чтобы растерзать карелов, а пришли вы, самые чистокровные финны из всех, которых я видел. Я стою за Карелию, а не за то, чтобы Финляндия съела нас.

— Мне некогда расхлебывать политическую кашу в твоей голове, — сказал я. — Иди вперед, к командиру.

Я дал ему в провожатые Лейно.

— Между прочим, — уходя, сказал он, — на чердаке штаба сгорело четверо спрятавшихся белых.

Он ушел. Мы шли с быстротой не больше пяти километров в час и против метели быстрее идти, пожалуй, никак не могли.

Часа через полтора после отхода, уже продираясь через чащу, мы услышали гул отдаленного грома, повторенный троекратно.

Это взрывались артиллерийские боеприпасы.

Пройдя километров пятнадцать, мы совершенно выбились из сил, и, несмотря на то что медленно продвигались против бури, пот снова стал пробиваться через одежду, чтобы затем оледенеть на ветру.

Поэтому команду об остановке на большой привал те из нас, которые еще были в состоянии как-то реагировать, приняли как известие об освобождении из плена.

Ветер усиливался.

Если бы я был моряком, то я точно определил бы, скольких баллов он достигал, но тогда мы не думали об этом. Многие из курсантов засыпали, стоя на лыжах, упершись грудью в палки.

Другие стали строить ракотулет, заставляя и пленных принимать участие в этой работе.

Пуялко суетился около своего коня, оберегая его, ухаживая за ним, как редкая нянька ухаживает за своим воспитанником.

Сумерки пришли раньше, чем обычно.

Буран наметал сугробы у подвод, у пней. Ракотулет на этот раз устраивать было труднее, чем когда-либо. Но все же раньше, чем наступил вечер, весь отряд, заносимый снежным потоком, спал, поочередно подставляя огню ракотулетов то спину, то бок, то грудь.

Мне кажется, что даже бурану трудно было заглушить свист дыхания утомленного отряда.

Труднее всего, конечно, было сторожевым.

Сменялись на этом привале часовые каждый час, так как никто не мог за себя поручиться, что простоят больше и не заснет.

Это был наш самый большой привал за весь поход, и никто из нас в тот вечер и в ту ночь не подозревал, какой опасности мы подвергались.

Часа через три-четыре после того, как мы оставили Кимас-озеро, вернулись привлеченные заревом пожара и грохотом взрывов недавно вышедшие на фронт две роты лахтарей — до четырехсот человек лыжников.

Это были свежие, неутомленные бойцы, и они отлично знали, что наш отряд не успел далеко уйти; даже сильный ветер не успел еще замести снегом след нашего отряда с громоздким обозом.

Увидев горящий штаб и не найдя даже следов Ильмаринена, они в панике пошли к финской границе. Если бы они пошли по нашим следам, неизвестно, кто из нас вернулся бы из этого рейда живым!

Разумеется, все это мы узнали гораздо позже. А в ту ночь отдыхали, забыв обо всем, и последнее, что я помню в тот день, это густой пар — дыхание обозной лошади, — поднимающийся к вершинам сосен, и шипенье тающего от жара ракотулета снега.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гибель товарища Лейно

Дальше мне почти нечего рассказывать.

У меня возобновилась грыжа, полученная мной еще в восемнадцатом году, когда я помогал вытаскивать завязшую в липкой грязи дороги трехдюймовку.

Грыжа уже несколько дней мешала мне, но все же я мог идти и шел не отставая. Все тело у меня покрылось нарывами, которые сами по себе не болели, но прилипали к белью и, отдираемые на каждой стоянке, все время глухо ныли.

Товарищ Антикайнен придумал отличную штуку.

Из Конец-острова в Кимас-озеро никогда не было проезжей дороги. Идти по снегу без лыж было исключительно трудно.

А между тем южная колонна, на соединение с которой мы сейчас шли, укомплектована была из стрелковых частей, не умевших в большинстве ходить на лыжах.

И вот товарищ Антикайнен, выбирая для нашего пути в лесу наиболее широкие просветы, а по полю ведя нас напрямик, расставил пленных в шеренги по четыре человека впереди, за ними прямо в затылок шел отряд, за отрядом — освобожденные, обоз, арьергард. И так, пробираясь сквозь снега, мы продвигались вперед.

Весь этот путь после прохождения отряда сделался прямой, накатанной, легко проходимой дорогой.

Так наш отряд проложил дорогу, приобретшую вскоре большое стратегическое значение.

Благодаря нашей работе южная колонна сумела быстро продвинуться вперед, не испытывая таких трудностей, какие испытала северная, наступавшая около Ухты.

Мы шли медленнее, чем раньше, но все же в срок, немногим больший чем сутки, проложили дорогу длиной в пятьдесят километров.

Это была новая большая победа.

В Конец-острове мы были к концу дня 21 января. Там уже были наши части, встретившие нас восторженно.

Мы передали пленных и трофеи.

Оттуда мы послали эстафетные депеши — телеграфная связь еще не была налажена — в штаб руководства батальоном и всего Каррайона. Намечавшийся дальше рейд по тылам приказом был отменен.

Мы впредь должны были продвигаться как передовая часть южной колонны.

В деревне мы получили полуторасуточный отдых и затем впереди южной колонны двинулись снова на север и во второй раз заняли Кимас-озеро.

В первый раз мы захватили это место 20 января.

Да, чуть не забыл рассказать! Когда мы вернулись в Ко-нец-остров, куда Пуялко, уже приспособившийся к седлу, въезжал, едва ли не ощущая себя фельдмаршалом, нас встретил среди других и тот догадливый старик, который обижался, что мы скрыли от него то, что мы красные.

Увидев среди пленных рыжебородого фельдфебеля, захваченного моим отделением, он схватился обеими руками за голову:

— Да что же вы делаете? Да разве можно было эту гадину в плен брать?

Он негодовал, возмущался и, когда узнал, что в плен фельдфебеля взял я, подошел ко мне и сказал:

— Ты, наверно, изменник, если таких в плен забираешь. Ведь это — один из самых заядлых лахтарей. Он еще летом несколько раз переходил сюда через границу, распускал слухи, вел против Советов агитацию и даже оружие нашим кулакам приносил. Такого в плен брать — перед богом ответ держать!

Разумеется, показания старика мы приняли к сведению.



24 января мы снова вошли в Кимас-озеро.

Склады уже все сгорели.

Больше половины жителей было насильно угнано лахтарями за границу, в Финляндию. Кроме нескольких успевших спрятаться крестьян, в деревне оставлены были одни только немощные старики и старухи да совсем малые, еще беспомощные дети.

Оставленные без всякого продовольствия, если бы не помощь наших красноармейцев, они, я полагаю, совсем перемерли бы все от голода и холода, потому что хотя вся деревня окружена лесами, у оставленных не хватило бы сил даже наколоть себе дров.

Скот, который нельзя было быстро угнать: овцы, коровы, — зарезанный лежал на дворах, на улицах.

Мы сначала даже не решались пустить в пищу это мясо — боялись, что лахтари его отравили.

Но Тойво отважился выполнить требование своего желудка и, зажарив большой кусок мяса, с таким удовольствием уплетал за обе щеки, что сомнения у всех рассеялись.

Все шло пока прекрасно.

И если бы не усталость, если бы не потертости, нарывы (а у меня — грыжа), я, пожалуй, снова пожелал бы пережить дни нашего немыслимого похода.

Для того чтобы дальше наступать, надо было обеспечить фланги, а с правого фланга находилась у нас, километрах в двадцати пяти, деревня Барыш-наволоок, и там были — по сведениям, полученным от населения, — лахтари.

В Кимас-озере все эти сведения дал нам крестьянин, мобилизованный раньше белыми в обоз. По его собственному признанию, он сначала к белым и красным относился одинаково, но, будучи мобилизован, сам не только ничего не получал за гужевую работу, даже из своих средств должен был выкраивать последние гроши, чтобы покупать втридорога фураж для своей же лошади.

Он рассказывал нам:

— Наш обоз шел в Кимас-озеро, и вдруг у одного постанесной эстафеты нас повернули обратно. Комендант никак не мог поверить, что красные смогут добраться до Кимас-озера. Послали разведку, и обоз получил приказание эвакуироваться в Контокки и держаться наготове впредь до особого распоряжения.

Стоял мороз, и было очень темно. Я думал, что хорошо сейчас вернуться домой, к красным, в Кимас-озеро. Впереди никого нет и сзади — тоже. Я постепенно стал отставать от обоза под предлогом усталости лошади и порчи сбруи. Потом поехал в противоположном направлении.

Проехал озеро.

Въехал в Ватасалму, загнал лошадь с возом во двор (хозяйка знакомая была), заложил дверь и думал, что все в порядке — завтра, мол, в Кимасе буду. Но вдруг ночью стук в дверь. Хозяйка пошла открывать.

«Кто там?»

«Ильмаринен и Верховский. Есть ли почлежники?»

«Нет».

«Чья лошадь во дворе?»

Входят в комнату, зажигают свет. А я спал не раздеваясь. Разбудили меня.

«Запрягай лошадь — и живо в дорогу!»

«Моя лошадь сейчас идти не может. Я выведу рано утром».

«Нет, ты выведешь сейчас».

И вытаскивают револьверы. Ну, пришлось выезжать. Выбросил я груз — вез я амбулаторные принадлежности и три мешка муки (один оставил все-таки) — и повез «господ». И довез их до Контокки. Они ссорились, спорили, ну да я их не слу-

шал, думал только: «Как бы бежать? Только бы не угнали в Финляндию!» А там, в деревнях, они всех угонять стали.

Обозы целые шли, обмораживались пачками, ну, а мне удалось бежать. Только в Кимас-озере красных я уже не нашел и почти все родные были угнаны.



27 января в шесть часов утра мы получили приказ выбить лахтарей из Барыш-наволока и сразу же вышли.

Мой взвод опять был головным, но мне самому идти было очень трудно: мучила грыжа.

Шли мы очень быстро, километров семь-восемь в час. Часов в десять утра на пути маленькое поселение — ну, избы три-четыре, на десятиверстке даже не обозначено. Вхожу в избу.

— Белые есть?

— Нет.

— А вблизи?

— Тоже нет.

Идем дальше. И вдруг из оврага — вспышки разрозненных выстрелов: у самой опушки овраг был.

Я кричу:

— Вторая рота, заходи слева! Третья рота, заходи справа! Первая — за мной, вперед!

Я кричу по-фински, лахтари все понимают. Их было не больше двадцати, они и задали стрекача. А со мной, повторяю, всего один взвод был.

К часу дня подошел наш отряд к Нуоки-ярви, на берегу которого расположен Барыш-наволо́к.

Барыш-наволо́к был приготовлен не только к простой обороне, а, можно сказать, к настоящей осаде.

Укрепления были сложены из бревен, скреплены и скрыты землей и снегом. Настоящие окопы с брустверами.

Неожиданный набег был тоже невозможен, потому что деревня расположила свои утлые домики на полуострове, соединенном с материком узким, тоже укрепленным перешейком.

Атаковать можно было, лишь пройдя по открытому озеру около километра.

Антикайнен снова разбил батальон на две роты, которые должны были атаковать деревню с разных сторон: вторая рота — по перешейку с запада, первая — со стороны озера, с юго-востока.

Первая рота заняла исходное положение. Идти в бой при полном свете было нам невыгодно. Поэтому надо было



дожидаться, пока стемнеет, а в это время года ночь не заставляет себя ждать.

Однако белые, очевидно, разнюхали, что мы уже здесь, и заметно засуетились.

Надо было начинать возможно скорее, пока они не приготовились совсем. Бить надо было одновременным ударом.

Вторая рота не знала об экстренном изменении плана, и нужно было ее срочно известить о том, что удар намечено произвести через полчаса.

Антикайнен отдал распоряжение товарищу Кярне, замечательному лыжнику, передать новое решение командиру второй роты.

Времени обходить по холмам, заросшим густым смешанным лесом, не было, поэтому Кярне пошел напрямик через озеро.

С неприятельских позиций его сейчас же заметили, и началась стрельба.

Антикайнен кусал себе губы.

— Неужели пропадет парень, не известив? — вслух спросил Лейно.

С неприятельского бруствера стал строчить пулемет. И вдруг затихло.

Тойво снял шапку.

— Брось хоронить раньше срока! — обозлился комрот-1.

Вдруг — новый взрыв выстрелов.

— Жив, значит! — сказал Лейно.

И снова тишина. Неожиданная и тяжелая... Снова заработал пулемет. И опять замолк.

Молчание тянулось невыносимо долго. Время шло медленнее, чем когда-либо.

Антикайнен взглянул на часы.

— Через две минуты начинаем, — сказал он. — Ты, Матти, со своим взводом останешься со мной в резерве.

И он махнул рукой.

— Пойдем! — спокойно, как бы собираясь на товарищескую вечеринку, сказал комрот. И обратился к Лейно: — Идем со мной. С тобой я пошлю сообщение, как пойдут дела.

С правого и левого флангов роты застрочили наши пулеметы, и отряд соскользнул с горы вперед. Вперед — на Барышнаволок. И сразу, как только застрочил наш пулемет, откликнулись и вступили в работу два пулемета второй роты и один — патруля, стерегущего дорогу.

— Значит, Кярне добрался и передал распоряжение во-время! — заволновался Антикайнен.

Мне очень хотелось быть в первом ряду, с атакующими товарищами; я понял, что и ему хочется идти в бой. Однако он

был командиром и должен был сохранять полное спокойствие, чтобы правильно оценивать положение. Но это была нелегкая задача — слышать стрекотанье пулеметов, залпы и разрозненные выстрелы, крики, казавшиеся то отдаленными, то снова очень близкими.

Товарищ Антикайнен то и дело взглядывал на часы. Он вышел вперед, на открытый откос:

— Матти, они дерутся уже в самых окопах!

Вдруг пуля, зазвенев, как слабо натянутая струна, окончила свой путь, вонзившись в мякоть сосны.

— Товарищ командир, ты совсем открыт. Отойди назад, — сказал Тойво.

Мы опять отошли немного назад, за стволы. И снова выстрелы, и снова крики «ура».

Было уже темно.

Никаких донесений ни от первой роты, ни от второй мы не получили. Но было очевидно, что идет еще очень горячий бой.

— Если через десять минут мы не получим донесения, я бросаю резерв в бой, — сказал Антикайнен.

— Слушаю, товарищ командир!

Выстрелы то становились все реже и реже, то снова вспыхивали залпом.

Бой продолжался уже около часа, а мы совсем забыли, что, стоя на одном месте на таком морозе, можно замерзнуть.

За три минуты до назначенного Антикайненом срока, когда шум стрельбы почти совсем затих, мы увидели, что к нам идет человек; он прошел озеро и стал подниматься. Он шел, как пьяный, шатаясь и останавливаясь.

— Вперед! — скомандовал Антикайнен.

И мы скатились вниз, навстречу идущему.

— Товарищ начальник! Товарищ комрот приказал доложить, что Барыш-наволок захвачен доблестным батальоном Интернациональной школы, — пробормотал он через силу.

Трудно было узнать в рапортующем чистенького, всегда подтянутого Кярне.

Он, казалось, пришел из другого мира.

— Почему ты, а не Лейно? — спросил я.

— Лейно ранен в бою.

— Ты передал распоряжение во-время?

— Приказание исполнено, товарищ начальник.

Мы были уже близко от деревни. Товарищ Кярне продолжал рассказывать мне:

— Как только я вышел на открытое место, началась стрельба. Возвращаться было поздно, да и времени не хватило бы, опоздал бы с донесением. Ну, я сначала с размаху лег на снег

и начинаю пробираться вперед ползком, а пули свистят, как пчелы около улья. Дырок в балахоне наделали, наверно, немало. Вижу, нужно глубже. Стал зарываться в снег, и, поверишь ли, метров около пятидесяти канавку себе проделал, и прямо под снегом полз. Мокрый совсем насквозь от пота стал и, главное, думал все время: успеть бы во-время передать приказ, успеть бы, не сорвать бы удара!

Как дополз до лесочка с пригорками, встал и пошел прямо к комроту-2. А когда полз, с правого бока рукой прижимал лыжи к телу и пользовался ими, чтобы пробивать перед собой снег. Так и полз. А выполз весь мокрый, ноги подкашиваются, сердце — как колокол. Из последних сил наддаю и прямо к комроту-2. Рапортую:

«Начальник приказал начинать наступление в 15.40, по первым пулеметным выстрелам».

Посмотрел комрот-2 на руку, на часы, и сейчас же командует:

«Выступление, боевой порядок!»

А тут и пулемет застрекотал. Вторая рота пошла на штурм. Забили наши пулеметы.

Я попросил у командира разрешения пойти в атаку вместе с ротой, потому что знал: если я хоть десять минут без движения проведу на таком морозе — крышка! Ну, бой был как бой. Захватили деревню, и меня послали с донесением к начальнику.



Мы уже входили в деревню. Комрот-2 подошел к начальнику и доложил:

— Деревня взята. Белые отступили в Письма-Лакшу, оставив в поле винтовки, патроны и пять человек убитыми. Раненых они взяли с собой. Следует отметить особо: первыми стали удирать их командиры-финны, увидев, что с фланга по перешейку ударила вторая рота. Мы, — здесь лицо командира немного вытянулось, — потеряли трех курсантов убитыми и имеем семь ранеными.



Я подошел быстро к дому, куда уже успели собрать наших раненых. Большинство были ранены легко и сами могли передвигаться.

На кладбище, около самой церкви, несколько курсантов, чередуясь, старались выкопать в мерзлой земле братскую могилу.

Я нашел Лейно лежащим почти без движения на деревянном полу холодного дома.

Со мной был Тойво.

Мы присели около нашего раненого товарища.

— Матти и Тойво, — говорил он тихим, едва слышным голосом, — вы были всегда моими самыми лучшими товарищами, и я знаю, что и сейчас вы очень будете жалеть о моей гибели. Да, мне очень не хочется умирать, я бы с удовольствием побродил еще по свету и подрался с этими лахтарями на снегах Суоми. Но я прошу вас о последнем одолжении. В моем животе сидит несколько пуль, мне очень больно, я умру часа через четыре-пять. И вот я прошу вас помочь мне: дайте мне малую дозу смертельного яда. Помогите мне в последний раз!

— Я доложу об этом начальнику, — сказал я.

Антикайнен, узнав о положении Лейно, взволновался и даже стал заикаться в разговоре со мной.

Просьбы он выполнить не мог.

Через несколько минут Лейно умер.

— Прощай, Лейно, — сказал я.

— Прощай, Лейно! — печально повторил Тойво и сжал кулаки. — Мы за тебя, обещаю, не один десяток лахтарей спровадим к богородице.

И он вскочил и сразу выбежал в сени.

Адъютант занес в дневник имя четвертого погибшего в этот печальный для нас день.

Я вышел в сени.

Лицом к бревенчатой стене, упершись в нее локтями, стоял Тойво. Он вздрагивал, не умея и, очевидно, не желая сдерживать рыдания.

У меня сжало горло, и мне тоже захотелось плакать горько, безутешно, как маленькому мальчику.

Я вышел скорее на улицу.

Меня колотило.

Звезды высыпали на синее просторное небо. Месяц, как нарисованный, зацепился за крест колокольни. Лопаты скребли землю.

Сколько проклятых лахтарей ходят живыми по этой мерзлой земле, а мой лучший друг Лейно, наш боевой товарищ, коммунар Лейно, коченеет сейчас мертвый в избе!

Эту ночь я не спал. Я перебирал в памяти и нашу встречу, и рассказы Лейно, и дружбу нашу.

В другом конце избы так же безмолвно, так же бессонно томился Тойво.

Что дальше?

Утром мы их хоронили.

Мы стояли строем у могилы; позади толпились местные крестьяне.

Стоя на бугре уже замерзающей земли свежевырытой могилы, сказал свою лучшую речь неутомимый организатор хельсинкского комсомола, строительный рабочий, пламенный наш начальник, товарищ Антикайнен:

— Вместе с павшими товарищами мы организовали комсомол Финляндии, вместе с оставленными здесь навсегда товарищами мы дрались в рядах нашей Красной гвардии с проклятыми лахтарями, вместе с ними мы били лахтарей в Карелии, и во всех боях, что предстоят нам впредь, их имена будут в наших сердцах, их подвиги — нам примером, и героическая их смерть за дело мировой революции будет возбуждать в нас восхищение. Ровно четыре года назад, двадцать седьмого января, на башне Рабочего дома в Хельсинки зажегся красный огонь — сигнал восстания. Неугасимо горит он в наших сердцах. Мы обещаем вам, товарищи, что каждый из нас отдаст свою жизнь за победу трудящихся не дешевле, чем отдали вы свою...

Я знаю, что и сотовой доли огня, с которым говорил товарищ Антикайнен, и того внимания, с которым мы слушали эту надгробную речь, нет в этих моих слабых, неточных словах.

Но когда я сейчас вспоминаю, то снова начинаю волноваться.

Это было десять лет назад — этот самый день, когда мы опускали их в мерзлую могилу.

И я снова вижу, как тело Лейно, слишком длинное, не входит в могилу и, окоченелое, не хочет сгибаться и как Тойво, стоя внизу, в могиле, принимает его; и я не могу больше говорить спокойно и призываю вас всех, товарищи, помнить о прощальной речи товарища Антикайнена, в которой он поклялся, что ни один комсомолец, ни один коммунист, ни один красноармеец не забудет никогда своего долга перед мировой революцией.



И мы пошли в Кимас-озеро.

Дальше я не принимал участия в действиях отряда. Пусть о взятии Кангалакши, пусть о дальнейшей работе отряда, о стойкости Тойво, об отчаянной смерти замученного лахтарями Яскелайнена, о трофейном олене лахтарской почты, привезенном в Ленинград, расскажут сами участники.

Они подтвердят, что приказ революции мы выполнили.

Грыжа, проклятая грыжа лишила меня возможности идти вместе с отрядом дальше, и я пошел обратно, но уже по дорогам, по этапам, и через декаду лежал в лазарете Интернациональной школы, пройдя на лыжах тысячу семьдесят километров.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рассказ Тойво

В последней главе мой кровный товарищ Матти говорит, что после взятия Барыш-наволока он пошел в тыл, и просит других товарищей досказать о походе нашего лыжного батальона финнов Интернациональной школы.

Я откликаюсь и расскажу про один эпизод, который случился с нами через неделю после ухода Матти.

Сегодня выходной день, и для этого письма я урвал три часа от моей работы по лесозаготовкам, на которые мы, выполняя решение партии и советской власти, сейчас нажимаем изо всех сил.

Мы тут разбились на бригады, ввели прогрессивную сдельщину, и теперь по валке и вывозке древесины, измеряя фестметрами, побиваем на нашем участке канадские рекорды, и я заверяю через газету, что на нашем участке план будет перевыполнен досрочно.

Но я возвращаюсь к сути дела.



Меня зовут Тойво. Я — тот самый Тойво, который научился ходить на лыжах во время этого неповторимого лыжного рейда Интернациональной военной школы.

Все дело было так. Я был командиром отделения в разведке.

Темная январская ночь. Звезды ярко блестели на черном январском холодном небе — заняли свои места согласно астрономической инструкции.

Уходя в разведку, я отдал Аалто свои серебряные часы, которые получил за дела на колчаковском фронте.

В случае чего пусть лучше товарищ попользуется, чем лахтарь.

Мы вышли из леса, который, не прерываясь, преследовал нас уже пятьдесят километров, и легко вздохнули, нащупав на поле дорожку.

Дорожка вела, очевидно, к деревне, которая нанесена на карте в десяти километрах от места нашего выхода из леса.

Было отчаянно тихо.

Слышен был скрип наших верных лыж и тихое наше дыхание.

Мороз стоял не меньше чем в тридцать пять градусов.



И вот в темноте ночи глаза мои разглядели шесть черных точек, шесть фигурок на лыжах.

Мы осторожно подобралась поближе, и только на расстоянии полукилометра они заметили нас и стали уходить.

Мы отлично видели, что у них были винтовки.

Наших сил здесь не было и быть не могло. Мы были первые бойцы Красной Армии в 1922 году в этих краях.

Стало быть, это лахтари.

— Мы стрелять не можем: если вблизи у них крупные силы, они насторожатся. Захватим их в плен живьем! Их шесть, и нас шесть. Но мы коммунисты, у нас инициатива и опыт.

Говорю это я своим ребятам, а сам примеряю, правильно ли закреплен ремень, не будет ли убегать от меня на полном ходу лыжа.

— Вспомните о товарище Яскелайнене, — говорю, — и вперед!

И мы рванулись вперед.

Видим: неприятельский дозор повернул. Уходят от нас.

Ну, думаю, раз они не стреляют, тревоги не поднимают — значит, никаких сил лахтарских в деревне нет; значит, тем более мы обязаны их живьем товарищу Антикайнену доставить.

И командую:

— Ходу!

Мы идем полным карьером, и я уже начинаю терять дыхание, но расстояние между нами и лахтарями почти не сокращается, потому что они здорово на лыжах бегают.

Я вспоминаю дорогого Лейно и смерть Яскелайнена — и начинаю волноваться, и шире расставляю ноги, и сильнее отталкиваюсь палками, и, заставляя себя дышать ровнее, бегу вперед.

Меня обгоняет в этом быстром беге товарищ.

Товарищ Яскелайнен был в разведке и попался лахтарям в плен. И мы нашли его на снегу с выколотыми глазами, с отрезанным языком... Голубые глаза Яскелайнена завораживали девушек. Острый язык Яскелайнена веселил товарищей. И вот он лежит без шлема у наших ног, без дыхания, наш дорогой

товарищ, таммерфорсский красногвардеец, токарь Яскелайнен.

И я бегу вперед, сгибаясь в три погибели, отталкиваясь двумя верными палками, скользя по уже проложенному первым товарищем следу.

Мы с размаху входим в следы лахтарей и уже бежим по этим горячим следам, и тишину морозной ночи нарушают мерное шуршанье уминаемого лыжами снега, резкое наше дыхание и разнобой сердец.

И уже видна деревня, куда бегут от нас лахтари.

Она темнеет у горизонта, как низкорослый лесок, и не играет ни одним огоньком. И мы все-таки приближаемся к лахтарям.

Расстояние между нами сокращается.

Вся одежда делается липкой от пота; пот тяжелыми каплями скатывается со лба и, отягощая ресницы, слепит глаза.

«Мы по этому следу пойдем обратно к отряду, захватив пленных», — мелькнула у меня мысль, и я на ходу освобождаю руки из рукавов овчинного полушубка, рву пуговицы, и вместе с балахоном он падает на снег. И мы мчимся дальше.

Враги все чаще оглядываются на нас. Теряют темп, теряют дыхание...

Мы их явно настигаем.

Я бросаю шлем на снег и с обнаженной головой иду вперед. Иду таким шагом, что сердце бьет, как колокол.

Ремень винтовки начинает снова резать плечо — он попал на стертое место. Но нет времени поправить ремень, и мы мчимся вперед. И дыхание у каждого из нас как паровозные дымки.

Мы настигаем лахтарей.

До деревни осталось метров двести, до лахтарей — метров сто.

Они продолжают уходить, и вот мы уже пролетели околицу.

Мы влетаем, разбрасывая палками снег, на главную улицу деревни, а лахтари продолжают удирать — правда, замедляя бег.

Между нами уже расстояние в пятьдесят метров.

— Бери их! — кричу я и вдруг вижу: у стены ближайшего дома стоит дюжина пар лыж.

Лыжи прислонены к стене, а рядом торчат воткнутые в снег палки. Значит, в избе спят несколько лахтарей. Смотрю налево и вижу: там, у избы, тоже стоят прислоненные лыжи.

И я смотрю вперед и, насколько мой глаз в темноте различает, вижу прислоненные к стенам изб лыжи.

Так лыжи ставят, не внося в избу, чтобы они в тепле не разогрелись и снег не налипал бы, когда после, утром снова придется надеть их.

«Да здесь никак не меньше сотни лахтарей! Даже гораздо больше».

Быстро соображая, вижу, что неприятельский дозор заманил нас в западню. И мы попали в капкан, как хитрый песец.

Я смотрю вперед и замечаю, что обогнавший меня товарищ тоже сообразил, в чем дело, и замедляет ход. Я оглядываюсь и чувствую: товарищи еще не понимают, что мы в западне.

И тогда я командую:

— Гранаты!

У каждого из нас по четыре гранаты у пояса. Мы все рвем гранаты с поясов.

И еще командую:

— Швыряй гранаты в окна!

И мы летим на лыжах по дороге, как гроза, как дьявольское проклятие, и каждый бросает гранату в окно, в избу.

И звенят, рассекая морозную тишину январской ночи, разбиваемые стекла. И слышатся короткие вспышки рвущихся в избах гранат. И, разбуженные взрывами, ничего не понимающие, перепуганные до смерти, ругаясь и проклиная все, что можно проклясть, выскакивают в дикой панике из изб лахтари.

Полуодетые, забывая винтовки, не успевая схватить лыжи, они в полном беспорядке бегут из деревни — за околицу, по задам, за бани...

У меня истрачена последняя граната; я прислоняю свое лицо к раме разбитого окна и вижу невообразимую сумятицу в избе.

И вдруг возникает в деревне беспорядочная стрельба.

Я вскидываю винтовку и стреляю через окно в избу.

Затем вижу егеря в полной форме. Он кричит на бегущих в панике солдат своей лахтарской армии, он пытается остановить их, кричит им:

— Карельские свиньи, трусы!

Я спокойно беру его на мушку — и нет егеря.

Стрельба затихает. Неужели я еще жив? Неужели я даже не ранен?

И снова становится отчаянно тихо, только слышен далекий скрип чьих-то лыж.

И слышен еще около опушки взволнованный голос офицера. Он пытается собрать свои силы.

Его голос дребезжит в тишине ночи:

— Скоты, их всего несколько человек! Приказываю остановиться!

Вдруг слышу оглушительный голос Аалто:

— Первая рота курсантов Интервоеншколы остается в деревне! Вторая рота через пять минут выступает! Третьей оставаться в боевой готовности!

Сердце мое бьет в грудь, оно подступает, кажется, совсем к горлу.

Молодец Аалто! Он всегда найдет что сказать.

Итак, каждая наша рота равна двум курсантам.

Я бегу вперед, и на всем бегу правая лыжа натывается на что-то мягкое. Валюсь в снег. Вылетаю с разбегу из валенок.

Пяточные ремни были закреплены слишком хорошо, и если бы я не вылетел из валенка босой ногой в снег, был бы обязательно вывих.

Лыжа моя сломана. Но я не унываю. Я жив.

Неприятель потерпел поражение, и на выбор — несколько сот пар отличнейших финских лыж.

Споткнулся я о тушу зарезанного барана.

Только теперь я замечаю своих ребят — они шатаются от усталости.

Одного нет.

Только теперь я замечаю, что вдоль деревенской улицы валяются туши зарезанного скота — бараны, овцы, коровы.

— Где Каллио? — спрашиваю я.

— Убит, — отвечает Аалто. — Навылет. — И затем громко кричит: — Командиры взводов и отделений, ко мне!

Скоро придут наши, нам бы только продержаться два часа.

Где-то, совсем уже далеко, слышна резкая команда офицера.

Ему, кажется, удалось собрать часть своих мясников.

— Я думаю, что сейчас они сюда обратно не сунутся.

— Хорошо бы так! — отвечаю я.

И мы все занимаем места, где нас не видно, а мы видим всю улицу. Тут я замечаю, что на мне нет шлема и полушубка, и мне делается холодно. Волосы на голове уже смерзлись.

Я вхожу в избу. Пол от взрыва раскорежен.

Здесь полушубков хватит. И ружей тоже. Патроны в синих бумажных обертках фабрики Рахимяки...

Все в порядке.

Я надеваю полушубок и шапку и выхожу.

Через три часа пришел наш батальон, и мы заснули мертвецким сном.

Разбудил меня Аалто. Он долго тормошил меня за плечо. — Возьми обратно свои часы, — сказал он и всунул мне их в руку.

Они стояли: Аалто забыл их завести.

Утром мы получили выговор за то, что, будучи в разведке, вступили в бой с неприятелем, и благодарность — за то, что, имея в своем составе шесть человек, выбили из села часть противника в триста приблизительно штыков.

Я говорю «приблизительно» потому, что лыж было около четырехсот пар, а из местного населения никого не удалось опросить — все оно было угнано в Финляндию три дня назад. В деревне остались несколько баб, больных да старик. Скот, который нельзя было угнать, лахтари зарезали и разбросали туши на улице.

Они открыли крышки картофельных ям, чтобы поморозить весь картофель.

Да, чуть не забыл сказать, что в деревне оставлено было пять маленьких ребят. Я кормил их сахаром из тряпочки и достал для них лахтарские полушубки. Мне поручили охранять и кормить их до прихода главных частей с обозами. Лишь сдав их в обоз, я пошел догонять свою часть.

Так я превратился на время в няньку (чему бы я никогда не поверил, если бы мне кто-нибудь рассказал раньше), как бедный Лейно был повивальной бабкой.

Про нравы и обычаи этих ребят я мог бы рассказать много интересных подробностей. Они теперь, наверно, пионеры.

Но меня торопят лесные дела, а дел этих уйма, и непорядков, которые надо ликвидировать, чтобы выполнить лесозаготовительный план на все сто, тоже еще много, так что работа не терпит отлагательства.

Я еще раз заверяю, что план в моем районе будет перевыполнен.

С товарищеским приветом Тойво

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Рассказ красноармейца, которому в 1922 году было девять лет

Я — красноармеец призыва 1934 года.

В январе 1935 года мы решили пройти по следам рейда Интернациональной военной школы.

Нами командовал товарищ Антила, награжденный орденом за взятие Кимас-озера. В 1922 году товарищ Антила был курсантом, а теперь он вел нас. Сейчас товарищ Антила гене-

рал-майор. Из старых участников были Ояла и еще человека три-четыре, а затем шли мы, молодежь. Шестьдесят один боец с полной выкладкой и с запасом питания на трое суток. Строем, с пулеметами, проходили в среднем около шестидесяти километров в день по снежной целине. Честное слово! Прочитай наш рапорт наркому.

Нас встречали в деревнях рапортами о своих достижениях местные колхозники. Были среди них старики и старухи. В одном райисполкоме был председателем бывший курсант — участник рейда. Короткий митинг — и дальше в путь. В одной деревне выслали навстречу, за десять километров, сани — нет ли у нас больных, чтобы подвезти... Ну конечно, больных не было. За время похода все даже прибавили в весе, честное слово!

Около одного села нас встретил старик, который был проводником отряда в 1922 году; и, представь себе, в тот раз он заблудился в восьми километрах от деревни, и теперь снова, на этом же самом месте, он остановился, не зная, куда нас вести... Ну, мы-то дорогу нашли.

Местами мы находили путь по зарубкам, сделанным ребятами в первом рейде. Огромные глухари с любопытством смотрели на нас и не хотели сниматься с ветвей; когда мы их пугали криком, снежками, они только с любопытством наклоняли голову, в упор смотря на красноармейцев.

— Сколько вы их подстрелили? — спросил после у нас командующий войсками округа.

— Ни одного, товарищ командующий, — сказал Оала. — В такой птице больше пяти кило, и надо было бы тащить ее на себе до ближайшего привала, километров двадцать-тридцать... Ни одной не подстрелили, товарищ командующий!

А как нас встречало население! Совсем как на прошлогодних маневрах. Тогда наша часть должна была пройти через одну деревушку, не задерживаясь, бегом... Так вот, колхозники узнали об этом, и когда мы пробегали через деревню, у всех изб, у изгородей вдоль дороги стояли ведра с ключевой водой, с ковшиками: пей на ходу! А рядом с ведрами — крынки с теплым молоком. Кому что любо... Ну, мы, конечно, их не обидели — сколько могли, на ходу выпили. Угощение пришлось кстати — день уж очень жаркий был.

Ну, а в нашем случае, конечно, о жаре приходилось только мечтать — морозы большие стояли.

Мы подходили к большой деревне, занесенной снегом.

— В этой деревне тринадцать лет назад я провел отвратительную ночь, — сказал мне наш командир, товарищ Антила. — В бою под Барыш-наволоком меня ранили в руку. Вот, смотри,

пальца как не бывало!.. И тогда товарищ Антикайнен приказал мне идти обратно в тыл по лыжне, которую проложил отряд. Мне не хотелось идти обратно, но приказ — это приказ! И я пошел... И пришел я в эту деревню вечером. Постучался в одну избу — там мне даже и не ответили. Тогда я стукнул в окошко другой. Отворили дверь.

«Кто это?»

«Красноармеец».

Дверь захлопнулась перед самым моим носом.

Я прошел без отдыха двадцать пять километров; раненая рука горела у меня.

Я постучался в третью избу и сказал вышедшему на крыльцо старику:

«Я раненый, мне нужно только переночевать, к утру я уйду...»

Послушай, что он сказал:

«Если ты красный, а победят белые, мне придется плохо за то, что я пушу тебя переночевать. Если ты белый, а победят красные, разве они мне простят гостеприимство? Иди же лучше прочь подобру-поздорову».

И я пошел, раненый и усталый, прочь от этого дома, проклиная несговорчивого старика.

И подумай только: во всей деревне никто не захотел принять меня на ночевку! Злой и усталый, я забрался в темную, холодную баню и кое-как провел в ней эту бесконечную зимнюю ночь...



Мы вошли в деревню. Здесь, по маршруту, намечен был большой привал. Посреди деревни стояли колхозники. Они отдали нам рапорт. Я тебе его покажу: он хранится у меня. Ояла сказал речь... Ну, что дальше говорить! Разобрали колхозники нас по домам.

В каждом доме на столе дымился, уже поджидая нас, обед... Обед с нашим, красноармейским, не сравнится, конечно, но кормили нас от всего сердца: уха, запеченная в тесте рыба, клюква, молоко... Все хозяйства готовились к встрече несколько дней, как к празднику. Все бани были жарко натоплены. Мы могли смыть с себя пот нелегких переходов.

Я попал вместе с товарищем Антилой в избу к председателю колхоза, совсем еще молодой женщине. Ее звали Марией. Осмотрели лыжи, сняли с плеч мешки и уселись за стол. Детишки с уважением ощупывали винтовку. Но не суждено было на этот раз нам спокойно пообедать. Только я поднес ложку ко рту, как дверь избы отворилась, и в облаке пара ввалилась в

горницу пожилая женщина. Подступая вплотную к хозяйке, она обиженно кричала во весь голос; казалось, вот-вот она вцепится ей в волосы.

— Послушайте, Мотя! Я здесь ни при чем, и правление колхоза тоже здесь ни при чем, — объясняла Мария.

— Как так «ни при чем»? — кричала женщина, ища у нас поддержки своим словам. — Что, разве я и мой мужик не люди? Разве мы не первые ударники — он у себя в конюшне, а я на ферме? За что же нас так оскорбляют? Такой обидой из колхоза выжить можно!

— Да брось ты! — уже начинала сердиться хозяйка.

— А чем тебя обидели? — спросил Антила.

— Да как же не обидели?! — не успокаивалась та, кого председательница называла Мотей. — Разве я хуже других? По такому случаю даже блинов напекла, избу прибрала, баню истопила, лучшее платье надела. Жирные щи на стол поставила. И вот тебе — не хватило на меня, говорят! Мужик до того осерчал, что из дому сразу к коням побежал. Кони, говорит, лучше, чем люди...

— Чего же тебе не хватило? — спросил я обиженную женщину.

— Как «чего»? Красноармейца! Каждому дали, в каждую избу привели, а мы с мужиком хуже всех, выходит? Так, что ли, понимать прикажете?

— Ну, это дело поправимое, — сказал командир и приказал позвать из соседней избы красноармейца.

В соседней избе дело шло проворнее, чем у нас: там уже кончали обедать.

— Вы меня звали, товарищ командир?

— Да. Пойдите к этой колхознице и пообедайте у нее. Будьте ее гостем.

— Товарищ командир, я только что обедал... Второй обед тяжело. Нам ведь скоро уходить. Я боюсь — отстану от товарищей.

Но Мотя уже схватила за рукав незнакомого ей красноармейца и тянула его к двери.

— То-то обрадуется мой муженек! — уже довольная, сказала она.

— Я вас назначаю, как в наряд, — проговорил Антила вдогонку красноармейцу. — Твою винтовку этот переход я сам понесу, — сказал он, переходя с официального тона на дружеский.

Затем он встал из-за стола и прошел вслед за ушедшим в сени.

Через минуту я вышел за ним. Антила сосредоточенно стоял, прислонившись к свежесрубленной стене.

— Подумай только, — сказал он мне, — и это происходит в той же самой деревне!

Голос его был неровен. Когда он прикуривал от моей папиросы, я заметил, что рука его дрожит и глаза влажны. Честное слово!

Только я прошу тебя, не спрашивай его про это. Он рассердится и ответит, что глаза его были влажны только два раза в жизни: первый — когда в глаз попала паровозная искра, и второй — когда он узнал, что умер товарищ Ленин.



ТОВАРИЩ ТОЙВО АНТИКАЙНЕН

Когда произносят имя Тойво Антикайнена, перед глазами встает образ отважного революционера, непримиримого борца за освобождение рабочего класса Финляндии.

Сын обойщика, Антикайнен рано приобщился к тяжелой жизни финских пролетариев. С молодых лет вошел он в массовое рабочее движение и стал одним из видных организаторов рабочей молодежи в Хельсинки — столице Финляндии.

Когда в 1918 году вспыхнула финляндская рабочая революция, одним из пламенных ее вожakov был Антикайнен, несмотря на свою молодость уже тогда прославившийся в рабочих предместьях как незаурядный организатор и оратор.

После поражения финляндской рабочей революции товарищ Антикайнен участвует в организации Коммунистической партии Финляндии. Он делегат учредительного съезда партии. Съезд этот отправил письмо товарищу Ленину. В этом письме революционные деятели финского рабочего класса, и в их числе Антикайнен, заявляли, что они навсегда становятся под ленинские знамена.

Великой задачей каждого интернационалиста в те дни была защита отечества трудящихся всех стран, на которое надвигались полчища четырнадцати империалистических государств. И товарищ Антикайнен возглавляет революционные отряды финнов, пришедшие на помощь молодой Советской республике.

Антикайнен учится в Интернациональной военной школе, чтобы лучше побеждать врагов революции. Он дерется против английских интервентов на фронтах Советской Карелии как комиссар Финского полка Красной Армии. Он участвует в боях против Колчака, в разгроме Юденича, и именно его рота захватила у интервентов первые танки.

Этот эпизод многие знают по кинокартине «Мы из Кронштадта»; но ма-

ло кто знает, что в жизни это совершила рота Интернациональной военной школы, рота Антикайнена.

Тойво Антикайнен командует отрядом при подавлении белогвардейского мятежа в Кронштадте, отрезая мятежникам путь к финляндской границе.

Он командует лыжным батальоном при разгроме белофинской авантюры в Карелии в 1922 году. Нужно было обладать незаурядным военным талантом, находчивостью, храбростью, физической выдержкой, чтобы так блестяще выполнить задание революции, как это выполнил товарищ Антикайнен. Об этом походе ныне поются песни. Об этом походе рассказывает повесть «Падение Кимас-озера».

Советская власть наградила отряд и двадцатитрехлетнего командира Тойво Антикайнена орденом Боевого Красного Знамени.

Враги молодой Советской республики, выступавшие против нее с оружием, разбиты, и Тойво Антикайнен с присущими ему жаром и целеустремленностью вновь отдается борьбе за освобождение рабочего класса Финляндии.

Он работает в рядах Коммунистической партии Финляндии в условиях труднейшего подполья.

Схваченный в 1934 году полицией, Антикайнен предстает перед судом. Суд этот, по существу, явился классовой расправой врагов, мстивших попавшему в их руки революционеру.

Приговорив Антикайнена к восьми годам тюремного заключения за принадлежность к компартии, суд инсценировал затем обвинение его в уголовном преступлении, и, несмотря на то что все хитросплетения лжесвидетелей были блестяще разбиты Антикайненом, он был приговорен к двадцати годам одиночного тюремного заключения.

Своим поведением, своими выступлениями на суде Антикайнен превратил суд в трибуну и сам превратился в обвинителя тогдашнего правительства Финляндии, которое своей политикой вело народ к неслыханным бедствиям.

Тем злее оказалась месть тюремщиков.

Справа и слева, снизу и сверху от камеры Антикайнена камеры оставались пустыми, чтобы он ни с кем не мог перестукиваться. На прогулку его выводили одного.

Боясь, чтобы он не распропагандировал охрану, замок на его камере устроили так, чтобы он отмыкался только двумя ключами, которые хранились у двух тюремщиков: у каждого по ключу.

Входить к заключенному могли только два надзирателя сразу — один контролировал другого.

После почти шести лет одиночного тюремного заключения, в результате победы Красной Армии над финляндской белогвардейщиной в 1940 году, Тойво Антикайнен был вырван из рук тюремщиков.

Весть об его освобождении облетела весь Советский Союз, всех трудящихся мира.

С особенной радостью ее принял народ Карело-Финской Советской Социалистической Республики, неприкосновенность границ которой Антикайнен отстаивал с оружием в руках.

Народ новой союзной советской республики единодушно выдвинул кандидатуру Тойво Антикайнена в депутаты Верховного Совета СССР.

Тойво Антикайнен с присущей ему энергией снова вступает в борьбу за дело коммунизма. Он ездит по вновь образованной союзной Карело-Финской республике, выступает на митингах, встречается с избирателями в Петрозаводске, в Кеми, в Ухте.

Выступая на митинге в Ухте, он говорил:

— Советский Союз играет исключительную роль в борьбе за мир. Социалистическое строительство в СССР показывает, что только рабочий класс, взявший власть в свои руки, способен создать счастливую жизнь для трудящихся. Шестая сессия Верховного Совета СССР решила преобразовать Карельскую АССР в Карело-Финскую ССР. Этим историческим актом открывается новая страница в жизни карельского и финского народов. Своим счастьем карело-финский народ обязан Коммунистической партии. Мы обязаны превратить союзную Карело-Финскую республику в неприступную крепость на северо-западе Советского Союза. Вы выдвинули меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Если вы выберете меня депутатом, я буду честно служить народу. Многие вспоминают поход лыжного отряда курсантов Интернациональной школы в тыл белофиннов во время гражданской войны, говорят о нашем героизме. Мы только выполнили свой долг перед рабочим классом. Об этом долге я помню всегда...

В 1941 году фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

Тойво Антикайнен отдаст все свои силы, все свои способности борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он пишет статьи, воззвания, листовки, обращенные к Красной Армии, к народам Советского Союза. Радио доносит его голос — через линию фронта — к обманутому и ввергнутому в войну своими правителями финскому народу.

В конце сентября 1941 года автору этих строк в прифронтовом тогда городе Петрозаводске довелось снова встретиться с Антикайненом. Годы, проведенные в финских тюрьмах, наложили отпечаток на его внешность. Но на утомленном лице его попрежнему, совсем по-молодому, блестели пронизательные глаза. И весь он был полон энергии и воли. Антикайнен передал тогда для армейской газеты «Во славу Родины» обращение к войскам Карельского фронта. Обращение это кончалось словами: «Враг будет разбит и на севере».

До осуществления этих слов, полных веры в торжество нашего правого дела, Тойво Антикайнену не довелось дожить. Замечательный сын карело-финского народа, легендарный герой гражданской войны, коммунист Тойво Антикайнен погиб 4 октября 1941 года при авиационной катастрофе.



В дни Великой Отечественной войны, когда Кимас-озеро временно находилось в руках фашистских захватчиков, партизанский отряд «Красный онежец» совершил рейд по тылам белофиннов и, пройдя по пути лыжного батальона Антикайнена, уничтожил вражеский гарнизон. Легендарный подвиг отряда Антикайнена ожил в боевых делах наших героев-партизан.

В 1946 году правительство Карело-Финской ССР постановило воздвигнуть в Кимас-озере монумент-obelisk в память о замечательном походе лыжников отряда Тойво Антикайнена.

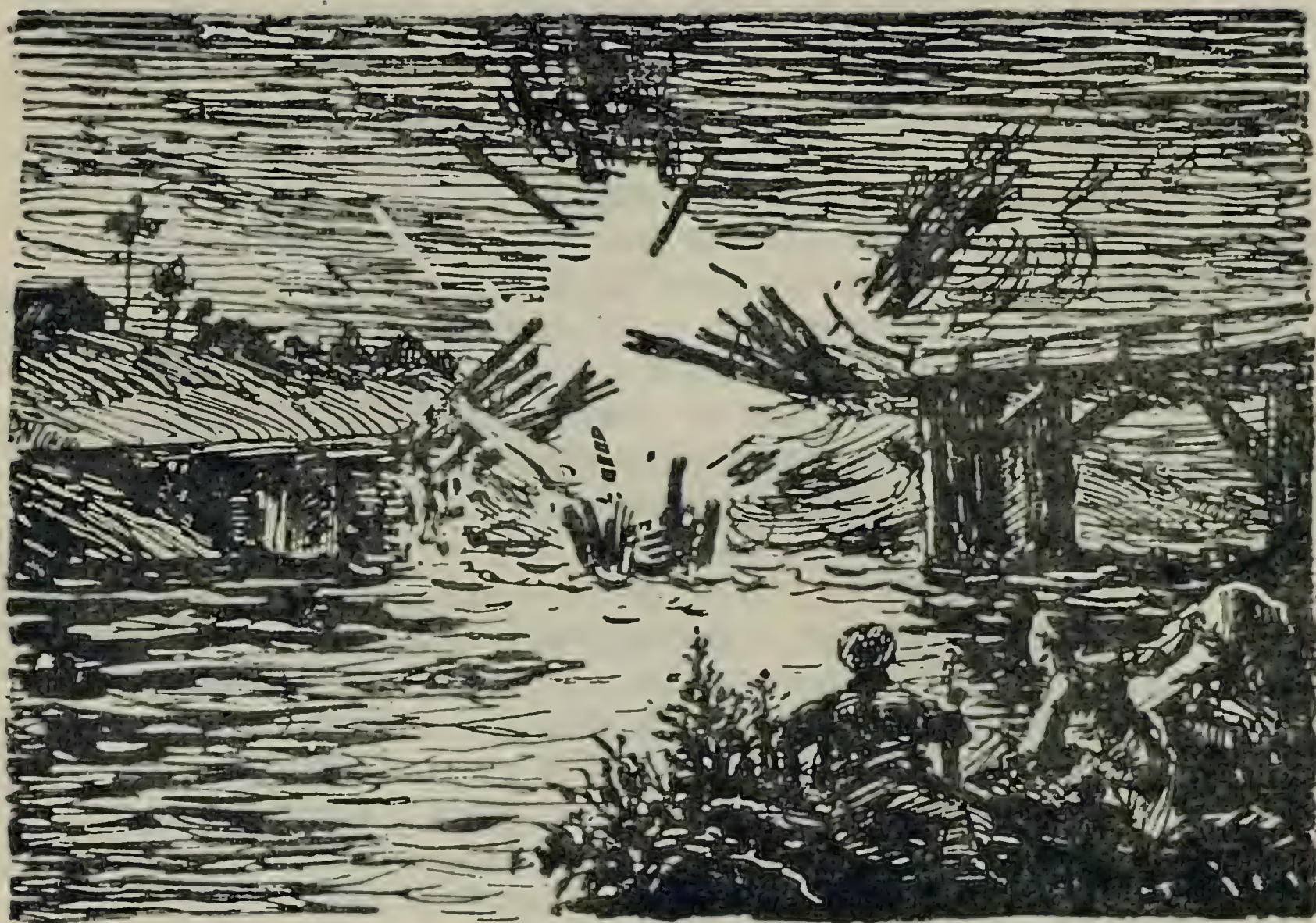


НА ЗЕМЛЕ КАЛЕВАЛЫ

ПОВЕСТЬ







У наших ног пенилась неширокая, но быстрая, шумная речка. Вода бежала, перепрыгивая через валуны; они чернели и поблескивали на солнце, словно бока улегшихся в воду буйволов. Под ногами вилась белая сосновая стружка, и от нового, только что поставленного сруба шел ласковый аромат; запах душистой и прозрачной смолы смешивался с горечью махорки, свежестью весенней травы. Между стволами высокого строевого леса синело широкое озеро, к которому так быстро бежала речка. На ней колхозники строили гидростанцию. Здание было уже готово, и плотники ладили теперь водосбросный лоток. Топоры их стучали гулко, и эти звуки напоминали стрельбу из винтовок, которая еще так недавно раздавалась в этих лесах.

Завтра, в воскресный день, сюда должны были прийти человек двести крестьян из окрестных колхозов на земляные работы — возводить плотину.

Перепрыгивая через кочки, переступая через узловатые корни сосен, мы с колхозным прорабом Якуничевым, высоким

свѣтловолосым парнем, шли по берегу речки к тому месту, где завтра с утра колхозники должны ставить ряжи и заваливать их булыжником.

Несмотря на то что Якуничев на первый взгляд казался человеком грузноватым, он перескакивал через валуны с необычайной легкостью; походка у него была плавная, размеренная, как и все движения его большого, красивого тела.

— Вот про нашу станцию, — сказал Якуничев, — в газетах пишут, что скоро в избах колхозников лампочка загорится. Лампочка, свет — это, конечно, очень нужно, но не в этом сила-то. Деревню эту карательный отряд сжег, всего семь хозяйств осталось, — так для освещения семи домов стоило ли огород городить?

И Якуничев рассказал мне: когда эвакуированные колхозники вернулись в деревню, поселились в землянках и в уцелевших домах, они стали обсуждать, с чего начинать восстановление. Ближайший лесопильный завод и железная дорога — километров за сто. Оттуда надо везти пиломатериалы. Ни людей, ни тягла в колхозе на это дело не хватит, и восстановление затянется лет на пять-семь. А вокруг стоят нетронутые леса. И вот решили колхозники начинать стройку с электростанции и пилу на электрической энергии пустить.

— Все, что надо для нашего колхоза, за один сезон напьем, а потом и соседям поможем. Так, глядишь, за год-другой и поднимемся. Все вместе. На МТФ у нас сотня коров, дальше еще больше будет. Каждой корове на пойло, на обмывку, на скотный двор и прочее — этак тысячу ведер за сутки. Поди натаškai. Самое меньшее шесть человек надо. А тут электроэнергия — насос. Так что не в освещении дело, а, попросту говоря, без своей электростанции нам никак не вылезть, никак не обернуться. А с ней мы за довоенное время перешагнем. Вперед прыгнем. Потому и весь колхозный народ с открытым сердцем на это дело пошел. Я тоже к этой стройке всей душой припал. Конечно, в чертежах мне трудно разбираться. Сам я не электрик, да ко мне в отпуск друг по партизанскому отряду приезжал, объяснял про электричество. Он у нас в отряде радистом был. «Последний Час» прозывали... А потом дали мне в помощники старика одного, — продолжал Якуничев, помолчав с минуту. — Сначала я думал: зря его суют. Нѣ тебе, боже, что нам негоже. А на деле — бойкий старик. Как только фашисты начали отступать, он по лесам пошел. У нас, знаете ли, все здесь вокруг было минировано — тысячи, десятки тысяч мин. Он пошел и стал собирать брошенные финнами провода. Там десяток метров подберет, там — сотню. Больше месяца по лесам ходил, несколько километров проводов насобирали

Полностью проводами обеспечил колхоз. Бесстрашный старик.

Мы сели на небольшой замшелый валун. Где-то над ухом звенел комар. Плотники стучали топорами.

Мне вспомнилось, как жарким летом в таком же карельском лесу сидел я на таком же валуне около входа в землянку. И так же тогда пахло нагретой смолой и хвоей. Рядом со мной был командир дивизии Лундстрем.

Мы не встречались лет пятнадцать. И, несмотря на то что в этой уже немного грузной фигуре только можно было угадывать бывшего статного спортсмена, несмотря на морщинки, лучиками побежавшие от его глаз, когда он улыбнулся, я сразу его узнал:

— Тот! Тот самый!

— А что со мной сделается? — снова улыбнулся он. — А, этот шрам на лбу? — поймал он мой взгляд. — Да, раньше его не было. Следы Гвадалахары.

Вечером, спасаясь от комаров в землянке, он долго рассказывал мне о боях с франкистами в Испании.

— Помню, приехали ко мне однажды советские писатели. Прошел я с ними по переднему краю. Владимир Ставский, высокий такой, грузный, в синем берете, остановился около трупа негра. Рядом лежали еще несколько убитых негров. «Это африканцы Франко?» — спросил он. «Нет, это мои бедные негры. Американцы из батальона Линкольна», — ответил я ему... Впрочем, ты сюда не за испанскими рассказами прибыл, — снова улыбнулся он.

И в самом деле, я приехал в дивизию к Лундстрему за другим. Мне в штабе фронта намекнули, что она будет наступать.

— У меня все готово, — сказал он, отвечая на мой безмолвный вопрос. — Только сигнала жду. Год топтались на месте. Смотри, какую оборону соорудили. Но, ей-богу, не жаль бросить ее. Лишь бы вперед. Все об этом только и мечтают.

— За чем же остановка?

— А вот. — И Лундстрем разложил карты на валуне. — Видишь, дорога? Видишь, река? Вот мост. Только я начну артподготовку, они по этому мосту две-три дивизии с артиллерией и боеприпасами перебросят. А мне ни одного бойца из запаса не пришлют. Таков приказ. Ну и остановят меня, как только я с места двинусь. Мне бы только два-три дня выиграть. Тогда я верст на семьдесят вперед рвану, до самого берега Кархуиокки доскачу и такую оборону займу, что меня целая армия не выбьет. Но для этого мост нужно на воздух поднять. Понятно? Этого я и жду. Ну, а если у нас будет успех, тогда резервы подбросят. Разовьют его.

— Ну, а как с мостом?

— Поручено партизанам. Отряду Ивана Фаддеевича. Только это невероятно трудно... Да... Я эти места хорошо знаю. В молодости там партию оружия провозил...

И он задумался.

Ночью слышу сквозь сон: зазуммерил телефон.

— Вставай! — радостно кричал Лундстрем. — Мост взорван!

И, как бы подтверждая его слова, начала грохотать наша артиллерия: полковая, дивизионная, батальонная. Грохот распирал уши. От сотрясения воздуха струйками стекал песок по стенам.

Через полчаса первый полк, обойдя противника по болоту, рванулся в наступление. Батареи же приковывали внимание врага с фронта...

В этой землянке мы больше не почевали. Дивизия по болотам, по лесной дороге прорывалась вперед.

В этот прорыв была брошена затем еще одна бригада.

Дальше все шло, как замыслил командующий и как толковал мне Лундстрем. Но даже Лундстрем в те дни не до конца представлял себе, что прорыв дивизии на этом участке — только одно из звеньев важнейшего замысла.

Главному командованию стало известно: враги собирают кулак, чтобы нанести удар. Лундстрем закрепился на берегах Кархунокки и сковал несколько вражеских дивизий, спешно переброшенных с северного участка. Этим он отвел готовившийся удар. Другие финские части, направлявшиеся на Ленинградский фронт, изменили свой маршрут.

Но и Лундстрем и я узнали об этом позже. А в те дни, когда его дивизия уже закреплялась на новых рубежах у Кархунокки, мы снова сидели на обомшелом валуне, и Лундстрем писал записку командиру партизанского отряда Ивану Фаддеевичу. Он благодарил за то, что так точно и своевременно был взорван мост.

— У меня уставный слог, — сказал он, покачивая головой. — Не получается так душевно, как хотелось бы...

Не случайно припомнилось мне все это. Ведь и приехал я сюда, услышав, что помощник командира партизанского отряда Николай Титов, который вел записи во время походов, теперь здесь секретарь райкома комсомола.

В районе сказали, что он уехал в этот колхоз условиться с прорабом Якуничевым, где расставить комсомольцев, которые завтра приедут из района сюда на воскресник.

— Я тоже был в этом походе, — задумчиво сказал Якуничев.

Однако он был так полон своей сегодняшней работой, что мог рассказывать только о гидростанции.

И, слушая его рассказы, глядя на свежий сруб электростанции, я думал о том, в какое неповторимое время мы живем. И я представил себе, как вот такую разрушенную деревню восстанавливали бы крестьяне, работая в одиночку... Грязь... Нищета... У меня мурашки побежали по телу.

Вдруг далеко над озером разнеслось:

— Ло-ось! Ло-ось! Лось!

— Титов идет, — сказал Якуничев и, встав с камня, приложил ладонь ко рту и закричал в ответ: -- Сынок! Сынок!

Мы услышали треск сухих сучьев. На берег неподалеку от свежего сруба вышли трое людей. Я сразу же узнал среди них Николая Титова. Такой же голубоглазый, с доброй, почти детской улыбкой, льноволосый, каким он был тогда, когда отправлялся в тот знаменитый поход. Только теперь левая рука как-то безжизненно висела у него вдоль тела.

На другой день я получил от него четыре тетрадки, исписанные мелким, убористым почерком. Это была история последнего партизанского похода Титова, написанная им в госпитале.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Я влез на сосну, чтобы проверить, правильно ли мы идем.

Золотистая кора, шелушась, порошила глаза. Свежая, теплая смола прилипала к ладоням. Сухие ветки с легким треском ломались под ногой, и надо было держаться руками за крепкую ветвь, на ощупь отыскивая для ноги опору попрочнее. Осторожно раздвигая колючие ветки, я стал разглядывать окрестность. Сосна, на которую я взобрался, высилась на скалистом холме, и всюду, куда только достигал взгляд, видны были одни вершины — зеленое море, по которому время от времени ветер гнал волну. Наконец далеко слева увидел темносинюю, поблескивавшую на солнце полосу. Это озеро. Значит, мы не сбились с маршрута. Надо мной проходили облака. Подо мной на сотни и сотни верст шумело зеленое море. Оно шумит здесь от Балтики и до берегов Белого моря, переплескивается через Онежское и Ладожское озера... Карельские леса — разве не о них сложены былины и руны? Редкие деревни раскинули на каменистых озерных мысках свои бревенчатые избы. От одной деревни до другой — десятки верст. А карельские версты, как говорит пословица, — узкие, но длинные. И сколько сейчас пустых стоит деревень! Народ ушел с армией. Не остался под оккупаци-

тами. Это хорошо. Но в пустой, обезлюдевшей деревне не достать партизану куска хлеба. Еда наша — только то, что отобьем у врага или что пришлют с Большой земли. Редко когда немцы или финны сходят с дороги в лесную непролазную чащобу. Они устраивают засады. Окружают десантами с самолетов. Патрулируют дороги. Самое тяжелое и опасное — пересекать дорогу... Но не для спокойной жизни пришли мы сюда... Вот и сейчас наш путь лежит к мосту через Кархунокки.

— Это приказ фронта, — сказал, напутствуя нас, Иван Фаддеевич.

— Не беспокойся — ребята не собьются на развилке без дорожных указателей, — сказал ему комиссар и похлопал каждого из нас по плечу.

Сутки мы шли по мелколесью на болоте, сутки — по рослому сосняку, и к утру третьего дня добрались до широкой реки Кархунокки. Остановились в кустарнике на крутом берегу.

Отсюда хорошо был виден мост (вот он какой!) и противоположный берег, поросший молодым, мелким и частым сосняком. Нам предстояло так пролежать, наблюдая за окрестностями, весь день, чтобы ночью уже наверняка взорвать мост.

На берегу лежали кучи свежих, белых круглых стружек, и мне казалось, что я даже вижу проступившие на тесаных бревнах прозрачные капли смолы.

Солнце дробилось в легкой ряби неустанного течения быстрой северной реки. Солнечные зайчики, перебегая, играли на бревенчатых ряжах. Это был большой мост — сто метров длины, и на нашу долю выпало поднять его в воздух.

— Я в жизни три моста строил, — задумавшись, произнес Якуничев, раздвигая кусты, — три шнека, три дома, а вот и рушить приходится...

Трава была мокрая, вся в росе. Мы расстелили плащ-палатки и легли на них.

— А я ни одного не строил, а рвать буду четвертый, — сказал Павлик Ямщиков. — В последние годы я больше грейдеры делал — дорожные машины. Ну, да ладно...

Этот круглолицый, рябоватый, черноглазый парень до войны работал токарем на Онежском заводе.

На первый взгляд в Ямщикове не было ничего особенного, но в отряде славился он своей неукротимой веселостью и ловкостью. И прозвище в отряде мы дали ему — «Душа».

— Да-с, на этом мосту я в мирное время кадриль с девушками танцевал, — сказал Ямщиков, укладываясь поудобнее на плащ-палатке.

— Ой ли? — тихо отозвался командир взвода Иван Иванович. — Ой ли? На этом ли?

Конечно, Павлик не мог танцевать кадрили на этом мосту. Тот, на котором он, может быть, и танцевал в свое время, был взорван партизанами еще зимой. Этот же мост был новый.

По мосту ходил немецкий часовой в металлической каске, и штык его угрожающе поблескивал над новенькими перилами.

По реке на лодках катались женщины в пестрых платьях. В одной из лодок, у руля, сидел мужчина без пиджака, в полосатой рубашке, с ярким красным галстуком. Гребли две нарядные женщины.

Издалека доносились обрывки знакомой мелодии.

— Сволочи, нашего «Стеньку Разина» поют, — с удивлением сказал Ямщиков.

Невдалеке от моста на зеленом пригорке виднелись избы с палисадниками.

Деревня эта еще в первые дни войны была покинута местными жителями. Теперь же в ней поселились люди, приехавшие из глубины Финляндии. Нам было известно, что, кроме строителей моста, в этой деревушке стоит еще взвод охраны... Сегодня воскресенье, но даже и для такого дня слишком уж рано они распелись. Это было поразительно.

— Я пойду и выясню, в чем дело, — сказал Иван Иванович.

— Рискованно...

— Лучше я пойду, — сказал Павлик.

— Ты — Ямщиков, а я — Кийранен, — наставительно произнес Иван Иванович. — Кончен разговор. Кайки!

Он был очень упрям — не переспоришь. И любимое его финское словечко — кайки — означало конец.

Из всей нашей группы только Иван Иванович отлично говорил по-фински. И это решило все.

Хотя мы и забрались так глубоко в тыл врага, что вряд ли нас здесь ждали, затея была очень дерзкая. Но таков уж наш Иван Иванович. Худощавый, невысокий, с длинным носом, с длинными, под скобку стриженными рыжеватыми волосами, на вид тщедушный и немного робкий, на самом деле он — человек неожиданных решений, невероятно настойчивый и смелый.

Медленным и как будто даже ленивым движением Иван Иванович стянул с себя гимнастерку. Оставшись в тельняшке, он засучил рукава и неторопливо, с развальцей пошел вниз к речке по крутому склону, пестревшему желтыми огоньками чистотела. И неожиданно для нас он вдруг нагнулся и стал собирать цветы.

«Для чего ему это?» — подумал я.

Собрав букетик из собачьих дудок и чистотела, Кийранен продолжал спускаться по склону. На ногах у него были старые сапоги из сыромятной кожи с загнутыми носками — лапикат.

Еще наверху, лежа на плащ-палатке, он высмотрел среди прибрежных кустов и высокой осоки челнок. Оттолкнувшись от берега единственным веслом, Кийранен повел его против течения. И хотя издали казалось, что гребет он нехотя и с ленцой, челнок быстро шел к мосту. Павлик Ямщиков и Якуничев вели дула своих винтовок вслед за движением челна.

Все мы были охвачены одним чувством, и каждый из нас понимал свою задачу без всяких приказаний. И все же сердце отчаянно билось, и невозможно было оторвать взгляд от широкой спины Ивана Ивановича.

Даша, прикорнувшая было на плащ-палатке, теперь следила за Иваном Ивановичем, даже на коленки привстала. Рот у нее полуоткрыт... Эх, Дашенька!

Иван Иванович достиг моста.

К его челноку вплотную подошла лодка. И мы отсюда отлично видели, что женщина что-то говорит ему.

— Я беру на себя кормщика, — сказал Ямщиков и стал целиться в мужчину, который сидел у руля.

Но разговор был, по всей видимости, мирный, потому что Иван Иванович вдруг взял с кормы сорванный им цветок чистотела и ловким движением бросил его в лодку. Женщина на лету подхватила цветок и прижала к груди. Мужчине, видимо, это не понравилось, он резко повернул лодку и повел ее к берегу...

— Ой, выдаст, — прошептала, томясь, Даша, — выдаст.

— Бить? — спросил Ямщиков.

— погоди, успеешь. — Я с трудом удерживался от того, чтобы не выстрелить.

И в самом деле, следовало повременить, потому что мужчина недалеко от берега резко развернул лодку и пошел теперь против течения.

Но что это? От домиков, стоявших у опушки, отчеканивая торжественный шаг, взметая пыль, по дороге шли немецкие солдаты. Больше роты. Они шли к мосту. Что бы это могло значить?..

Я тоже поднял автомат. Если они готовятся окружить нас и другая рота отрезает отход, то, может быть, лучше сейчас перестрелять десяток-другой немцев, а потом отскочить в лес... Но тогда мост останется невзорванным... Нет. Таким парадным шагом не выходят на операцию.

И Иван Иванович все так же медлительно и равнодушно поворачивает свой челн к берегу, вытаскивает его на песочек,

а затем садится на камень на лужайке около моста, закидывает ногу на ногу и привычным жестом вытаскивает из глубокого кармана шелковый малиновый кисет. Затем так же спокойно набивает трубку.

Люди, сидевшие в лодке, перестали грести и смотрят на мост.

Над рекой гремит полковой оркестр, щедро разбрасывая далеко по окрестным лесам звуки немецкого военного марша.

Солдаты выстраиваются по обеим сторонам настила. Две шеренги с каждой стороны.

— Слава богу, слава богу, гребет обратно, — шепчет Даша и счастливо улыбается. Лоб ее усеян крупными прозрачными росинками пота.

Иван Иванович в своем челноке также нарочито медленно плывет обратно. Течение попутное.

А на мосту тем временем появился серый легковой автомобиль с открытым верхом.

Высокий офицер вышел из машины и, пройдя по доскам настила, подошел к тонкой ленточке, протянутой поперек моста, и разрезал ее. Бумажная ленточка, взвиваясь в воздухе, упала на доски. Солдаты закричали «Хайль!», медленно прошли по мосту. За ними бежали деревенские босоногие мальчишки...

Иван Иванович спрятал челнок на старое место, прошел по бережку дальше и подошел к нам.

Я взглянул на Дашу, и мне показалось, что щеки ее порозовели. Надо будет поговорить с ней после.

— Это у них приемочная комиссия работает, — сказал Иван Иванович.

— Ничего, мы тоже примем мост, — отозвался Душа.

Мост было решено взорвать ночью.

Хорошо бы еще и офицера захватить, но чорт его знает, в какую сторону он поедет. Если влево, то там, в трех километрах отсюда, у дороги, сейчас сидят Шокшин и Аня Олави. Шокшин должен взорвать высоковольтную передачу. И сигналом ему будет взрыв моста. Затем они, так же как и мы, должны уходить на базу.

Только зачем пустили в эту операцию Аню? Мало ли что сама просилась...

Если же офицер поедет вправо, — здесь так далеко от линии фронта, что гитлеровцы совсем нас не опасаются...

И я сообщил возникший у меня план Ивану Ивановичу. Он согласился со мной, и нам оставалось только ждать, пока наступит эта летняя, робкая и быстрая, словно не уверенная в себе ночь, когда почти так же светло, как в пасмурный

день, и только всё — и люди и вещи — перестает отбрасывать тени.

День был жаркий, комары нещадно жалили, мы лежали на плащ-палатке, и время томило нас своей медлительностью. Но все же наступил вечер.

Мы слышали, как прозвучал рожок отбоя.

Когда немного стемнело и в селении все стихло, на мосту осталось только двое часовых. Они шагали рядом из одного конца в другой. Темные силуэты плавно передвигались, словно плыли над перилами, и над нами вставало высокое, просторное, прозрачное и многоцветное небо.

Я не знаю, какими словами можно описать невообразимые краски заката на нашем северном небе. Чем бы я ни был занят, куда бы ни спешил, я не могу не остановиться, увидев вечернее небо. Багровые и алые, шафранные и серые, сиреневые и совсем зеленые и снова прозрачные, как голубое пламя, тона спутались так, что даже не уследишь, где кончается один и возникает другой... И когда смотришь на такое небо, на душе делается торжественнее. Эта красота меня никак не разочарует, а, напротив, ожесточает... Такое небо — небо моей родины! И я не могу встать во весь рост и смотреть на него свободно, а должен ползти в этой густой траве и прятаться и бояться, что вдруг заметят... И я вижу эти две темные фигурки, шагающие по мосту, словно они заводные и внутри у них пружинка.

У меня на душе становится горько, и я хватаюсь за автомат.

«Погоди, рано еще... Часок-другой потерпи», — уговариваю я себя.

Ямщиков тоже смотрит на небо и, не зная, как выразить то, что переполняет его, шепчет:

— Вот это небо так небо... Маскировочка-камуфляж — первый сорт.

Мы подползли к мосту и залегли неподалеку в кустах.

Теперь только остается ждать, когда часовые подойдут поближе к нам.

Это хорошо, что они идут вместе. Сразу возьмем.

И вдруг, словно удар хлыстом по уху, раздается близкий винтовочный выстрел.

Часовые на мосту не стреляли. Я это отлично видел. Я не сводил с них глаз. Значит, это выстрелил кто-то из партизан. Пусть даже случайный выстрел, но он — предательский. Однако кто же это провалил операцию? Кто? Ямщиков? Даша? Иван Иванович? Чирков? Якуничев? Нет, никто из них не может быть предателем. Разве что Якуничев. Я его меньше знаю, он с Зимнего берега. Не успел я это подумать, как сразу заме-

тил, что часовые нисколько не встревожились... Наоборот, они пошли по мосту, отчеканивая шаг, как на параде.

Навстречу им, так же четко чеканя шаг и взмахивая рукой выше пояса, шли три солдата.

У меня сразу отлегло от сердца: конечно, этот выстрел — обычный у немцев сигнал при смене ночных караулов. Ну да, значит, всё в порядке...

Приклады стукнули о доски настила. Пост был сдан.

И снова на мосту остались двое часовых.

Они только заступили на пост — значит, раньше, чем через час-полтора, их проверять не станут...

Мы подползли еще ближе.

Павлик шепнул мне:

— «Спутнику агитатора» (так называет он мой автомат) будет работа.

Часовые были теперь в пяти шагах от нас... Они повернулись и пошли обратно, и вот тут-то поднялся во весь рост Иван Иванович. Это было сигналом.

Чирков и Якуничев бросились за часовыми. Те обернулись, но прежде чем успели вскрикнуть, каждый из них получил такой удар прикладом по каске, что без чувств упал на доски моста. Глухо звякнули винтовки. Тот, кого ударил Ямщиков, свалился через низкие перила вниз, на камни под мостом. Он был живуч, зашевелился, приподнялся на локте и замычал что-то несвязное.

Ямщиков не дал ему досказать. Бесшумно метнулся он к часовому — и через мгновение тот умолк.

Якуничев и Чирков закладывали взрывчатку под свежие, терпко пахнувшие смолой сосновые стропила.

Иван Иванович копошился около воды на бревенчатых ряжах.

— Ну, Даша, — говорю, — теперь за дело.

Мы бросились на дорогу. Я выкапывал шанцевой лопатой лунки для мин, а Ямщиков закладывал в них двухсотграммовые толовые шашки. Даша присыпала мины мягкой землей.

На одной линии поперек дороги мы заложили четыре заряда. Через пять минут все было готово.

Мы отошли в кусты. И тогда я взглянул на мост. Сейчас он был так же пуст, как и дорога. Словно здесь только что не ходили немецкие часовые.

На этот раз нам действительно везло...

Через полчаса после того, как мы заняли нашу позицию за кустами можжевельника, у обочины раздалось урчанье автомобильного мотора.

Я переставил рычажок автомата на стрельбу очередями. Чувствую, как волнуются рядом Даша и Павлик, но странно: меня их волнение только успокаивало. Всё в порядке.

Автомобиль въехал на мост. Я его не видел. До меня доносился ровный, приближающийся гул мотора, шелест эластичных шин по доскам настила, но я всем своим существом точно знал, где находится машина, где проходит, — гораздо точнее и лучше, чем если бы даже видел ее своими глазами. Не знаю, понятно ли это будет кому-нибудь другому, но это так.

В машине сидели, наверно, очень удачливые люди — шоферу, ничего, видимо, не подозревавшему, удалось провести автомобиль так, что колеса его не коснулись взрывчатки. И не будь нас в двадцати шагах от этого места — машина с ее пассажирами проскочила бы невредимой.

Но мой автомат заработал. Ямщиков тоже опустошил весь магазин своей самозарядки.

Машина вильнула и повернула к кустам, уперлась передними колесами в стенку кювета и заглохла.

Ямщиков распахнул переднюю дверцу... Водитель лежал, склонив голову на баранку. Рука его сжимала тормоз.

Павлик быстро сорвал планшет и полевую сумку с офицера, сидевшего рядом с шофером. Я стал снимать полевую сумку с другого убитого. Торопясь, я дернул и оторвал ремешок. Тело офицера сползло на пол. Затем на землю, неподалеку от машины, я положил листовку «К немецким солдатам». В эту минуту раздался взрыв, затем второй, третий, и так подряд семь взрывов.

Отскочив от машины, я взглянул на мост. В полутьме видны были взметенные вверх перекореженные доски настила, бревна устоев.

Высоко разбрасывая брызги, шлепались в черную и холодную воду реки деревянные балки. Павлик уже поджигал машину.

Теперь надо было скорее уходить...

Мы быстро шли по лесу в молчании, каждый думал о своем, и лишь сухой валежник хрустел под сапогами.

И вдруг раздался частый звонкий стук, словно кто-то бил железным молотком по стальному рельсу.

Ясно, это был условный знак...

Возможно, что из соседнего гарнизона немцы уже идут, чтобы отрезать нам путь отхода. Мы-то еще пробьемся. А вот как Шокшин и Аня...

В эту секунду я услышал еще один отдаленный взрыв, по которому томила моя душа, и успокоился: значит, там, у Ани и у Шокшина, тоже все в порядке...

Через полчаса мы встретились в лесу с теми, кто взорвал мост.

Торжество было полное: мост взорван, офицеры убиты, документы захвачены.

— А все же наша приемочная комиссия поработала с бóльшим результатом, чем ихняя, — лукаво улыбаясь, сказал Павлик.

— У тебя, Иван Иванович, — укоризненно проговорила Даша, — опять не получилось чисто. Вместо одного — семь взрывов.

— Да уж это как-то не получается у меня, — виновато ответил Иван Иванович, отводя протянувшуюся к лицу ветку.

— Оно и к лучшему, — сказал Якуничев. — Мне самому сперва показалось, что бомбежка началась. А им-то, фрицам, и подавно... Я видел, как они в исподнем белье бежали из изб в лес, в щели. А пока разберутся, в чем дело, нас и след простыл.

Так вот что означал этот резкий и пронзительный звук! Он был сигналом воздушной тревоги.

Птицы проснулись и щебетали...

— Это зяблик завел, ишь как заливается, — снова заговорил Якуничев. — А это вот оляпка, а это поползень, а это плиска. Нет, ошибся, — смущенно улыбнулся он, — сорокопут, а не плиска...

Я взглянул на него. Он был высок и плечист. Недавно отпущенная борода завивалась густыми льняными колечками. Ладонь этого великана вдвое больше моей, а я никак уж не мал ростом и не слаб. Его смущенное и немного виноватое лицо было так по-детски трогательно, что мне еще раз стало неловко за то, что я мог заподозрить его в нехорошем.

Мне хочется как-то загладить свою вину перед ним, и я говорю ему:

— Представь себе, я тоже подумал сначала, что это плиска... Но ты прав — это сорокопут...

— Ну да, — говорит он, — ошибиться ведь, пожалуй, каждый может.

И мы идем дальше гуськом. Первым, конечно, Якуничев, раздвигая всем телом ветви, напрямик. Он в самом деле похож на лося. Недаром ему дали это прозвище. У ручья он останавливается и вопросительно смотрит на командира.

Иван Иванович, разувшись, вступает в холодную воду. Вслед за ним мы тоже снимаем сапоги и идем по песчаному руслу быстрого ручья. Ноги леденеют, но надо сбить ищеек со следа.

За плечами висят и ударяют по спине грязные сапоги, тугие полевые сумки тянут вниз. До привала, который будет, когда солнце достигнет зенита, еще часа три, а после тревог вчерашнего дня и прошедшей ночи очень хочется спать. Глаза слипаются. Но свежесть ручья прогоняет сон.

Позади меня идет Даша. Странно, что может быть у нее с Иваном Ивановичем. Она ведь и грамотнее и моложе. Когда комплектовался отряд, мы считали, что Иван Иванович староват для партизанской войны в карельских условиях. Не вынесет. Сорок один год. Шутка ли! И хотя он работал сизмальства лесорубом, сплавщиком в здешних местах и знал наизусть каждую тропку, все-таки решили его эвакуировать.

Но он пошел к секретарю райкома и стал требовать, чтобы его записали в партизаны. Не может без него воевать отряд, да и только.

— Я добровольцем был в финскую кампанию! — горячился Иван Иванович. — У меня с шюцкоровцами особые счета.

Так стал он в отряде рядовым бойцом и еще в августе первым из партизан нашего отряда убил фашиста.

После первого похода его назначили командиром отделения, после шестого — командиром взвода. Конечно, он был отважный партизан, но все-таки, по-моему, не пара Даше.

— Даша, — говорю я тихо, — я уже давно хотел поговорить с тобой. Ты сейчас в состоянии слушать и понимать разумные слова?

— Если ты в состоянии говорить их, то почему же я не в состоянии слушать? — отвечает она и недовольно пожимает плечами.

По этому жесту я понимаю, что она знает, о чем пойдет речь.

— Я буду говорить откровенно.

Мы с ней дружили и спорили еще до войны. Но это дело прошлое. Да и вообще, какими далекими кажутся те дни, когда меня, молодого учителя, только что окончившего педтехникум, избрали секретарем райкома комсомола, а ее, заведующую библиотекой, — членом бюро райкома. Мне сейчас трудно припомнить, о чем мы так часто спорили. Но девушка она, конечно, с норовом... Когда и я, и Шокшин, и все бюро ушли в партизанский отряд, мы командировали ее в ЦК, в Петрозаводск, чтобы сдать все документы и печати райкома. Думали, что она останется там, в тылу, но она вернулась.

Я замедлил шаг, чтобы пойти с ней рядом. Шли мы по руслу, против течения.

И даже сейчас, в заплатанных, грубых мужских шароварах, с рваными сапогами за плечами, усталая, исхудавшая,

Даша была красива. Рыжеватые пушистые волосы ее сияли и словно сами излучали свет. В глазах теплились золотые огоньки.

Даша подняла руку и поправила вколотый в волосы цветок чистотела.

— Нехорошо, по-моему, что ты много времени проводишь с Иваном Ивановичем, — сказал я.

— Ты ничего не понимаешь!

— Ты его любишь...

— А разве его нельзя любить?

— Да он... он похож на узловатый сосновый корень, вырванный бурей из земли. Да и потом он намного старше тебя...

— Ты, Титов, ничего не понимаешь!

— Но ты подумай о себе и о своем будущем... За его плечами большая прожитая жизнь... А у тебя все впереди. Начинать надо с равным, чтобы получилась общая жизнь.

— Что ты, Коля, об этом знаешь? Если бы в прежнее время зашла об этом речь, то я тоже рассуждала бы так, как ты сейчас. Мы многого не понимали. Когда полюбишь, то никакой проблемы нет... Любишь — вот и все тут.

— Это чисто женская логика.

— Что же, я, наверно, женщина, — улыбаясь, сказала Даша. — Я люблю его, и тебя это не касается.

— Но у него теща есть.

Иван Иванович был вдовцом, и вместе с ним жила мать умершей жены...

— Мы с ней поладим.

— А потом, — сухо и официально сказал я, — товарищ Кормщикова, я боюсь, что это мешает тебе. После войны — другое дело.

— Настоящая любовь помогает. И мне жалко, что ты этого не понимаешь. Почему ты так придирчив к Ане Олави? Зачем так строг с ней всегда? — усмехаясь, спросила Даша. — Ведь между вами всего три года разницы. Неужели потому, что она тебя любит?..

— Да ты с ума сошла! Аня меня любит?.. Откуда это ты взяла?

Я был возмущен ее словами, но в глубине души очень доволен.

Мы вышли из ручья и начали наматывать портянки.

Даша сидела рядом со мной на камне. Мне почему-то хотелось, чтобы она продолжала разговор.

— Разве ты не знал? — изумилась она. — Ну да, конечно, Аня — девушка гордая.

Я молчал. Какая-то птица пела, я не знаю всех птиц. Это только чтобы сделать приятное Якуничеву, я сказал про сорокопута.

Солнце припекало. Теперь на ногах сапоги.

— Помнишь, под Новый год, вечером, ты встретил на озере, на льду, Аню и Катю. Тогда была метель...

Вспомнил. Я торопился на вечеринку и, чтобы не опоздать, пошел через озеро навстречу ветру, который швырял в лицо и в грудь влажные хлопья снега. Вблизи от берега стояли темные двухэтажные новые дома. Яркими квадратами врезались в черноту ночи освещенные окна. От них тянулись лучи света, и видно было, как в этих лучах кружатся, падая и снова возникая, неисчислимые снежинки... В домах пели, звенела музыка, и все это приглушенно вырывалось на зимний, ветренный простор. И вдруг вблизи на озере я увидел две темные фигуры. Я подошел к ним. Это были Аня и Катя. Они смутились, а потом рассмеялись звонко, весело.

Я шел из дома Ани. Я приходил к ее матери Эльвире Олави попросить, чтобы она на комсомольском собрании рассказала про знаменитое восстание лесорубов в Финляндии холодной зимой двадцать второго года. Восставшие перешли границу и пришли к нам, в Советскую страну. Эльвира с семьей была среди них. Потом муж ее был директором леспромхоза в нашем районе. В тридцать четвертом году на сплаве он попал в порог. Пенистый поток завертел его и разбил о камни. Эльвира осталась с тремя дочерьми: Хелли, Нанни и маленькой Аней. Хелли давно уже вышла замуж в Петрозаводске, с Нанни я учился в одном классе. После школы Нанни поступила в институт Лесгафта в Ленинграде. И я был очень обрадован, когда узнал, что в дни финской войны она была разведчицей-лыжницей и получила медаль «За отвагу». Эльвира теперь заведовала колхозной молочной фермой. И хотя она плохо говорила по-русски, я хотел, чтобы она выступила на комсомольском собрании и рассказала о восстании лесорубов и о их походе, который кто-то называл снежным потоком. Докладчиком был Шокшин. Он должен был рассказать о походе Антикайнена и о том, почему каждый комсомолец должен уметь ходить на лыжах... Шокшин, готовясь к докладу, ездил в Петрозаводск и встретился с недавно освобожденным из фашистской тюрьмы Тойво Антикайненом.

«Понимаешь, — рассказывал мне Шокшин, — он не такой, как в фильме. Он теперь почти совсем лысый. Волосы у него выпали в финской тюрьме. Во время финской войны лах-

тари для провокации нарочно расставили зенитные орудия около здания тюрьмы в Улеборге, желая, чтобы наши самолеты разбомбили тюрьму, где томились заключенные финские коммунисты и Тойво Антикайнен. Наши самолеты, точно выполняя приказ, бомбили только железнодорожный мост, по которому лахтари получали помощь.

При бомбежке от сотрясения воздуха во многих домах вылетели стекла. Разбились стекла и в камере Антикайнена. А это было в январе. Помнишь, какие стояли морозы. Сорок градусов, а окно разбито. В камере отчаянная холодина. Антикайнен требует: «Вставьте стекла!» Они отказываются: «Ваши же красные самолеты бомбили. Вот если вы подпишете протест против действий советской авиации, тогда не только новые стекла вставим, но в камеру с мягкой мебелью и порционными блюдами переведем». Тойво был взбешен — он послал их ко всем чертям. В камере — холодина, пар изо рта. Руки и ноги оледеневают. С утра до ночи, чтобы не замерзнуть, Тойво бегал по камере. А знаешь, как его держали? Боялись, чтобы ни с кем связи не завязал. Снизу, сверху, слева, справа от его камеры другие камеры были пусты. Боялись. Два запора было на дверях его камеры, и ключ от каждого находился у другого тюремщика. Так что войти к нему по одному было невозможно. Один надзиратель контролировал другого. И вот так ходил он по камере. Продрог до костей. Посинел. Сил не хватает. Его спрашивают: «Подпишешь?» А он говорит: «Да здравствует советская авиация!» И гонит их из камеры. Вторые сутки по камере ходит. Валится с ног. Руки и ноги распухли. Душит кашель. К концу третьих суток лахтари вставили стекло в окне его камеры. Если бы он погиб в камере, была бы широкая огласка. После этого Тойво облысел... Знаешь, как он героически вел себя на лахтарском суде?!

Да, Леша был готов к докладу. Теперь мне оставалось уговорить Эльвиру. Она очень не любила выступать на собраниях.

В комнате ее было уютно и тепло. Помню, на стене были развешаны фотографии: группа участников похода с оружием в руках; Эльвира с мужем в высоких кеньгах, совсем молодая, так похожая на Аню. Немного повыше — Зорька, корова-рекордистка. Рядом с голубой чашечкой на комодке стояла небольшая любительская фотокарточка Ани в свитере, в лыжном костюме, с тающим снегом на непокорных волосах. Не знаю, почему мне так запомнилась эта фотография.

— Что же ты молчишь?.. Так вот, девочки в тот вечер вышли на озеро гадать. В ту сторону, откуда залает собака, суж-

дено выйти замуж. В тот вечер собаки, как назло, молчали. А тут ты сам, собственной персоной, тот, кто загадан...

— Предрассудки, ерунда.

К нам подошел Иван Иванович.

— Вот, Иван Иванович, — сказал я, желая осрамить Дашу, — она тут разную мистику разводит насчет гаданья.

— Это смотря какое гаданье, — задумчиво сказал он. — Некоторым так я очень верю. Вот Даша мне нагадала, что в этом походе я сведу счеты с одной шюцкоровской сволочью. Так я в это крепко верю...

— А какие это счеты?

— Старые, с двадцать второго года. Мне тогда в первый раз сапоги сшили. Не донашивать дали, а специально для меня. Это понимать надо. Думал, весной в них на первый сплав пойду. А тут в деревне Эйно и Арви Мякинен жили, кулацкие сынки, будь они прокляты! Карельская авантюра, видишь ли, провалилась, так они решили в Финляндию убежать, воры проклятые! Они меня на дороге за околицей встретили. «Снимай сапоги!» Я ничего не понимаю. Повалили меня, стащили с ног новые сапоги и ушли. Я домой по талому снегу в одних портянках пришел — и на печь. Перед отцом с матерью стыдно. Обидно, хоть плачь. Новых сапог год ждать. Ровесники на сплав в сапогах пойдут, а мне в лаптях или опорках щеголять попрежнему. Вам этой обиды не понять. О, как я возненавидел это шюцкоровское отродье, хотя никакой политикой не занимался! Ну, а когда вырос и узнал, что они не только у меня сапоги украли, а хотят ограбить весь наш народ, я возненавидел их до смерти. А эти братцы еще заплатят мне по счету сполна — и кайки! — окончил свой рассказ Иван Иванович и распорядился: — Здесь будет большой привал!

Большой привал — спать до ночи. Только вот жаль, что нельзя досыта поесть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Скоро — высотка, у подножия которой расположился штаб отряда. Об этом свидетельствовали наши ноги. В начале войны они никак не могли разобраться в расстояниях: небольшие переходы казались им огромными. Теперь же на их показания можно было положиться. Впрочем, и сосущая пустота в желудке настоятельно твердила: сейчас должна быть база.

Мы, вероятно, запаздываем, у нас был самый дальний маршрут. Другие группы, наверно, уже пришли на базу и ждут нас. Быстрее! Быстрее!

На сердце было радостно: есть о чем доложить командиру! Рука тянулась к тяжелым кожаным офицерским сумкам.

Вот за той высокой, расщепленной грозой сосной — большой валун, занесенный сюда еще ледниками, а за валуном должна быть видна и река; от нее по лесистому крутому берегу, поросшему березняком, надо пробираться около пяти километров. Так и есть. Мы вышли к реке. И тут Иван Иванович вдруг остановился и в раздумье стал глядеть на реку, которая, спотыкаясь и пенясь на порогах, бежала по каменистому руслу.

По течению, медленно поворачиваясь, поблескивая гладкими, скользкими боками, плыло длинное бревно. Но это было не случайное, заблудшее, одинокое бревно — нет, по реке шло много бревен.

Иван Иванович обрадовался:

— Сплав. Идем быстрее!

— Вот тебе и на! — сказал Душа присвистнув. — Ведь река течет в нашу сторону. В Белое море, в Россию. Кто же станет здесь лес сплавлять? Ты что, финнов совсем дураками считаешь? — спросил он.

— Молодец! — восхищенно сказал Иван Иванович, не обращая внимания на вопрос Ямщикова. — Вот это я понимаю! Когда началась война, — обратился он к Якуничеву, — здесь на берегу остался лес, не успели сплавить. А теперь наши сплавляют его под самым носом у лахтарей. Из конюшни конокрада коня выводят. Молодцы! Я так и думал!.. Ну, идем быстрее.

— Немыслимое дело! Оно и понятно, — весело сказал Якуничев. — Вот так и меня всегда на рыбный лов тянет.

Иван Иванович торопился. Старому лесорубу хотелось сегодня хоть немного поработать так, как он работал в мирное время. Руки и сердце его тосковали по привычному, необходимому для жизни человека труду. И притом, кому из нас не было известно, что лесозаводу, выполнявшему заказы фронта, угрожала остановка из-за нехватки сырья — леса. Река же эта несла сплав прямо к запаням лесозавода. Мы ускорили шаг.

Переваливаясь через камни, сшибаясь в стремнинах, по реке шли бревна. Одно остановилось у берега, уткнувшись тупым торцом в корягу, торчавшую из воды.

Иван Иванович быстро спустился и оттолкнул бревно ложем автомата. Нехотя оно отошло от берега и, медленно покачиваясь, поплыло по реке.

Теперь я шел впереди. Позади меня — Даша и догнавший нас Иван Иванович.

— Сейчас мы узнаем, как сработали Шокшин и Аня, — сказала Даша.

Признаюсь, мне было очень приятно думать (если только Даша сказала вчера правду), что Аня любит меня...

Уезжая после каникул в техникум, я спросил ее, кем она хочет быть. «Капитаном парохода, такого, который по океанам ходит», — ответила Аня и весело рассмеялась... Какие хорошие у нее глаза! Синие-синие. Гладкие подстриженные волосы — темнорусые. Мне немного не по себе, когда мы остаемся с ней вдвоем... Правда, почему я всегда придираюсь к ней из-за всякой мелочи, которую простил бы другому человеку?.. Один раз при всех сделал ей выговор и чуть не довел до слез. Потом хотел смягчить разговор, но неудобно — рядом люди. Надо сдерживать себя. Но мне кажется, это не то чувство, о котором говорила Даша... Да и стыдно было бы — я ведь как-никак уже учитель, а она еще ученица. И потом хорош же я: сделал выговор Даше, а сам...

И в эту секунду я действительно убедился, что такие мысли отвлекают от войны, от настоящего дела. Поглощенный ими, я чуть не столкнулся с бородатым человеком, внезапно выступившим из-за ствола березы. Я схватился за автомат...

— Ну и сынок, не признал, — услышал я знакомый голос.

Это был мой отец. Он стоял в сторожевом охранении.

Я очень люблю отца. О многом с ним можно поговорить, посоветоваться. Чего только он не знает, чего только не умеет! Но я терпеть не могу, когда он при всех называет меня сынком. Мне сначала казалось, что это может подорвать мой авторитет.

Как-то случайно я услышал разговор Кархунена, нашего комиссара, с отцом по этому поводу.

— Как-никак, а ведь он мой помощник по комсомолу, — говорил комиссар.

После этого разговора отец два дня называл меня «товарищ Титов». Потом забыл, и вот теперь так и зовут в отряде — Сынок, даже те, кто моложе. Впрочем, это не хуже, чем Душа, Лось или Последний Час — так с легкой руки Ямщикова весь отряд называет нашего радиста. Он все время злился на Ямщикова за это, но и ему пришлось примириться со своим прозвищем.

— Трофеи принес, сынок? — радуясь тому, что видит меня, сказал отец. — Вот и хорошо. Ждут вас. Уже все пришли...

— Как с продуктами? — спросил Душа.

— Когда самолет сбросит, тогда и будут, — ответил отец, — а на сегодня все съедено... Подчистую...

— А как со сплавом? — перебил его Иван Иванович.

— Работают, — улыбнулся отец, — на нормы не глядят.

— Послушай, Титов, — сказал мне Иван Иванович, — пойдди к командиру и доложи о нашей операции. Ты не хуже меня знаешь. А мне время даром терять нечего. Давно я не работал. Как бы не заржаветь.

Я подошел к шалашу командира. На камне рядом с шалашом сидела незнакомая горбатая старуха. Она посмотрела на меня равнодушными глазами. Губы у нее все время шевелились, словно она что-то жевала.

— Что за птица? — спросил я у стоявшего на часах Жихарева. Сам он был чуть выше своей винтовки.

— Предательница. Ее группа Матти Ниemi привела.

С группой степенного канадца Ниemi участвовала в операции и Катя.

Катя эту старуху выманила в лес. Трoих в деревне из-за нее расстреляли. У, гадина!

Старуха сидела и непрерывно шевелила губами, ни на кого не глядя.

— Можно?

— Войди!

Странно, что такой высокий человек, как Иван Фаддеевич, умещается в этом маленьком шалаше. Там была Катя.

Когда я, нагнувшись, заглянул в шалаш, она что-то взволнованно рассказывала командиру. Такая же, совсем такая, как и в школе, — белобрысая, с тоненькими косичками, которые смешно подпрыгивали, когда она играла в волейбол. В ней как-то по-особенному всегда сочетались шаловливость и стыдливость.

В первые дни войны на занятие медицинского кружка врач принес анатомические таблицы, на которых изображалось обнаженное человеческое тело. Катя, а за ней еще несколько девушек вспыхнули, с возмущением отвернулись от этих таблиц и стали смотреть в окно. Как врач ни бранил их, ничего не помогало.

— Как не стыдно! — чуть не плакала от обиды Катя.

Тогда вызвали меня, как секретаря райкома, и я объяснил девушкам, что здесь никакого срама нет — это наука, и, не зная устройства человеческого тела, они не сумеют оказать первую помощь пострадавшим.

В походах Катя не утратила своей милой стыдливости, но ко многим вещам стала относиться гораздо проще.

— Как мост? — спросил меня командир, прерывая беседу.

— Взорван!

И тогда Иван Фаддеевич, выдохнув воздух, улыбнулся и сказал:

— Ну, что ты остановилась? Продолжай.

И Катя продолжала:

— Первый раз в жизни с фашистом за одним столом сидела. Не поверите, сердце замерло, так страшно-страшно стало. Я сидела лицом к двери, за столом. Самовар кипел. Со стариком и старухой разговор вела. А у них на постое унтер-офицер. Они мне рассказывали про Пекшуеву и про все, о чем я вам уже доложила. Вдруг стукнула щеколда — я вздрогнула, в горницу вошел унтер. Не старый еще, с усиками. Подошел к столу, взглянул на меня, отодвинул табуретку и сел рядышком.

«Ну, — думаю, — погибла». В сердце пусто будто стало; ноги, как ватные...

«Это моя племянница, — сказал хозяин. — Спасибо, не забыла старика, пришла навестить за восемьдесят километров».

Хозяйка наливает чай и ставит чашечку перед унтером. Начал он чай пить вприкуску и поглядывает на меня... Я в тени сидела, а руки на столе, на свету лежали. Вот я потихоньку ручки-то со скатерти и убрала под стол. Будто хоть немного от чужого глаза скрылась — спряталась. Он ничего злого не сказал, а только спросил старика:

«Где свою племянницу спать положите?»

«Вот здесь, на лежанке у печки», — объяснил ему хозяин.

А я в кармане гранату сжимала. Ежели подойдет... Ну, спать я там, конечно, не стала. Как только он вышел, сразу с хозяевами распростилась.

— Ты посмотри, что только при себе эта горбунья носила... — сказал Иван Фаддеевич и протянул мне ладанку. — А ты, Катя, иди отдыхай.

И Катя вышла, хотя ей очень хотелось услышать мой доклад.

В моих руках был кусок бересты, сложенный вчетверо в виде конверта. Я осторожно раскрыл его. Там были лягушечьи сушеные кости, несколько старых финских кредиток с изображением коров и новеньких — с какими-то голыми женщинами.

— С той минуты, как взяли ее, ни слова не говорит. Ни бе ни ме. Вредная старуха — все тропы немцам указывала... Сын у нее в двадцать втором году за границу убежал. Нынче нашелся, посылку прислал... Ну, теперь выкладывай свое.

Во время моего доклада командир раскрывал одну за другой принесенные мной полевые сумки и высыпал оттуда себе на колени письма со штемпелями полевой почты, маленькие глянцевитые семейные фотографии, бумажки, записки, карты... Над одной из них он вдруг застыл, затем перевернул ее, осмотрел, написано ли что-нибудь с оборотной стороны. Но там ничего не было.

— Так-с, так-с, — сказал он с удовлетворением, побрякивая, словно только что пропустил стаканчик горячительного, до которого был охотник. — Так-с, так-с, — повторил он, еще пристальнее вглядываясь в карту, аккуратно исчерченную синим, красным, яркожелтым.

Рядом с цветными кружками были начерчены топографические условные значки и стояли тщательно выведенные цифры.

— Да ты, я вижу, Титов, сам толком не понимаешь, какие документы вы добыли... Им же цены нет! — И, звонко, весело, чуть не по-детски расхохотавшись, он дружески опустил на мое плечо руку.

Ну и тяжела же была его рука! До сих пор, кажется, плечо болезненно чувствует ее прикосновение. Что же должен был сказать тот, к кому эта рука прикасалась не дружески, а в пылу схватки?

— Здесь указаны все гарнизоны с их численностью на вчерашний день, наблюдательные посты, полевые запасные аэродромы и, кажется, резервные арtpарки. Надо скорее доставить бумаги в штаб фронта. Видишь подпись: подполковник Лалука. Его наши партизаны еще с 1922 года помнят. Жалко, что тогда такого зверя не прикончили. Ну, да и он партизан запомнил. Из-за того, что с ними в переговоры вступал, все еще в подполковниках ходит. А то бы уже наверняка генералом был. Теперь наворачстывает. Мстит... Жалко, что у Последнего Часа аккумуляторы на исходе. Ну, да не позже, чем завтра, нам сбросят новые, вместе с едой... Это отличный поход!.. Семьдесят три фашиста уже уничтожены. Но главное — моста у них теперь нет. Ты сейчас даже не понимаешь, как это важно. Это не просто мост. Три раза фронт запрашивал нас про него... Торопил. А теперь ответим: «Всё в порядке», — с удовлетворением сказал Иван Фаддеевич, и в голосе его зазвучало беспокойство: — А где Иван Иванович?

— К сплаву бросился.

— Все одно, что комиссар. Их хлебом не корми, только дай в лесу поработать. Руки сами к лучковой пиле тянутся. — И он вдруг замолчал.

Внимание его привлекла бумажка, которую он раньше не заметил. Теперь Иван Фаддеевич внимательно, словно по складам, читал листок, и чем больше он вникал в смысл написанного, тем серьезнее и мрачнее становилось его лицо.

Около шалаша слышались голоса Шокшина и Ани... Хрустнула под ногой ветка.

— Можно войти?

— Входите, — отозвался командир.

Но в шалаш вошел, пригнувшись, только мой дружок Шокшин.

Аня заглянула внутрь и, увидев меня, тихо сказала: «Не буду затемнять» — и отступила от входа.

Не знаю, почему в то мгновение сердце билось у меня сильнее обычного. Во всем были виноваты Дашины слова...

— Задание выполнено! Высоковольтная передача взорвана! — почему-то смущаясь, сказал Шокшин.

Я вышел из шалаша.

Аня стояла неподалеку от старухи Пекшуевой, которая, по-прежнему безучастная ко всему, шевелила бледными, запекшимися губами. Аня смотрела на нее, и во взгляде ее можно было прочесть и презрение, и удивление, и даже еле уловимый страх.

— Ну вот видишь, — наставительно сказал я, — вот видишь: Шокшин мог спокойно обойтись без тебя, не нужна ему была медсестра, и ты напрасно так настаивала.

— Послушай, Николай Иванович... Коля... — начала она и вдруг замолчала.

Мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но вырвалось только:

— Вот тебе и крыть нечем.

Мы подходили к берегу, обходя валуны.

Около бревен, сталкивая их в реку, копошились партизаны. Они работали, как обычные сплавщики. Кархунен, наш комиссар, стоя на вращающемся под его ногами бревне, плыл по реке и длинным шестом отгонял от берега бревно. Со стороны не видно было, что ему приходится напрягать мышцы, балансируя. Казалось, что он просто, уверенно и быстро переступает с ноги на ногу, как будто стоит не на скользком бревне, а на гладкой половице и готовится войти в круг танцующих. Обычно с вида неуклюжий и коренастый, он сейчас казался и стройным и необыкновенно гибким.

— До чего здорово! — не мог я не восхититься ловкостью комиссара.

— Мой отец и дядя не хуже на бревнах ездили! — почти с детской гордостью сказала Аня.

«Вот занимаемся мы футболом и другими видами спорта, а своим родным пренебрегаем», — подумалось мне. Ведь раньше даже соревнования бывали между сплавщиками. Стоя на скользком, вращающемся бревне, они переплывали через стремнину, проводили бревна через камни кипящих порогов. Мальчишки по берегу бегут, кричат, свистят, руками машут. А те, на бревнах, еще больше изощряются: один присядет на корточки,



другой, стоя на одной ноге, катит, — просто удивительно! Имена самых ловких сплавщиков славились далеко за пределами района. Потом это почему-то объявили пережитками, даже лихачеством.

Однажды весной, когда, «зачищая хвост», сплавщики прошли мимо нашего села, началось состязание. Народ толпился на берегу. Секретарь комсомольской ячейки — сам лесоруб — с молодежью в другую сторону, к полям пошел, гармонькой-трехрядкой народ от пережитков оттягивать. А сам нет-нет, да и метнет искоса взгляд на то, что на реке делается... И вот, когда уже почти все проехали на бревнах, ловкость свою показали, закипело у него ретивое, бросил он трехрядку на руки другу и сам куда-то побежал. И минут через пять все увидели: секретарь наш, так, в хромовых сапожках, с галстуком, даже не переодевшись, катит мимо всей деревни по реке на бревне. На одной ноге стоит, другой машет. Народ в ладоши бьет... Вот тебе и пережитки!

Но ведь в мирное время на сплаве только с шестом работали. А вот сейчас и комиссар наш, и там, поодаль, Иван Иванович, и другие работают с винтовкой и вещевым мешком за плечами, с тугими тяжелыми патронташами у пояса. Это совсем другое дело.

На земле, где еще недавно мы спокойно работали стоя во весь рост, теперь мы вынуждены делать свое дело украдкой, с оружием за плечами.

— Коля, — подошел ко мне Шокшин, — я думаю, что когда уничтожим оккупантов, надо будет вовсю заняться плаванием на бревнах... Хоть до республиканских соревнований дело доведем.

— Обязательно!

— Вот залом, — показала Аня на пенящиеся камни порога, к которым подходили всё новые бревна.

Одно остановилось у камня. К нему подплыло второе, затем — третье. Казалось, что срубленные стволы сосен рады остановиться и хоть немного передохнуть, чтобы потом снова продолжать свой бег к морю. Но через минуту они уже не могли шевельнуться, не могли тронуться с места. Они были сжаты и притиснуты вновь подоспевшими бревнами, которые громоздились одно на другое.

На наших глазах залом продолжал расти, как плотина, преграждая прямое и ровное течение быстрой реки.

На гребень залома взобрался Иван Иванович с шестом в руках. Он собирался найти первое ленивое, ключевое бревно и, столкнув его с места, привести в движение всю эту махину. Но это было не так-то легко сделать.

На помощь Ивану Ивановичу, стоя на бревне, подплывал комиссар.

Это очень опасное дело — разбить залом. Все приходит тогда в движение, рушится... Любое из бревен может зашибить смельчака. Стоит только оступиться, и вот уже скользкий ствол увернулся из-под ноги, сплавщик — в реке, и быстрые бревна торцом ударяют его по голове, а вода увлекает на камни.

Внимание всех было приковано к Ивану Ивановичу и комиссару, решившим во что бы то ни стало разбить залом. Иначе пошел бы прахом весь труд и спущенный партизанами в реку лес не дошел к Белому морю.

— Воздух! Воздух! — вдруг раздался голос Жихарева.

Все ждали наших самолетов, которые должны были сбросить мешки с едой.

— Наш самолет! Наш! Ура!

Из шалаша выскочил командир. В руке у него была заряженная ракетница.

— Красная ракета — сигнал: сбрасывать здесь.

Иван Фаддеевич поднял руку с ракетницей вверх, собираясь спустить курок. Но не выстрелил, а закричал:

— Ложись! Ложись! — и, опустив руку, сам лег под ветвистое дерево.

Словно вынырнувший из леса — так низко он шел, — самолет на своих плоскостях нес скрюченные, паучьи лапы свастик. Мотор ревел так, что ничего, кроме этого звука, нельзя было услышать, и мне показалось, что я вижу даже лицо летчика в кабине.

Все разбежались в одно мгновение и притаились за кустами, за деревьями, в кочках, у камней... Но ведь все равно летчик поймет, что здесь люди, — без них по реке сплав не идет и заломов не возникает.

— Пожалуй, бомбить будет?

— Нет, шоколадные конфеты с ромом сбросит, — ответил мне Ямщиков.

Он лежал рядом, и оба мы целились в аэроплан, и оба выстрелили и промазали.

Самолет прочесал прибрежный лесок трассирующими зажигательными пулями.

Совсем рядом со мной, точно маленькие столбики пыли, поднимаются дымки подожженного пулями моха.

На сухой ветке валежника заиграл огонек и побежал вверх. Катя затоптала его.

Самолет прошел над заломом и ударил несколькими очередями по бревнам, прикинув к которым лежали Иван Ивано-

вич и Кархунен. После первого виража самолет сделал второй заход.

Аня бежит к залому, на ходу расстегивая сумку с красным крестом. Аэроплан разворачивается в третий раз и уходит низко над лесом.

Стоя на бревнах залома, Аня размотала белый бинт. Иван Иванович сначала отстранял ее рукой; но потом покорился.

«Должно быть, пустяковая царапина», — подумал я и увидел, как из лесу выскочили и побежали по бревнам на наш берег двое партизан.

Иван Фаддеевич шел уже им навстречу. Я не отставал от него. Заплечный мешок не оттягивал плеч. Оставался всего один сухарь, да и тот был в кармане.

— Товарищ командир, — задыхаясь, проговорил партизан, — на том берегу в направлении к нам двигаются егеря. Боюсь, что рота...

— Рано бояться стал, что рота... может быть, полк, — ответил Иван Фаддеевич, и всем почему-то стало не так тревожно на сердце. — Я тебе больше скажу: с севера в нашем направлении тоже враги идут. А вот я не боюсь и тебе не советую... На то и война, чтобы врагов встречать... Ямщиков, Чирков, Елкин, немедленно идите по той тропе, где стоит Отец. Захватите его с собой и двигайтесь вдоль по берегу вперед. В случае, если заметите что-нибудь, стойте сами на месте, а Отца сюда ко мне с донесением. Понятно?

— Понятно!

Я взглянул на залом. Теперь там возился комиссар, отыскивая ключевое бревно. Аня бинтовала голову Ивану Ивановичу. И вдруг сердце у меня замерло: я увидел на другом берегу трех солдат в серых мундирах и серых суконных кепках с большими козырьками. Мы оставались скрытыми за валунами и штабелями еще не спущенных в воду бревен.

Я вскинул свой автомат, но Иван Фаддеевич положил руку на ствол:

— Подожди.

Солдаты подходили к залому. Вслед за первыми из лесу вышло еще четверо. И в это мгновение раздался удар, подобный отдаленному грому, и сверкнул быстрый свет, словно солнечный зайчик мелькнул и скрылся, — так всегда бывает, когда в водопаде бревна сшибаются друг с другом.

Кархунен все же нашел это злополучное бревно и ловко сорвал его с камня. Залом рухнул, и весь этот древесный вал тронулся с места, дальше по течению.

Но где же сам комиссар? Неужели и он погиб на камнях порога, как отец Ани Олави?

Несколько солдат подбежали к камням, около которых минуто назад был залом. Видимо, они собирались перебраться по залому, как по мосту. Два-три бревна еще держались за камни.

Солдат, ловко перепрыгивая с камня на камень, с бревна на бревно, прошел несколько метров, но поскользнулся и с головой ушел в воду.

— Теперь стреляй! — приказал командир.

И я дал длинную очередь по группе.

Солдаты рухнули на землю, но на месте остались лежать только двое, другие заползли за камни и притаились.

Залом был сорван. Теперь не так-то легко перебраться на наш берег.

Оставив у реки в засаде дозорных, командир приказал остальным отойти на лесистую, покрытую валунами высотку и расположиться на склоне, обращенном к чаще.

— Товарищи, — сказал комиссар; он был весь мокрый и не успел еще выжать воду из одежды, — в нашем распоряжении меньше часа, положение сложное.

Он хорошо проводил собрания. Да это и немудрено. Три года перед войной он был председателем лучшего колхоза района и, сам немногословный, не переносил многословия у других. Фамилия у него была знаменитая — внук прославленного сказителя. Из уст его деда под знаменитой сосной на берегу озера Куйто сам Элиас Ленрот записывал лучшие руны Калевалы. Но круглолицый, всегда чисто выбритый, Кархунен совсем не походил на своего деда, окладистая седая борода которого была по портретам известна всем детям в Карелии и Финляндии.

Я навсегда запомнил это наше открытое партийное собрание в тылу врага, здесь, у окопов заблаговременно подготовленной круговой обороны, в двухстах километрах от линии фронта.

— Первое слово командиру отряда, — сказал Кархунен и сдвинул на затылок пилотку.

— Ну что ж, товарищи, — обратился к партизанам Иван Фаддеевич, входя в круг, — большой мост списан в расход. Приказ выполнен.

Мы все расположились на скате высотки — кто сидя на камешках и кочках, кто полулежа на земле, кто стоя, прислонившись к дереву. У всех в руках были ветки, которыми мы отмахивались от комаров, густо наседавших на лицо.

Дозоры были расставлены, и мы могли, не опасаясь внезапных неприятностей, проводить партийно-комсомольское собрание.

И все же каждый из нас прислушивался к малейшему шороху, с минуты на минуту ожидая выстрела.

Мы ждали этого выстрела, чтобы встретить лахтарей как положено.

— Товарищи, подробный разбор операции отложим. Все группы выполнили свое задание без потерь, — сказал Иван Фаддеевич. — Взорван мост, уничтожены семьдесят три фашиста, взорвана линия высоковольтной сети, унесены провода, уничтожена машина с тремя офицерами, добыты важнейшие документы, взята предательница — враг советского народа.

Все мы повернулись к старухе.

Пекшуева сидела среди нас, седая, с непричесанными космами, и попрежнему шевелила сухими губами. Но глаза ее не были уже так безучастны ко всему, как несколько минут назад. Они оживились и зажглись интересом. Старуха с нескрываемым любопытством, словно запоминая каждого в лицо, рассматривала партизан.

Она была глуховата и не расслышала, что сказал о ней командир, но, почувствовав на себе взгляды, смутилась и уставилась глазами в замшелый валун.

— Теперь перед нами самые большие трудности этого похода, — продолжал командир. — Мы обнаружены, и враг делает все, чтобы нас окружить и не выпустить. Титов принес приказ немецкого командования. — В руке Ивана Фаддеевича был листок, найденный в немецкой полевой сумке. — Из этого приказа видно, какие силы бросили они против нашего отряда. Уже идут из разных пунктов. Это здорово, что мы на себя отвлекли с фронта столько сил: три роты немцев с минометами, егерский батальон, эсэсовская рота, финские самокатчики, собаки, авиация. Немцы и финны действуют против нас сообща. В восемнадцатом году лахтари только немецкой помощью удержались. Ну и теперь друг за дружку держатся. Я передал о их плане по рации штабу. Беломорск приказывает нам отрываться от врага и выходить на Большую землю. Слишком уж неравные силы для лобовых боев.

Командир был прав. Нас всего девяносто три человека.

— Продукты получим только завтра, — говорил Иван Фаддеевич. — Получим и тогда оторвемся. Иначе самолет нас не найдет. Питания для рации осталось всего на четверть часа. Без боя не обойдется. Пусть каждый коммунист, каждый комсомолец, каждый партизан сделает для себя выводы, — так закончил командир и сел на поваленное буреломом дерево.

Если бы мы были на Украине или на Смоленщине, то могли бы достать еду у крестьян. Но здесь, в Карелии, где население почти полностью успело эвакуироваться, где маленькую деревеньку с не успевшими уйти жителями и за сто верст не сыщешь, — здесь нечего об этом и думать.

Всем было ясно, что без еды далеко не уйдешь, что надо ждать самолета. Всем было ясно, что без боя сейчас оторваться от противника невозможно, и всем хотелось драться. Катя рассказала нам о том, что видела в родной деревне.

— Они высекли Лелю Лесонен за то, что она в школе разговаривала по-русски, а двух племянников Ниemi отняли у матери и увезли. Что с ними сделали — никто не знает. Мальчики осколками стекла разрезали шины у фашистских машин, вытащили втулку у бочки с бензином, и бензин растекся по земле. Немцы не знали, кто это сделал. Но вот эта старуха Пекшуева донесла на них...

Катюша была потрясена. С Лелей она училась в одном классе.

— И за что? За то, что она говорила по-русски!.. — возмутилась Аня. И щеки ее пылали.

Слушая взволнованный рассказ Кати в глухом карельском лесу, среди озер и огромных, обрывистых скал, таких родных моему сердцу, я был горд тем, что преподаю русский язык и литературу... Теперь более чем когда бы то ни было мне стало ясно, что это не только мое счастье и радость — это мой боевой пост. Тысячи и тысячи людей в лесах Карелии и на сопках Заполярья, в холодных штормах Баренцова моря и жарких степях Украины подняли оружие. Наши отцы и старшие братья в дни гражданской войны яростно и самоотверженно бились за право строить новое общество. Во сколько же раз сейчас больше, грознее силы, которые хотят поработить, смять, уничтожить нас! Как же должны биться мы, молодые, дышавшие только воздухом революции, уже жившие при социализме, строившие его сами! И вот здесь, в глухом карельском лесу, на земле Калевалы, окруженные врагами, разве мы не счастливее всех поколений на свете, что можем биться и бьемся за то, за что только и нужно биться, жить и умирать?!

Но что это? Дальний выстрел на берегу. И сразу же стало слышно, как бьется сердце.

Нет, ничего... Это хрустнула сухая ветка под ногой соседа... Слово теперь держит комиссар.

— Первый вопрос ясен... Переходя ко второму вопросу — к приему в партию, я сначала скажу про тебя, Ниemi.

Говорил он с местным акцентом, ставя ударение на первом слоге. И от этого многие обычные слова звучали, как незнакомые.

Матти Ниemi сидел на валуне. Он снял свою зеленую шляпу и нервно мял в руках.

— Вот, Ниemi, — сказал Кархунен, — у тебя племянников угнали и замучили, а как ты себя ведешь? За четыре похода не

убил ни одного фашиста. Один раз промазал, другой — выстрелил до сигнала, третий раз не принял боя. На твоём текущем счету пусто. Если так будет продолжаться, я на следующем собрании поставлю вопрос о тебе seriously. Здесь ни за чью спину нам не спрятаться! Есть и твоя вина, Матти, в том, что враг может прорваться на юге.

Мы узнали из сводки Совинформбюро перед отправлением на операцию, что под Курском и Орлом разворачивалось одно из величайших сражений мира. Фашисты бросали в огонь тысячи и тысячи танков — «тигров», «пантер», самолетов, сотни тысяч войск. Сама земля, казалось, исходила пламенем. Но оборона наша оказалась сильнее вражеского наступления. Оборные гитлеровские части, атакуя, разбивались на ней. Перемолов немецкие дивизии жерновами обороны, наши войска перешли в наступление. Был развеян миф о том, что немцы наступают летом, а мы зимой. Нет того времени года, когда бы мы не могли успешно громить врага!

Но на лесистой и каменистой сопке мы не знали еще исхода этой великой битвы, до нас только обрывками долетали ее отзвуки — и сердца наши говорили то же, что сказал комиссар.

На этом собрании мы приняли в кандидаты партии Якуничева. Мне не раз доводилось ходить с ним в очень рискованные операции, и всегда он был спокойным и уверенным в себе. Никогда я еще не видел, чтобы этот светловолосый великан волновался так, как он волновался на этом собрании.

— Много звезд на небе по кругу ходит. Но одна только нам, рыбакам, пути указывает — Полярная звезда, — сказал он, стараясь быть спокойным. — А ведь на море труднее, чем здесь в лесу, — ни одной тропы не протоптано. Бывало шторм, волна выше мачты, а мы с путины домой дорогу находим. И все она, неизменная Полярная звезда. Так и для меня с товарищами пути жизни нашей указывает большевистская партия.

— Люблю я, когда говорит Лось, — шепнул мне Шокшин.

— Слово Якуничева — это слово коммуниста, — сказал комиссар. — До войны он плотничал, строил для нас, для социализма, дома, шнеки, мосты. Когда нас захотели уничтожить, он взял оружие и не прячется ни за чью спину. А когда мы разобьем врага, Якуничев снова будет строить для колхозников, для социализма дома, шнеки, мосты, заводы, дворцы... Я предлагаю принять его в кандидаты нашей Коммунистической партии.

Прений не было.

Из лесу вышел отец. Он поклонился всем товарищам, сидевшим, стоявшим и лежавшим в кругу, быстро подошел к Ивану Фаддеевичу и стал что-то шептать ему.

Я стоял совсем близко, и мне хорошо видны были волосатые руки отца, набухшие от напряжения синеватые жилы на его загорелой шее. И был он мне сейчас особенно дорог.

— Товарищи! — громко сказал Иван Фаддеевич, ударяя веткой по голенищу. — Товарищи, с юга тоже идут враги. Без боя не оторваться... Будет бой. Командиры взводов, ко мне! Но прежде... — Он повернулся к старухе Пекшуевой.

Она сидела попрежнему на мшистой кочке и напоминала злую ведьму Лоухи из народной сказки.

— ...надо привести в исполнение приговор народа!

Аня подошла к Ивану Фаддеевичу и робко, но настойчиво, срывающимся от волнения голосом попросила:

— Товарищ командир, разрешите мне. Мы из одного села. Эта женщина позорит весь карельский народ и мое родное село.

— Правильно, — сказал Кархунен.

— Исполняй! — подтвердил Иван Фаддеевич.

Аня стала расстегивать кобуру пистолета...

Аня! Нежная, ласковая девушка, как мне памятен школьный вечер, когда в волосах твоих, как большая красная бабочка, трепетал шелковый бант и ты, волнуясь, читала с эстрады письмо Татьяны к Онегину.

Давно ли на каникулах ты работала буфетчицей в столовой Дома культуры и чайные ложечки позвякивали в твоих длинных и тонких девичьих пальцах. И вот сейчас!.. Сколько же ты должна была за это время пережить, понять, выстрадать! Голубая жилка бьется на твоём загорелом виске. Ты прикусила губку. Как ты мне дорога, родная! Как я люблю тебя, такую решительную и нежную, честную до конца, прямую и сильную. И эту голубую жилку, и эти искусанные комарами руки, и эту прядь волос...

Как при вспышке молнии внезапно озаряется даль и из тьмы выступают резные листья стоящего рядом клена, так и мне в эту минуту стало ясно, что я люблю Аню, люблю уже давно, и готов сделать все, чтобы ей было хорошо.

А она подходит ко мне, и руки ее дрожат, и трудно ей застегнуть кобуру...

— Дай помогу.

— Сынок, — говорит она мне. Она хочет улыбнуться, и не выходит у нее улыбка. Она хочет плакать, но нельзя. — Сынок... Коля, — спохватывается она, вспомнив, что я не люблю своего прозвища.

Яжимаю ей руку и вкладываю в это пожатие все, что теснится у меня на сердце. И она, наверно, женским своим чутьем понимает это.

Но надо идти, чтобы отрыть поглубже стрелковую ячейку на высоте.

Круговая оборона.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С вечера егеря окружили нашу лесистую высоту. Для устрашения или надеясь на свое численное превосходство, они, не таясь, раскладывали костры.

Мы отлично видели их черные тени, суетившиеся около пламени разгорающихся костров.

На том берегу реки тоже заиграли огоньки. Однако несколько метких выстрелов Лося, Ивана Ивановича и отца заставили врагов раскидать и потушить костры. Здесь были и немцы и белофинны.

Всю ночь мы провели в наскоро отрытых окопах за камнями и кустами, в напряженном ожидании немецкой атаки.

В эту ночь, лежа за своим камнем, я сгрыз последний сухарь.

Враги, очевидно, хотели отдохнуть перед атакой. Они считали, что каждый час ожидания нас изматывает, пожалуй, не меньше, чем самый бой.

И вот снова взошло солнце и обогрело нас, продрогших, усталых и голодных. В ячейках бодрствовали дозорные, остальные получили возможность часок-другой поспать.

Рядом со мной лежал отец. Он, как всегда, не унывал. Мы были окружены в глубоком тылу противника.

— Ничего, отобьемся, — говорил отец.

Он человек бывалый. Два солдатских Георгия заслужил в прошлую войну с немцами, когда меня еще и на свете не было. Партизанил в Карелии в годы гражданской войны. Дрался с финнами, англичанами. Любил я в детстве вечерами, лежа на печи, слушать его солдатские рассказы.

Чего он только не знал, чего не умел: и коня подковать, и горбушу направить, и вершу поставить, и сеть сплести, и сапоги тачать, и даже в малярном деле кое-что кумекал. Но больше всего по душе ему было кузнечное и слесарное дело. В мастерской при МТС он был кузнецом и слесарем.

Сызмальства мне казалось, что нет такой вещи, которую отец не сумел бы сделать, нет такого ремесла, которого он не знал бы.

В детстве я гордился знаниями отца. А когда вырос, стал стесняться своего старика, потому что его рассказы изобиловали чертями, русалками, ведьмами.

— Уймись ты! — говорил я ему. — Мне за тебя перед товарищами совестно. Ничего этого на свете нет.

А он бывало обидится на меня и скажет:

— Вожжой бы тебя, Колька, отстегать, чтоб отцу такие речи не говорил. — И уйдет к себе в кузницу.

Дня три не разговариваем.

И вот на третий день за ужином, чтобы загладить грубость свою, я и попрошу:

— Расскажи, пожалуйста, что-нибудь из своей жизни.

— Да что мне говорить... Жизнь как жизнь.

Потом вытащит из-за пазухи новый финский ножик с замечательной рукояткой, отделанной оленьей шкуркой. Ахнешь бывало от восхищения.

— Хотел было на кустарную выставку послать, да уж так и быть, бери.

Я сам себя от радости не помню. Финский нож!

Я всегда боялся, когда девушки к нам заходили, потому что невоздержан был мой отец на крепкое словцо. И выпить он также любил — к случаю, а... впрочем, было бы горячее — будет и случай. Это его слова.

Однажды во время зимних каникул зашли ко мне Аня и Катя, чтобы узнать городские новости и посоветоваться, какую пьесу в клубе поставить. Я, студент педтехникума, для них, шестиклассниц, тогда авторитетом был.

Сидим мы так важно, разговариваем. Вдруг, откуда ни возьмись, пришел отец с работы, перемазанный весь и слегка навеселе. Услышав, о чем речь ведем, сразу же вмешался, стал про гражданскую войну рассказывать...

Я и не думал, что старик теперь партизанить будет... Довольно повоевал за меня отец, теперь я за него должен по лесу походить, мой черед.

Но вышло по-иному. Он в отпуске был. На рыбную ловлю вместе с Петькой, младшим братом моим, ушел на дальние озера. А через день после его ухода началась война.

Вернулся он спустя две недели, когда война уже была в полном разгаре. Пришел радостный — больно уж хороший улов выдался. Не успел я ему и слова сказать, как вдруг — немецкие самолеты над нашим селом. И ну вдоль по улице из пулеметов стегать. А там в этот час ребяташки, Петькины дружки, в пыли играли, горки насыпали да из песка пирожки лепили. И вот как начал немец по ним, по детям... Трех — на смерть.

На другой день стали из деревни эвакуировать женщин, стариков и детей. Эльвира Олави со своими коровницами и телятницами угоняла скот по пыльной дороге. Другие увозили на

телегах нехитрое имущество. Много добра, трудами нажитого, осталось в опустевших домах.

Вместе с другими отец вез к станции железной дороги Петю и маму.

Попрощались мы с ним по-серьезному. В тот час он впервые ко мне как к взрослому отнесся.

Через несколько дней, когда в районе уже были фашисты, послали меня вместе с Шокшиным и канадцем Ниemi в дозор.

Матти Ниemi все в отряде звали канадцем потому, что он и в самом деле приехал к нам из Канады. Много финнов в поисках работы эмигрировали в разное время в Соединенные Штаты и Канаду. Родина была для них мачехой. Но и в Америке им было не легче. Вот почему многие из них с охотой приехали со своими семьями и всем скарбом из США и Канады в Советский Союз. Среди них был композитор Раутио, написавший гимн Карельской республики, и немало других славных товарищей. Советская Карелия стала для них настоящей родной-матерью.

Лежим это мы с Ниemi и Шокшиным за кустами и слышим по дороге топот копыт и скрип колес.

— Готовься! — шепчет мне Шокшин. — Бричка!

Я и так уж готов. Правда, тогда только у одного Шокшина винтовка была, у меня и Ниemi — простые охотничьи ружья. И вдруг бричка эта останавливается, не доезжая до нас пятидесяти шагов. Место, закрытое густым можжевельником и разросшимся осинником, — ничего не разобрать, что там делается, да и самой брички тоже не видать. У нас, так сказать, боевая готовность номер один. И вдруг услышал я знакомый голос:

— Ну, погоди, погоди, не пугайся, не пугайся, милая, сейчас все в порядке будет.

— Стреляй! — шепнул Ниemi.

— Пстой, — сказал я, — пойду посмотрю. — И, осторожно раздвигая кусты, выглянул на дорогу.

Ну да, так оно и есть! Это был отец.

— Что ты здесь делаешь? — окликнул я его.

Он оглянулся на меня и равнодушно, словно за обычной будничной работой, сказал:

— А ну-ка, Коля, помоги распутать сбрую.

Я подошел поближе. Со шлеей что-то неладно было. Видно, отец, запрягая, волновался.

— Неужели ж ты думаешь, что в такое время я буду с бабами да с ребятами? Нет, и я не гнилой пень. Веди-ка лучше меня, сынок, к командиру. Только скорее. А то расположились фашисты лагерем в семи верстах отсюда, портянки по кустам развесили, суп варят, — тут самое время и ударить.

Так заявился отец мой в наш партизанский отряд и сразу стал в нем одним из самых активных бойцов.

Это было так давно. Еще в первые недели войны. А сейчас мы с отцом проделали уже семнадцать лесных партизанских походов.

Лежавший в пяти шагах слева от меня Ямщиков вполголоса запел. Он немного фальшивил, но слова можно было разобрать:

Вот мчится тройка почтовая
По Волге-матушке зимой.

— Сынок, разбуди его, — тихо сказал мне отец.

Всегда такой неунывающий и крепкий, он сейчас почему-то был опечален.

Я дополз до ячейки Ямщикова и тронул его за плечо. Он встрепенулся.

Павлик, между прочим, славился у нас и тем, что после трудных переходов во сне пел. Значит, и на этот раз он очень устал.

Я повернулся к отцу. Лицо его было печально.

— Слышал, как Павлик песню эту пел — «Вот мчится тройка почтовая по Волге-матушке зимой»? Он меня словно бритвой полоснул. Одна славная женщина эту песню на свадьбе моей пела. А что в этот день бывает, то на всю жизнь в душу западает. И вот вспомнил я сразу, что сегодня день нашей свадьбы, ровно двадцать два года. И не было случая, чтобы в такой день я чем-нибудь мамку твою не порадовал. Ну, а тут такое приключилось, что ни голоса своего, ни весточки не могу подать... Вот это-то и печаль моя, сынок, — тихо закончил он и, отвернувшись от меня, стал рассматривать склон перед нашими окопчиками. И вдруг прибавил: — Слушай, сынок, вот мой тебе совет: женись рано, не затягивай. Кто рано женится, у того жизнь счастливая, вот как, например, у меня с твоей матушкой... Тебе ведь на той неделе двадцать один год стукнет. Совершеннолетний!

Я забыл о дне своего рождения и о том, как еще в прошлом году с товарищами мы улавливались этот день спрыснуть по-настоящему.

— Сынок, — тихо попросил меня отец, — скажи Последнему Часу, может, удастся хоть несколько слов по радио послать домой матушке.

— Ладно, пойду спрошу.

Я знал, что из этой просьбы ничего путного не выйдет. В расчете на то, что у нас есть лишние запасные батареи, мы несколько раз просили Последний Час «нажать на басы» и при-

нять с Большой земли оперативную сводку Советского информбюро.

И вот по вечерам бывало подойдет к Последнему Часу партизан и попросит:

— Настрой на Москву.

— Нет у меня элементов, — сухо ответит Последний Час. — Рация для оперативных дел дана, обращайтесь к командиру. Мне, думаешь, неохота слушать Москву?

Иной раз командир или комиссар, рассчитывая на то, что в крайнем случае запасные «басы» вывезут, давал разрешение послушать радио, узнать, что творится в большом мире. И мы замирали, затаив дыхание, боясь пропустить даже хрип настройки.

Но во время одной из переправ свалился в воду партизан, который нес запасные батареи, и они безвозвратно «сели»...

Сейчас не могло быть и речи о частной телеграмме, но чтобы сразу не огорчать своего старика и заодно уж узнать последние распоряжения, я пошел на командный пункт — так назывался сейчас камень, за которым сидели командир, комиссар и радист.

Опять загудел в воздухе самолет, и опять это был не тот самолет, который должен появиться над нами, чтобы сбросить долгожданные мешки с продовольствием.

— Да, — расстегивая и застегивая пуговики на воротнике гимнастерки, говорил Иван Фаддеевич. — Теперь пекки с нас не слезут, пока мы сами отсюда не выйдем... Надо Щеткина спасти. А то он пропадет ни за понюшку табаку... Много у тебя еще батарей осталось? — спросил он радиста и стал срезать финским ножом ветку с ольхи.

У него был чудесный нож в ножнах лопарской работы. На лезвии скорописью выгравировано: «Мертвые не кусаются».

— Минут на пять, на шесть осталось, — сумрачно отозвался Последний Час.

— Эх, чорт дери, жаль! — И Иван Фаддеевич стал срывать кору с ветки, уже лишенной листьев.

Трудно было сейчас командиру. Отряд голодный. Мы все так надеялись на продовольствие, которое должен был сбросить нам Щеткин. Но можно ли рисковать жизнью летчика и самолетом? Как бы я сам поступил на месте Ивана Фаддеевича?

— Я согласен, — деловито сказал комиссар, встав с камня: — надо выручать Щеткина. Отдадим на это четыре минуты. — И, спасаясь от комаров, он надел на лысеющую голову пилотку.

Волос у Кархунена оставалось немного: как говорил Душа, всего на полдраки. Имя комиссара — Гирвас — означает

«олень». Фамилия Кархунен — «сын медведя». И в самом деле, любил он леса Карелии и, так же как настоящие гирвас и карху, жить без них не смог бы... Впрочем, Гирвас в отряде был вскоре переделан Ямщиковым на более привычное — Василий.

«Фокке-Вульф» кружились все время недалеко от нас. Сейчас они шли на большой высоте...

На листке блокнота командир написал: «Задержите Щеткина. В воздухе много стервятников. Уходим отсюда».

Заглядывая через плечо командира, Последний Час шифровал текст. Увлеченный своей работой, он не заметил, как к радиции подошел Ямщиков.

— Что, опять новости передаешь? — спросил Ямщиков.

— Что? Да иди ты... — И Последний Час с удовольствием отвел свою душу.

Они с Ямщиковым почему-то издавна не ладили. Причиной был острый язык Паши.

Через минуту радист вызвал Беломорск. Радиограмма запаздывала. Но только Последний Час кончил выстукивать, в воздухе к удаляющемуся гудению «Фокке-Вульфов» прибавился знакомый, все нарастающий гул нашего родного «Р-5».

— Щеткин летит! — сказал комиссар, и в голосе его были и радость и тревога.

Через минуту мы увидели, как, покачивая крыльями, над рекой идет самолет.

Командир вытащил из кармана ракетницу и, быстро зарядив ее, пустил в небо малиновую ракету.

С замиранием сердца мы все следили за тем, как она взвилась чуть ли не под самое набежавшее на солнце облачко и затем плавно стала снижаться. Но сразу же, как только взвилась наша ракета — не знаю, успел ли ее увидеть Щеткин, — и слева и справа вспыхнули ракеты: синие, зеленые, красные, малиновые, голубые.

— Вот сволочи! — выругался командир. — Сбивают со следа.

А ракеты продолжали взлетать в воздух, и даже в свете солнца они были ярки до боли в глазах.

Нечего было и думать повторять сигнал, все равно Щеткину не разобратся во всей этой иллюминации, возникшей внезапно в летний солнечный день над притаившимся карельским лесом.

Мы мечтали о том, чтобы самолет повернул обратно и быстрее ушел, пока его не заметили немецкие летчики. По всей видимости, они его и не заметили, потому что он шел низко, почти над лесом, и сливался с фоном лесной зелени.

Вот он сделал вираж и повернул к высотке, выключил мотор и уже шел тихо, планируя над раскидистыми верхушками

высоких сосен. Щеткин высунулся из кабины и махал рукой. Нам, стоявшим здесь у камня, вокруг которого высилось несколько сосен, отлично была слышна ругань, которая неслась сверху.

Щеткин ругательски ругал нас за то, что мы перепутали все сигналы и не хотим по-настоящему указать ему, куда надо сбрасывать мешки с продовольствием.

«Еще, чего доброго, все карателям сбросит, — подумал я. — Ведь враги так близко, немудрено и ошибиться».

— Скорее бы он уходил обратно, — сказал командир.

Высокий, широкоплечий, в выгоревшей от солнца гимнастерке, широко расставив ноги, он стоял во весь рост и, запрокинув голову, пристально следил за самолетом. В руке у него была заряженная ракетница: он держал ее, не зная, пустить еще ракету или нет. И мы снова слышали нарастающий гул немецких самолетов — это возвращались «Фокке-Вульфы».

Щеткин сделал крутой вираж и, выпустив зеленую ракету, стал уходить.

Комиссар неодобрительно покачал головой. Зеленая ракета, пущенная летчиком, означала: сброшу груз на запасной цели.

Я взглянул пристальнее на красное, огрубевшее от загара лицо Кархунена. Волосы его тоже выгорели на солнце, и брови были похожи на спелые колоски пшеницы над васильками глубоких блестящих глаз. Нет, он не только порицал безрассудство летчика, который, вместо того чтобы немедленно уходить подобру-поздорову, шел отыскивать запасную цель, он и восхищался им, и не хотел, чтобы кто-нибудь понял, что он восхищается.

— Радиуй, чтобы немедленно отзывали Щеткина, — приказал Последнему Часу Иван Фаддеевич и сел на камень.

— Всё, — ответил Последний Час и встал над валуном, на котором было развернуто его хозяйство. — Всё. На этом мы закончили наши радиопередачи! Граждане, не забудьте заземлить антенну!

И в этот момент раздался выстрел из миномета, затем другой, третий, и на нашу высотку, воя и визжа, полетели мины. Одна из них лопнула шагах в пятнадцати от нас. Не успела она еще разорваться, как все мы уже лежали на земле плашмя. Не надо было команды, тело само выполняло то, что ему было положено. На учении всегда выбираешь место, куда бы поудобнее свалиться, как бы поменьше запачкаться и не ушибиться при падении. Здесь обо всем этом не думаешь и вместе с тем делаешь все гораздо быстрее.

Каратели пошли частить из минометов.

— Ну, сейчас пойдут в атаку, — сказал мне комиссар.

И мы поползли с ним вперед, к ячейкам.

Рядом со мной полз Последний Час. Он ругался не переставая. Израсходованы все батареи, да еще должно было так случиться, что первая же мина осколками изуродовала рацию. Ну как тут не браниться!

Над моей ячейкой росли густые кусты дикой малины, справа врос в землю обомшелый валун.

Осторожно раздвинув низкие кустики, я стал всматриваться, но ничего не смог разглядеть во вражеском стане. Только по доносившимся оттуда крикам и шуму можно было предполагать, что предстоит схватка.

И вдруг прозвучала команда финского офицера:

— Готовься к атаке! Вперед!

И тогда, изменив своей обычной молчаливости, комиссар тоже закричал во весь голос, передразнивая фашистского офицера:

— Вперед! Дураки! Готовьтесь к атаке! Что ж вы, в самом деле, только напрасно хлеб жрете? Идите скорее. Мы вас поджидаем. Угостим на славу!

Я услышал смех партизан, голоса Ниemi и Ивана Ивановича. Они повторяли слова комиссара и дразнили лахтарей.

С неприятельской стороны тоже ответили бранью.

— А не хотите ли русской сапожной мази? — выкрикнул я по-фински и выстрелил.

Егеря вскочили на ноги и, не пригибаясь, бежали к нам.

Вся наша высотка окуталась вспышками ружейных выстрелов и очередей автоматов. Солдаты падали на землю — кто навзничь, ударяясь затылком о камни, кто вниз лицом, кто как подпиленное трухлявое дерево от порыва ветра, а кто еще при этом успевал подпрыгнуть, высоко взбрыкнув ногами. Несмотря на огонь, егеря продолжали бежать вперед — расстояние между нами с каждой секундой сокращалось. Я думал о том, как бы сэкономить патроны и обойтись в этой атаке одним диском.

Когда они были уже шагах в пятидесяти от нас, я услышал возглас Жихарева:

— Эх, играй, моя гитара, сорок восемь струн! — И сразу же заработал его пулемет.

Егеря залегли, и нельзя было их разглядеть, словно они все вдруг сквозь землю провалились...

В лесу снова стало тихо, и я услышал, как чирикает среди ветвей какая-то птичка.

Справа от валуна, у которого я отрыл ячейку, стояла молодая сосенка. Концы ее ветвей были красны, будто обрызганы свежей кровью. Они пахли смолой так, что запах этот ощущал-

ся за несколько шагов. Мне захотелось подойти к дереву и встряхнуть его, чтобы красноватая пыльца рассеялась в воздухе. Помню, я в детстве встряхивал цветущие сосенки и сквозь облако пыльцы смотрел на солнце — оно тогда казалось розоватым. Но сейчас никак нельзя высунуться из окопчика, нельзя даже пошевелиться, чтобы не привлечь внимания притаившегося невдалеке противника.

Иван Иванович с белой перевязкой на голове кричал изо всех сил:

— Что ж вы там, черти? Идите в атаку! Не залеживайтесь, а уж потом и перерыв устроим. На перекурку!

Ему вторил Ниemi.

Финские мины шлепались совсем рядом, обдавая нас мелкими камешками, землей и кусочками дерна.

Егеря падали наземь, маскируясь, таясь между кустиками и стволами, прячась за камни. Я разглядел одного метрах в тридцати от меня. Он полз, прижимаясь к земле, но я видел, как двигались его лопатки под серой тужуркой. Тут началась стрельба уже не залпами, а одиночными выстрелами.

Я очень ясно видел солдата и дал по нему одну за другой три очереди, а солдат все продолжал ползти вперед, словно все мои пули «пошли за молоком». Я дал снова очередь. Мне казалось, что я вижу даже, как пули, посланные мной, изодрали на его спине мундир, но солдат медленно продолжал двигаться вперед.

И тут рядом со мной раздался выстрел.

— Сынок! — услышал я.

Это стрелял мой старик. В тридцати шагах от него лежал бездыханный солдат.

Я посмотрел на егеря. Он тоже перестал двигаться. И я ясно увидел то, чего не замечал раньше. От первого егеря ко второму протянулся ремень. Я и раньше слышал, что финские солдаты часто так делают, чтобы не оставить раненого или убитого на поле боя. Но впервые мне довелось увидеть это собственными глазами.

Но я увидел не только это: к нам ползли еще солдаты в синеватых суконных мундирах. Их было много.

— Бей, батя!

— Бей, сынок!

В эту секунду враги поднялись во весь рост и с криком «Эля-эля-элякоон!» устремились к нам.

— Жихарев! Гитара! — раздалась команда.

Сердце замирает в груди. Руки немного дрожат, но бросать гранату еще рано. И в это мгновение раздается гулкая очередь и падают на землю вскочившие на ноги солдаты — раненые,

убитые, живые, чорт их разберет. И слева, в подспорье Сережкиной «гитаре», ударил второй пулемет. От души отлегло. Становится светло и радостно. Хочется кричать, петь. Но надо стрелять по бегущим лахтарям. В какую-то неуловимую секунду все решилось. Они побежали назад, не сгибаясь, и фляжки подпрыгивали сбоку, точно желая оторваться от своих хозяев и перегнать их.

Те, кто успел добежать до своих укрытий в кустах, скрылись с наших глаз.

Атака отбита.

Повязка на голове Ивана Ивановича сбилась набок. Отец жадно пьет, приложив губы к фляжке, и слышно, как булькает вода.

Снова начинают рваться над высоткой и на высоте неприятельские мины. Но уже волнение боя постепенно утихает, и я снова чувствую сосущий голод. Я срываю стебелек черники и кладу в рот.

Так прошел час. Мы отбили еще две атаки.

Теперь, даже не сходя с места, я могу насчитать семнадцать лежащих неподвижно тел. Сколько же их всего?

Можно рассчитывать, что теперь до ночи не будет нового штурма.

Ползу на командный пункт, мимо ячейки отца. У него поцарапан осколком камня лоб.

— Ну, как, сынок, насчет телеграммы?

— Ничего не выйдет, папа, — отвечаю я: — мина разнесла рацию...

У камня — командного пункта — Иван Фаддеевич и комиссар. Кархунен снял пилотку; сквозь редкие волосы поблескивает его лысина. Рядом с ними — Шокшин.

— Живыми они нас не возьмут, — говорит Шокшин.

— Ну нет, они не должны нас взять и мертвыми — слишком важные документы в наличии, — отвечает Иван Фаддеевич и, немного помолчав, спрашивает: — Ну, так все понятно, Шокшин?

Иван Фаддеевич улыбается. На щеках у него рыжеватая щетина. Он не брился уже несколько дней. По выражению его лица видно, что он задумал очень занятную штуку и сам доволен своей выдумкой.

— Все понятно, — отвечает Шокшин, прищуривая близорукие глаза.

Ему нужно носить очки, но он никому не хочет в этом признаться. Сейчас он очень серьезен и взволнован.

— Тогда разрешите отобрать четверых товарищей.

— Исполни! — уже сухо говорит командир и, вытащив

из заплечной сумки кусочек похожего на плавленный сыр тола, дает его Шокшину. — Собери по отряду побольше. Ну, действуй...

— Товарищ командир, поскольку рации нет, разрешите и мне с Шокшиным в дело пойти, — попросил Последний Час.

— Иди...

И вечером, как только сгустились сумерки (теперь ночь уже длилась два-три часа), они ушли. Четверо партизан во главе с Шокшиным, обвешанные кусками тола, поползли мимо моей ячейки.

— Ни пуха ни пера, Алексей! — шепнул я на прощанье другу.

Через несколько секунд я потерял Шокшина из виду.

Лешу Шокшина я знал с детства. Мы с ним однолетки. Повивальной бабкой его был курсант из лыжного отряда Антикайнена. Он родился во время рейда. Так уж случилось. Леша об этом узнал в детстве и хвастался тем, что у него такая необыкновенная повивальная бабка. Мы все, нечего греха таить, втихомолку завидовали ему. Он лучше всех нас изучил гражданскую войну, особенно здесь, на севере. Интереснее всех делал доклады. В школе был любимцем военрука и никогда не упускал случая узнать что-нибудь новое о знаменитом походе и о любом из его участников. Многих из них Леша разыскал, с несколькими состоял в переписке.

Мой автомат был наготове: в случае тревоги мы должны прикрыть отход группы Шокшина. Но нет, товарищи ползли совсем тихо, и только слышно было, как покати́лся вниз камешек. Впрочем, если бы я не знал, что туда пробираются люди, то вряд ли услышал бы этот звук.

Я очень беспокоился за судьбу товарищей. Но если бы я знал, в чем заключается эта операция, от которой зависел сейчас наш успех, то беспокоился бы еще больше.

Это мне рассказали только на другой день.

Мы лежали тихо, ожидая ночной атаки.

Чего только не передумаешь за это время! Не скрою, даже отлично зная, какие замечательные люди в отряде, я немного побаивался за исход боя. Мы были измучены месячным походом, голодны и уже целые сутки в бою, в страшном напряжении. А там сытые, неустомленные солдаты. В иные мгновения все происходящее здесь, на высоте, казалось не настоящим, пришедшимся во сне, который и припомнить-то трудно. Где? Когда? С кем это было? Не вычитано ли в книгах? Но хрустнет сучок — и сразу прислушиваешься, и становится ясно, что все это не сон: высота, ночь, предстоящий смертный бой и холодное прикосновение автомата.

Трудные минуты перед атакой, когда остаешься наедине с самим собой!

Но вот в небе неожиданно повисла зеленая ракета, и началась ночная атака, которую мы отбили с таким напряжением. Каждый куст в такую минуту кажется тебе врагом, каждый камень грозит обернуться миной. И хочется тогда стрелять без передышки. И плохо вести такой ночной бой, когда у тебя и у твоих товарищей считанные патроны.

В первую секунду я увидел темные фигуры людей, бежавших к нам на высоту, и даже успел несколько раз выстрелить. Но они сразу же пропали. Ползут, значит! Но я не мог разглядеть ни одной цели.

Слева и справа от меня поблескивали вспышки выстрелов. Значит, кто-то в ночной мгле видит, как по склону ползут солдаты, а я не вижу.

Вся душа моя, мысли мои, воля моя, все мои чувства теперь воплотились в глаза, в зрение. И вот я увидел, что из-за круглого камня поднялся человек и, держа винтовку в руках, согнувшись, побежал к кустам, за ним второй, третий.

Я выстрелил. Заработал на своей «гитаре» и Сережа. Молодец! Но он сразу почему-то замолчал. Тут я увидел еще одного солдата. Он выбросил вперед руки. Больше он уже не пошевелился.

Враги подползали все ближе и ближе, и мы подшибали их из автоматов и ружей. Но пулемет был просто необходим. Что же он молчит? Сережа! Сережа! Ну, что же ты?

А спины ползущих солдат все ближе и ближе — вот они скрываются за камнем, не достанешь, вот появилась за кустом матово-зеленая каска. Эх, промазал!

Ударяются о камни пули и, посвистывая, пролетают мимо.

— Гитара! — кричит Иван Фаддеевич.

Но Сережа молчит.

Теперь уже пора хвататься за гранаты. Три штуки лежат передо мной на бруствере. А пулемет молчит. Нет, мне не хотелось бы снова пережить эту минуту никогда.

— Сынок, — слышу я голос командира, — проверь гитару!

Я быстро собираю гранаты, привешиваю две к поясу и, держа одну наготове в руке, ползу к ячейке Сережи. Камни царапают руки, ветки с размаху хлещут по лицу.

— Сережа, что с тобой? — шепчу я. — Ранен? Дай пулемет.

В ячейке Жихарева второму человеку поместиться негде.

— Немецкий патрон попался. Заело! — со злостью отвечает мне Сережа.

И я вижу, как по его щекам катятся слезы досады.

Наконец он выковыривает из диска злополучный патрон и с силой бросает в сторону неприятеля.

Если бы в эту минуту пулемет Жихарева не застрочил, вряд ли кто из нас ушел бы с высоты и вряд ли я смог бы написать эти строки.

Он вел огонь безостановочно. Я же набивал запасной диск. Для этого пришлось высыпать всё из патронташа, отползти на несколько метров и снять сумку с убитого партизана. Спасибо, товарищ, за твою последнюю помощь.

Раздалась запоздалая финская команда.

Уцелевшие егеря поднялись на ноги, но мы тоже вскочили и, швыряя гранаты с близкого расстояния (они рвались совсем рядом), пошли в контратаку.

Мне жалко тех, кто никогда не испытал счастья видеть, как от него бежит враг.

Но для того чтобы понять все события этой ночи, надо знать все о Шокшине.

Худощавый и ловкий, обвешанный шашками, Алексей полз по лощинке впереди товарищей. Шорох от движения ползущих людей, шуршание задетого рукой и покотившегося вниз камешка заглушались неумолчной стрельбой, на которую, сберегая патроны, мы отзывались скупой.

Шокшину и Последнему Часу удалось незамеченными проползти между двумя вражескими окопами, третьего же партизана окликнул фашист, перезаряжавший в эту минуту винтовку.

— Тише ты, тише, дьявол! — по-фински отозвался Шокшин. — Разведка назад идет, а ты орешь во всю глотку.

Солдат успокоился.

Так четверо друзей проползли в тыл белофинским окопам и притаились там. Скрытые ночной темнотой, они лежали за густыми кустами и смотрели отсюда на лесистую высоту, где находились сейчас товарищи, жизнь и судьба которых во многом зависела от них. Над высотой, ослепительно вспыхивая, рвались мины. Слева и справа стрекотали пулеметы.

Шумно было в те минуты в дремучем карельском лесу.

И вдруг в небо взвилась зеленая ракета. На мгновение все замерло, замолчало, приникло к земле. Но это молчание продолжалось столько времени, сколько нужно было для того, чтобы выбраться из окопов. Затем, крича, ругаясь и стреляя перед собой в темноту, егеря побежали вверх по склону. Их встретили наши точные выстрелы.

Егеря падали вокруг, но продолжали наступать.

Где-то поблизости стукались о стволы и стонали пули, но Шокшин быстро опускался в финский окоп, закладывал на дно его толковую шашку и присыпал ее сырой рыхлой землей. Две-

сти граммов тола не так мало для врага. Затем Шокшин во весь рост перебирался в соседний окоп и там так же быстро ставил шашку и присыпал ее землей. То же самое — правда, не так быстро и не так ловко — проделывали Последний Час и двое других. Последний Час перебирался из окопа в окоп на четвереньках.

Поставив седьмую мину, Шокшин выскочил из окопа и отбежал назад к кустам. Черной от земли рукой он стер пот со лба.

Крики «эля-эля-элякоон» затихли. Вдруг на горе громко заработал пулемет.

«Не последним ли диском бьет Жихарев?» — подумал Шокшин и перевел свой автомат на стрельбу очередями.

По крикам, по шуму, по тому, как рвались на высоте ручные гранаты, по нашим боевым возгласам Шокшин понял, что атака выдохлась и белофинны откатываются назад, на исходное положение, к своим окопам.

«Сейчас начнется спектакль!» — с торжеством подумал он.

И ему не пришлось долго ждать.

Отбегающие солдаты стали прыгать в свои окопы. И вот тут-то начались взрывы. Один за другим егеря взлетали на воздух.

И тогда, как это было условлено, Шокшин, подняв высоко над головой свой автомат, закричал:

— Бей сволочей!

Командир услышал этот сигнал и тоже крикнул:

— Вперед! Вперед! За мной!

И в то время как Шокшин и Последний Час вместе с товарищами били с тыла по растерявшимся, перепуганным белофиннам и егерям, мы все устремились вперед, вниз по склону высоты.

Я бежал по камням, перепрыгивая через маленькие кустики, и кричал изо всех сил слова, в которых были восторг и ненависть, презрение и ярость.

Мы быстро бежали вперед, стреляя, ругаясь, швыряя гранаты. Ведь только командир и комиссар знали в ту минуту, что делала четверка Шокшина в тылу неприятельской обороны.

Рядом со мной, слева, справа, сзади в ночной полумгле бежали товарищи, оборванные, истомленные голодом. Странно, но я в темноте ни разу не споткнулся, не поскользнулся, хотя устилавшая склон хвоя была скользкой. Словно какие-то крылья несли меня вперед...

Мы уже подбежали к вражеским окопам. И вдруг мне почему-то показалось, что отец окликнул меня. Я посмотрел влево. Шагах в двадцати от меня на земле лежал человек и продолжал выкрикивать:

— Бей фашистов!

Это был Иван Фаддеевич.

Над ним склонилась Даша. Белый бинт в ее руках виднелся издалека.

«Ранен. Наверно, легко», — старался я утешить себя, перепрыгивая через финский окоп.

И вдруг сквозь оглушительный шум до меня донесся возглас Сережи:

— Даша! Даша! Смотри, он убьет тебя!

Я обернулся и увидел Дашу, склонившуюся над Иваном Фаддеевичем. Финский солдат приближался к ней. Я поднял свой автомат, но его сразу же пришлось опустить: теперь легко было промахнуться — попасть в Дашу или Ивана Фаддеевича.

Солдат подбегал к Даше сзади. Автомат болтался у него на ремне. Он, видимо, хотел взять ее в плен (как страшно в такие минуты видеть все это и быть бессильным помочь!). Даша не слышала, что крикнул ей Сережа, но почувствовала, как шюц-коровец обхватил ее сзади. И откуда только у нее взялись силы — она рванулась и, высвободившись из рук огромного солдата, резко повернулась. Перед ней стоял долговязый детина, он был у меня на мушке, но я попрежнему не решался стрелять. Фашист схватился за автомат.

С непостижимой быстротой Даша нагнулась, подняла с земли ручной пулемет командира, изловчилась и изо всей силы ударила солдата по голове прикладом. Солдат покачнулся, присел, но не упал, автомат выпал у него из рук и беспомощно повис на ремне. Должно быть, не очень много сил было сейчас у Даши.

— Ах, мало тебе, сволочь! — выругалась Даша и выстрелила в фашиста из нагана в упор.

Потом сунула револьвер в карман и снова склонилась над раненым.



Враги были разбиты и отброшены. Мы прорвались, мы вышли из окружения. Но что будет завтра?

Мы возвращались по тропе, которая, когда мы пробирались сюда, к высоте, недели полторы назад, была едва заметна, а теперь, когда прошли по ней отряды карателей, легко нащупывалась ногой.

Мы шли по тропе гуськом. Сбоку шло боковое охранение, но никто и не думал нас преследовать. Слишком уж неожиданным и ошеломляющим был наш удар.

Было совсем тихо, только хлюпала под ногами вязкая жижа.

— Титов, проверь, сколько у нас убитых на месте, — при-

казал комиссар. Отыскивая меня, Кархунен шел от головы колонны. — Семеро раненых идут сами, двоих несем. Я подсчитал тех, кто идет впереди, дальше считай ты.

— Иван Фаддеевич сам идет?

— На плащ-палатке несут, — тихо ответил Кархунен.

Коренастый и неуклюжий с виду, он пошел вперед, а я остался стоять на месте.

Мимо меня проходили товарищи.

Встающая заря обливала все стволы, листву и хвою ровным розоватым светом, и даже в этом свете было видно, какие у всех бледные и истомленные лица. Скулы выступали резче, щетина на щеках была темнее, чем всегда, глаза устремлены в землю.

— Ну, что? Вырвались! — сказал Павлик Ямщиков. — Чудеса в решете, как говорится, — дырок много, а выскочить не откуда. И все же выскочили! Теперь бы поужинать.

Но, несмотря на голод и усталость, боевой дух не покидал нас. Конечно, это была победа.

Пришли отец и Шокшин. Иван Иванович спросил, не видел ли я Дашу, — он сорвал в разгаре боя повязку с головы и хотел сдать бинт, чтобы не пропадало добро.

Сережа тащил свой пулемет. Я прошел несколько шагов рядом с ним.

Вот он теперь совсем взрослый гражданин, красный партизан. А давно ли ему, восьмикласснику, мать запрещала ночевать в лесу, да и сам он волновался бы, промочив ноги...

— Думал ли ты, Сережа, что будешь партизаном?

— Как же, всю жизнь мечтал об этом! — смеясь, отозвался он. — Только я думал раньше, что на войне самое страшное — это бой.

— А разве нет? — И я вспомнил его слезы у замолкшего пулемета.

— Нет. Теперь-то я знаю, что самое страшное — это когда в начале похода мешок такой тяжелый, что и поднять его не можешь, вот так идешь... — И Сергей согнулся, напоминая то странное существо с горбом за спиной, на которое мы все бываем похожи в начале похода.

Он выпрямился:

— А потом самое страшное — это пустой мешок, как сейчас, когда есть немного патронов, но нет даже половины сухаря. И вообще идти так по лесу, по болоту, обливаться кровью от этих самых комаров — вот это страшнее всякого боя. Тут азартом не проживешь...

И вдруг, испугавшись, что я могу подумать, будто он жалуется на свою долю, Сергей торопливо закончил:

— Это я не про себя говорю. Вот девчатам нашим, им трудновато.

Мимо меня прошли партизаны Мелентьев, Чирков, Лось.

Лось, как всегда, высоко подняв голову, шел словно напролом. Ниemi и Елкин о чем-то говорили, и голос у Елкина был наставительно жалобный. Вот и Аня. На ее санитарной сумке алел красный крест. Она бережно поддерживала под руку раненого и что-то ласково приговаривала.

Тучи комаров клубились над тропинкой, и только два-три человека даже не давали себе труда смахнуть со щеки остро жалящего комара. Такое равнодушие было дурным симптомом. Еще прошли четыре человека. Я постоял с минуту. Потом тихо позвал:

— Есть еще кто?

Никто не отозвался.

Охранение идет в ста метрах позади.

Я начал догонять отряд. Никого уже не было видно. Ветви быстро закрывали ушедших вперед людей, кусты вставляли плотной изгородью у каждого поворота, стволы деревьев казались густым частоколом.

В такой чащобе стоит на минуту зазеваться, отойти в сторону — и скроется за листвою спина идущего впереди человека. Иди потом разыскивай. А если нет у тебя компаса, то и совсем пропасть можно. Кажется, спешишь, догоняешь своих, а на самом деле уходишь в сторону. Лесная глухомань. В этом еще с давних пор, как говорит отец, лешие замешаны.

Запыхавшись от быстрой ходьбы, я догнал комиссара. Четверо партизан несли на плащ-палатке Ивана Фаддеевича. Он тихо говорил:

— Сейчас, Василий, я думаю, можно выйти из лесу и пройти по большой дороге, чтобы сбить со следа. Потом опять сойдем с дороги — в чащу — и врассыпную двинемся, чтобы стежек не получилось. Пусть тогда догоняют! Сейчас здесь легко идти. Они думают, что нам уже каюк. Раньше, чем через несколько часов, их подмога сюда не дойдет. Воспользуемся этим временем.

Все это Иван Фаддеевич говорил тихо, так, что слышать его могли только комиссар, который шагал слева от носилок, да я, шагавший справа...

— Теперь поспи немного, Ваня, отдохни, — сказал Кархунен.

— Наших убито четверо, — доложил я тихо комиссару.

Там остался и наш боевой листок... Мы его выпустили срочно. Заметки писали на обрывках бумаги. Катюша пришивала их нитками к боевому листку. Заметки говорили о нашей не-

ненависти к врагу, о верности партизанской присяге, о том, как была расстреляна предательница Пекшуева. Мы решили нарочно оставить этот листок фашистам.

Пусть читают!

Итак, наш отряд лишился четырех товарищей... Мы взяли у врага за них не меньше сотни жизней. Но все-таки, когда четыре человека эти — твои товарищи, с которыми ел из одного котелка, и ты узнаешь о их гибели, у тебя внезапно холодеет сердце и ты от тоски срываешь и мнешь в руке высокую травинку.

— Даша, куда ранен Иван Фаддеевич?

— Разрывной пулей перебита кость ноги, другой пулей пробито навывлет легкое.

— Выживет?

— Сделаю все... — говорит Даша и просит: — Поосторожнее несите, товарищи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда шел дождь, не было комаров: он прибывал их к земле, и они прятались под листьями.

Но дождь кончился, и вот они опять выбились из всех щелей и снова, казалось, заполнили мир. Даже под плащ-палатку, в которую я завернулся, забрался один и так язвительно вел над ухом свою пронзительную песню, что сон, который еще несколько минут назад совсем одолевал меня и заставил улечься в этот сырой мох, улетучился.

Не открывая глаз, лежишь и ждешь с нетерпением, чтобы сел наконец этот проклятый комар на щеку, на ухо — куда хочет, чтобы ужалил, — и вот тут его и прихлопнуть. Но он словно дразнит: то звенит над самым ухом, то умолкает. Вот снова завел свою неугомонную однообразную песню. Ну и пусть поет, а я попробую поспать под его аккомпанемент.

Начинается полусон, полудремота. И вдруг кто-то тронет тебя за плечи, и ты вынырнешь из глубины все же захлестнувшего тебя сна.

— Комиссар требует к себе, — говорит Последний Час.

Возле носилок Ивана Фаддеевича на камне сидит комиссар. Рядом на небольшой треноге подвешен котелок, и Даша размешивает в нем финским ножом какую-то снедь. Лицо у нее покраснело от комариных укусов. Поймав мой взгляд, она серьезно говорит:

— Вот щавеля немного набрала и пастушьей сумки, хочу Ивану Фаддеевичу что-то вроде супа сварить. Нет ли у тебя соли, у меня последняя щепотка от дождя растаяла.

В котелок влетают и тонут комары. Даша пытается вытащить их кончиком ножа, но комаров так много, что, поняв всю бесплодность этой попытки, она вкладывает нож в ножны.

— Ты мне еще из комара голенище выкроишь, — усмехается Иван Фаддеевич. Губы у него бледны. Он внимательно рассматривает пучок бледнозеленого моха и, переворачивая его из стороны в сторону, тихо говорит комиссару: — Я так думаю, Вася, что мы пойдем именно в ту сторону, куда и собирались. И мох этот никак не опровергает догадок.

Пока комиссар размышляет и смотрит на карту, я спрашиваю у Даши:

— Откуда этот кукушкин лен?

И Даша рассказывает, что разведчики обнаружили следы на мохе в той стороне, куда надумал вести отряд Иван Фаддеевич.

Опасаясь засады, командир приказал принести мох. И его-то сейчас он внимательно рассматривал. Мох был надломлен чьим-то тяжелым каблуком.

— Все в порядке, — сказал Иван Фаддеевич. — Мох этот я хорошо знаю. В сухие дни, в солнечные он хрупкий и ломкий, в пасмурные, сырые — мягкий, пружинистый, как бы набухший. А сейчас погляди. Весь день шел дождь, ливень настоящий. Если бы это сегодняшней или вчерашней след был, сырой мох согнулся бы, а этот надломлен. Выходит, след старый, еще от сухого дня остался. Значит, путь пока свободен.

Даша слушала Ивана Фаддеевича, раскрыв рот, и в глазах ее светилось восхищение.

Вдруг Даша закашлялась: она чуть не проглотила комара.

Кархунен провел руками по щекам, и на карту посыпались раздавленные комары, а лицо стало красным.

— Ты прав, — сказал он. — Так и сделаем... Почему-то Ани и Кати нет, а ведь я звал их.

Но они уже спешили сюда. Неуклюжий медвежонок и Аня.

Впрочем, в широких мужских шароварах даже тоненькая, стройная Аня казалась ниже своего роста. Из-под пилотки у нее выбивалась прядь темнорусых волос, упрямые губы бледнее обычного, а редкие веснушки около глаз проступали явственнее. Но глаза были такие же синие, как и всегда. Когда девушки подошли вплотную, комиссар внимательно оглядел их с ног до головы и остался явно недоволен их видом.

— Надо будет любым способом раздобыть для вас женское платье, — строго сказал он.

— Жалко, истрепались наши платья, а ведь какие хорошие были, — пожалела Катя.

...И действительно, какие чудесные шелковые платья были у них в тот день, когда они пришли в отряд. Собственно говоря, они пришли тогда не в партизанский отряд, а к пограничникам. Около нашего села, к тому времени уже покинутого жителями, белофинны отрезали пограничников от дороги.

Это было уже после того, как отец вступил в наш отряд. Врагов было раз в сорок больше. Пограничники отступали, сдерживая их на каждом мало-мальски удобном рубеже.

И вот бой шел уже у околицы села.

Командовал пограничниками Иван Фаддеевич, а я пробрался сюда просить, чтобы он принял руководство над нашим отрядом.

По дороге медленно двигались тридцать танков. С неба на село пикировали одиннадцать бомбардировщиков. Горели дома, школы. Два немецких танка были подорваны связками ручных гранат, которые бросили подобравшиеся почти вплотную к машинам пограничники. Уже на дороге поднимались невысокие фонтанчики пыли от пуль фашистских автоматчиков, а мы с Иваном Фаддеевичем стояли за углом горящего здания сельпо.

Иван Фаддеевич длинным ивовым прутом хлестал по голенищу. Только что выбыл из строя дравшийся до последнего расчет станкового пулемета.

Убитые пулеметчики лежали в пыли дороги, около крыльца.

— Видишь сам, какие дела, — грустно сказал Иван Фаддеевич, выслушав нашу просьбу. — Рад бы в рай, да грехи не пускают. Я в себе не волен, спрашивайте у начальства.

На щеках его была трехдневная щетина, и я никогда до этой минуты не думал, что у него может быть такое усталое и бледное лицо. А ведь ему, командиру пограничной заставы, и мне, секретарю райкома комсомола, приходилось до этого не раз встречаться.

Он опустился на колени, нагнулся над убитым пулеметчиком и, расстегнув карман его гимнастерки, стал вытаскивать красненькую книжку — партийный билет. Все еще стоя на коленях, он вдруг заметил девушек, которые спокойно и неторопливо шли к нему по широкой и пыльной деревенской улице. Он их не знал, но я-то сразу узнал и ужаснулся, что они еще здесь. Это были Аня, Катя-медвежонок и Мария. Аня и Катя были одноклассницами, Мария — старше их, комсомолка, бухгалтер нашего леспромхоза.

На шелковых, праздничных платьях девушек играли отблески пламени, охватившего село. Они шли к нам молодые, красивые в своей тревоге, принаряженные словно на свадьбу.

Помню и по сей день белое платье Ани с синими-синими васильками, будто глаза ее сошли на шелк и расцвели на нем. Мария — в алом платье, словно трепещущее на ветру пламя. А вот в чем была Катя — хоть убей, не помню.

— Куда вы? Куда вы? — закричал я. — Бегите назад немедленно, в лес... — Я даже указал рукой, куда они должны были уходить, чтобы избежать опасности.

Но они, не обращая внимания ни на мой окрик, ни на свист пуль, так же торжественно приближались к нам.

— Марш отсюда! — повторил я. — Здесь опасно!

— Знаем, что не на вечеринку идем!

Есть у карельского народа древний обычай: готовясь к смерти, надевать лучшее платье. Так и русский солдат шел на штурм в чистой белой рубахе. И три девушки перед боем с врагом надели свои лучшие платья.

Страхивая с колен пыль, Иван Фаддеевич смотрел на девушек со все возрастающим удивлением.

— Мы к вам, — сказала, подходя к командиру, Мария.

— Будем вместе биться! — подхватила Катя. — Мы стрелять из пулемета умеем.

Иван Фаддеевич недоверчиво оглядел подруг. Маленькая, коренастая Катя даже приподнялась на носки, чтобы казаться выше, и, замирая, ждала решения.

— А ну-ка, ложитесь за пулемет, да побыстрее! — приказал Иван Фаддеевич.

И девушки бросились к пулемету.

В праздничных своих платьях они лежали за щитком на пыльной дороге.

И пулемет снова ожил.

Выполняя приказ командира, подруги прикрывали отход пограничников пулеметным огнем. А потом протащили «максим» через лес и болото и присоединились к пограничникам. Более сотни километров прошли девушки вместе с бойцами.

Давно изорвались об острые, колющие сучья их праздничные шелковые платья.

Иван Фаддеевич и два пограничника отдали им свои запасные брюки. Износились туфли. Бойцы предлагали девушкам сапоги, но они оказались большими, а Катя-медвежонок и во все тонула в них. Обе ее ноги сразу входили в один сапог.

Более шестидесяти километров по кочкам, болотам и лесам в этом первом походе прошли девушки босиком.

Командование уважило просьбу партизан — и Иван Фаддеевич стал командиром нашего отряда. Он привел с собой Аню и Катю. Мария осталась у пограничников.

.

— Так вот, девушки, — говорит Кархунен и встает с камня: — партизанскую присягу помните?

Но разве кто-нибудь, кто однажды всей силой сердца своего поклялся перед товарищами в лесу нерушимой партизанской клятвой, может забыть ее?

— Что вы! — вспыхнула Катюша.

— Это я так, для порядка, — сказал Кархунен и еще ближе подошел к девушкам. — По лесу вы ходить умеете, я знаю...

Девушки застыли в ожидании.

— Вот что, милые! — перебил комиссара Иван Фаддеевич. Даша сняла закопченный котелок с треноги.

— Вот что, милые, — повторил Иван Фаддеевич, обращаясь к девушкам, которые вплотную подошли к носилкам: — Враг идет по пятам. Отряд каждую минуту может быть снова окружен. Придется пробираться к Большой земле извилистыми путями. Мы должны сковывать силы врага как только можно. Когда и как со своими встретимся — сейчас неизвестно. Но мы захватили важнейшие приказы и планы. Понятно? Срочной важности бумаги. Ясно?

— Понятно, Иван Фаддеевич, — быстро отозвалась Катя.

Она стояла у носилок, рот ее был полуоткрыт, и, беззвучно повторяя каждое слово командира, она шевелила губами, как это делают малограмотные, читая про себя незнакомую книгу. Милый ты наш медвежонок!

— Пока отряд будет по лесам продираться, — строго продолжал комиссар, — документы эти необходимо быстрее перебросить к нашим. Понятно?

Да, это тоже было понятно девушкам. У командира, очевидно, не хватало сил продолжать разговор — он застонал, побледнел и приложил руку к груди.

И сразу же Аня наклонилась над ним и стала поправлять перевязку. Через бинты проступила кровь. Аня тревожно оглянулась.

Даша обеими руками быстро рвала мох, бледнозеленый сверху и совсем белый снизу, сфагнум-мох, который отлично заменяет вату и йод. Даша прекрасно знала все травы, мхи, растения нашего сурового края и любила его неприхотливые цветы. Даже в самых тяжелых походах она не оставляла мирной девичьей привычки — прикалывать к платью цветы.

Вот и теперь из кармашка ее гимнастерки выглядывала робкая лесная гвоздичка.

— Сейчас, сейчас. Все будет в порядке, — отозвалась Даша, поймав тревожный взгляд Ани.

— Иван Фаддеевич, Иван Фаддеевич, — тихо и быстро говорила Аня, — не надо говорить, не надо. Мы и так всё пони-

маем, решительно всё. И в дороге разберемся. Это вы правильно решили: там, где мужчине не пройти, девушка всегда пройдет. К тому же мы отлично говорим по-фински и по-карельски... Вы не беспокойтесь, все будет в порядке.

Приступ боли миновал, и Ивану Фаддеевичу, видимо, было неловко, что он обнаружил слабость. Но говорить он не мог, только взглянул на комиссара. Тот склонился над картой и карандашом наносил линию маршрута, по которому отряду предстояло, обманув врага, вырваться и пройти через линию фронта.

— Так вот, девушки, — сказал Кархунен, — поглядите на карту. Здесь я наметил несколько вариантов вашего маршрута. Какой где выбирать — будет зависеть от обстановки, это решите сами. К сожалению, еды маловато. По десять сухарей на душу выделим.

Аня нетерпеливо махнула рукой, словно сама мысль о еде в такую минуту возмущала ее.

— Спасибо надо сказать, а не руками махать, — прервал ее Кархунен. — Понятно?

— Понятно, товарищ комиссар, — отозвалась Катя. — Десять сухарей на душу.

— Точно. А насчет женского обмундирования обязательно надо покумекать. Я тогда на всякий случай приказал со старухи Пекшуевой платье снять, — сказал Кархунен и вытащил из мешка сверток. В нем было три юбки: шерстяная черная, синяя сатиновая и нижняя клетчатая, фланелевая, с двумя карманами.

— Противно от такой брать, — поморщилась Аня.

— Мало ли что противно. И того противнее бывает. Ведь надо, надо же! — тихо повторил комиссар и, взяв в руки принесенную мной трофейную полевую сумку, вынул из нее два запечатанных конверта: — Вот берегите. В руки генералу Вершинину и никому другому... Старшей будет Катя.

Аня осторожно взяла в руки конверты, в которых были документы, добытые моей группой. Она осмотрела их со всех сторон, вздохнула и положила в карман гимнастерки.

Я подошел к Ане.

Застегивая клапан кармашка, она поглядела на меня. Теперь, припоминая этот взгляд, я вижу в нем и гордость, что ей поручено такое важное дело, и удовольствие оттого, что это произошло на моих глазах.

Сейчас я знаю слова, какие сказал бы ей, если бы хоть раз в жизни повторилось это мгновение. Я бы многое отдал за то, чтобы оно повторилось! Но тогда я не нашел ничего лучшего, как подойти поближе к ней и сказать:

— Аня, ты комсомолка, и тебе вручены важнейшие документы. Не подведи!

— Коля! Не надо мне так говорить, — сказала она. И искусанные комарами щеки ее стали еще краснее.

Она отломила веточку осины и стала отмахиваться ею от комаров. Я хотел еще что-то сказать, но услышал голос Даши:

— Иван Фаддеевич, теперь суп остыл, попробуйте немножко.

Я боялся: Даша услышит то, что я хотел сказать Ане. Ведь еще так недавно я сам говорил Даше: во время войны, во время походов сердце должно быть наглухо закрыто для нежных чувств.

Вот посмеялась бы она сейчас надо мной! Нет, нельзя ронять свой авторитет. И, чувствуя, что Аня ждет от меня каких-то других слов, я все же не сказал ей этих слов и замолчал.

Как много мы теряем в жизни, как часто делаем непоправимые шаги из-за ложного представления об авторитете! Может быть, эти рассуждения могут показаться наивными... Ведь мне самому многие жизненные истины, когда мне о них говорят, кажутся детски простыми и очевидными, и все же я снова сам прихожу к ним после многих ошибок, блужданий и часто неверных действий. Так было и в моей учительской работе, и в райкоме, и в партизанском отряде. И та истина, которая казалась заранее очевидной, на деле бывает не такой уж простой.

Аня и Катя ушли к себе под сосну готовиться к походу, а я остался с комиссаром.

— Вот, Титов, — сказал мне Кархунен, — посылаю я двух девушек за двести километров, по лесу, по бездорожью, а кругом враги, да такие, что попадись им в лапы, даже и подумать страшно, как зверствовать будут. И те идут, словно у себя в колхозе на прополку или на дальний сенокос на остров, и ведь даже довольны, что именно им доверили. Я уверен: если они не доставят бумаги, то и никто другой не доставит. Только в кино я раньше такое видел. Да что кино — там сеанс два часа, и всё! А здесь по лесу, да болоту, да вдвоем, да с комарами, и с неделю, поди, проплутают... Там ведь, в кино, в зале тепло, и дождь не тот, и комара нет, и пули только свищут, да не задевают. Но зато и красоты такой нет. — И он взмахнул рукой, показывая на зеленевший под летним солнцем лес, на узорные мхи под ногой, на синее небо, по которому бежали одинокие облака.

Нежные и тонкие запахи клейких листиков, влажных мхов оведали нас. Горьковатый дымок притушенного Дашей костра и даже мирное кукование лесной кукушки (здесь были ее вла-

дения — и кукушкин лен и кукушкины слезки) — все это было прекрасно. Если бы только не томящая пустота в желудке!..

— Ну, так вот, я тебя для дела позвал, Титов, — продолжал Кархунен, немного стесняясь того, что так расчувствовался. — Щеткин, по всей вероятности, если его не подбили, мешки с продуктами сбросил на запасную цель. Ложбина отсюда семь километров. Вот, — и он развернул передо мной лист карты, — вот здесь, где буква «В», у верхнего завитка, — показал он огрубелым от полевых работ пальцем. (Я и сам знал, где находится эта ложбина.) — Так вот: бери с собой четырех человек и иди туда, все обшарь и, если найдешь, не теряя времени, волоки сюда, по азимуту. В общем, догоните... Кого берешь?

— Лося — он много унесет, Душу — с ним в дороге веселее, Шокшина. Кого же еще? Взял бы Сережку Жихарева, да устал, наверно, парень, мал еще и пулемет никому не отдаст.

— Вот что, — сказал комиссар: — возьми-ка с собой Елкина...

— Боюсь, он меня слушать не будет: что́ ему, бывшему ответственному работнику, какой-то комсомолец!

— Ничего, прикажу — все будет в порядке.

И мы отправились выполнять приказ комиссара.

Впереди шел Лось, за ним Елкин и Душа. Замыкали цепочку я и Шокшин.

Мы поравнялись с сосной, около которой девушки снаряжались в дорогу. На Анином рюкзаке было разостлано ее вышитое петушками полотенце, и от этого как-то по-домашнему стало вокруг. И вообще, когда Аня, даже после самого трудного перехода, расстилала полотенце и ставила на него голубую чашечку, сразу место это становилось самым уютным в лесу. Была в Ане какая-то милая домашность. Синяя сатиновая юбка Пекшуевой была разостлана на узловатых корнях дерева. Аня была в черной шерстяной юбке. Катя критически осматривала ее со всех сторон.

— Надо с левого бока ушить, — сказала она, — потом пояс повыше сделать. Ну, да ладно, не на бал ведь идешь, — сказала она, весело улыбаясь.

Павлик не мог пройти мимо девушек, не задев их.

— Все маскируются, а у вас одних, как всегда, полная расхлябанность и полное отсутствие бдительности, — сказал он сердито, подойдя к ним.

— В чем дело, Душа?

— Слышите, как скрипит сосна?

Поверху ходил ветер, и сосна, покачиваясь, жалобно поскрипывала.

— Ну, скрипит!

— Что «ну, скрипит»? — язвительно повторил Душа. — А нет того, чтобы смазать ее, чтобы не скрипела. Смазать надо, — повторил он еще строже.

Девушки засмеялись.

— Тише, тише! — цыкнул на них Шокшин. — И в самом деле, не надо распускаться.

Аня обернулась, и от взгляда ее Шокшин покраснел, замялся и смутился.

Неужели он любит ее? А я и не замечал. Мы встретились глазами с Аней.

Она стояла передо мной, такая родная, красивая. Платье ей было в самый раз, — не понимаю, чего Катя привередничала при примерке. Катя, не успевшая еще переодеться, коротенькая, в широких мужских шароварах, подошла ко мне и сунула в руки вчетверо сложенную бумажку. Я хотел развернуть, чтобы прочитать, но она смутилась и покраснела.

— Потом прочтешь, через час, ладно? — и побежала обратно к скрипучей сосне.

Я опустил руку в карман и нащупал кусочек сахара в тряпочке. Мой аварийный запас.

— Хочешь сладкого, медвежонок? — спросил я.

— Вовсе неостроумно! — с раздражением ответила Катя.

— Да нет, я не шучу, вот возьми! — И я протянул ей сахар.

— Да ты настоящий интендант первого ранга! — сказала Катя обрадованно. — Спасибо.

Но я не стал долго разговаривать, надо было догонять товарищей.

— Аня, ты чашечку голубенькую берешь с собой? — уже издали услышал я голос Кати.

В этой чашечке не было ничего особенного. Ане привезла ее мать в подарок из Москвы с сельскохозяйственной выставки. Но из всех домашних вещей у Ани сохранилась только эта любимая чашечка. Она пила из нее сама, а в последних двух походах пила из этой чашечки тяжело раненных.

Может быть, я был неправ в чем-то в отношениях с Аней... Вот когда пишешь письмо или даже боевое донесение, всегда можно написать несколько черновиков, потом перечеркнуть, исправить, выбрать наилучший вариант, переписать начисто. А в жизни этого нет. Перечеркнуть дела, которые не понравились, и заменить их лучшими иногда невозможно. Сразу надо жить, как Аня, Катя, Иван Фаддеевич, — по чистовику.

— Товарищ Титов, Душа, давайте я вас побрею! — сказал Жихарев, увидев нас.

Под одной из сосен он брил Ивана Ивановича. У него самого еще на подбородке пуха не было, но с тем большей охотой и

азартом он брил других. У меня борода растет медленно, щетина светлая, и бриться мне надо раз в неделю, не то что чернявому Ямщикову: у того отрастает за один день.

— Ничего, — отозвался Душа, — сейчас не стоит, после удачной операции — пожалуйста.

Мы были уже далеко от привала, когда, отстав на несколько шагов от товарищей, я развернул записку и прочитал:

«Дорогой товарищ Титов!

Коля, я отправляюсь на задание. Может быть, что-нибудь случится со мной, тогда прошу передать товарищам, чтобы они простили мне, если не так сделала или чем-нибудь обидела кого. Если будете когда-нибудь писать письмо товарищу Сталину, поставьте и мою подпись. Вернусь или нет с задания — и в том и в другом случае прошу считать меня членом Ленинского Комсомола. Может, написала заявление не так, как надо, но считайте его действительным, потому что переписывать некогда».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы шли по лесу. Влажные ветви набухли от дождя. Мокрые, отстраняемые впереди идущими, они так и норовили хлестнуть по лицу. На сочных листьях, как жидкий хрусталь, сверкали крупные прозрачные капли; на лесных паутинках между деревьями дрожали едва приметные капельки, переливаясь всеми цветами радуги.

Меня все время томила какая-то сосущая пустота ниже сердца, и когда я нагибался, чтобы сорвать трилистник кислицы, тошнота подкатывала к горлу. Ноги точно налиты свинцом, и к каждому шагу нужно принуждать себя. Но порой тело казалось совсем невесомым, и тогда мнилось, можно идти, перескакивая с кочки на кочку, словно за спиной выросли крылья.

— Тебе хорошо, Сынок, — повернулся ко мне Душа: — у тебя в сапогах дыра. Что налилось, сразу же выливается — циркуляция. Не то что у меня, грешного. Надо останавливаться, разуваться и выливать воду в болото, к чертям собачьим.

Якуничев шел, не сворачивая в стороны, широкими, сильными плечами раздвигая кусты, высоко закинув голову. Не зря его прозвали Лось.

Я пошел быстрее и догнал Шокшина. Высокий, худой, близорукий, он шел молча, глядя себе под ноги.

— Коля, — вдруг сказал он, — детство у нас было настоящее, юность хорошая, все для нас делалось, и хотя раньше мы и чувствовали ответственность за свои дела и поступки, но это все было, понимаешь, Коля, не такое глубокое. А теперь другое.

Не знаю, как ты, но только сейчас, в дни войны, я ощутил по-настоящему, что все мы: ты, я, Иван Фаддеевич, Душа, Катя, — да, да, ты не улыбайся, этот медвежонок Катя, — несем ответственность за судьбы Родины. За эту землю, за стариков наших, за все, что есть у нас и что было. Много неважнецкого у нас было. А хорошего-то, настоящего сколько! Знаешь, впервые в этих скитаниях по лесу я не из книг и разговоров, а всем своим сердцем понял, что мы, мы и никто другой в ответе за все. И нет спины, за которую можно укрыться. Для каждого из нас эти дни — и Куликово поле, и Чудское озеро, и Бородино, и Сталинград! Вот мой Сталинград был — минирование окопов на высоте.

«Там, на Большой земле, может быть, разыгрывается сейчас что-нибудь почище Бородина, и мы еще не знаем, какая деревня или город станут новым символом бессмертия нашего народа», — подумал я и спросил:

— Ты это к чему?

— Ты понимаешь: ненависть жжет мне сердце!..

Он посмотрел на меня, и я заметил в его глазах слезы гнева.

Да, я испытал это чувство. Когда фашисты вторглись к нам, когда они бомбили Ленинград, когда я видел, как у тети Поли на руках скончалась Валюшка, убитая пулеметной очередью с «Юнкерса», когда я собирал мать и братишку в эвакуацию, когда новая школа, которой мы так гордились, сгорела на моих глазах, когда я увидел у крыльца сельпо мертвых пограничников, — я сказал: «Нет мне покоя, нет жизни, если живет эта фашистская нечисть и оскверняет землю моей Родины!»

— Если бы я не пошел минировать окопы, то и до сих пор считал бы себя трусом. Мне надо было оправдаться перед самим собой, перед товарищами, — сказал Шокшин и поднял голову.

На ветке сосны сидела рыжая, совсем рыжая белка и с удивлением следила за нами. Мы переглянулись с Шокшиным, и при виде этого маленького, доверчивого зверька как-то легче стало на душе.

— После вчерашней ночи я имею право говорить с тобой как равный! — с гордостью сказал Шокшин.

Я не совсем понимал, о чем он ведет речь:

— Почему только после вчерашней ночи?

И Алексей, смущаясь, то запинаясь, то скороговоркой, стал рассказывать мне о том, как они с Аней взрывали линию высоковольтной передачи.

— Ты можешь рассказать толком?

— Да ведь толк-то в том и состоит, что бестолков я был. Ночью подобрался мы к этим самым столбам высоковольтной линии и ждем сигнала. Как только раздался взрыв у моста, подбежал я к столбу заряд привязать. А руки, понимаешь, дрожат, узелка не могу сделать. Заряд скользит вниз, я ругаюсь, поднимаю его, а приладить не могу. Откровенно скажу: страшно мне стало. Тут подходит ко мне Аня, дергает за рукав: отдай, мол, — и берет заряд. Спокойно-спокойно привязываетесьмой, укорачивает запальный шнур, ну просто обкусывает его, и поджигает спичкой, как папироску. «Вот, — говорит, — как надо».

Хватает меня за рукав — и в сторону. Тут взрыв. Сначала желтое пламя — это от взрывчатки, — а потом длинное, голубое, словно молния. Все вокруг осветилось. Это провода рвались. Короткое замыкание.

Я стою и смотрю на это, совсем остолбенел, а Аня подходит ко мне ближе, берет под руку и тихо так, ласково говорит: «Идем теперь домой. Да ты не бойся — я никому не скажу».

Пришли мы в лагерь, меня поздравляют, а она даже не моргнет, будто так и нужно. Мне стыдно. Даже тебе не решался сказать. Да ты не слушаешь меня, что ли? Понимаешь, мне Иван Фаддеевич говорит: «Молодец!», и все кругом довольны, а мне стыдно глаза поднять. И все из-за Ани!

Нет, я его внимательно слушал, только мне тоже стало неловко — вспомнилось, как я говорил Ане, что ей не надо ходить на операцию и без нее все обойдется.

И теперь я хотел, чтобы этого разговора не было, но, к сожалению, он состоялся.

Теперь я понимаю, почему покраснел Шокшин, когда мы проходили мимо девушек. Вот в чем дело! Нет, Алексей все же был стоящим парнем. А Аня?.. Сейчас она, наверно, уже ушла. Мне очень захотелось увидеть ее и сказать ей ласковые слова, от которых легче становится жить. Только, кажется, и слов таких я не знаю...

Шедший впереди нас Лось остановился и стал оглядываться. Вслед за ним остановились и остальные.

Мы вошли в ту самую ложбину, которая была запасной целью для Щеткина.

— Вот он! Вот! — вскрикнул вдруг Елкин и быстро побежал к сухой сосне со сломанной верхушкой. Обломанные ветви сухостойного дерева валялись на земле у корней. И тут же у дерева лежал мешок. Очевидно, он своей тяжестью обломал вершину.

Елкин нашел первый мешок. Значит, здесь поблизости должны находиться и остальные.

Я оставил Елкина около мешка, а мы все рассыпались по чаще. Сговорились тащить мешки к сухостойной сосне, у которой остался Елкин. Впрочем, я это неправильно сказал — сухостойная сосна. Ствол ее был черен, как уголь, а хвоя рыжая, как шерсть белки. И рядом высились такие же сосны — земля под ними была черная, выгоревшая, а мелкие кустики брусники, казалось, еще пламенели огнем. Очевидно, здесь был лесной пожар, который внезапно окончился: прошедший ливень сбил пламя. Черный, обуглившийся мох у подножия деревьев был еще совсем сырой.

Мы разошлись по сторонам. Мне не повезло — я не нашел ничего. Лось приволок к месту сбора один мешок.

В каждом мешке было по семьдесят пять килограммов. Сухари, сахар, концентраты пшенной каши и горохового супа, сливочное масло, пиленый сахар в синих бумажных пакетах.

Мы стали разбирать подарки, чтобы лучше уложить их в наши заплечные сумки. Сумки были отличные, с широкими лямками, так что, даже набитые до отказа, при больших переходах не натирали плечи. Однако мешков Щеткина явно не хватало. Обычно с самолета сбрасывалось не меньше четырех. Значит, не хватало двух.

— Я поищу, — сказал Душа и пошел в лес.

А мы стали перекладывать продукты в заплечные сумки. Глаза у нас разгорелись. Так приятно было видеть сухари, пакетики с маслом, концентраты и перебирать их. И не скрою — я разрешил каждому съесть по сухарю.

Они хрустели у нас на зубах, и мелкие острые крошки царапали кожу во рту.

Какая это чудесная вещь — сухари!

Вдруг неподалеку — винтовочные выстрелы, очередь из автомата.

Мы быстро приникли к земле и спрятались за обгорелыми стволами.

Выстрелы не повторялись. Оставив у мешков Шокшина и Елкина, я и Лось отправились по следам Души.

Было несомненно, что из пистолета-автомата стрелял именно он.

Шли пригибаясь, останавливаясь через каждые два-три шага. Опасались засады. Но уже через пять минут мы увидели Ямщикова, который медленно приближался к нам, толкая перед собой какой-то предмет. По напряженному лицу Души можно было понять, что ему тяжело. Павлик останавливался, отводил назад ногу и ударял ею о невидимый нам предмет.

Что он, с ума сошел, что ли?

Мы подошли поближе и увидели, что Душа толкал тяжелый, грузный мешок с продуктами, обходя кусты, деревья и кочки.

— Ты что, игру затеял? — строго спросил я. — Здесь стрельба, а ты развлекаешься!

— Это в меня стреляли, — ответил он, продолжая толкать ногами мешок. — Это я стрелял! Трех уложил. Понимаешь, они раньше меня мешок разыскали и уже делить собрались. А тут я нагрянул.

Кивком головы он указал назад, и мы с Лосем увидели метрах в тридцати от нас, среди обомшелых кочек, распростертые тела.

— Не беспокойся, не встанут! Мы заметили друг друга одновременно, только у них винтовки, а у меня автомат.

— Так что же ты, чорт леший, от радости в футбол начал играть? — огрызнулся Лось.

— Да нет, продырявили, сволочи, — сказал Душа и посмотрел на свои волосатые руки.

Они висели неподвижно вдоль тела, как плети. Крупные, словно осенняя брусника, капли крови падали на изумрудный мох.

— Обыщи их: я не смог, — тихо проговорил Ямщиков, указывая на солдат. Но сразу же сморщился и опустил руку.

Рябоватое лицо его побледнело. Павлик крепко сжал зубы, на лбу проступили капли прозрачного пота. Он с трудом сдерживал подкатывавший к горлу стон.

— Нет, не бывать мне больше токарем! — с тоской сказал он.

Лось пошел обыскивать солдат, а я взвалил на плечи мешок и вместе с Душой пошел к месту сбора.

— Дай хоть руки перебинтую.

Мы остановились под обгоревшей сосной. На соседней сосне сидела на большом узловатом суку белка, совсем такая, как та, которую мы видели на пути сюда, и внимательно следила за нами, за тем, как я наскоро — и не скажу, чтобы умело, — перебинтовывал Павлику кисти рук.

Он морщился, топтался на месте от боли, но не проронил ни единого звука.

Мы скоро дошли до сосны, под которой были сложены мешки. Груз мой за плечами казался очень тяжелым. Но ведь в такие часы один можешь поднять столько, сколько в другое время и вдвоем бы не осилил. Так и наши девушки выносят из боя тяжело раненных.

Лось догнал нас, когда мы уже подошли к месту сбора.

— Обыкновенные собаки-каратели... — сказал он. — Ничего особенного не обнаружил.

— Душе надо немедленно идти в санчасть! — взволнованно проговорил Шокшин.

— Нельзя в таком виде его отпускать одного, — заметил Елкин. — Надо всем сейчас же идти обратно.

— Да, конечно, — подтвердил я.

Но Душа не согласился:

— Делайте свое дело. Вам еще мешок надо найти. Я сам добреду.

И мы сделали так, как он сказал. Бинтами индивидуального пакета привязали обе его руки к шее, чтобы они не висели, и положили в них две заряженные гранаты. Стоило только Душе опустить руки, и гранаты, упав на землю, взорвались бы. И тогда горе тому, кто окажется поблизости.

Ямщиков знал, что при этом его первого разорвет на куски.

Он пошел обратно, и заплечный мешок его был туго набит сухарями. Они были полегче концентратов. Павел настаивал на том, чтобы не идти порожняком к отряду.

Через минуту-другую он скрылся за деревьями, и никто не мог бы сказать, в какую сторону он ушел, — такой плотной стеной лес прикрывает каждого, кто с ним дружен.

Мы продолжали поиски. Но, как и следовало ожидать, последний мешок найти было труднее. Однакоже минут через двадцать после ухода Ямщикова Лось нашел и с трудом притащил еще мешок. Но его разыскивали не только мы.

Очевидно, враги заметили, что Щеткин бросает мешки, и рыскали вокруг. Трое солдат, убитых Ямщиковым, были, повидимому, только одним из дозоров. Не успел Лось положить свою находку рядом с другими мешками, как мимо него просвистела пуля. Второй выстрел ударил по ремешку моей полевой сумки, и она повисла на одной лямке.

Мы быстро залегли за стволами и начали отстреливаться.

Эти черти, каратели, очень искусно маскировались: они, казалось, слились со стволами сосен, с кочками, с пнями. А наша позиция на черной земле, среди огненно-рыжих кустов была очень невыгодной. К тому же сухари и масло — плохая защита.

Мы сначала не знали даже, сколько врагов против нас. Но даже если бы их было много, мы не могли так, за здорово живешь, оставить им продукты, когда у наших партизан вторые сутки не было во рту и маковой росинки.

К счастью для нас, солнце уже начинало садиться, и садилось оно за нашей спиной, заливая лес ярким оранжевым светом. Стволы сосен напоминали в этом свете гигантскую морковь. Все предметы становились ярче, и расстояние скрадывалось. Но здесь, где бой шел на коротких дистанциях, это, конечно, не могло сыграть большой роли.

Я потихоньку отполз в сторону от мешка и заметил притаившегося невдалеке егеря. Жалко, что не удалось его застрелить сразу же. Пришлось потратить три очереди и обнаружить себя.

Лось и Елкин тоже все время отстреливались и заставили замолчать трех солдат.

Стрельба утихла.

Я снова подполз к мешкам.

— Товарищи, — сказал Елкин, — надо немедленно уходить, а то они окружают нас и прикончат.

И хотя в лесу почти невозможно отрезать или окружить маленькую группу, пришлось считаться с его словами. Мне он был неприятен. Он всё время озирался, вздрагивал, жидкая его борода была взъерошена, как шерсть мокрой кошки.

Где-то далеко справа и позади слышались редкие выстрелы.

Вражеские дозоры давали о себе знать — враги боялись встречи с нами и стреляли издалека. Им, видимо, хотелось, чтобы мы испугались окружения и ушли, оставив им продукты.

Я приказал Лосю и Елкину положить в наши заплечные сумки еду, а сам с Шокшиным принялся прилаживать толовые шашки со взрывателем. Больше чем по сорок кило нам не унести. Мы были измучены походом, боями и голодом. Значит, половину продуктов придется оставить. Что же брать? Самое калорийное: масло, сахар, концентраты. Сухари надо оставить, к тому же они для переноски самый неудобный груз. А в отряде каждый кусок был так дорог! Тяжело нам было оставлять сухари, зная, что враги набредут на них. Но ничего, вместе с сухарями они получают и другой подарок.

Под парусиновые мешки я осторожно подкладывал небольшие толовые шашки со взрывателями.

Когда заплечные сумки были полны, я скомандовал:

— Пошли...

И мы направились не назад, а вперед, сбивая со следа преследователей, туда, где лежали убитые враги. Когда мы обошли их — повернули в сторону отряда.

Я шел позади всех. Сгибаясь под тяжестью полного мешка, я с трудом догнал Лосю, Елкина и Шокшина. Мы шли быстро.

Погони не было. Хорошо, что уже темнело, очертания людей, деревьев и тени их таяли и смешивались в сгущающемся сизом сумраке. И вдруг позади раздались один за другим два больших взрыва.

— Сухарей наших попробовали, — сказал Лось.

Вскоре Елкин начал жаловаться, что лямка режет ему пле-

чи. Он был жилистым, хотя и худощавым человеком, с железным здоровьем, как определил врач, проверявший наш отряд. Ведь не мог же он думать, что я разрешу ему оставить в лесу мешок с продовольствием или что мы с Лосем и Шокшиным возьмем весь груз. До войны Елкин долгое время занимал ответственные посты в лесной промышленности и так привык распоряжаться и отдавать приказания, что ему с его самомнением трудно было стать рядовым бойцом. Но так как в военном деле он не знал, как говорится, ни бе ни ме и рвения особого к службе не проявлял, то и партизан из него вышел неважный. Попал он бойцом во взвод к Ивану Ивановичу, который раньше был его подчиненным и не мог к нему в кабинет войти без доклада.

Иван Иванович Кийранен — человек справедливый. Он не мог сделать поблажку только потому, что перед ним был его прежний начальник. А Елкину казалось очень обидным и то, что он сам рядовой, и то, что им командует его недавний подчиненный. Он все время обвинял командира в пристрастии и в грубости.

Во избежание осложнений Иван Иванович попросил, чтобы Елкина взяли из его взвода. Иван Фаддеевич согласился на это.

Теперь, шагая рядом с Елкиным и слушая его ворчание и жалобы, я сочувствовал Кийранену. Но, как бы то ни было, нытье Елкина не могло уменьшить радости от того, что наша уловка удалась и теперь несколько карателей отправились на тот свет.

Мы шли с небольшими остановками всю ночь. И только когда солнце уже высоко стояло над лесом, вышли на место стоянки. Отряда там не было. Мы пошли по следу.

Я разрешил взять каждому по два куска сахара и по одному сухарю.

Теперь, когда мы шли, нагруженные драгоценной кладью, по знакомому пути, можно было разговаривать.

— Знаешь ли ты, Лось, по каким местам мы сейчас идем? Сто лет назад сюда приходил ученый и поэт, сын сельского портного, Элиас Ленрот. Он записывал у стариков песни-руны, из которых сложилась поэма Калевала. В ней пелось о чудесной мельнице-самомолке Сампо. Это была мечта народа о счастье. Злая ведьма Лоухи хотела отнять это счастье у народа, и в жестокой битве разбилось чудесное Сампо, выкованное кузнецом Ильмариненом. Много рун записал Ленрот от древнего старика Кархунена, деда нашего комиссара. И когда в семнадцатом году весь народ поднялся на борьбу за свое счастье, за новое Сампо — советскую власть, — снова на него

в эти леса налетела злая, ненавистная ведьма Лоухи. Она опять захотела отнять у народа счастье, разбить его вновь обретенное Сампо. С кем только Лоухи не была связана: и с прусской военщиной, и с банкирами Уолл-стрита... Лоухи знала, что народ ее ненавидит, и хотела обмануть его, называя своих цепных собак именем героев Калевалы — Ильмариненом и Вейнемейненом. По тем самым местам, где сейчас идем мы, прошел рейд лыжного батальона. Он уничтожил штаб лже-Ильмаринена. Слышал, какие песни об этом походе поются? Видел, какие кинокартины поставлены?

— Видел, — отозвался Лось, — перед самой войной.

— И в эту же зиму финские лесорубы пришли нам на помощь в борьбе за Сампо против Лоухи. Они восстали в северных лесах Суоми. Их вели коммунисты. «Руки прочь от Советской России!» — сказали они. Они шли по тем же местам, где записана была Калевала, где бились лыжники Антикайнена, где сейчас мы сражаемся за народное счастье, за советскую власть, за Сампо. И среди них были отец и мать Ани — Эльвира Олави. Знаешь ее?.. И Лундстрем тоже.

— Какой Лундстрем? Полковник, который командует дивизией?

— Он. Только тогда он был, пожалуй, не старше меня и звания у него никакого не было. А когда эти лесорубы пришли в Ухту и осели в ней, организовав здесь, на севере, первую коммуну, самым первым их делом было найти на песчаных берегах озера сосну, под которой, по преданию, Ленрот записывал руны Калевалы. Они обнесли эту раскидистую сосну оградой и оберегали от всех бед. И молодежь под этой сосной пела новые песни о новом чудесном Сампо — о нашей советской власти, о счастье народа. Сейчас там пустынно. Этот берег и сосна обстреливаются вооруженными силами злой старухи Лоухи — немецкой артиллерией. Но мы на земле Калевалы, и мы сделаем все, чтобы скорее под этой сосной снова зазвенели веселые советские песни.

Елкин шел впереди, а мы двигались за ним по валежнику, перелезая через ветровал, перескакивая с кочки на кочку.

Мы догнали отряд в полдень, на привале. Товарищи ждали нас. Душа им рассказал обо всем.

Он ушел далеко от нас, когда услышал стрельбу. Но что она означает, не знал.

Комиссар решил ждать нас два часа, а затем, выслав на встречу двух разведчиков, тронулся дальше.

Но мы прибыли во-время.

Даша щипчиками вытаскивала пулю из раны Ямщикова. Он стоял, вытянув руку и закусив побелевшую губу.

— Вот, возьми на память! Вторая. Больше, кажется, нет. — Даша положила кусочек свинца в карман гимнастерки Ямщикова.

— Где Сережа? — спросил, преодолевая боль, Ямщиков. — Пусть теперь бреет меня. — И он улыбнулся Даше.

Нам помогли стащить с плеч мешки.

— Сейчас, Елкин, я тебе подорожник к потертому месту приложу, — хлопотала Даша.

Но пришлось прикладывать широкий лист подорожника к плечу Лося; у Елкина даже и красноты не было.

— Вот это тебе, Титов. От Ани... — Даша вытащила из кармана записку.

Бывают в жизни такие минуты, когда не знаешь, что сказать от нахлынувшей на тебя радости, и неловко обнаруживать ее перед окружающими.

Я отхожу в сторону и осторожно разворачиваю записку. Карандашные неровные строки, невыработавшийся, почти детский почерк.

Я стою под сосной, опершись на шелушащийся тоненький смолистый ствол, и читаю:

«Дорогой Коля! Может быть, мы никогда не встретимся. Вот почему я и пишу. Я тебя очень, очень люблю — и любила тебя всю жизнь. Еще в шестом классе, в школе, меня девочки дразнили тобою. Ты ко мне раньше хорошо относился, Коля. Я не понимаю, почему ты так резок со мной сейчас, почему всегда придираешься, не улыбнешься мне и не разговариваешь так просто, как раньше? Если я чем-нибудь виновата перед тобою — скажи. Я никогда не написала бы тебе этого письма, если бы не уходила на задание. Я не хочу, чтобы ты обо мне плохо думал. Если мы с Катей не вернемся, даже если вы ничего про нас не услышите, — все равно знайте, что мы вели себя как надо. Так вот и скажи моей маме, передай ей мой последний привет. Что еще сказать? Очень прошу тебя, не сердись на меня за это письмо и, если оно тебе не по душе, сразу же разорви его. Да и в самом деле, разве можно любить таких девушек? Мы ходим в штанах, в сапогах, ругаемся. И шаги, говорят, у нас теперь не женские, а размашистые, широкие, — ведь все время надо перемахивать через кочки и через кусты перешагивать. Так что, если мы встретимся, считай, что этого письма я вовсе не писала. Его нет, ладно? Прощай, дорогой мой. Анна».

Как я был счастлив в тот час! Прodelав с тяжелым грузом за плечами ночной переход по лесу, после боя, после всего, что нам довелось пережить, с мокрыми, зудящими от усталости по-

гами, с лицом, распухшим от комариных укусов, с глазами, слипающимися от бессонницы, зная, что впереди еще сотни и сотни километров, что Анна и Катя бредут по лесу и каждый час им угрожает гибель, — я все же был счастлив.

...Я заснул под кустами и, засыпая, не в силах был смахнуть со щеки комара. Но тут я почувствовал, как чья-то осторожная рука сняла комара и привычный, родной, слегка хриловатый голос произнес:

— Спи, спи, сынок.

Это был отец. И, засыпая, я чувствовал, что улыбаюсь, как улыбался в раннем детстве, когда он приходил с работы и останавливался перед лежанкой, на которой спали дети.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы шли еще трое суток по лесу, и снова у нас кончилась еда. Немного пришлось на каждого после того, как комиссар с математической точностью распределил поровну продукты между бойцами, — сухарей по пять штук на человека.

На дне моего мешка осталась одна только книжка — «Севастопольские рассказы». У Даши — «Тарас Бульба». Каждый из нас в поход брал по одной книжке, и в спокойной обстановке, на привалах мы обменивались ими. Партизанская библиотека.

Одно время казалось, что мы наконец оторвались от преследующих нас карателей. Но ночью опять раздалось гуденье моторов тяжелых самолетов. Они садились где-то неподалеку справа, на озере... Потом снова гудели моторы, и самолеты приземлялись где-то слева. Я за ночь насчитал девять посадок.

Шокшин говорит: одиннадцать.

Враги высаживали воздушные десанты, стремясь окружить нас.

Мы им стали поперек горла. И хотя отвлечь от фронта возможно больше вражеских сил и входило в нашу задачу, все же неприятно было слушать этот мрачный гул, этот хищный клекот железных птиц... А к вечеру, перед началом марша (шли ведь мы ночами, отдыхая днем), произошел тот случай, о котором не хочется писать.

Но так как я собирался писать только правду, то скрепя сердце напишу и об этом.

У Ниemi пропал сухарь. Он был очень опечален этой пропажей. Нахлобучив поглубже на самые глаза поярковую шляпу, он спросил своего соседа Елкина, не подобрал ли тот слу-

чайно кусочек сухаря. Елкин обругал Ниemi последними словами.

Горячность, с которой Елкин отпирался, показалась Ниemi подозрительной.

Намотав на ноги просушенные у костра портянки и водрузив на спину снова опустевший мешок, я готов был открывать шествие.

Боевое охранение уже ушло вперед с час назад.

Четверо бойцов подняли плащ-палатку, на которой лежал Иван Фаддеевич. Следом за ними должна была идти вторая сменная четверка. Носильщики менялись каждые полчаса.

Иван Иванович затапывал гаснущий огонек маленького костра. Комиссар давал последние наставления арьергарду, который уходил с места ночевки через час после нас.

Я стоял рядом с комиссаром, когда к нему подошел необычайно взволнованный Ниemi:

— Товарищ комиссар, несчастье!

— Говори!

— Елкина убили. Попала шальная пуля с самолета...

И снова мы шли по лесу.

Подошвы сапог наших стали тонкими, такими тонкими, что, мне кажется, я чувствовал ступней иголки опавшей хвои.

Большой переход на этот раз показался мне коротким, потому что я не мог избавиться от мыслей о себе, о друзьях, о Елкине...

Лось подошел ко мне. Некоторое время мы шли рядом молча.

— Видишь, Титов, — тихо сказал Лось, — душа у меня горит. Где Аня?..

Лось назвал Аню! Где она сейчас, Аня? Анна моя!

Дошла ли до наших или схвачена, расстреляна, и тело ее терзают лесные звери?

Когда она спорит или волнуется, то всегда хватает за руку собеседника. Раньше мне этот жест казался смешным, а теперь я мечтал о том, чтобы увидеть ее и чтобы в споре она снова крепко схватила меня за руку. Пальцы у нее длинные и сильные.

Опять пошел мелкий, проникающий во все поры дождь. Даша прикрывала Ивана Фаддеевича плащ-палаткой.

Душа все время шел за носилками командира для того, чтобы поддерживать дух Ивана Фаддеевича. Он то и дело вспоминал всякие случаи, происшествия, анекдоты в его цехе на «Красном Онежце».

— Привал! — пронеслась по цепи команда.

Мы остановились у подножия скалистой высоты, поросшей сосняком, и опустились на сырую землю. Отдых предстоял небольшой — всего час.

Иван Иванович с двумя бойцами отправлялся в разведку. Вскоре он вернулся взволнованный и прямо подошел к Кархунену, который в это время разговаривал с Иваном Фаддеевичем. Лицо у командира было воспалено.

У него был жар, и Даша не знала, что с ним. Она опасалась заражения крови.

Рядом с плащ-палаткой командира похрапывал, прислонившись спиной к сосне, Душа. Забинтованные руки висели у него на перевязи из веревок.

Иван Иванович с оживлением рассказывал:

— Я взобрался на самую высокую сосну, оглядывая окрестность, и увидел место нашего привала. Там сейчас большие костры и пламя пылает вовсю.

— Может, это разгорелся какой-нибудь из наших костров? — сказал Иван Фаддеевич.

— Нет, этого не может быть. Я проверил — все костры были разбросаны, и погода не такая, чтобы затушенному костру разгореться, — возразил комиссар. — Не иначе как каратели. Они вышли на место нашего привала и решили отдохнуть. Это они. Идут по следу.

Командир и комиссар замолчали...

— Идут сытые, неистощенные, — тихо сказал комиссар.

— Добавь еще, что они оставляют своих раненых, а не тащат их с собой. От моей плащ-палатки у ребят, поди, плечи натерты... Ну, да не в этом дело, — быстро перебивая самого себя, сказал Иван Фаддеевич. — В общем, все идет к тому, что они нападут на нас и прижмут к дороге. А если они все равно нападут, то не лучше ли сейчас же, не дожидаясь, опередить их, самым внезапно атаковать? Пусть мы и голодные, но зато инициатива наша.

Он обессилел и, замолчав, откинулся затылком на изголовье из хвои. На небритом его лице застревали росинки моросящего дождя. Опущенные веки были пересечены мелкими-мелкими морщинками.

— Я тоже так думаю, — сказал Кархунен. — Будем действовать... — И он провел ладонью по лбу, словно желая снять спелые колоски бровей. Утомленные глаза его казались еще синее, чем всегда.

Отдых был отменен.

Тем же путем, каким пришли сюда, мы отправлялись обратно.

Только «санчасть» теперь шла не в голове, а в хвосте отряда.

Предстояло окружить карателей на привале и истребить их. Я шел с первой группой — центральной, которой командовал Иван Иванович.

Другие слева и справа обходили поляну, которая еще недавно была нашей, а теперь стала вражеской.

Попрежнему моросил серый, непрерывный, мелкий дождь; по небу шли бесконечные, похожие на размытую тушь облака. Мы подползали к вражескому лагерю.

Слева от меня был Лось, справа — Шокшин. Я видел, как Жихарев неподалеку прилаживает у большого валуна пулемет, и страшно боялся, что его заметит вражеский часовой, который сидел около костра.

Рядом с часовым лежала ищейка.

Вот-вот она вострепнется, и тогда прощай внезапность!

Враги совсем обнаглели. Они шли по нашему следу, набрели на еще теплые уголья разбросанных костров и решили отдохнуть перед наступлением.

Может быть, они нарочно хотели замедлить темп своей погони, чтобы напасть, взаимодействуя с другими отрядами.

Во всяком случае, они были убеждены, что мы стремимся уйти от погони. У них и мысли не было, что мы можем напасть.

Я отлично видел, как солдаты спали вповалку около костров. Они были разуты, сапоги стояли рядом.

Около костров на воткнутых в землю ветках болтались портянки.

Часовой сидел к нам спиной.

Последний Час подполз ко мне и, толкнув в плечо, показал глазами влево. Я увидел, как в глубине рощицы, на широком валуне, финский радист раскладывал походную рацию.

Никогда мне не забыть, какой жадностью светились в эту минуту глаза Последнего Часа.

Мы подползли еще ближе.

В котелке, висевшем над одним из костров, варилась какая-то еда. Я чувствовал, как аппетитный запах щекочет мне ноздри. И вдруг собака забеспокоилась. Она вскочила на ноги, положила передние лапы на камень и стала перебирать ими.

Это была породистая тренированная ищейка, приученная к скрытому преследованию, приученная молча идти по следу. Вот эта-то выучка ее и спасала нас.

Собака волновалась, но некому было, кроме нас, обратить внимание на ее поведение.

Вдруг у самого близкого к нам костра, метрах в пятидесяти

от нас, какой-то человек вскочил на ноги и быстрыми шагами направился в нашу сторону. У меня даже сердце екнуло.

Это был офицер.

Впереди полз Лось. Он сразу же замер на месте, как, впрочем, и все мы.

Офицер остановился метрах в восьми от Лося, поеживаясь от сырости. И вдруг под локтем Лося громко хрустнул сухой сучок. Офицер выпрямился, быстро огляделся, заметил беспокойство собаки, поведившей острыми обрезанными ушами, повернулся и быстро побежал к костру. Еще одна секунда — и все пропало. Нет, не будет этого!

Я прицеливаюсь, но в этот момент раздается выстрел справа от меня. Я вижу, как Иван Иванович вскакивает с земли и, размахивая зажатой в руке гранатой, бежит к рухнувшему офицеру. Последний Час стреляет в радиста, — я это успеваю увидеть краем глаза в то мгновение, когда поднимаюсь, и, тоже размахивая гранатой, бегу к костру. Кто-то застрелил собаку.

Я швыряю гранату в группу солдат у ближайшего костра.

У других костров вскакивают полуодетые солдаты. Они хватаются за автоматы, винтовки и начинают ответную стрельбу.

— Ложись! — командует Иван Иванович.

Но и без его команды все наши уже лежат на земле.

Заработал пулемет Жихарева. Он бьет по кострам. Там приподнимаются и снова валятся солдаты.

— Ребята, ради бога, прошу, — вопит во весь голос Последний Час, — не дырявьте рации, не дырявьте рации!

В нашу сторону летят и, не долетая, рвутся немецкие ручные гранаты. «Психические», — называют их партизаны. Треску много, а толку мало.

Враги начинают отползать, они думают уйти от удара, но с флангов их встречает ожесточенная стрельба.

Это работают успевшие подойти наши обходные группы.

— Надо кончать, — говорит очутившийся рядом со мной Иван Иванович, — надо кончать, прежде чем им подмога будет. Кайки!

И он командует:

— Ура, вперед! В атаку! Бей фашистов!

Я слышу, как навстречу нам, с другой стороны, несется «ура». Среди голосов узнаю голоса отца и Души.

Мы поднимаемся и, перескакивая через кочки, напрямик бежим к последним кострам. Впрочем, сопротивления нам не оказывают.

С другой стороны лощины появляются партизаны.

Ниemi делает три насечки на ложе своей винтовки и торжествующе смотрит на меня. Понимаю. Счет открыт!

У камня, на котором стоит рация, уже возится Последний Час. Рядом сидит Кархунен. Поодаль Даша перевязывает раненых.

Душа низко склонился над плащ-палаткой Ивана Фаддеевича.

Ниemi подходит ко мне и с укоризной говорит:

— А сколько карателей все-таки скрылись, проскочили! Рано вы начали.

— Еще секунда — и было бы совсем поздно, — отвечаю я и подхожу к Ивану Ивановичу.

Он наклонился над убитым офицером и вытащил из кармана френча пачку документов. Но едва только прочитал первые строки, как выпрямился, вскочил на ноги и, торжествуя, закричал:

— Он! Я сразу узнал! Только боялся обознаться, а теперь ясно — он.

— Кто он?

— Арви! Жаль только, что убит. Не удалось мне поговорить с ним по душам. Он у меня в двадцать втором году сапоги снял. Я поклялся, что найду его хоть на краю земли и сниму с него сапоги. Вот он лежит — и кайки. Раньше у нас была одинаковая нога. Посмотрим. — И Иван Иванович стаскивает с ноги офицера сапог — рыжий, на толстой подошве, с загнутым носком, — затем снимает второй и, скинув свои истрепанные сапоги, надевает офицерские.

По улыбке, осеняющей его лицо, я понимаю, что сапоги пришлись впору.

— С Арви покончено. Теперь очередь за Эйно! — говорит он торжествуя.

Партизаны, окружившие Ивана Ивановича, смеются, щупают новые сапоги.

Каратели вынуждены были принять бой, не успев обуться. Сапоги их стоят около разметанных костров, некоторые съежились от огня и обгорели, другие продырявлены пулями, искорежены разрывами гранат. Мы ищем сапоги получше, чтобы сменить свою истершуюся обувь, но не так-то легко подобрать подходящую пару.

Мне этого так и не удалось сделать. Впрочем, и времени для этого не было. Меня позвал комиссар.

Шокшин докладывал ему:

— У нас убито два и легко ранено три человека. Шестьдесят семь неприятельских трупов.

— Это успех!.. — говорит Кархунен, и глаза его сияют. — После перерыва вновь налаживать такой радиоприемник очень приятно. — Он глядит на радиста и сдвигает пилотку на заты-

лок. — Впрочем, сейчас не успеем. На следующем привале. Нельзя задерживаться. Немедля вперед!

Во время боя я размотал всю катушку. Осталось патронов только на один диск. Надо взять трофейный автомат с запасом патронов. Я выбрал получше. Вижу, Сережа Жихарев вытаскивает из финского мешка продовольствие.

Другие делают то же самое.

— Был бы хороший пулеметчик, а продукты всегда найдутся. — говорит Ниemi, обращаясь к Сереже. — Где костер, там и жизнь, — продолжает он, — а где пюре, там и счастье.

Действительно, такая победа, как наша, — счастье. Особенно, если после этого можно подзакусить и отдохнуть.

Но в мешках у солдат продуктов очень мало, дневная порция. Значит, позади следует обоз.

Ко мне подходит Душа. В наступающей вечерней полумгле еще явственнее белеют бинты на его перевязанных руках.

— Беда, — тихо говорит он мне, — беда!

И, приблизив губы к моему уху, шепчет:

— Иван Фаддеевич опять ранен. Не мог удержаться, приподнялся посмотреть бой, и шальная пуля в живот.

— Не может быть! — Даже страшно подумать, что слова Ямщикова могут быть правдой.

Я поспешил к плащ-палатке Ивана Фаддеевича, над которой склонился комиссар.

— Я знаю, Василий, зачем ты пришел, — тихо сказал Иван Фаддеевич.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, Ваня? — удивился комиссар. Он и в самом деле не понимал.

— Так какой же ты тогда к чорту комиссар? Я ведь не маленький — не хитри. Жизни у меня и на полсуток не хватит. А идти надо быстро, очень быстро. Из-за меня идут медленно. Бегом такую тяжесть не понесешь. Раз уж я обречен, зачем же из-за меня других под удар ставить?

— Что ты! Что ты, Иван Фаддеевич! — Комиссар даже руками стал отмахиваться от того, что говорил командир.

— Неужто ты решил из-за двух-трех часов моей жизни других губить? Не думал я так плохо о тебе, Василий.

Тяжелый клубок подкатывается к моему горлу.

И сейчас, шаг за шагом вспоминая жизнь Ивана Фаддеевича, все его непрестанное, простое и мудрое служение Родине, народу своему, я хочу так жить и так умереть, как умер он.

— Я с тобой, Ваня, посоветоваться хочу, — сказал Кархунен. — По намеченному раньше маршруту мы должны пройти через шоссе на Каменное Поле. Но там нас, наверно, уже ждут. Можно избрать северный вариант: на Кузов-наволоку, — и

там нас у другого шоссе наверняка поджидают немецкие десантники. А если пойти прямо на восток, то можно не пересекать ни одной дороги. Надо только переправиться через Олень-озеро. Если мы с тобой думали, что это невозможно, то лахтари тем более так считают. Вот мне и кажется, что надо использовать этот шанс. Тогда мы пойдем напрямик и выйдем в расположение дивизии Лундстрема. Как ты посоветуешь, Иван Фаддеевич?

— Надо подумать. Я вот сегодня ночью не спал и все думал об оленях. В следующие походы обязательно нужно оленей с собой брать. Там, где пройдет человек, там и они пройдут. И всегда в отряде будет свежее мясо — его не надо на спине таскать. А про озеро я подумаю... — И он застонал.

— Иван Фаддеевич! — тихо позвал я.

Он не отвечал.

— Да отстаньте вы от человека! — рассердилась Даша. — Дайте хоть часок отдохнуть! Я даже не понимаю, как это он терпит!.. Отойдите подальше.

Даше хотелось плакать.

Отряд снова готовился к маршу.

Кархунен медленно поднялся с камня и дал знак. Партизаны подняли за четыре конца плащ-палатку и, стараясь не спотыкаться, понесли ее.

Отряд шел к Олень-озеру.

Попрежнему моросил дождик. Мы шли по темному лесу, ноги у нас промокли, гимнастерки и ватники — хоть выжимай. На шее у меня висел автомат, в заплочном мешке лежал ППШ. Передо мной с новой рацией на спине шагал Последний Час:

— Вот, Сынок, поработаем вовсю!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Три раза по радио мы сообщали в Беломорск, что хотим переправиться через Олень-озеро.

Эта переправа, особенно когда по следам идут враги, казалась рискованной, просто безнадежной, и в штабе думали, что легче переходить через два шоссе и выходить лобовой атакой на ожидающего нас противника. Два раза нам запрещали переправу и только в третий раз пошли на уступку и разрешили. В радиограмме сообщалось, что добытые нами документы получены. Мы просили прислать к месту нашего выхода на берег, около двух скал, самолет, чтобы забрать тяжело раненных.

Теперь, кроме Ивана Фаддеевича, нам приходилось нести, сменяясь, еще двух товарищей. У одного миной были оторваны

все пальцы на ноге; другой съел сразу все полученные сухари, на следующий день ему уже не хватило и он не мог идти от слабости. Пришлось нести и его, хотя почти у всех партизан опухли ноги. Каждый раненый и больной замедлял движение отряда.

Лицо Ивана Фаддеевича покрылось пятнами. Он часто закрывал глаза, и только когда несущие его товарищи спотыкались о кочки, тихо и протяжно стонал. Боль теперь не оставляла его ни на минуту. И при виде его страданий каждый утешал себя тем, что уже сегодня в госпитале в Беломорске первоклассными врачами, в прекрасных условиях командиру будет оказана настоящая помощь.

О положении на фронтах нам почему-то не сообщили. И Кархунен, и я, да и все другие только об этом думали.

И только мысль о том, что, выполняя приказ, в эти тяжкие для Родины дни мы на боевом посту, приносила утешение. В эту минуту вспоминались самые горячие схватки с врагом, в которых довелось участвовать. И с особенной яркостью вставали все ошибки, самые маленькие упущения. Из-за того, что Ниemi выстрелил раньше, чем надо, в тот раз белофиннам удалось уйти. Из-за того, что я, пройдя по тропе в разведке, не заметил мину, у товарища, шедшего за мной, была оторвана нога. От того... Да разве вспомнишь все! С каждой схваткой рука делается тверже, глаз острее, нервы крепче.

Я рад, что сейчас Аня не с нами; я хочу думать, что сейчас она в полной безопасности. Сегодня она, наверно, отлично пообедала: на первое щи, на второе гречневая каша с мясом, на третье компот из сушеных фруктов или стакан горячего какао. Я готов петь оттого, что она в полной безопасности и вечером может пойти на спектакль Театра музыкальной комедии. Для этого она пройдет два широких моста и на втором обязательно zalюбуется видом на взморье, на бревенчатые дома, в окнах которых сверкает расплавленное солнце.

Милая моя Аня! И я вспоминаю, как поешь ты русские песни, протяжные, лучше которых нет ничего на свете. Голос у тебя грудной, низкий, в школьном хоре ты была запевалой...

— Сынок, — подходит ко мне Даша, — тебя зовет Иван Фаддеевич.

Я быстро догнал носилки и пошел рядом с ними.

Стоял летний светлый вечер. Над нами малиновые облака и зеленое, как молодая трава, небо. Такое небо и не приснится — оно может быть только наяву.

И под этим высоким и сказочным небом на плащ-палатке покачивалось бледное лицо Ивана Фаддеевича с тонкими, иссохшими губами и глубоко запавшими глазами.

— Титов, — спросил он меня еле слышно, — по-честному скажи, какие новости с фронта? Не плутуй, как Василий, я ведь не маленький...

— Дела отличные! Немецкое наступление остановлено, фашисты отброшены назад и пока медленно, но отступают, — с отчаянием сказал я, зная, какие вести хочет услышать Иван Фаддеевич.

— Но почему ж Василий врет и говорит, что ничего не знает? Дай честное слово. Я знаю, ты честный парень.

— Честное слово! — говорю я и вижу, как затеплилась слабая улыбка в уголках пересохших губ.

— Спасибо, Сынок, — тихо, через силу говорит командир, — спасибо!

— Иван Фаддеевич, там, у озера, будет самолет, он доставит вас в Беломорск. Сам медицинский генерал сделает операцию, все будет в порядке.

— Нет, это не то, — попрежнему едва слышно говорит Иван Фаддеевич и морщится от боли. — Нет. Ты меня не перебивай. Федора повезет самолет... Я здесь останусь... Успокой Василия. Ты парень умный и поймешь, что не для того я от Посьета до Ухты на всех границах служил, в пустыне за басмачами охотился, товарищей из окружения в пургу выводил, чтобы бояться смерти в глаза смотреть. Потом, пойми же меня как следует... — Он стал говорить медленнее: — От каждого шага мне душу воротит. Уж лучше последние несколько часов полежу я в лесу, на сырой земле, в свое удовольствие. Будь человеком... — И, совсем обессилев, он закрыл глаза.

Я догнал Дашу.

— Будет жить Иван Фаддеевич? — строго спросил я у нее. — По-честному, по-комсомольски.

— По-комсомольски? — спросила Даша. — Ну, только тебе скажу. По-моему, сутки самое большое еще проживет...

— А чудо может быть?

— На то оно и чудо, что на него нельзя рассчитывать. Вот если бы полный покой, и то... А тут все время трясут.

Я остановился, пережидая, пока пройдут все партизаны. Шли они гуськом, длинной вереницей, растянувшись почти на час пути. Шокшин был последним. Он держал под руку бойца и говорил:

— Я сразу понял, когда в тот раз все брились, а ты не стал, что ослаб парень. От комаров не отмахивался. Ну вот, Титов возьмет у тебя трофейный автомат. Легче станет. Подумай, ты прошел уже три четверти пути. Идти-то осталось всего четверть. Придешь — героем будешь, отдохнешь. А побреешься — так и девушки на тебя заглядываться станут... Вот и

шагай! А ежели без приказа валиться спать будешь, то раз поднял, второй подниму с земли, а продолжать будешь — взыскание наложу.

И, помолчав, Леша добавил:

— Будь мужчиной! Знаешь, что говорил Антикайнен? Настоящий мужчина идет до тех пор, пока у него хватает сил; идет до тех пор, пока не упадет; после этого он поднимается и снова идет — и проходит еще вдвое больше.

Я взял у бойца автомат и положил к себе в мешок. Теперь там было два.

Мы с Шокшиным шли позади, а боец, кряхтя, прихрамывая и ворча, топал перед нами. Это был хороший боец, и сон, сваливающий его с ног, — неприятная случайность. Но тем злее были мы на него в ту минуту, потому что кому из нас не хотелось, забыв обо всех делах, упасть на землю и спать хотя бы час, полчаса, пять минут, минуточку... Земля так и манила к себе.

Потом я догнал Кархунена. Мы разговаривали с ним об Иване Фаддеевиче.

Здесь, на пути, как всегда, мы оставляли засаду. Часа через три отряд достигнет берега озера. Самолет будет к полночи. И комиссар решил облегчить муки Ивана Фаддеевича — оставить его здесь с засадой, пусть отдохнет от тряски. Когда самолет придет, будет пущено несколько ракет, и тогда уже отдохнувшего командира принесут те, кто с ним останется.

А если самолет не прилетит, пусть партизаны рано утром принесут Ивана Фаддеевича к берегу, и там их будет ждать смена. Место встречи — на берегу озера, у старой лесной рыбачьей избушки.

Отряд уходил к озеру. Здесь же, в лесу, рядом с плащ-палаткой, на которой мучился Иван Фаддеевич, остались Лось, Ниemi, Иван Иванович и я.

Мешки мы сняли и передали другим, а патронов и гранат нам оставили усиленную порцию.

Даша долго давала наставления Ивану Ивановичу, как надо обращаться с раненым, а потом, даже не попрощавшись ни с командиром, ни с нами, махнула рукой и пошла прочь.

— Ну, Вася, желаю успеха, — тихо сказал Иван Фаддеевич склонившемуся над ним комиссару.

Кархунен бережно взял его руку в свою.

— Хорошо жили мы с тобой, — задумчиво произнес Иван Фаддеевич, — хорошо будет и вспоминать. Плохое-то оно скоро забудется, а вот хорошее — нет.

Я стоял рядом и видел его бессильную, замирающую улыбку. И был он мне в эту минуту дорог, как родной отец.

Кархунен осторожно положил руку Ивана Фаддеевича на плащ-палатку.

— Ну, прощай! — сказал он и встал.

Ему очень хотелось на прощанье поцеловать товарища, но он не сделал этого: Иван Фаддеевич решил бы, что комиссар считает его смерть неизбежной.

— Ну, прощай! — повторил Василий. Он хотел еще что-то сказать нам, но раздумал и медленно, вперевалку пошел по тропе.

Следовало бы идти врассыпную, чтобы не оставлять дорожки, но тогда движение отряда замедлилось бы и тот, кто слаб, мог потеряться.

Мы остались одни с Иваном Фаддеевичем в вечернем лесу, в засаде у свежей тропы. Каждый нашел для себя бугорок, камень или кочку и быстро стал приспособливать их, чтобы, лежа за ними, удобнее обороняться. Копать ячейки было нельзя: сразу же проступала ржавая болотная вода.

— Сынок! — тихо позвал меня Иван Фаддеевич.

Он лежал на спине, и глаза его были устремлены на ветви, густой сетью закрывавшие небо.

— Вот, Сынок, — сказал Иван Фаддеевич, — у тебя завтра день рождения. Возьми мою финку!.. Что же ты, не хочешь от меня подарка брать?..

Для меня самым большим подарком было то, что сейчас он вспомнил о моем дне рождения. И от этого еще тяжелее было снимать с цепочки его финку. Но чтобы не обижать раненого, я снял нож.

Я уже говорил, что это была чудесная вещь: ножны лопарской работы из оленьего меха, а на плоском лезвии выгравировано скорописью: «Мертвые не кусаются».

— Эта надпись касается только врагов наших, — промолвил мне командир. — Ты помни, Сынок, не про нас она. Мы и мертвые должны кусаться. Вот! Что ж даже спасибо не говоришь?..

— Спасибо, Иван Фаддеевич, спасибо, и не только за нож...

Но я не успел высказать Ивану Фаддеевичу, что теснилось в моем сердце, — трижды прокуковал Иван Иванович.

Это был сигнал тревоги.

Мы знали, что враги преследуют нас, но никто даже и не предполагал, что их головная группа находится всего в одном часе ходьбы от отряда. Теперь же, сначала услышав треск ломающихся под ногами солдат сучьев, мы вскоре увидели и их самих.

И по треску, с которым они приближались, и по тому, как

озирались по сторонам, сразу можно было понять, что перед нами на этот раз немцы.

Их было около двух десятков.

— Ку-ку!

И мы дали первый залп.

Сразу же все солдаты попадали на землю. Поди-ка разбери, кто уничтожен, а кто просто лег. Что не все убиты, можно было понять хотя бы по той отчаянной, неприцельной стрельбе, которую они вели. Били они главным образом по веткам, по вершинам — вероятно, потому, что там отыскивали кушку-снайпера.

Как бы то ни было, но пули их чиркали по стволам деревьев, царапая кору высоко над головами.

Рядом со мной упала срезанная пулей ветка.

— Титов, дай мне автомат! — вдруг приказал Иван Фаддеевич. Он сам перевернулся и лежал теперь на правом боку. — Дай автомат! — снова приказал он.

Ослушаться его было невозможно.

Я вытащил из мешка свой ППШ, а Лось и Иван Иванович подбросили патронов. Я набил диск и передал Ивану Фаддеевичу заряженный автомат.

Это заняло всего минут пять, во время которых немцы почему зря расходовали свои патроны. Мы не отвечали, и наше молчание пугало немцев.

— Командовать буду я! — сказал Иван Фаддеевич. Лицо его было искажено болью. — Командовать буду я! — повторил он.

И я передал это Лосю, а Иван Иванович, лежавший справа от командира, передал Ниemi.

И тогда Иван Фаддеевич сказал мне:

— Я принимаю на себя удар. Кийранен и Ниemi пусть обходят справа и ударят с тыла по фрицам, а ты, Сынок, и Лось заходите слева и тоже бейте сзади. Мы их всех уничтожим.

— Я остаюсь с вами, — сказал я.

— Дай гранату и исполняй! — услышал я прежний грозный голос командира.

Сняв с пояса, я передал ему две гранаты.

Подняться на ноги у него не было сил.

— Исполняй приказ! — резко повторил он.

Наверно, из-за волнения во время боя я мало запоминаю то, что делается вокруг, и поэтому не могу описать эту ночную схватку. Ведь когда мы отползали назад, обходили с фланга и заходили в тыл немецкой группе, все мои мысли были около Ивана Фаддеевича, который лежал на плащ-палатке, один в

темном лесу. Мы слышали, как он начал редкими выстрелами отвечать врагам, отвлекая их на себя. Тут и мы открыли по немцам огонь в спину.

Они этого не ожидали. Заметались...

Потом, по силе огня сообразив, что единственный их шанс — прорваться вперед, они с криками устремились на Ивана Фаддеевича. Мы сразу всё поняли.

— Идем! Быстрее! — сказал мне Лось, вставая во весь рост.

Мы устремились вперед, стреляя в немцев сзади. Нас поддерживали огнем Иван Иванович и Ниemi. Но мы были слишком далеко от плащ-палатки. Мы не могли успеть.

Немцы бежали прямо на Ивана Фаддеевича.

Они были уже в нескольких шагах от него, и тут я увидел вспышку пламени и услышал грохот взрыва.

Не оглядываясь, не оберегаясь, Лось бежал прямо к Ивану Фаддеевичу.

Рядом с телом Ивана Фаддеевича лежали четыре эсэсовца. Остальные бежали.

И снова в лесу стало тихо-тихо, как будто не было только что схватки и этого взрыва. Но все это было! Вот она, разорванная в клочья, пропитанная кровью плащ-палатка, и окровавленное тело командира.

Я снял пилотку и обнажил голову.

Долго стоял я в немом оцепенении.

Ниemi обходил место боя, считая убитых. Я тоже считал — семнадцать.

Теперь отряд может быть сутки спокоен. Опасаясь засады, враги не пойдут по следам, будут ждать нас на дорогах.

— Прощай, Иван Фаддеевич! — сказал Лось, и, оторвав кусок плащ-палатки, положил его в карман.

Мы прикрыли тело командира хвоей и мохом.

— Пошли! — скомандовал Иван Иванович.

И мы двинулись в путь.

Лес стоял мрачный, казалось ко всему равнодушный.

Лось тихо заговорил:

— На подлёдном лове мы промышляли однажды. Ветер поднялся. Оторвал нашу льдину от припая и понес в открытое море. Не верили, что спасемся. А все ж легче было... Эх, Иван Фаддеевич!.. — Лось замолчал. До утра он больше не проронил ни слова.

...Сквозь лесные заросли блеснуло долгожданное Олень-озеро. Вот оно какое, наше спасение или гибель, — широкое-широкое! А противоположный берег далеко... Здесь, в этом месте, не переправишься.

Подступавшие вплотную к воде деревья густого леса отражались в ровной, словно лакированной глади озера. Казалось, в опрокинутом отражении каждого дерева, несмотря на наступающую полутьму, можно было различить каждую отдельную веточку, каждую хвоинку, каждый замерший в вечерней тишине листик.

Отражение облаков в глубине озерной глади было еще причудливее и прекраснее, чем сами облака. Вокруг — тишина. Только где-то слышались тоненькие птичьи голоски. Высокая трава стояла выпрямившись, и на воде, среди этой травы, мерцали голубые звезды. Хотелось петь, видя такую красоту, и плакать.

Иван Фаддеевич никогда больше не увидит этот мир...

— Титов, что это была за стрельба? — спросил обеспокоенный комиссар, выходя из-за камня.

Итак, мы вышли на условленное место.

Я рассказал комиссару все.

Он стоял с окаменевшим лицом, строгий, и так смотрел на нас, словно мы были во всем виноваты.

Он хотел что-то сказать, потом передумал и, наклонив голову, тяжело вздохнул. Раздалось отдаленное приближающееся гудение самолета.

Я взглянул на часы.

На этот раз самолет не опаздывал.

В воздух взметнулись и рассыпались там искрами три малиновые ракеты.

Мотор заглох: самолет шел на посадку. Круг над озером. Второй круг, пониже и поменьше, и вот уже самолет, отражаясь в озере, пролетает над лунной дорожкой. Вот коснулся поплавками озерного зеркала, и зарыбила вода. Круги, расширяясь, побежали к берегу. И точно, как было условлено, всего в нескольких метрах от большой гладкой скалы, самолет остановился.

В берег плеснула волна, и снова все стало тихо.

Было самое темное время суток.

Маленькая резиновая лодка быстро отделилась от самолета и, всплескивая веслами, пошла к берегу.

Три-четыре взмаха весла, и, раздвинув прибрежную высокую траву, нос лодки коснулся берега. Несколько партизан метнулись навстречу.

Черная в ночном свете луны фигура выскочила из лодки на берег.

— Стой! — приказал комиссар. — Каждый действует так, как было условлено. Раненых на самолет.

Шокшин и еще один боец стали вытаскивать из лодки не-

большие свертки. Даша бережно положила раненого в лодку, и отец, управляя одним веслом, повел ее к самолету.

Я подошел к берегу, остановился рядом с прилетевшим товарищем.

— Вторым на самолет — Николаева, — распорядился комиссар.

— Но ведь там всего два места. Ивана Фаддеевича надо, — внезапно женским голосом произнес прибывший на самолете человек.

Это, вероятно, была медсестра госпиталя.

— Ивана Фаддеевича больше нет, — тихо и строго сказал Кархунен.

— Ивана Фаддеевича? Этого не может быть!

Голос показался мне очень знакомым.

— Аня, Аня, — сказал Иван Иванович, — комиссар говорит правду.

И как это он раньше, чем я, понял, что перед нами стоит Аня? А говорят еще, что сердце — вещун. Правда, она стояла спиной к месяцу и лицо ее было во тьме. Правда, мысли мои были сейчас в лесу, у изодранной плащ-палатки.

— Аня! — Я подошел к ней. Мне очень хотелось обнять ее, прижать к своей груди и сказать все ласковые слова, какие я знал. Но на нас смотрели несколько человек, и поэтому я только подошел к ней поближе и сказал: — Как же это?

— Меня сюда не пускали. Я настояла. Даше без меня трудно. Одним словом, Даша, я бинты привезла и марганцовки... Последний Час, я тебе «басы» достала, полный комплект... Ребята, вам табачку!

Тут Аня сама обняла меня и при всех поцеловала в губы... Она держала меня за руку крепкими пальцами, сильно сжимая мою ладонь, как делала всегда, когда волновалась.

Отец перевез на самолет второго раненого. Мотор ревом разорвал глухую тишину лесного озера. Побежали круги и накатывались волной на песчаный берег. Самолет оторвался от озера, взмыл вверх и скрылся из глаз.

— Иван Фаддеевич, Иван Фаддеевич... — вдруг прошептала Аня и закрыла лицо руками.

Я отвел ее руки от лица.

Влажные глаза Ани блеснули при лунном свете. Где-то опять пищали лесные и болотные птицы, завел свою песню северный соловей...

— Иван Фаддеевич, Иван Фаддеевич... И Катя, Катя... — прошептала, с трудом сдерживая рыдания, Аня.

— Что ты говоришь?.. Не может быть!

— Может, — так же тихо сказала Аня. — Может...

В кармане моей гимнастерки — вчетверо сложенная бумажка с неровными краями, и на ней карандашом написано Катино заявление...



Мы собрались около лесной избушки.

На повестке заявление Кати, то, которое она, торопясь, сунула мне в руку перед уходом на задание.

Скоро рассвет, но было еще темно, и выражение лиц обступивших меня людей я скорее угадывал, чем видел. Зато голоса получили какую-то большую выразительность. Я рассказал про последние минуты жизни Ивана Фаддеевича, а затем при свете спички прочитал Катино заявление.

Все слушали молча.

— Здесь приложены рекомендации Сережи Жихарева и Ани, которые учились с ней в одном классе.

И тогда начала говорить Аня. Говорила она, волнуясь, сбиваясь и то замедляя свой рассказ, то торопясь. Звонкий, искренний голос ее до глубины души трогал каждого. И все мы слушали, затаив дыхание, не проронив ни единого слова.

— Шли мы по лесу два дня. Все хорошо было. Ночью в темноте через реку переплыли. Вода холодная. Река быстрая-быстрая. Дальше пошли. Напрямик решили — через деревню. В обход бы всю ночь потратить надо — там ведь большущее болото. Неделю назад деревня пустая была — ни жителей, ни солдат. А теперь, как назло, финский гарнизон оказался. Идем по задам, мимо бань, у самой речки, и вдруг голос: «Стой!» Упали мы на землю. Затаились. Часовой в воздух выстрелил, потом засвистел. Слышно, как двери в избах захлопали. Фонарики замелькали. Люди с винтовками бегут. Беда! «Ползем, — говорю, — Катя, обратно!» А она мне в ответ шепчет: «Теперь ничего не выйдет... Обнаружили нас. Весь лес, сволочи, обыщут. Ты ползи назад, а я навстречу им выйду...» — «Катенька, — говорю, — давай вместе уходить». — «Вместе — обеим погибать, — отвечает она, — а так ты, может быть, выйдешь, пакеты доставишь... У тебя бумаги...»

У Ани перехватило дыхание. Она остановилась, оглядела нас, вздохнула поглубже и продолжала:

— А солдаты все ближе и ближе. Слышу — собаки забрежали... Катя говорит мне: «Партизанскую присягу помнишь? Я старшей назначена. Приказываю: уходи. Исполни приказ!» И так это говорит она, что не могу я ей перечить, не могу ослушаться. Поползла я за баньку, к самой воде, на другой берег обратно переплывать. А Катя поднялась во весь рост, запе-

ла и с песней навстречу лахтарям пошла. «Стой! — кричат ей оттуда. — Стрелять будем!» Там шум начался. А я уже на другой берег переплыла, по лесу вглубь пробираюсь... Задержала она лахтарей... Потом, уже в отдалении, слышу один взрыв, другой. Это Катя себя и солдат гранатами подорвала... Так у нас еще раньше было условлено, в пути на всякий случай сговорились, чтобы живыми в руки не даваться. Тут остановилась я, пакеты ощупала — на месте. И, знаете, нехорошо так стало... Зубы дробь выбивают, а душу жжет. Потом начался дождь. И я, с компасом на руке, пошла на восток. Комары замучили. Вся ветками исхлесталась... К вечеру встретила меня наша разведка и доставила на место...

Аня замолчала.

У меня щипало в горле. Я никак не мог представить себе, что Кати, этого круглого, смешливого и живого медвежонка, нет в живых.

— Ты, Дашенька, не плачь, не плачь! — обратилась Аня к Даше, у которой дрожали плечи от сдерживаемого рыдания. — Мы не будем спокойны, пока ходят еще в наших лесах и по нашей земле враги, пока гибнут такие люди, как Катя!..

Мы приняли Катю в комсомол.

Я закрыл собрание.

— Ну, а теперь все, за исключением часовых, пусть отдыхают, — приказал комиссар.

Он подошел к Ане:

— Расскажи мне всю правду: что на фронте? Какие успехи? Только чистую правду выкладывай!

— Только чистую правду, — сказала Аня, в первый раз сегодня улыбнулась и взяла за руку комиссара, — чистую правду. Самую что ни на есть... Орел взят нашими войсками! Да, да! Наступление немецкое отбито. Наши наступают... Летом! Вот и всё... Впрочем, вот... — Она вытащила из кармана несколько номеров «Правды» и «Ленинского знамени». — Здесь и приказ есть и последние сводки. На нашем фронте наступает Лундстрем... И с успехом.

Словно какой-то тяжелый камень упал у меня с души. Значит, я не врал Ивану Фаддеевичу!

Наша армия наступает летом.

Взорванный нами мост — как раз на той дороге, которая ведет к дивизии Лундстрема. Враги не могут подбросить своим ни боеприпасов, ни техники. Ведь и в этом последнем походе за каждого погибшего нашего товарища мы взяли по двадцать неприятельских жизней.

Вместе с комиссаром мы идем к лесной избушке. Рядом со мной Аня. Приходим в штаб отряда.

— Почему ж ты мне сразу этого не сообщила? Я бы на собрании сказал — всем стало бы легче...

— Растерялась... Вышла я, как вы наметили, в бывшее расположение дивизии. Доставили меня на машине к Лундстрему — он старый мамин друг. Сначала он меня не узнал, а потом малиной отпаивал и на самолете отправил в Беломорск... Да, чуть не забыла передать, — вдруг вспомнила Аня и стала расстегивать кармашек гимнастерки: — Тут записка от Щеткина, от летчика. Обязательно просил передать. Он шлет вам боевой привет, самые лучшие пожелания и очень-очень извиняется за то, что в прошлый раз так ругал нас. А там, на Большой земле, когда рация наша перестала работать, горевали, что отряд погиб. Так вот... Потом бревна начали приходить — сплав. Все поняли, что живем, действуем, боремся. Радости сколько было! Лесозаводу в самый раз этот сплав был, а то уж его останавливать хотели — не было сырья... Ну, а вы нашли тогда мешки с продуктами Щеткина? — Это она уже спрашивала меня.

— Нашли. Только вот Ямщикову обе руки продырявили...

— Ничего, заживут, — сказала подошедшая к нам Даша. — Это ты, Аня, отлично придумала: бинты и марганцовки привезти, а то, знаешь, зудят раны. Ты подумай: бинтов нет, портянки стираем и ими бинтуем.

Комиссар вошел в избушку. Девушки сели на пороге.

— Первый раз в жизни на аэроплане летела! — по-детски похвалилась Аня перед подругой.

— А я и не летала еще никогда.

— Я вчера в театре была!..

Они еще с полчаса говорили о своих делах.

Я сидел на трухлявом пне неподалеку от них, слышал их голоса и, не вникая в смысл слов, был весь полон ощущением счастья оттого, что рядом, в нескольких шагах, — Аня. Я знал: она тоже счастлива оттого, что вот здесь, в лесу, на берегу озера, в нескольких шагах от нее, сижу я.

Потом девушки ушли к раненым — они должны были спать около своих пациентов. Я остался один, смотрел на озеро. Видал, как постепенно разгоралось небо и бледнел месяц, как становились розовыми верхушки деревьев.

Я слышал, как сначала птицы замолкли, а затем, после передышки, зазвенели снова их голоса. Плеснула в воде рыба. Мне было очень горько и очень хорошо в ту ночь и не хотелось спать... Подошел отец:

— Ну, сынок, поздравляю тебя с днем рождения!

— Папа, — сказал я, — я женюсь! Как только кончится этот поход, я женюсь. Ты знаешь, на ком?

— Знаю. Раньше, чем ты сам об этом знал.

— Только я тебя очень прошу: об этом ни слова. Она сама еще не знает об этом.

— Конечно, не скажу никому, — усмехнулся себе в усы и бороду отец. — Никому! Тем более, что и она меня тоже просила никому не говорить, — еще перед тем, как ты уходил мост взрывать.

Он раскурил трубку и пошел дальше, обходя ночное наше становище. А я, сидя на пне, так и заснул, и уже не помню, как улегся на плащ-палатке между корнями огромной сосны.

Может быть, это отец или товарищи сонного меня устроили? Не знаю. Я спал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Проснулся я оттого, что рядом кто-то смеялся. С тех пор как был ранен Душа, у нас никто не смеялся. А сейчас я сквозь сон узнал голос Ани, и вторили ее смеху комиссар, отец, Шокшин и Даша.

Я быстро вскочил и, как водится, протянул руку за сапогами. Левый сапог лежал рядом со мной на палатке, правого не было. Все снова расхохотались.

«Чего им весело?» — недовольно подумал я, воображая, что это смеются надо мной. Но тут я увидел отца.

Сидя на пне, он ловко подбивал подметку к моему сапогу. Во рту, как заправский сапожник, отец держал горсточку мелких гвоздиков. Они были сделаны из трофейного провода.

— Да не смешите же вы меня! — сказал отец, выплюнув все гвозди себе на ладонь.

Оказалось, все смеялись Аниному рассказу о том, как смутился летчик, узнав, что партизаны слышали его ругань с воздуха и среди них были девушки. Он долго и забавно просил Аню передать его извинения всем партизанам.

— Да ничего, переживем, — утешала его Аня.

Я был раздосадован и ничего не понимал.

Очевидно, я проспал подъем, и сейчас не меньше одиннадцати часов утра. Отражение солнца дробилось в озере и резало своим блеском глаза. Но тогда непонятно, почему меня никто не разбудил, почему мы находимся на старом месте. Ведь переправа намечена севернее, там, где ширина озера всего километр, а не три, как здесь.

— Что случилось? — с этим вопросом я вскочил на ноги.

— А ничего особенного, готовлю подарок тебе по случаю дня рождения, — отозвался отец и снова стал забивать гвозди рукояткой финского ножа.

— Там, у переправы, обнаружены лахтари, несколько человек с пулеметом, — ответил мне комиссар. — Если они нас задержат, могут подоспеть карательные отряды, и тогда...

— Мы и заказали помощь. Пусть самолеты разбомбят эту группу. Боевое охранение у нас выставлено. А пока, раз свободный часок выдался, решили как следует отметить день твоего рождения. Не каждый день человеку двадцать один год исполняется.

Лось стоял на камешке у самого берега, далеко в озеро закинув лески.

И снова было разостлано вышитое петушками Анино полотенце, словно она никуда не уходила, и снова место около ее положенного на землю рюкзака было самым уютным во всем лесу.

Кархунен что-то выжимал из тряпочки в подставленную Аней голубенькую чашку. Туда падали прозрачные зеленоватые капли.

— Откуда у тебя «жми-дави»? — спросил я.

Так называли мы сухой спирт, который выдается для того, чтобы под дождем на болоте или на снегу легче было развести костер и подогреть пищу. Но, могу поручиться головой, никто из нас не употреблял сухой спирт по назначению.

— Весь поход берег. Пригодится для тоста, — сказал Кархунен.

— Да и мой подарок скоро будет готов, — промолвил отец, подбивая подметку. — Так вот я и говорю, — продолжал он свой рассказ, — отец или мать — это земля, а не небо. Было раз так: идет мужик по дороге, в совсем что ни на есть рваных сапогах. То-есть, по правде говоря, одни только у него голенища остались, а насчет подметок, так от них и следа нет, ну как есть одно голое место. И вот небо смотрит и говорит: «Мужик в сапогах идет. Мужик в ладных сапогах идет». Так ему сверху видно. А земля отвечает: «Мужик совсем босой идет». Так она, земля, чувствует. На нее ведь ступня становится, а какой сверху форс наведен, так земле до этого дела нет, да и не видать. Вот и заспорили. Небо говорит: «Обут мужик». Земля отвечает: «Врешь, босой». Так и родительское сердце, оно, как земля, вернее... Ну, а как твое снадобье из ягеля, скоро будет готово? — вдруг обратился он к Шокшину.

— Олени одним ягелем питаются, — сказал Шокшин, — а какие красивые и сильные. В Швеции раньше из ягеля сладости делали, попросту говоря — патоку гнали. Так что ж вы думаете, нельзя из него простое блюдо приготовить?

— А почему в Швеции перестали гнать патоку? — заинтересовавшись, спросил комиссар. Он не упускал случая узнать какую-нибудь хозяйственную подробность.

— Не хватало на большую фабричную установку, далеко было везти, нерентабельно. Но в небольшом хозяйстве вполне оправдывает себя... А с праздничным обедом так обстоит. Надо ягель отмочить — часа два. Сделано. Воду отлил, новую налил. С золой второй раз прокипятит. — И он, сняв котелок с огня, слил воду. — Теперь надо отмыть золу.

Шокшин, засучив рукава, принялся за дело:

— Когда отмою золу, тогда все в порядке, полный налив. Можно прокипятить и есть вволю. Чудесное блюдо. Только теперь надо варить в соленой воде... У кого, ребята, хоть щепотка соли осталась?

Я первый раз в жизни видел его таким оживленным. Но ни у кого не было соли.

— На вот, возьми, — сказал отец и, отложив в сторону сапог, вытащил из своего пустого заплечного мешка маленький белый мешочек, меньше кисета.

Мешочек этот был совершенно пуст.

— Здесь соль была, — продолжал он с сокрушением. — Ничего не осталось, но мешочек-то сам насквозь просолился. Брось в котелок, пусть выварится.

— И то правда, — согласился Шокшин и бросил в котелок мешочек из-под соли.

— Ну, такой стряпни я не стану есть! — сказала Аня.

— Еще бы! В Беломорске побывала, — проговорил Душа.

Он сидел в тени лесной избушки рядом с Аней и с жадностью поглядывал на котелок. А Шокшин, щуря глаза, мешая ножом в котелке, попрежнему разглагольствовал, и я был рад этому, потому что все слушали его и я спокойно мог разглядывать лицо Ани. Красненькое пятнышко от укуса комара на щеке было трогательно, а глаза, немного запавшие от усталости, стали еще синее, и она тоже смотрела на меня. И мне, считавшему себя матерым волком, смутить которого вряд ли что могло, неловко было, что я так долго сижу перед нею в одном сапоге и нога у меня грязноватая.

— Вот, товарищи, — говорил Шокшин, — представим себе на минутку, что война уже кончилась и что мы всей компанией попали в Москву и в первый же день зашли в ресторан «Метрополь». Как вы думаете, что я заказываю из порционных блюд?

— Шашлык! — восторженно отозвался Душа.

— Ан нет, не шашлык! — торжествующе ответил Шокшин. — И не пельмени, как я вижу, хочется Даше. И не куле-

бляку с рыбой, и не кашу. На первый раз спросим повара: «А сочни из муки на камешке, на солнце печь умеете?» — «Нет, не умею...» — «Приготовьте нам обыкновенную партизанскую болтушку... Ах, вы не знаете? Ну, тогда мы вас научим. Обыкновенная вода, из родника или ручья проточного, муки сыплете по вкусу, то-есть по наличию в мешках, и болтаете ложкой, поварешкой, чумичкой, финкой — чем хотите, а потом снимаете с огня, вот и все. Вкуснее этого блюда в мире не бывает. Платите за науку!»

— Все равно никогда, нигде и ни в каком ресторане, даже в Москве, никто не ел такой вкусной болтушки, как мы здесь. Хоть бы сегодня вместо твоего ягельного студня была болтушка, — мечтательно произнесла Даша.

Веснушек сегодня у нее на лице было больше, чем обычно.

— Да, — задумчиво продолжала она, — когда-нибудь мы будем вспоминать поход, бой на высотке, Олень-озеро. И как ты прилетела... Знаешь, Аня, когда мы будем с тобой бабушками, сядем на лавочке и станем припоминать, как по лесам ходили. И, пожалуй, не только внуки, дочери нам не поверят. Вычитали, скажут, старухи из каких-нибудь книжек, вот и размечтались. А ведь странно как-то подумать, Аня, что не всегда мы будем комсомолками. Красивая ты будешь старуха. И внучек твой, я уверена, будет так на Колю Титова походить, что даже прадед и тот ошибется... Право слово, Отец.

Но отец не ответил ей, и тогда она взглянула на меня, на Аню и засмеялась:

— Ну, почему ты краснеешь, Коля? Почему?

Аня тоже покраснела вся до корней волос, и даже пятнышко комариного укуса стало незаметным.

Я готов был растерзать на месте Дашу за эти слова, и вместе с тем было в них что-то для меня очень приятное и радостное, в чем совестно было признаться. Как будто и в самом деле прошло много лет, и то, что сейчас происходит у лесной избушки, уже только воспоминание, далекое воспоминание.

— А и впрямь, Даша, не поверят нам, — сказала Аня, справившись со смущением. — Ведь вот мама бывало рассказывала и про восстание лесорубов, и как отец в бане у них с товарищем прятался — оружие принимал, и как по льду озера, по лесам она вместе с Хелли и Нанни в Советский Союз пробиралась, — а я стою, слушаю и верю и не верю ей. Уж очень все это невероятным казалось. Не вязалось как-то: телята там, подойники — и вдруг такое, о чем только в книжках читаешь. Мама, папа — и вдруг герои. В младших классах я иногда завидовала ей. Чего только она не видела! Чего толь-

ко пережить ей не пришлось!.. Но и тогда думала, что такие вещи только очень давно, до моего рождения происходили. А у меня жизнь будет простая, ровная. Вот десять классов окончу. Потом инженером стану. Семью заведу... Выстрелов я очень боялась. Не то что Нанни. Я ведь в грозу от грома и молнии под кровать пряталась... Нет, не поверят нам дочери. Когда рассказываешь, все это получается очень невероятно, а на самом деле просто все... Только уж очень горько терять подруг.

— Ну, готово! — воскликнул Кархунен. — Все выжато. За здоровье именинника!

И он поднес мне голубенькую фарфоровую чашку, наполненную спиртом.

— Эх, хороша чашечка! — прибавил он и сочувственно крикнул.

— Это мой подарок Титову сегодня по случаю... — сказала Аня.

— По случаю чего? — вдруг лукаво спросил отец, откладывая в сторону починенный сапог с толстой, добротной новой подошвой.

— По случаю... — запнулась немного Аня. — По случаю дня рождения сына вашего, — быстро добавила она.

И все стоявшие рядом засмеялись.

— Надо по кругу пустить, как водилось в старину. — И я поднес чашечку отцу.

Он ладонью развел мохнатые усы, погладил бороду, отпил глоток вонючей, обжигающей горло жидкости и, передавая чашечку комиссару, сказал:

— Выпьем за то, чтобы снова было то, что было.

— Еще лучше будет! — убежденно сказал Шокшин.

Мне тоже казалось, что будет еще лучше, чем было.

— Оно-то лучше будет, да многих не будет из тех, кто жить достоин. А без них и душа моя радоваться так не может, — тихо сказал Кархунен.

Аня вздохнула:

— А если бы войны не было, я бы теперь в десятом классе училась, кончила бы школу. Вот хорошо было бы! Ай, девушки! — вдруг сказала она совсем как школьница и смутилась.

И было в ее словах столько непосредственности, такое предчувствие счастья впереди, что каждый, припомнив свое самое затаенное, замолчал.

И опять молчание прервал Шокшин:

— Эх, какую бы сейчас пятилетку ворочали. А?! Ведь у нас в Карелии все есть: и лес, и железо, и даже мрамор на дворцы и памятники. А бумажные фабрики сейчас бы на полный ход работали. На весь Советский Союз бумаги. Кондопо-

га, Сегежа, Ляскеля! Какую хочешь книгу пойдёшь в магазин и купи. Не так ли, Даша? Вот бы твоей душе раздолье. Кто здесь из работников прилавка? Бумаги на завертку всегда хватило бы. А энергия электрическая? В Донбассе наш крепёжный лес хвалили. А у нас в районе такой стадион был бы! — И он прищурился, представляя себе этот стадион.

Вдруг комиссар встал.

— Сынок, обуйся, — улыбаясь, сказал он. — Сматывай удочки... Лось, уши сегодня не будет. Подъём! Поход!

В воздухе слышалось гудение самолетов.

— Ну нет, не для того я столько возился с этим желе, чтобы на землю его выплескивать, — сказал Шокшин и стал прилаживать полный котелок поудобнее, собираясь нести его в своем мешке.

Теперь надо было идти вдоль берега к мысу, к самому узкому месту озера, на север, к лесным избушкам.

Вызванные нами самолеты должны были атаковать фашистов с воздуха и к тому времени, когда мы подойдем туда, уничтожить или, во всяком случае, привести в смятение вражеский гарнизон.

Шли мы в глубине леса, чтобы разведчики противника не могли нас заметить с противоположного берега.

Гладкий песочек, ровной дорожкой стелившийся у самого берега, так и манил к себе усталые ноги. Но надо было соблюдать осторожность, и мы шли, пробираясь сквозь чащу, раздвигая ветви и кусты, спотыкаясь о гнилые стволы ветровала. На лицо налипала цепкая паутина. А сквозь чащу, между стволами стройных сосен и развесистых осин, поблескивало гладкое, синеватое, широкое озеро.

Аня шла рядом со мной.

— Коля, — тихо сказала она мне, — ты смотри не разбей чашечку: она заветная.

Чашка лежала у меня в кармане брюк, и я рассчитывал на первом же привале переложить ее в заплечный мешок.

Потом мы шли молча.

— Коля, — вдруг снова сказала Аня, — помнишь, как-то один раз ты, между прочим, сказал, что ни один ученый не знает, что такое электричество. Нет ему точного определения, и все-таки все пользуются им. Это меня очень поразило. И вот, когда я была в Беломорске, я вспомнила об этом и много-много думала.

— Об электричестве думала?

Это действительно было странно.

— Да нет, не об электричестве. Я думала... ведь вот тоже никто не знает, что такое лисбовь, и никто не может это объ-

яснить по-настоящему. И все-таки все любят. Все должны любить. Так ведь? Ведь воюем мы тоже и за право любить кого хочешь, по-человечески. Ну, вот и я тоже...

И она замолчала, смахивая со щеки липкую паутину.

— Аня, — тихо сказал я. Сердце у меня замерло. — Аня, я прочитал твое письмо... Я спрятал его... Я его помню наизусть...

— Да, — ответила она. — Не будем больше об этом сейчас говорить.

— А я хотел тебе сказать так много. Я был злой... Придирался...

— Не надо больше говорить об этом, а то мне стыдно быть счастливой сейчас, когда... ну... когда Катя... Иван Фаддеевич...

— Но я хочу тебе сказать...

— Не надо, я все знаю. Я тебе только один вопрос задам. Можно?

— Я тебе на все, на все отвечу. Всю правду!

— Ну, вот и хорошо. Я очень люблю на окошках тюлевые занавески. До половины окна. Конечно, когда не будет затемнения. Ты не будешь меня из-за этого считать мещанкой?.. Не будешь? — И она с тревогой поглядела на меня.

Позади послышался хруст ломающегося под тяжелыми сапогами хвороста, впереди хлюпала под чьими-то подошвами вязкая грязь. Справа, поблескивая, синело озеро, где-то пели птицы.

Выпрыгнув, плеснулась обратно в воду крупная рыбина.

И как будто нас было только двое в этом лесу. Только двое. О, почему я не могу высказать словами всего того, что было у меня в тот час на сердце и что навсегда наполнило мою жизнь!

Я тоже не знаю, что такое любовь. Может быть, это и не она. Но мне никогда не было так хорошо и никогда не было так больно, и никогда я не был таким хорошим, как в этот час. И я сказал:

— Аня, сейчас перед нами переправа, и если она будет удачной, мы останемся жить. А если не переправимся, то... И вот мы сейчас идем с тобой и говорим о кисейных занавесках. Этого не может быть на самом деле. Это, наверно, снится мне.

— Вот видишь. Я очень огорчена. Я боялась этого, я напрасно сказала тебе...

— Нет, пускай занавески! А еще лучше — пускай ковры, пусть цветы на всех подоконниках. Я думаю о другом. Разве ты поверила бы раньше, когда про партизан только в книж-

ках читала, что могут идти по лесу перед смертным боем двое партизан и разговаривать, ну... ну, не буду задевать твоих занавесочек... ну, про электричество.

— Ну, что ты! А может, так и бывает, как написано, и только у нас с тобой по-особенному. Как ни у кого.

— Это всем так кажется, и Даше, например, и Ивану Ивановичу.

В эту минуту по цепи передали:

— Титова к комиссару!

И я побежал. Но едва только сделал несколько шагов, как раздался тяжелый взрыв, заглушивший гул моторов.

— Вот так действительно и бывает, — улыбнулась мне Аня, слегка побледнев.

Я выбежал на берег к большому камню, из-за которого Кархунен наблюдал за действиями наших самолетов.

Над озером кружились три самолета, и так радостно было видеть, запрокинув голову, красные звезды на их широких плоскостях.

Они разворачивались над лесистой высоткой на противоположном берегу и уже оттуда пикировали на две избы и сарай, стоявшие на открытом каменистом наволоке.

Вслед за первой бомбой в землю метнулась вторая, третья...

— Видишь? Видишь? — Комиссар пальцем показал мне на несколько черных фигурок, которые, согнувшись, выбегали из избы.

Никто из них не ожидал, что советские самолеты налетят и будут бомбить три лесные хижины, затерянные на берегу огромного карельского озера.

У каждого самолета, по всей видимости, было по четыре бомбы. Положив их очень кучно у избышек, летчики сделали круг над озером и ушли...

Через час, самое большее, летчики будут у себя дома. Они станут рассказывать про то, как бомбили, про то, что они не видели нас, про... да мало ли про что!.. Они пойдут в столовую и будут ругать повара за неважный обед, потом подойдут к радио и будут слушать голос Москвы, — одним словом, они будут дома... А нам до дома еще пешим ходом по прямой более ста километров...

Перед избами был разложен костер. Взрывной волной или прямым попаданием он был разметан и потушен.

— Ну, теперь нельзя терять ни минуты. — Кархунен выстрелил.

Это было сигналом атаки.

Пробирались через кусты, ветви хлестали по лицу, но мы бежали на мысок, к двум избам и сараю.

Мы стремились поскорее дорваться до рукопашной. Мы бежали и кричали «ура», готовые каждую секунду лечь костями, а в нас никто не стрелял, и сарай и избы оказались пустыми.

Все были рады. Мы вырвались. Мы сделали все, что надо, и теперь уже пробьемся к своим.

Самолеты не зря бомбили лесные избушки. Около разметанного костра Лось нашел разбитый «максим»; в избе, у которой взрывная волна сдвинула набекрень крышу, стоял свеженький, только что заряженный «люис».

Под столом были ящики с патронами. Тут же валялись сапоги, портянки.

Было ясно, что зверь только что выкурен из своего логовища.

Если бы они защищали мысок пулеметами, нам пришлось бы круто. Но, к счастью, они бежали, и надо было немедленно организовать переправу.

Лось, схватив топор, оставленный фашистами, отошел в сторону и стал рубить молоденькую сосенку. Немало их потребуется на плоты. Но Иван Иванович уже взобрался на перекошенную крышу и стал бросать оттуда доски.

Отец и Матти Ниemi возились, разбирая бревенчатую стену сарая. Самолеты помогли нам. Взрывные волны расшатали стены изб, поставленных без фундаментов, углами прямо на прибрежные валуны.

Люблю я родные избы, их красивые бревенчатые стены, на которых так многообразна игра света и тени. Полны очарования и старые, темные бревна, которые лучи солнца окрашивают в самые разнообразные тона, и новые срубы, отливающие блеском, еще более ярким от темных полос моха в пазах. А какие чудесные резные наличники над окнами в нашем селе! Довелось мне однажды побывать в Кижях. Я стоял внизу, у пристани, и никак не мог наглядеться на ступенчатую, многоглавую, веселую и строгую, прекрасную древнюю церковь.

Шокшин корил меня не раз за то, что я так привержен к резным крылечкам, и называл мои вкусы отсталыми. Он и сейчас вспомнил об этом.

— Смотрите, как ловко работает любитель деревянной архитектуры! Ты действуешь, Николай, непоследовательно, — кричит он с крыши соседней избы, глядя, как я срываю целый венец: — уничтожаешь то, что любишь. Я вот действую последовательно, и я рад, что это не бетонные пакгаузы.

У меня нет времени и охоты вести с ним словесную перепалку: все мои мысли поглощены тем, чтобы оттащить и положить в основание плотика бревно, сорванное с первой избы.

Это действительно было счастье, что на мысу стояли избы. Самый удобный и готовый материал для плотов.

Кархунен приказал строить маленькие плоты — на четыре-шесть человек. Это легче. В случае же аварии или боя при переправе у нас были бы небольшие потери.

В работу пошли и веревки, и лямки от заплечных мешков, и обмотки с ног.

Аня и Даша сидели на берегу и вязали жгуты из соломы, которой было сколько угодно на чердаках разрушенных изб.

Просто удивительно, как ловко работал отец. Пока я связывал одно бревно с другим, он успевал связать шесть. Так же неумело, как и я, сколачивали плоты Шокшин и Сережа. Зато под руками Ивана Ивановича и Ниemi плоты словно вырастали сами.

Правда, мне немного мешала чашечка в кармане. Я боялся ее разбить.

— Береги сапоги! — сказал отец, когда я вошел в воду.

Нечиненный сапог сразу же наполнился холодной водой, а починенный стал словно непроницаемым. Я снял сапоги и сушил в мешок. Босиком было легче. Большинство ребят тоже разулись. Я выпрямился и огляделся.

От нашего мыска до противоположного берега было с километр. Тот берег сразу же вырастал над гладью спокойного озера скалистой, поросшей густым сосняком высоткой. За нею уже была «ничейная» зона, а там — наша, наша земля... Даже сосны на том берегу, озаренные дневным солнцем, показались стройнее, чем сосны на этом берегу. А высокая прибрежная плакучая береза, какая она замечательная! В ней было неуловимое сходство с Аней и с моей младшей сестренкой.

Плыть нам предстояло по открытому месту, напрямик. Слева на озере, в сотне-другой метров от места переправы, зеленели два небольших островка. Остроконечные ели стояли на них не шелохнувшись.

Я снова принялся вязать плот. Через четверть часа он был готов. Кроме нашего, было готово еще несколько.

Остальные партизаны, не снимая винтовок, торопясь, заканчивали работу.

— Начинай переправу! — скомандовал комиссар.

Мы первыми столкнули плот в воду. Шокшин, отец, Душа, Аня и я...

— Попал я на семейный плот в эту экскурсию, — сказал Душа. — Только, прошу прощения, не могу грести, бесплатный пассажир.

Он лег на плот плашмя. А мы стояли на коленях, и в руках



у нас вместо весел были доски от крыши. На других плотках устраивались так же, как и на нашем.

Войдя по колено в воду, я оттолкнул плот подальше от берега, и, колыхаясь, разбивая гладкое отражение плывущих облаков, плот пошел вперед.

Я вскочил на него. Вышедшая сквозь щели вода покрыла его. Аня даже вскрикнула от неожиданности, когда ее коснулась холодная вода.

— Не беспокойся, дочка, не утонем, — ободрил ее отец.

Сильным взмахом доски он подвинул плотик еще дальше вперед. Шокшин с другой стороны тоже загребал своей доской. Отец и Аня были на левой стороне плота, Шокшин и я — на правой, а посередине между вещевыми мешками лежал Душа с перебинтованными руками и мурлыкал, напевая себе под нос:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Партизанские плоты.

Мы плыли мерно, в такт опускали доски, загребая, и так же спокойно вытаскивали их из воды.

Тяжелые прозрачные капли, переливающиеся в солнечном свете всеми цветами радуги, скатывались по шершавым доскам обратно в озеро.

Вслед за нами шли четыре плота. На одном из них, стоя во весь рост, греб Иван Иванович; на коленях стояли Даша и Ниemi в своей поярковой шляпе. Около Даши было двое раненых. За ними шел плот, которым управлял Лось.

Другие товарищи еще сустились, сталкивая сколоченные бревна в воду.

Комиссар с Последним Часом и Жихаревым оставались на берегу. Прикрывая переправу, они должны были плыть последними.

Мы приближались к середине пролива. И вдруг затараторил пулемет. Пули чертили на поверхности воды мелкие круги, как при удачно запущенном голыше.

В первое мгновение я даже не разобрал, в чем дело, и только еще сильнее заработал в воде доской. Но когда раздалась вторая очередь (она прошла позади, поднимая маленькие фонтанчики на озерной глади), я понял все.

Это с одного из островков бил неприятельский пулемет.

— Ложись, ложись, — скомандовал я и сам лег на мокрые, скользкие бревна плота.

Но Аня не успела так быстро лечь.

— Ой, — тихо вскрикнула она, — ой!

— Ничего, дочка, лежи потихоньку, лежи, милая, — сказал отец.

— Аня, что с тобой?

— Я ранена. Рука, кажется, и еще...

— Что? Что? — У меня перехватило дыхание, доска чуть не выскользнула из рук.

— В берете моем марганцовка. Весь запас отряда. Береги, чтобы вода не попала. Ладно?

Пулемет бил безостановочно по следующим плотам. С берега загремел на своей «гитаре» Сережа. И тогда пулемет на острове притих.

С соседнего плота раздавались громкие стоны, далеко разносившиеся над гладью озера.

Шокшин, лежа, продолжал загребать доской.

Все плоты шли за нами к другому берегу. Мне было трудно через плечо наблюдать за ними, а когда я смотрел на острова, в глаза бил ослепительный блеск солнца.

Мы проплыли еще несколько метров, когда вдруг отец тихо и спокойно сказал:

— Коля, сынок, не могу работать. Рука отнялась, и ногу, кажись, поцарапало...

— Сейчас я на твою сторону перейду, — отозвался я.

Аня молчала, но, должно быть, ей было нелегко.

Я стал перебираться на другую сторону. Плот накренился.

— Душа, передвинься на мое место...

— Коля, Коленька, Николай! — Это говорила Аня, схватив мою руку и пожимая ее. — Не заботься обо мне, я ведь медик, сама все знаю. Рана легкая.

Какое счастье было слышать эти нежные слова, и как тяжело было сознавать, что она ранена!

Чтобы помочь Ане, я слегка приподнялся, и сразу же что-то обожгло левое плечо, полоснуло по руке. Я вскрикнул.

— Ложись, чорт, ложись, — выругал меня Шокшин.

Я снова лежал плашмя на плоту и вдруг бедром почувствовал в кармане хрупкую чашку. Хорошо, что я не положил ее в мешок, который скользил сейчас к воде. Отец правой рукой поддерживал его. Все равно не удержал. Мешок ушел в воду.

С острова неумолчно стучал пулемет. Но теперь пули ложились уже далеко позади.

Я приподнял голову: на том берегу, куда мы стремились, попрежнему высились гордые сосенки, попрежнему грустили прекрасные, белоснежные березы. Позади поярковая шляпа Ниemi, колыхаясь и медленно кружась, плыла по озерной глади. Ее относило в сторону. Ниemi соскользнул с плота и плыл за нею.

Возникшее в этом узком месте пролива течение влекло наш плот к острову.

Сейчас греб только Шокшин. У меня левая рука бессильно повисла, и пошевелить ею было невозможно. Страшная боль, пройдя по всему телу, подступала к вискам, лоб покрылся потом. Я греб правой рукой. Но как я ни старался загребать своей доской, наш плот медленно, но неуклонно сносило к этим проклятым островкам.

Сережа уже нашел цель и бил длинными очередями, наверно очень точно, потому что фашист снова замолчал.

Плот наш продолжало сносить. А на плоту был мой отец, моя любимая невеста. Рядом на скользких бревнах лежали мои товарищи — раненый Павлик Ямщиков, Шокшин...

Я соскользнул с плота в воду. Сначала она приняла меня всего, но я сразу же вынырнул и решил, держась левой рукой за бревно, правой грести к берегу и оттягивать плот от островка.

Я хорошо плавал, и здоровому это мне сделать было бы нетрудно. Но я совсем не принял в расчет того, что несколько дней мы почти не ели и что левая рука у меня уже не действовала. Я так привык быть здоровым, что продолжал рассчитывать свои движения попрежнему. И я взялся левой рукой за бревно, но пальцы не слушались меня, и я почувствовал мучительную боль. Я не мог согнуть ее в локте, и рука беспомощно сползала с плота и погружалась в воду.

— Шокшин, помощи! — прохрипел я, выплевывая воду.

И друг помог. Он привязал мою левую руку к бревну. И тогда, уже не думая о руке, не тратя лишних усилий, сжав зубы, чтобы не стонать от боли, я стал грести от острова, и плот медленно двинулся к высокому берегу.

— Аня!

— Что с тобой, Коля? Я здесь!

— Отец!

— Спасибо, сынок, а то я уж думал, что хватит, нажился на свете.

— Душа!

— Служим Советскому Союзу! — откликнулся Душа.

Я вел эту перекличку в те секунды, когда, вдыхая воздух, поднимал от воды голову.

А то, что Шокшин жив и подгребает доской, я видел сам.

В это время над нами высоко в небе застрекотали моторы. Взглянув наверх, я не мог разобрать, действительно ли там парят три самолета, или это один и только в глазах моих он трогается. Я не мог разобрать, наши это или вражеские. А как сердце просило, чтобы это были наши!

Они снизились, сделали один круг над озером и вот уже летели так низко, что нельзя было не разобрать противных голубых пауков на плоскостях.

На плоту была Аня, мой отец, товарищи, а впереди — берег. И я еще больше напряг свои силы. Я задыхался, глотая воду.

Пулемет на островке снова ожил, и я слышал, как несколько пуль тюкнуло по нашему плоту.

— Аня!

— Спокойнее, сынок, спокойнее, — ответил мне отец.

Мне не хватало воздуха, сердце разрывалось, в глазах было темно. Но в это мгновение ноги мои нащупали дно. Я еще с головой уходил под воду, но под ногами была земля...

Еще один взмах рукой, еще один, и я встал на ноги. Дно было твердое и немного скользкое. Впрочем, это был камень, и если бы моя рука не была привязана к плоту, — дважды поскользнувшись и наглотавшись воды, я бы уже не мог подняться. Но теперь я стоял твердо. И Шокшин тоже соскочил в воду и стал подталкивать плот к берегу. Я оглянулся. Все плоты шли за нами. И так же справа около двух плотов плыли люди и тянули их за собой. Самолет пролетел над головами лежащих плашмя людей, стреляя из пулеметов. Я готов был плакать от гнева. Я готов был зубами перегрызть горло фашистскому пилоту. Второй вражеский самолет пошел утюжить нас вслед за первым.

Заработал Сережин пулемет. Он бил теперь уже с плота по самолетам.

— Молодец, Сережа, лупи их! — закричал я.

И вдруг в противное жужжание ворвался знакомый гул.

— Наши! Наши! — закричал Шокшин.

— Наши! — закричал вслед за ним отец.

И я увидел, как слезы, частые и крупные, побежали по его щекам.

Над вражескими самолетами показался наш, наш краснозвездный! И сразу же взмыли вверх фашисты и начали уходить в разные стороны. Одна за другой три бомбы упали на островок и взметнули кверху тяжелые столбы земли. А затем наш самолет пошел вдогонку за одним из вражеских. Комиссар, перед тем как сесть на последний плот, успел вызвать помощь из Сегежи. Молодец, Последний Час!

Мы вскочили на ноги, товарищи на берегу стояли во весь рост и били в ладоши от радости.

Я не видел, чем кончилась эта схватка. Товарищи потом рассказывали, что фашисту был каюк — кайки, говоря по-фински. Ну, а мне показалось, что у меня отрывают руку. Это Шокшин стал отвязывать ее от бревна.

Душа соскочил с плота и ногой подталкивал его к берегу. Отец тоже, покряхтывая и постанывая, шел по колено в воде, и одна только Аня попрежнему продолжала неподвижно лежать на мокрых, скользких бревнах.

Потеряла сознание? Слабость от потери крови? Я бросился к Ане.

Она лежала не шелохнувшись, не отзываясь.

Гимнастерка ее была разорвана пулями в нескольких местах.

— Папа, — крикнул я, — она убита!

Отец подошел поближе и с жалостью взглянул на меня:

— Сынок...

— Что ж ты молчал? — крикнул я. — Что ж ты молчал?

Как будто, если бы он сказал раньше, что-нибудь бы изменилось. Но в ту секунду я еще не сознавал, что произошло бесповоротное, непоправимое несчастье и что сколько бы я ни думал, как бы ни мучился, что бы ни делал, помочь нельзя.

Даша склонилась надо мной. Губы у нее дрожали.

Рядом с нашим плотом пристал еще один. Мокрые люди выскакивали на берег. Что-то кричали мне Лось и Ниemi, но я не слышал.

Даша подняла тело Ани и осторожно перенесла его на берег. Я снова увидел на щеке любимой пятнышко комариного укуса.

— Да ты ранен! — удивленно сказала Даша. И она открыла свою санитарную сумку.

Но какое значение имела моя рана, когда рядом лежало бездыханное тело Ани! Я не мог сопротивляться, не мог говорить, не мог ничего никому объяснить. И попрежнему, и даже еще громче, пели лесные птицы.

Даша перевязывает мне плечо и с сокрушением покачивает головой:

— Больно?

Душа подходит к ней.

— Не забудь взять марганец в берете у Ани, — озабоченно говорит он.

Рядом с Аней осторожно кладут на берег еще троих убитых товарищей.

Даша отходит от меня и делает перевязку отцу, другим раненым.

Я стою над Аней. Как беспомощно и трогательно подогнулась ее нога! Как выплеснулась из-под снятого беретика волна каштановых волос! И кажется, вот-вот сейчас она откроет глаза... Рябчик, кажется, засвистел. Что за чепуха, откуда он здесь,

в сосняке, у озера? Его место у реки, в ельнике. Впрочем, это не рябчик.

Вот высаживается с плота на берег комиссар, с ним Последний Час и Сережа с пулеметом. Зарокотал какой-то мотор.

Из-за островка выскочила белая моторка с яркокрасным фальшбортом. На ней несколько человек, один размахивает руками.

Меня оглушила стрельба. Около самого уха загрохотал пулемет. Это Сережа, поставив «гитару» на камень, ударил по моторке.

Белофинн перестал размахивать руками. Катер повернул обратно.

А Сережа, не переставая, строчил. Катер замедлил ход, а Сережа, не переставая, строчил... Здесь в моей памяти наступил какой-то провал.

...И снова я помню себя сидящим на камне, где раньше стоял пулемет Сережи. Сам Сергей стоит на берегу. И позади него партизаны. Около маленьких костров и просто на камнях сушится обмундирование.

Вблизи, в нескольких шагах, на старом месте лежала Аня. Даша причесывала ей волосы. Потом встала, подошла ко мне и спросила:

— Ну, что, пришел в себя?

Оказывается, я вскочил в воду по горло и, ругаясь последними словами, хотел плыть к катеру и бить, крушить, уничтожать врагов. Бросившиеся вслед товарищи схватили меня за руку, и от боли я потерял сознание. А катер? Вот корма его торчит из воды. Он затонул, и из семи находящихся на нем лахтарей ни один не спасся. Сережина «гитара» сыграла им отходную.

— Нельзя их так оставлять, — указывал на убитых товарищей комиссар. — Надо схоронить.

Лось, Ниemi, Шокшин, Сережа, комиссар и другие партизаны принялись штыками копать землю.

Около берега в песке скоро появлялась вода. Отошли на несколько шагов, к высотке, к самому началу подъема. Там было много камней, и штыки звенели, ударяясь о них. Работали молча. И только один Шокшин снова сказал:

— Мы потом вернемся и поднимем их тела на вершину этой высотки и там поставим памятник!

Я сидел на камне и не мог помочь им копать могилу. Рука моя еще так живо чувствовала пожатие Аниной руки... Вот я увидел, как по берегу идет Даша с большой охапкой ивовых прутьев. Она села около Ани и стала мастерить из них какую-

то плетенку. Я смотрел, как быстро и умело она работала, как в ловких и тонких пальцах ее вились ивовые прутья.

— Отец, — попросила она, — наломай мне еще.

Мой старик пошел берегом к тому месту, где зеленела разросшаяся купа плакучих ив. Он скоро принес большую охапку. Я сидел и молчал. Рядом со мной — Душа. Вот он встал, подошел к Последнему Часу и сказал:

— Как это ты хорошо сделал, что вызвал наш самолет на переправу.

Я один остался на камне.

Даша уложила Аню в сплетенную ивовую колыбель.

Погибших положили в могилу и стали закапывать.

И когда упал в могилу на тела дорогих наших товарищей первый ком земли, Даша вдруг встала во весь рост и запела:

То не солнце красное спускалось,
То подружка, красна девушка, с душой прощалася...

Ее мать была деревенская плакальщица. И Даша выражала свое горе плачем.

Уходила, землю милую жалеючи... —

неслись дрожащие слова над озерной гладью, —

Лютых врагов своих проклинаячи
И свою любовь живым завешаячи.
Уж ты, девушка, подруга вековечная...

Никто не останавливал ее. Сердца наши томила эта горькая песня расставания.

Молча закапывали мы тела погибших товарищей, пока могила не сровнялась с землей. Нельзя было оставлять насыпи, чтобы враги не осквернили святой этой могилы.

Товарищи заравнивали землю над могилой. Дашин плач разносился над вечерним озером, отражавшим лиловое небо.

Сердце мое переполнялось ненавистью, неугасимой, неутолимой, как и моя любовь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Похоронив товарищей и высушив одежду, мы сразу же отправились дальше в путь. Поднялись на высотку, перевалили ее и стали спускаться.

На самой вершине я оглянулся. Внизу лежало огромное тихое озеро. Островки выглядели совсем мирно, и только разбитые избы на мысу напоминали о том, что здесь произошло.

Ласточки низко летали над озером, едва не зачерпывая стрельчатым крылом воду.

— Я тебя не освобождаю от работы, — сказал комиссар, проходя мимо меня.

Я постоял несколько минут на перевале и стал спускаться. Задетые моей ногой камешки катились вниз. Мы были готовы идти по обычному цепкому и труднопроходимому лесу. Но перед нами было болото с уходящей из-под ног хлипкой почвой, с вязкой трясинной, покрытой ряской и другими гнилостными болотными растениями.

Проваливаешься по грудь в какой-то болотный суп, а под самым носом пробегают водяные паучки и еще какие-то неизвестные мне омерзительные насекомые. Левая рука, кажется, весит несколько пудов и все время ноет.

Один раз, смело сделав шаг вперед, я провалился в трясину, завяз и не мог выбраться сам. Вот тогда-то я и познал всю силу зависти больных к здоровым. Шокшин подал мне руку. Сам он держался рукой за ствол хилой елочки и чуть не выворотил ее вместе с корнями. Я выкарабкался и испугался: показалось, что в кармане треснула голубая чашечка, единственная память. Нет, все в порядке. Шокшин шел рядом со мной, полуобняв и поддерживая меня.

Все чаще и чаще земля уходила из-под распухших ног, и чтобы сделать шаг, надо было, напрягая все силы, тащить ногу из трясины. Затем надо было вытащить другую ногу. После каждого шага сапоги становились все тяжелее и тяжелее, шаровары набухали болотной влагой, на гимнастерке оставались комки торфа и моха.

Молодец, Шокшин! Он не терял самообладания. Только он и Ниemi после переправы побрились. Но теперь, когда Шокшин сбрил бороду, особенно видно, как он похудел, как обострились все черты его лица. И все же он показался мне очень красивым. Никогда он не был так красив, как в те часы на болоте.

Мы выбрались на небольшой сухой островок, единственный во всем этом болотном море.

— Поскольку победа осталась за нами — я с удовольствием закушу, — сказал Шокшин и стал развязывать свой мешок. — Обидно, если это блюдо пропиталось болотным запахом, — продолжал он, вытаскивая котелок с вываренным ягелем. — Попробуй, отличное желе, или, еще чище, — студень.

Он стал кормить меня и сам, не скрывая удовольствия, уплетал за обе щеки. Я понимал, что это делается для того, чтобы подкрепить, подбодрить меня. Не желая показать Шокшину, что

его уловка разгадана, я, хотя мне совсем не хотелось есть, глотал эту хлипкую гадость, это ягелевое желе...

— Знаешь. Коля, — наклонился ко мне Шокшин, — когда Тойво Антикайнен отбывал финскую каторгу, в Хельсинки умерла его мать. Друзья хлопотали, чтобы Тойво разрешили навестить ее перед смертью. Лахтари не разрешили. Тогда он прислал письмо друзьям: «Положите на могилу моей матери красные розы, — писал он: — это цвет того знамени, под которым борется ее сын. Она знала, что он борется за счастье народа, и хотя ей было горько от тех обид и лишений, которые выпали на долю сына, она благословила его на эту трудную, но благородную борьбу. Враги народа не дали ей перед смертью взглянуть на сына. Положите на ее могилу красные розы». — И Шокшин, внимательно поглядев на меня, продолжал: — Да разве иначе мог написать Антикайнен? Ему даже горе придавало новые силы в борьбе. И письмо это о смерти матери пошло по рукам рабочих, как боевая листовка. Понимаешь?

— Все это я понимаю не хуже тебя, Леша. Спасибо тебе за сочувствие. Только не нуждаюсь я в этом. Сердце у меня горит! Кончай лучше свой ягель и помолчи.

— Опять вы, ребятки, спорите, — укоризненно сказал отец, который ладился примоститься рядом с нами на кочке.

Комиссар, поддерживая отца за здоровый локоть, помогал ему устроиться на бугорке.

— Пусть поспорят до победного конца. Не мешай им, Отец, — остановил его Кархунен и медленно, вперевалку пошел дальше.

Впрочем, через шаг-другой он по горло погрузился в болотную жижу.

— Держи! — крикнул ему Лось и, вырвав с корнем ствол перестойного сухого дерева, бросил комиссару.

Приладив корягу поудобнее, тот выбрался на сухое место.

Впереди и позади по болоту брели люди, то увязая по грудь, то выбираясь из трясины, и снова увязая, и снова продвигаясь вперед.

Поярковая шляпа Ниemi теперь была похожа на шляпку гигантского боровика или мухомора.

И не видно было конца этому проклятому болоту, этому мучению.

Вдруг с воем пробуравила воздух над нами и лопнула в болоте мина. Мне показалось, что я оглох. Лицо было забрызгано жидкой грязью. Не успели мы спомниться, как вблизи разорвалась вторая мина, третья, четвертая...

Враги подтянули на мысок, откуда мы начали переправу,

свои тяжелые минометы и теперь в бессильной злобе и ярости пускали нам вдогонку мину за миной. Высотка стояла перед ними каменной стеной и мешала корректировать стрельбу. Поэтому мины ложились так, словно минометчики были встельку пьяны. Надо было напрячь все силы и не останавливаться до тех пор, пока мы не выйдем из зоны обстрела. И, поддерживаемый Шокшиным, я шел вместе с другими вперед.

По следам Ниemi мы обошли трясину, чуть не затянувшую Кархунена. Он сейчас стоял около партизана Мелентьева, в изнеможении сидевшего на кочке.

— Идем! Тяжело? А ты думал, под Орлом немцев бить легко было? Тяжелее, чем нам сейчас! Титов невесту потерял — ты думаешь, ему легко?.. А посмотри, как он идет... А Даша? Она и другим помогает. Идем скорее, дружище. Скоро увидишь Соколиную гору.

В десяти километрах от нее раньше был командный пункт дивизии Лундстрема. Но теперь дивизия наступала.

Мелентьев, кряхтя, поднялся. Мы пошли дальше.

Позади нас разрывались мины. Впереди шли Последний Час и Душа.

Последний Час поддерживал Ямщикова, а у того я увидел за плечами трижды обернутые плащ-палаткой — чтобы ни одна капля влаги не попала на батареи сухих элементов — «басы».

Мы шли вперед, и когда настала ночь, линия минометного обстрела осталась далеко позади. Даже плот из досок — мы им пользовались на болоте и как плотом и как волокушей, — на котором лежали раненые и два пулемета, были выведены из-под обстрела.

А фашисты все продолжали и продолжали сыпать мины на пустое болото.

К утру все мы выбрались на сухое место.

Каким прекрасным казался обыкновенный густой лес! Но мы так устали, что не было и речи о том, чтобы двигаться дальше. Все с ходу валилось на землю, и эта земля была нам мягче и удобнее, чем пуховые перины.

Только Даша хлопотала около раненых. Она развела в воде марганцовку, прополаскивала бинты и портянки, заменявшие бинты, накладывала перевязки раненым.

Сережа возился, очищая свой пулемет от болотной тины.

— Николай! Не забудь подойти ко мне, переменить повязку, — окликнула меня Даша.

Вокруг нас цвели пестрые и пушистые болотные цветы, багульник, а где было посуше, тянулись вверх малиновые стрел-

ки иван-чая. В волосах Даши поникла увядшая вчерашняя ромашка. Видно, уж очень она устала, если забыла сорвать свежий цветок.

Я подошел к Сергею.

— Товарищ Титов, — сказал он, продолжая возиться у пулемета, — оружие мое в порядке. Я сам тоже в целости. Только вот спать до ужаса охота.

Я остановился около него.

— Тины чортова уйма, — продолжал он. — Ну, ничего, выспаться я еще успею, сколько годов впереди. — И затем без видимой связи с предыдущим он сказал: — Вот Катя, мы ее в классе трусихой считали. Дохлого мышонка один раз подкинули в парту: такой визг подняла, что прости господи. А ведь какая на самом деле оказалась!

Потом вдруг замолчал и, оставив пулемет, выпрямился и в упор задал мне вопрос, который, видимо, долгое время волновал его:

— Товарищ Титов, как по-вашему: достоин я быть членом большевистской партии?

— А как ты сам думаешь? — Я опустился на кусты черники и прислонился спиной к сосне.

И вдруг поблизости страшным голосом, истошно завопила женщина, так, словно ее резали. По спине пробежал холодок. Несколько партизан проснулись. Я вскочил на ноги. Сережа схватился за пулемет.

— Что такое? — проснувшись, спросила Даша.

— Спокойно, спокойно! — уверенно прозвучал голос Ивана Ивановича. — Это сова-неясыть, пересмешница, она еще страшнее умеет.

Затыкая уши и сердясь на себя за переполох, партизаны снова устраивались на отдых.

Было тяжело слышать этот зловещий протяжный голос ночной птицы.

— А как ты сам думаешь? — снова спросил я Сергея.

— Видишь ли, Титов, по-моему, ни один из коммунистов страха не должен знать. А мне вдруг очень страшно стало, когда эта сова закричала. Подумать только: птичьего голоса испугался...

— Испугался? Да, это плохо... Но я сам тоже, могу тебе по секрету сказать, испугался... А пулемет у тебя хорошо работает.

— Без отказа, товарищ Титов, — с гордостью отозвался Сережа, — без отказа!

— А сколько ты фашистов уничтожил?

— С полсотни будет. Но счет еще не окончен! — ответил он

быстро, словно боясь, что на его счету слишком мало уничтоженных врагов. — Я смерти не боюсь.

— Только помни, Сергей, партии нужно, чтобы ты жил возможно дольше. Не смерть твоя нужна, а жизнь. Ну, чтобы ты дедом стал. И даже прадедом. Ну, а уж если нельзя, тогда надо, как Иван Фаддеевич.

Я не очень гладко в тот вечер высказывал Сергею свои мысли. Но он, кажется, понимал меня с полуслова и задумался, когда я сказал, что ему еще много учиться надо, чтобы стать настоящим большевиком.

— И я с открытой душой говорю, Сережа, что дам тебе рекомендацию в партию от нашей комсомольской организации.

Это был счастливый вечер для Сережи. И я убежден, что он не забудет, как светили звезды и как пахли травы и деревья в ту ночь.

Я заснул, но даже и во сне на сердце моем лежала огромная тяжесть утраты.

Потом мы проснулись и снова шли вперед.

Мы встретили возвращавшихся с задания вражеских разведчиков и разгромили их.

И снова шли вперед и вперед. День и ночь. Пока не увидели вдали Соколиную гору.

И мне казалось, что вместе с нами шли вперед те, кто погиб в походе, те, чьи тела мы зарыли в каменистой земле. И вместе с нами шли те, кто погиб в сталинградских боях и в сражении под Москвой.



Позавчера пришли навестить меня Даша и Кархунен. Они молчали о том, что отряд отправляется в новый поход, не хотели расстраивать меня. Комиссар раскрыл полевую сумку, бережно вынул из нее листок и протянул мне:

— Читай, это и к тебе относится.

«Дорогой товарищ и друг, — писал Ивану Фаддеевичу Лундстрем. — Все бойцы моей дивизии благодарят тебя, и я сам от всей души говорю тебе: спасибо за мост. Если бы вы его не взорвали тогда, то и по сей день, может быть, мы сидели бы в обороне. Очень хочу поблагодарить лично. Для первого нашего знакомства мой повар постарается вовсю (он служил до войны в Москве, в «Метрополе»). Передай привет и благодарность от всего состава дивизии каждому своему партизану. Крепко-крепко жму твою руку, дружище. Генерал-майор Лундстрем».

...Отряд наш ушел в новый поход. Я лежу в госпитале и

все время думаю о тех, кто в походе. Я слышу, как трещит валежник под ногой Якуничева. Пока сердце мое бьется, пока могу двинуть хоть одним пальцем — я с вами, товарищи! И я вспоминаю о тех, кто больше не будет переплывать через голубые озера, чья нога больше никогда не ступит на мягкий мох смолистого леса. Аня! Иван Фаддеевич! Сердце мое с вами. И сейчас, когда, лежа на койке, пишу эти записки и рассказываю все, как было, — знаю, ваши сердца со мной и с теми, кто сегодня в походе.

Беломорск — Сегежа — Москва





РАССКАЗЫ





ДАЛЬНИЙ ПОИСК

I

Гвардии полковник Строев усадил гвардии старшего сержанта Столетова рядом с собой и, будто ничего срочного не было, стал рассказывать ему, командиру отделения разведчиков, какую-то историю. Столетов сначала не мог понять, к чему клонит командир дивизии.

— Иду я как-то здесь, — говорил полковник, — и слышу такой разговор разведчиков. Трое их было. Вернулись они из разведки и в точности рассмотрели вражеские позиции. И проволоку в семь рядов увидели. И надолбы. И минные поля. И блиндажи. И доты. И дзоты. И вот такой ведут между собой разговор. Первый разведчик говорит: «Такие укрепления ни-почем не взять!» — «Конечно, не взять! — соглашается второй. — Ну, как их возьмешь?» — «А если приказано будет взять, тогда что? — спрашивает третий. — Да, тогда что?»

И все они трое задумались. «Ну, если приказано, тогда надо будет взять!» — опять говорит первый. «Тогда обязательно возьмем!» — отзывается второй. «Конечно, возьмем!» — подтверждает третий... — Полковник улыбнулся и спросил: — Не твои ли это люди были, товарищ Столетов?

— Судя по ответу, мои, товарищ гвардии полковник! — не моргнув, ответил Столетов. — Только я сам что-то такого случая не припомню.

— Ну, это только присказка, — уже без всякой шутливости сказал полковник, — а приказ-то впереди будет. Я на тебя полагаюсь, Столетов. Верю. Ты на своих людей положиться можешь? Дело важное и серьезное. Понятно?

— Понятно! — ответил Столетов. — Я на своих людей положиться могу. Пьяных Матвей — во-первых, Гулеватых Трофим — во-вторых, Ибрагимов — в-третьих, Иван Пчелиев — в-четвертых, Семин — пятый, Свеча — шестой...

— Постой, постой, какая такая Свеча у тебя? — удивился полковник.

— Виноват, это мой заместитель, настоящая фамилия Дробитько, а только мы после одного случая между собой называем его «Свечой».

— После какого такого случая?

И Столетов рассказал полковнику то, о чем все во взводе разведчиков давно уже знали.

Зимой, во время одного из поисков, разведчики ворвались во вражеские траншеи. Противотанковыми гранатами подорвали два блиндажа. Бревна взрывом далеко за бруствер поразметало. В первом блиндаже разведчики захватили в плен немца.

Дробитько метнул гранату во второй блиндаж и после взрыва сразу же вскочил туда. Все в блиндаже было перековеркано. Бревенчатые углы разошлись, и холодный воздух вместе со снегом врывался в блиндаж. Гитлеровцы, находившиеся внутри, были убиты наповал, и их тела валялись на земляном полу. И только на небольшом дощатом столе — словно ничего не произошло и не было взрыва — попрежнему горела свеча, и язычок ее пламени стремился ввысь, даже не колыхаясь. В первую секунду этот теплящийся среди всеобщего разрушения огонек поразил Дробитько своей безмятежностью, но в следующее же мгновение он подумал о том, что неплохо было бы принести товарищам в землянку эту свечу. Пусть нам посветит! Он притушил огонек и опустил свечку в карман полушубка.

Так были доставлены в землянку к командиру «язык», а в землянку разведчиков — свеча. И с тех пор Тарас Дробитько, этот неуклюжий и высокий силач, получил во взводе прозвище «Свеча».

Пока Столетов рассказывал обо всем этом полковнику, тот, казалось, не слушал, а думал о чем-то своем.

— Надо будет отправиться вам в дальний поиск, — вдруг сказал командир дивизии, перебивая Столетова. — Ты знаешь эту канатную подвесную дорогу у немцев?

Столетов припомнил высокие столбы и протянувшиеся между ними стальные канаты, которые он видел во время прошлой разведки. Сначала он принял их за высоковольтную передачу. Но затем пригляделся попристальнее и увидел, что какие-то черные букашки ползут по канату над ущельями, обрывами, ложбинами, мимо побуревших склонов, над зелеными вершинами сосен. «Это движутся грузовые площадки», — подумал Столетов.

— Так вот, — продолжал полковник, — по этой канатной подвесной дороге немцы доставляют к переднему краю своей обороны боеприпасы, снаряды, взрывчатку, пищу — шутка ли сказать! — за сорок километров, прямо от железной дороги до переднего края. Дешево и безопасно! Если повалить столб, другой — мы пробовали это делать, — то их скоро восстанавливают. Надо взорвать электростанцию, питающую дорогу. Понятно? И надо сделать это в ближайшие два-три дня — не позже. Сегодня двадцатое. Двадцать третьего на рассвете станция у озера должна быть выведена из строя. От этого будет зависеть очень многое. Ваш успех будет равен вводу в действие целого артполка. Так вот... — И полковник Строев развернул перед Столетовым карту.

...Выход был назначен сразу же после полуночи.

II

К своей землянке Сергей Столетов подошел как раз в ту минуту, когда туда подоспел письмоносец. И, как всегда, когда приходило письмо из Сибири, письмоносец, войдя в полутемную землянку, громко спросил:

— Трезвых у вас нет? Вот письмецо для Пьяных!

Матвей Пьяных так привык, что над его фамилией подтрунивают, что не обиделся и только жадно схватил треугольничек письма.

Видимо, в письме были хорошие вести, потому что, по мере

того как Пьяных читал косые строки, написанные чернильным карандашом, лицо его все светлело и светлело.

В письме находилась бумажка, в которую было что-то завернуто. Осторожно раскрыв ее своими заскорузлыми пальцами, Матвей Пьяных извлек оттуда добротную, домашней выделки, суровую нитку.

Он тотчас же открыл клапан гимнастерки, бережно вытащил оттуда одну за другой две другие такие же нитки и положил их перед собой, на дно опрокинутого фанерного ящика, служившего здесь, в землянке, столом.

— Да-а, Свеча, — ласково сказал он Дробитько, — растет шельмец, растет!

Все три ниточки были разной длины.

Дома, в сибирской деревне, остался у Матвея Пьяных перенец.

Каждый год в день его рождения мать измеряла рост сынишки и отсылала мерку отцу.

И Матвей берег эти нитки: так крепко они связывали его с родным домом, с далекой Сибирью!

Не один раз бойцы видели, как в свободное время Пьяных вытаскивал из кармана ниточки и с любовью смотрел на них. И, по правде сказать, они уважали Матвея за это, хотя нередко кто-нибудь из них в шутку предлагал ему продать ниточки по сходной цене или одолжить, чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу.

— Три ниточки, — сказал, задумавшись, Столетов. — Три ниточки, — повторил он, — значит, три года. Но ты не унывай, дружище, — обратился он к Пьяным. — Мы уж постараемся сделать, чтобы четвертой ниточки тебе не пришлось получать: к следующему дню рождения сынишки будешь самолично с полной победой дома.

— Ну, до свидания! — попрощался письмоносец.

Когда он вышел из землянки, Столетов поднял бойцов:

— Готовься! Через три часа в поход!

III

Когда над вершинами окрестных гор взошло солнце, отделение Столетова было уже далеко во вражеском тылу.

Но теперь бойцов было не семеро, а шестеро, потому что ночью, еще при переходе через линию фронта, случилась беда с Григорием Семиным. Саперы расчищали для разведчиков проход через болотистое минное поле. Но в ночной темноте даже самый лучший сапер может пропустить и не заметить мину. А тут еще попалась мина «с сюрпризом»; казалось, лежит сре-

ди кочек болота простая ручная граната. Семин поднял ее — и она взорвалась у него в руках.

Саперы взялись доставить раненого разведчика обратно, а отделение Столетова продолжало свой путь.

Проволочные заграждения разведчики разрезать не стали, чтобы не оставить следа. Припасенной для такого случая основной рогаткой Пьяных приподнял нижний ряд проволоки, и товарищи один за другим пролезли под ней и продолжали ползти еще с километр, пока не оставили позади себя траншеи боевого охранения противника. Потом они поднялись и пошли по каменистому склону, поросшему редким высоким ельником, и, только перевалив через высокую гряду, остановились перевести дух.

Уже встало холодное солнце; и горы, и раскидистые вершины деревьев, и зеркально-ясные горные озера, и скалистые обрывы — все было залито удивительно ровным и прозрачным розовым светом.

Глядя на расстилавшиеся перед ним горы, с наслаждением вдыхая тот удивительно свежий, бодрящий воздух, какой бывает только ранним утром, Сергей подумал о том, что раньше в городе в это время он еще спал. И сейчас в родном городе на Волге еще спят его родные и друзья, и никто из них даже не представляет себе, как красив восход солнца в этих далеких диких горах.

— Я раньше думал, что так только на картинах бывает, — сказал Пчелиев, глядя на пылающий край неба.

Пчелиеву было только девятнадцать лет, и первой его профессией в жизни стала профессия пехотинца-разведчика, потому что в армию попал он прямо со школьной скамьи. Он был исполнительным бойцом, этот высокий, длиннорукий и еще по-мальчишески худощавый карел. Он делал то, что было ему положено, и был храбр, даже не подозревая о своей храбрости. И лишь потом, читая в армейской газете описание схваток и разведок, в которых он принимал участие, он начинал понимать отчаянную дерзость того дела, в котором участвовали его товарищи и сам он.

— Теперь к моему счету прибавляется еще один, — заметил на ходу Гулеватый.

И все поняли, о чем он говорит.

Трофим Гулеватый недавно вернулся в часть после ранения, побывав в отпуску в родных местах, в белорусской деревне, только что освобожденной от немцев. До этой поры во взводе бойцы знали Трофима как веселого, компанейского человека. Вернулся же он совсем другим: молчаливым и сумрачным.

Первое время он ничего не рассказывал о поездке на родину, а только еще более ревностно стал относиться к своим обязанностям и всегда просился в самое опасное дело, такое, где можно побольше уничтожить врагов.

И только постепенно узнали товарищи, что не нашел Трофим у себя на родине ни родни, ни той яблони, которую еще в детстве посадил перед хатой, ни самой хаты, и от всей деревни остались одни только закопченные дымоходы. Все спалили фашисты, а односельчан поголовно расстреляли за помощь партизанам.

Вернулся обратно в часть Трофим с одной только мыслью, с одной страстью — отомстить сполна за родную деревню Любинку.

Он по памяти восстановил имена всех жителей деревни — а память у него была точная и придирчивая — и записал их в тетрадку.

И когда ему доводилось уничтожить врага, против какой-нибудь одной фамилии в списке односельчан он ставил птичку — отомщен!

Много таких пометок поставил Трофим.

Теперь в его тетради оставалось еще одиннадцать фамилий, не отмеченных птичкой.

Словно отвечая на мысли товарища, Столетов сказал:

— Ни одного выстрела! Чем бесшумнее мы будем идти, тем вернее. Нельзя из-за одного или двух лишних убитых егерей рисковать успехом всего дела. Имей это в виду, Трофим!

Отделение спускалось по каменистому склону. Шли гуськом, один за другим. У каждого в вещевом мешке за спиной, кроме сухого пайка на неделю, лежало по триста патронов для автомата и по два килограмма тола — груз немалый. Тяжелые мешки за спиной подгоняли, заставляли убыстрять шаг. При этом гранаты у пояса покачивались в такт шагу и ударяли по бедрам.

Когда же, спустившись с горы, друзья вступили на болото, эти заплечные мешки пригибали книзу, отяжеляли шаг. Нога погружалась в мягкий мох, и ржавая вода, чавкая под подошвой, быстро заполняла след.

— Я кочколаз — у нас в Карелии много болот, — сказал Иван Пчелиев.

И Столетов определил его идти первым, прокладывать след. Сам он шел посередине.

Было так вязко, что шедший за Пчелиевым Ибрагимов вдруг обнаружил, что он остался без сапога. Сапог вместе с портянкой застрял в трясине.

Столетов, шедший позади Ибрагимова, с трудом высвободил сапог из вязкой трясины и вручил его хозяину.

— Впредь остерегайся, не выскакивай из сапог, — наставительно сказал он смутившемуся бойцу.

Около трех километров шли они болотом по колено в жидком, холодном месиве, согнувшись под тяжестью мешков.

Солнце уже стояло высоко, когда, пройдя болото, они снова начали подниматься на каменистую гору.

Теперь Столетов назначил Ибрагимова идти первым.

— У нас в Дагестане, — говорил Ибрагимов, — горы выше, чем здесь, но они приятнее и для глаза и для ноги. А тут как будто и похоже, а на самом деле не приведи бог... У нас на Кавказе болот нет!..

— А мы по географии учили, что есть! — ответил Пчелиев. — Около Поти и Батуми...

— А я тебе про Дагестан говорю! А ты мне о Поти и Батуми! Ты бы лучше...

— Тише, товарищи! — остановил их Столетов.

Разведчики поднимались на самую кручу. Заплечные мешки тянули теперь назад, и приходилось сгибаться всем туловищем, чтобы одолеть эту тяжесть.

— Мокрыми подошвами да по острым кремешкам — тут сапог не напасешься, — с трудом переводя дыхание, заметил Матвей Пьяных.

Так они поднимались от валуна к валуну, от сосны к сосне, пока не достигли перевала.

— Смотрите! — Сергей Столетов указал вдаль.

И тут они увидели протянутые между устоями, сооруженными на склонах, канаты подвесной дороги. Над очертаниями круглых, отполированных временем валунов и над острыми изломами гор бросились в глаза прямые линии натянутых тросов, терявшихся за невысокими холмами и пригорками у горизонта.

— Отсюда по прямой до этой канатной дороги будет не больше трех километров, а ежели идти по таким горам, то разве только что к утру придешь, — сказал Пчелиев.

— А нам и не надо идти по ним, мы должны взять левее, к электростанции, — отозвался Столетов.

Приглядевшись, он заметил, что по канату подвесной дороги в эту минуту скользила площадка с грузом. Она быстро шла в сторону фронта.

— В таких тюках посылают они снаряды, — сказал Столетов, обращаясь к товарищам. — А мы пресечем это!

— Понятно, товарищ старший сержант. А то я думал, что муха ползет по канату, — усмехнулся Пчелиев.

— У нас на Кавказе тоже такие дороги есть, — пояснил Ибрагимов. — Вроде нашего фуникулера. Понимаешь? — обратился он к Пчелиеву. — Какая же это муха? Это тоже тебя так учили?

Теперь надо было сойти вниз и снова болотом пробираться до следующей каменистой гряды. У подножия ее виднелись пестрые крыши поселка.

Поселок был пуст — оккупанты угнали все население. Столетов знал об этом от других разведчиков. И еще ему было известно, что на вершине горы, у подошвы которой алели крыши деревни, расположено несколько немецких зенитных батарей.

Не успели еще разведчики спуститься со склона, как вдали послышался залиvistый, захлебывающийся лай, каким охотничьи собаки дают знать хозяевам о том, что они напали на след и идут по нему. Разведчики услышали этот лай, и сразу всем им стало как-то не по себе. Они переглянулись и продолжали идти вперед молча, немного убыстрив шаг.

— Ищейки, кажется, напали на наш след, — очень тихо сказал Столетов, но эти слова услышали все.

Разведчики продолжали идти молча. Что можно было ответить на такие слова? И наконец Ибрагимов, еще раз прислушавшись к залиvistому лаю, мрачно произнес:

— Как бы там ни было, а я даром не дамся. Я на себя не меньше троих беру!

— Вот чудак! — досадливо сказал Столетов. — Разве дело в этом? Это всякий сделать может. Нам приказано взорвать станцию. А ты только о стрельбе думаешь! Пусть ни одного выстрела, пусть все погибнем, а станцию остановим — наш верх! Но если даже сотню немцев перебьем, а станция попрежнему будет работать, тогда грош нам цена — не оправдали доверия! Вот в чем дело.

Разведчики продолжали спускаться вниз.

Мысли о том, что же сейчас следует предпринять, одна за другой проносились в голове Столетова, но ни на одной он не мог остановиться. От этого проклятого лая, ему казалось, у него прерывается дыхание. И он, замыкая отделение, шагал, не зная еще, что делать, когда с горы словно скатилась собака. Не прекращая лаять, она остановилась в нескольких шагах от него.

Ибрагимов снял с плеча свой автомат.

Столетов резко взмахнул рукой — не стреляй. И Ибрагимов неохотно опустил автомат.

Было совершенно ясно, что вслед за собакой, спущенной со своры, идут люди. Только она намного обогнала их.

Теперь во что бы то ни стало надо было уничтожить эту немецкую овчарку, пока не подспеют ее хозяева.

Пчелиев сделал несколько шагов к собаке, чтобы схватить и задушить ее. Но, увидев, что к ней идет человек, собака отбежала немного, остановилась и опять громко залаяла.

— Нет, так, голыми руками, ее не возьмешь! А ну, вперед! — скомандовал Столетов.

Бойцы быстро пошли вперед. Позади всех шел Сергей Столетов.

Собака не отставала. Она бежала теперь так близко за Сергеем, что, казалось, вот-вот вцепится в него сзади.

Он рассчитывал на это и готовился схватиться с нею.

Но натренированная собака не кусала человека. Только раз она осторожно схватила зубами край ватника и сразу же, не успел Сергей обернуться, отскочила в сторону и остановилась, не спуская с него глаз.

Так повторилось несколько раз.

Надо было отделаться возможно скорее от этого преследования.

— Вот собака! Настоящая собака! — злясь, пробормотал Дробитько и навел на бешено лающий комок меха автомат; но, как только он это сделал, собака начала быстро бегать между деревьями и кочками, делая зигзаги и оставаясь почти все время на одном и том же расстоянии от людей.

— Вишь ты, как вышколили! — проворчал Пчелиев.

— Только один патрон: наверняка! — приказал Столетов.

Но разве можно было ручаться, что пуля не пойдет «за молоком». И Дробитько в досаде опустил автомат.

— Ах, ты так? — глядя на собаку, проворчал сквозь зубы Ибрагимов.

Подняв с земли камень, он размахнулся и бросил его в овчарку.

Она увильнула от камня. И, отбежав немного, снова остановилась и залаяла.

— Да это сам сатана, а не собака! — обозлился Гулеватый.

Полаяв с полминуты, собака осторожно подошла к упавшему в мягкий мох камню и, не отрывая глаз от людей, стала его обнюхивать.

— Ах, вот ты какая! — Столетов быстро нагнулся, тоже поднял камень и бросил его в сторону от собаки.

Та отскочила от камня, который только что обнюхивала, и поглядела, куда упал камень, брошенный Столетовым; затем перебежала к нему и стала обнюхивать его...

— Так!

Все было решено. Столетов снял с пояса ручную гранату, встряхнул ее, как полагается, и швырнул в сторону.

Собака снова оставила камень и побежала к гранате. Только она, принюхиваясь, остановилась, как раздался взрыв. Овчарку метнуло в воздух и разнесло в клочья.

— Теперь я знаю, как надо с такими зверюгами разделываться, — деловито сказал Пьяных.

С собакой было покончено, но вслед за ней вскоре должны были появиться эсэсовцы. Поэтому разведчики немало удивились, когда их командир вдруг приказал остановиться, раскрыть мешки и вытащить из них банки с консервами.

Все с недоумением поглядели друг на друга.

Один только Дробитько был спокоен. Он во всем полагался на своего командира. И то, как Столетов сейчас справился с ищейкой, еще больше укрепляло его доверие к командиру.

— Да чего вы стоите?! Живее, живее! — покрикивал Столетов на товарищей, не так уж охотно принявшихся за свои мешки.

Каждому было выдано в дорогу по шесть банок консервов. По одной было уже съедено. Оставалось по пять на человека. Значит, всего тридцать штук.

— А ну, откупоривайте все банки! — приказал Столетов. — А вы, Пчелиев, Пьяных и Гулеватый, тем временем раскладывайте костры. Неподалеку один от другого. Шесть костров. Да побыстрее!

И пока Столетов, Ибрагимов и Дробитько вскрывали банки, Гулеватый, Пьяных и Пчелиев натаскали валежника, наломали веток сосен, елок, можжевельника. Как ни непонятен был сейчас для них приказ командира, они должны были его выполнить, тем более что по тону, каким были отданы эти распоряжения, они поняли, что Столетов принял какое-то определенное решение.

Затем Столетов распорядился банки опростать, а их содержимое положить обратно в мешки.

— Погода прохладная, за день-другой мясо не испортится, а жестянки эти мы употребим по назначению. Вот увидишь, Свеча, все будет в порядке! — говорил он, ни на секунду не переставая работать. — Готовы ли костры?

— Готовы, — ответил за товарищей Матвей Пьяных, — готовы! Все шесть, как приказали!

Работа теперь пошла удивительно быстро.

— Разжигай! — скомандовал Столетов. И в ту минуту, ко-

гда по сухим сучьям побежали быстрые голубые огоньки и сухая хвоя вспыхнула так, словно в костер были положены палочки пороха, разведчики снова услышали отдаленный заливи-стый лай.

Прислушавшись, можно было понять, что на этот раз лают несколько собак.

Около каждого костра Столетов небрежно бросил по пять пустых консервных банок и подозвал товарищей к себе поближе.

— Мы сейчас идем дальше, — сказал он. — Эсэсовцы дойдут до этих костров и непременно остановятся. Они подсчитают, что нас здесь было не меньше чем шестьдесят человек. По полбанке на брата на завтрак. Ну, а их, наверно, не больше. Они вызовут подкрепление, подождут его. Значит, у нас будет выигрыш во времени. Но ненадолго. И вот, товарищ ефрейтор, — обратился он по-уставному к Дробитько, — я вам приказываю вместе с Пчелиевым и Гулеватым принять на себя все вражеское преследование. Задержать немцев насколько это возможно. Вы идите через болото, оставляя приметные следы, прямо к деревне и там, около нее, примите бой и держите немцев до последнего патрона, до последнего вздоха. Мы же пойдем своим маршрутом и без следов...

— Так что и шуметь теперь можно? — спросил Гулеватый.

— И даже побольше, только с толком!

— До последнего патрона... — произнес Дробитько. — Это, товарищ командир, значит: до предпоследнего. Так понимать можно?

— Точно!

— Понятно... — сказал Дробитько и обратился к Гулеватому: — Сегодня ты полностью весь список свой можешь отметить. Я так полагаю! — И он крепко обнял своего друга.

Через минуту у костров никого уже не было.

Столетов с Ибрагимовым и Пьяных шли вверх по самому руслу быстро текущего холодного ручья. Они не оставляли следов. Дробитько же с товарищами шли через болото к деревне не гуськом, а вразброд, и следы от их сапог наполнялись ржавой болотной водой, образуя три тропы.

IV

— Вот что, товарищи, — сказал Тарас Дробитько, когда, одолев болото, разведчики подошли к околице опустошенной фашистами деревни. — Как говорил Суворов: «Каждый воин должен понимать свой маневр». Так вот наш маневр: во что бы то ни стало задержать эсэсовцев и принять на себя их

удар, отвести им глаза, чтобы Столетов с товарищами выполнили задание, хотя бы для этого нам пришлось помешать.

— Все ясно! — ответил Трофим Гулеватый. — Ежели на мою долю одиннадцать эсэсовцев выпадет, то счет можно считать закрытым...

Дробитько поглядел на Пчелиева. Паренек молчал. Он знал, на что идет, и был уверен, что в трудную минуту будет биться не хуже других. Но как только он начинал думать о том, что завтра, может быть, его уже не будет на свете, ему становилось тоскливо. Он погибнет, и никто: ни товарищи, ни родные — брат, отец — никогда не узнают о том, как он погиб. Мать... Ну, это, пожалуй, хорошо, что она не узнает. И он представлял себе заплаканное, бесконечно дорогое лицо, и тогда к глазам его тоже подступали слезы.

Мысли его прервал строгий и немного насмешливый бас великана Дробитько.

— У нас дело сложное, — говорил он. — Нам схитрить надо. А если уж погибать нам, так с громом, с музыкой, чтобы чертям тошно стало.

Разведчики вошли в пустую деревню, живописно раскинувшуюся у подножия высокой горы. Отсюда уже можно было разглядеть и позиции немецких зенитчиков, расположенные на склоне в полутора-двух километрах от деревни.

В это же время взвод эсэсовцев подошел к догоревшим кострам.

Шедший впереди высокий гитлеровец держал на поводке трех ищеек.

Немцы сосчитали костры. Им, как это и предвидел Столетов, бросились в глаза банки из-под консервов. Сам обер-лейтенант Мюллер подсчитал блестящие на солнце жестянки. Выходило много. Число костров тоже показывало, что русских здесь было не меньше, чем два взвода.

Мюллер произвел все подсчеты и, очень довольный собой, послал радиодепешу.

Он донес начальству, что русских партизан два взвода и для того, чтобы ударить по ним, необходимо подкрепление.

«Проверьте данные вашей разведки и еще раз подтвердите численность противника», — ответили Мюллеру.

Обер-лейтенант привык выполнять приказы беспрекословно, и все же он досадовал на начальство за это промедление. Он знал, что только после вторичной проверки и нового донесения он сможет рассчитывать на подкрепление.

Однако русские очень скоро сами помогли Мюллеру в этом. Меньше чем через час он смог снова рапортовать началь-

ству, что число врагов никак не меньше, чем было подсчитано раньше.

Тогда Мюллеру ответили, что в помощь ему на самолетах высылается рота. Переброска и сосредоточение ее должны окончиться к сумеркам, а к ночи партизанскую группу, засевшую в деревне, надлежало уничтожить.

Когда Дробитько с товарищами вошел в деревню, его поразила мертвая тишина, царившая на улице. Двери домов были распахнуты. Почти все вещи стояли в комнатах на своих местах нетронутыми. Видно было, что оккупанты собрали и вывезли население в полчаса.

Гулеватый нагнулся и поднял из дорожной грязи розовый шерстяной детский чулочек. Рядом валялась игрушечная корова. Друзья молча посмотрели и на чулок и на игрушку, второпях оброненные ребенком.

Дробитько шел, озираясь по сторонам. Около каждого домика — у сарая или у изгороди — высились заготовленные на зиму поленицы сухих березовых дров.

Каждый раз, когда перед Тарасом возникало затруднение, он думал: «А что бы на моем месте сделал Столетов?» И почти всегда он находил какой-нибудь выход. Так и сейчас он решил сразу, что сделал бы здесь на его месте командир.

— Ребята, — сказал он, — вот каждому из вас я отведу по два дома. Пусть каждый в своих домах не медля растопит печи... И лучше сырыми дровами. Пусть погуще повалит дым! Подалее видно. Понятно?

Товарищи его не напрасно назывались гвардейцами, не зря служили в дивизионной разведке, в первом отделении. Едва только Дробитько начал говорить, как они уже всё поняли. А дрова, как назло, были сухие, с берестой. Хотя печи были сложены на незнакомый лад и надо было разгадывать назначение каждой выюшки, растопить их все же не представляло особого труда. Однако Гулеватый, прежде чем растопить печь, напустил полную горницу дыма. Пчелиев, который лучше разбирался во выюшках, пришел к нему на помощь, и вскоре из шести дымоходов прямо в безветренное небо повалили столбы сизого дыма.

И вот эти-то столбы дыма еще раз убедили Мюллера в его правоте: занимать шесть изб могли, по меньшей мере, два взвода.

Когда все печи были растоплены и топки второй раз полностью загружены дровами, разведчики собрались около избы,

в которой хозяйничал Дробитько. Он вышел на крыльцо, и они все присели на ступеньки закусить.

— Последний наш обед, друзья! — тихо сказал Пчелиев, но никто ему не ответил.

А в это время над болотом загудели самолеты, и сверху посыпались к стоянке отряда Мюллера черные точки, которые быстро увеличивались. Потом над этими точками вспыхивали купола парашютов.

С крыльца разведчикам видны были и самолеты и повисшие в воздухе парашютисты.

Дробитько, не отрываясь, следил за самолетами.

«А вдруг это против Столетова?» — с тревогой подумал он.

И только тогда, когда два неприятельских самолета спикировали над самой деревней и прошли над улицей, простреливая ее своими пулеметами и сбросив две небольшие бомбы около домиков с топящимися печами, Дробитько вдруг повеселел.

— Против нас это, хлопцы, против нас всё! — радостно прокричал он. — А Столетов знай себе идет да идет... Я говорил вам: погибать, так с музыкой! — И он от души смеялся.

Пока летали штурмовики, разведчики укрывались в сырой канаве. Теперь они вернулись к крыльцу, где оставалась их еда.

— Вот ты, Пчелиев, недавно школу кончил. Историю, стало быть, учил. А ну-ка, расскажи нам, какие военные хитрости наши предки применяли? Авось и нам на потребу это дело станет, — говорил Дробитько.

— У славян было много военных хитростей, — словно на уроке истории, отвечал Пчелиев. — Например, когда их преследовал неприятель...

— Это, кажется, подходит к нам, — насторожился Дробитько.

— ...когда их преследовал неприятель, они достигали какой-нибудь реки, ложились на дно и дышали через камышинки. Поджидали, пока враг перейдет реку, и тогда вставали со дна реки и с устрашающими криками ударяли на врага с тыла.

— Ну, крик-то, конечно, мы можем, а остальное к нам сейчас не подходит, — серьезно сказал Дробитько. — Во-первых, вода у здешних речек очень прозрачная, не укроешься. Во-вторых, такая холодная, что и пяти минут не усидишь. Стало быть, нам надо придумать что-нибудь поновее.

Тут он хитро улыбнулся, снова посмотрел на костры, пылав-

шие на другой стороне болота, и вверх на склон, на огневые позиции зенитчиков.

«Ну, Сергей, на этот раз ты будешь доволен», — подумал Дробитько и заговорил шопотом:

— Вот что, друзья: не обороняться мы будем, а нападать! Да, нападать. Как только пойдут на нас со стороны болота, мы завяжем перестрелку, потом отскочим наверх и... откроем огонь по этим, — он указал на склон, на позиции противника. — Ну, а там уж, поверьте мне на слово, заварится каша, что сам чорт ногу сломает. Пока егеря эту кашу расхлебают, мы и выскочим из кольца. Понятно?

Это был чудесный план. Он давал возможность не только выполнить задание, но и спастись.

Наступали быстрые в горах сумерки, и надо было готовиться к близкому уже бою...

— Товарищи, давайте вот еще что сделаем, — сказал Пчелиев.

Он предложил разжечь в нескольких местах у деревенской околицы костры, какие раскладывают карельские лесорубы: одно бревно укладывается на другое, и в промежутках засыпаются горящие угли. Такой костер горит без большого огня несколько часов и не требует за собой ухода.

— А в бревнах сделаем щели, — продолжал Пчелиев, — и заклиним в них патроны. Когда к ним подберется огонь, они начнут рваться. И получится вроде стрельбы со всех сторон. Вот тогда немцы начнут разворачиваться...

Так и сделали: соорудили по краю болота пять таких костров. Работа спорилась. Тут же притащили и уголь из жарко натопленных печей.

Всё приготовили и залегли между мшистыми камнями у самой дороги, которая, огибая подножие горы, уходила влево.

Едва они успели сделать это, как егеря пошли в наступление. Они пробирались через болото тремя колоннами.

Когда одна колонна была уже совсем близко, первый костер встретил их пальбой, как бы очередями из нескольких автоматов. Егеря развернулись и залегли.

Огонь десяти ручных пулеметов сосредоточился на этом костре. Но уже со всех сторон зазвучала стрельба. Это рвались патроны на других кострах.

Егеря прижались к земле и повели ответный огонь.

— Хороша музыка! — с удовлетворением отметил Дробитько.

— Да, здесь они израсходуют уйму свинца, — отозвался Пчелиев.

Тут Гулеватый вскочил вдруг на ноги и, размахнувшись, бросил в темноту одну за другой три гранаты.

У него было острое зрение.

Сразу же после взрывов в темноте слышались стоны и жалобные крики.

Дробитько посылал в темноту очередь за очередью. Оттуда неслись прерывистые разноцветные нити трассирующих пуль. Рядом, осыпая разведчиков поднятой землей, разорвалась мина.

— Теперь надо уходить, и поскорее, — подумал Дробитько вслух и окликнул Пчелиева и Гулеватого: — Айда!

Гулеватый едва слышно отозвался:

— Мне не уйти... Ноги перебиты! Уходите быстрее, не задерживайтесь из-за меня!

По его решительному тону Дробитько понял, что споров быть не может.

Вдвоем же выполнить задуманный план и еще унести товарища они с Пчелиевым не могли. Все же Дробитько нагнулся над раненым, пытаясь приподнять его.

— Идите скорее! — настойчиво сказал Гулеватый, еле сдерживая стон. — Идите. На, возьми, тебе завещаю, — вынул он из-за пазухи сверток и протянул Пчелиеву.

Товарищи простились с ним и быстро пошли вверх по дороге.

Гулеватый остался один, всматриваясь в темноту, прислушиваясь к неумолчному, оглушающему стуку станковых и ручных пулеметов.

Враги были уже совсем близко. Через минуту они ворвутся в деревню.

«Не мое дело теперь хитрить с ними, — думал Гулеватый, — мое дело — бить! Как там Дробитько?» — подумал он о товарищах и прислушался.

Нет, выстрелов на горе не было.

Тут Гулеватый заметил солдата так близко от себя, что, казалось, можно было достать его рукой. Гулеватый выстрелил — и солдат замер.

Рычажок автомата Трофима был переведен теперь на одиночные выстрелы. Через несколько секунд Гулеватый уложил второго солдата. Он продолжал считать:

— Третий! Четвертый!

Цветистые нити трассирующих пуль сплетали над ним то и дело вспыхивающую и гаснущую сеть.

Совсем рядом звякнула о камень и с жалобным визгом отлетела пуля.

С каждой минутой враги приближались, и их становилось все больше и больше. А вверху, на горе, было попрежнему тихо.

Вот немецкие солдаты, перекликаясь, рванулись вперед. Они были уже в десяти шагах от камня, за которым лежал Гулеватый. Тогда он торопливо отложил автомат, преодолевая боль, приподнялся на одной руке и другой, что было силы, размахнулся и метнул гранату.

Взрыва он уже не услышал. Не услышал он и того, как в ту же минуту ударили наверху, вдалеке, очереди автоматов и затем раздались крики, застучали зенитки и сверху вниз застрочили пулеметы...

Фашисты сверху били по своим.

V

Ночью в горах звук разносится очень далеко. И Столетов, дежуривший около товарищей, прилегших на часок отдохнуть, услышал отдаленные шумы ночного боя, который уже происходил в нескольких километрах от деревни.

Еле слышные, точно дальнее похрустывание сухого сучка, долетали сюда выстрелы автомата; звуки пулеметов были хорошо различимы.

А когда в дело ввязались орудия, проснулся Матвей Пьяных, а за ним и Ибрагимов.

Они молча прислушивались к далекому бою.

Это было просто удивительно, как сражались товарищи! Неужто против них пустили в дело даже артиллерию?

Столетов насчитал, что действуют четыре орудия.

А бой все длился и длился...

Столетов, Пьяных и Ибрагимов живо представили себе оставленных товарищей...

Через горы, болота и леса товарищи подавали весть о себе. Не прощальную ли?

— Твоя очередь отдыхать, — сказал Пьяных Столетову. — Ложись, я подежурю.

Но Столетов не стал отдыхать.

— Пошли! — скомандовал он.

И товарищи поднялись.

До цели им оставалось еще семнадцать километров. Через двадцать шесть часов, к рассвету, станция должна была перестать работать. Таков был приказ полковника.

Спускаясь по склону, разведчики шли гуськом. Камешки срывались под ногами и стремительно катились вниз, обгоняя бойцов.

Отзвуки отдаленного боя становились все глуше и глуше. Постепенно гул орудийных выстрелов смолк, пулеметная строчка незаметно сошла на нет, растворилась, заглохла в шумном дыхании идущих.

Когда все затихло, Столетов, не останавливаясь, сказал товарищам:

— Ежели после того, что они сделали для нас, мы задания не выполним, грош нам цена!

И Пьяных отозвался из темноты:

— Выполним, товарищ гвардии старший сержант!

Пошел дождь. Через час он перешел в ливень, но и под косыми, секущими лицо струями разведчики продолжали идти.

Они шли всю ночь. Шли и тогда, когда, разгоняя тучи утренним ветром, над горами узкой полоской снова заалел рассвет. Полоска эта становилась все шире и шире, а дождь шел все медленнее и реже и постепенно растворился в горных туманах.

Мокрые, в отяжелевшей и топорщившейся от влаги одежде, они молча продолжали путь. Время от времени Столетов на ходу сверял направление со стрелкой компаса на руке.

Так наступил день.

Разведчики вышли к дороге, раскисшей от ночного ливня. Почти вдоль нее тянулась подвесная канатная дорога.

Устой ее — огромные козлы, связанные из многих телеграфных столбов, — высились в нескольких метрах от обочины; тяжелые, толстые канаты, как огромные натянутые струны, бежали от устоя к устою почти над самой головой разведчиков.

Теперь на пути к станции осталось только одно препятствие: горная река. Через нее был переброшен легкий висячий мост, по которому, однако, спокойно мог проехать грузовик. Маленький домик, похожий на игрушечный, лепился у самого берегового обрыва.

Минут двадцать издали разглядывали разведчики и мост и домик, из трубы которого вился полупрозрачный дымок, пока не убедились, что около моста нет часовых.

Тогда Столетов решил перейти на другой берег реки прямо по мосту: этим выигрывалось несколько часов, да и размытая дождем дорога окончательно сбила бы со следов ищек.

— Я иду вместе с Ибрагимовым. Если все будет тихо, ты следуй за нами, — сказал Столетов Пьяных. — Если будет стрельба и мы не вернемся, значит нам каюк. Тогда

иди вверх по течению, перебирайся вброд и один выполняй приказ!..

Разведчики разделили взрывчатку на две равные части. Половину Столетов с Ибрагимовым взяли с собой. Вторая половина осталась у Пьяных.

Матвей Пьяных лежал на вершине склона. Оттуда ему было далеко видно и то, что делается впереди, у моста, и то, что делается позади, на извилистой горной дороге. Глядя вперед и волнуясь за каждый шаг товарищей, Матвей видел, как они беспрепятственно достигли моста, огляделись и пошли дальше. Вот они перешли мост и очутились у домика.

Дальше дорога шла по узкому ущелью. Почти отвесные стены вставали справа и слева, и в сторону с дороги нельзя было никуда сойти. Матвей Пьяных увидел, как отворилась дверь домика и на крылечке появилась крохотная фигурка.

«Девочка», — подумал Пьяных, и на душе у него стало как-то уютнее.

Он обернулся и посмотрел вдаль по извилистой дороге. То, что он увидел, заставило его побледнеть. Он вскочил на ноги, быстро приладил за спину свой мешок и побежал вниз, к мосту, вслед за товарищами.

Он, спотыкаясь и падая, бежал, стремясь как можно скорее догнать друзей и рассказать им о том, что он увидел с горы.

А увидел он вот что: по дороге, одолевая крутой подъем, медленно ползли три грузовика. Они были километрах в четырех от моста... Об этом надо было скорее предупредить товарищей, хотя сам Пьяных и не представлял, что же теперь можно сделать. Но прежде всего надо было предупредить.

Разговаривая со сторожем, вышедшим вслед за девочкой, Столетов заметил бегущего к мосту Пьяных. Он и сам уже был встревожен.

Старик сначала принял его и Ибрагимова за немецких солдат. Теперь, обрадованный тем, что перед ним свои, он сказал:

— Час назад сообщили по телефону, что на пост направлена усиленная охрана. Видимо, опасались вас.

Встревоженный словами старика, Столетов, однако, не представлял себе, с какой быстротой надвигается гроза.

И когда запыхавшийся Пьяных рассказал, что грузовики уже поднимаются на последний перевал перед мостом, Сергей понял, что не пройдет и пяти минут, как они появятся здесь.

Столетов посмотрел вперед на дорогу. Она уходила больше чем на километр длинным коридором между высокими обрывистыми скалами.

— Нет, мы не успеем пройти ее за несколько минут, — решил он. — Что же делать? Что делать? — спрашивал он себя, оглядываясь по сторонам.

Легкий, ажурный, висящий на двух тросах мост, переброшенный через неустанно ревущий поток, казался совсем хрупким. И вот сейчас по нему промчатся вражеские машины.

Надо их остановить.

Пересохшими от волнения губами Сергей сказал:

— Мы его взорвем!

«Правильно! Мы ведь уже на этом берегу, и теперь до электростанции всего пять километров. Мы успеем сделать свое дело, а там уж будь что будет!» — подумал, еще тяжело дыша от бега, Пьяных.

Разведчики быстро скинули свои мешки.

Взрывчатку для взрыва моста решили взять из мешка Столетова. Свой мешок Пьяных пристроил на высоком камне, чтобы потом удобнее было вскинуть его на спину.

Не прошло и минуты, как Столетов принялся укреплять на мосту, почти на самой его середине, кубики тола.

Ибрагимов прикладывал к взрывчатке бикфордов шнур.

Старик с девочкой, ошеломленные быстротой, с какой разведчики взялись за дело, издали наблюдали за их работой.

Через минуту-другую — не успел еще Пьяных отдышаться — Столетов, подложив под поперечную балку взрывчатку, был уже на берегу.

Внимательно прислушавшись, можно было уловить, как фырчат, одолевая подъем, моторы грузовиков.

— Поджигай! — скомандовал Столетов.

— Есть! — отозвался Ибрагимов и поднес спичку к шнуру.

Голубой огонек пополз по шнуру к взрывчатке.

Не сводя с него глаз, и Столетов, и Пьяных, и старик с внучкой следили за тем, как он ползет по шнуру.

И вот в ту минуту, когда явственно слышалось ворчанье моторов за ближайшим склоном, огонек этот остановился на одном месте, словно потоптался на нем, и погас.

Столетов взглянул на Ибрагимова и поймал его смущенный, растерянный взгляд. Оба сразу взглянули на то место, где только что светился огонек. Там его не было. И дальше тоже не бежал он. Погас...

Шнур, повидимому, был сломан — на сгибе его и потух огонек. Что же теперь делать?

Этот безмолвный и страшный вопрос прочитал в глазах Ибрагимова Столетов.

Ибрагимов снова потянулся к спичкам. Каждую секунду могли показаться грузовики.

— Действуй! — крикнул Столетов и схватился за гранату, висевшую у него на поясе.

Тогда Ибрагимов понял, что надо ему делать.

Зажигать шнур в том месте, где он погас, теперь уже было поздно. Вскочив на ноги, быстрой и ловкой походкой горца, то быстрым шагом, то бегом, Ибрагимов устремился к взрывчатке на мосту...

На ходу он рванул с пояса гранату, отшвырнул в сторону чугунную рубашку, сорвал предохранитель и, встряхнув гранату, вставил ее среди кубиков тола. Потом с быстротой, какая раньше показалась бы ему невозможной, побежал по мосту обратно, туда, где ждали товарищи.

Все это произошло в считанные секунды.

Немецкий грузовик пошел вниз по склону и уже въезжал на мост. Наверху показался радиатор второй машины.

Ибрагимову осталось еще два-три шага до берега, и в это мгновение раздался взрыв.

Кверху полетели доски настила моста. Со свистом взвился вверх и затем повис, достигая пенящейся внизу воды, конец оборванного стального троса, державшего мост. Сразу же мост перекосился, словно стал на ребро. Второй трос остался невредимым, но провис. Доски шлепались в реку, поднимая фонтаны брызг.

Взрывная волна толкнула в спину Ибрагимова, он растянулся плашмя; ноги его были еще на досках моста, а туловище — в жидкой грязи дороги. Он был оглушен взрывом.

Пьяных бросился к товарищу и быстро оттащил его к прибрежным валунам. И поэтому только один Столетов видел, как немецкий грузовик, уже въехавший на мост, резко затормозив, завалился и по перекосившемуся настилу соскользнул в реку, на отшлифованные водой камни...

Но зато Столетов не видел того, что увидела девочка: взрывной волной сдвинуло с камня мешок Матвея Пьяных; потеряв равновесие, мешок покачнулся и упал вниз, в поток — туда же, куда рухнул немецкий грузовик.

Вторая машина затормозила на гребне, и мотор ее заглух. Внизу же, за холмом, еще рокотал мотор третьего грузовика.

Все это произошло меньше чем в минуту.

Не успели покинуть свои места немецкие солдаты на втором

грузовике, не успели с третьей машины осведомиться у передних, что произошло, в чем задержка, как все отгрохотало и затихло.

А когда по гребню рассыпались немецкие солдаты, двигаясь к мосту, второй трос не выдержал чрезмерной нагрузки и тоже оборвался.

Мост рухнул, и теперь уже разведчиков отделяла от врага ущелистая ложбина реки.

Фашисты сначала залегли, затем поднялись и столпились у обрыва.

«Уложу-ка нескольких одной очередью», — подумал Столетов, но тут же решил, что не стоит выдавать себя и связываться боем.

Он пополз к соседнему камню, за которым находились Пьяных и Ибрагимов.

Ибрагимов постепенно приходил в себя.

— Молодец! — сказал Столетов и пожал Ибрагимову руку. — Молодец! Теперь тебе до ста лет жить! Везучий ты!

Ибрагимов улыбался. Он хотел что-то сказать в ответ, но слова как-то не складывались, и язык у него был словно из ваты.

— Ну, а теперь вперед! — сказал Сергей товарищам.

Только сейчас хватился Матвей Пьяных своего мешка. На камне его не было. Куда же он делся? Не остался ли около крыльца? Матвей ринулся к домику. Но и там мешка не было.

Девочка сразу поняла, что ищет этот человек, и показала на камень, а затем вниз, в стремнину потока.

В первую минуту Пьяных даже не осознал полностью, что значит эта потеря. Они отошли от моста метров на пятьсот, когда он стал докладывать Столетову о случившемся. И только в эту минуту, взглянув в лицо товарища, Матвей вдруг понял весь ужас их положения.

Они находятся здесь, в глубоком вражеском тылу, вблизи от электростанции — и без взрывчатки! Они достигли цели, но им нечем выполнить задание. Значит, весь свой трудный путь они проделали впустую; значит, и Дробитько, и Пчелиев, и Гулеватый рисковали собой напрасно.

Они стояли посреди прорубленной в ущелье дороги, в каком-нибудь полукилометре от немецких солдат, растерянные, не зная, что предпринять.

Потом пошли вперед, так и не придя ни к какому решению. Через два часа, когда солнце уже начинало склоняться, они подошли к электростанции.

Это было небольшое красивое строение на берегу озера.

Станция стояла на том месте, где из озера выбегала быстрая речка, прегражденная плотиной.

Тут же, неподалеку, вверху, тянулись тросы канатной дороги; по ним плавно катились груженные площадки; мерно и спокойно работала станция; гладко было стальное зеркало озера.

А разведчики сидели, укрывшись в кустах на берегу озера, теряясь в догадках, что же им предпринять, чтобы выполнить боевой приказ.

VI

Перед рассветом должна была начаться артподготовка. И выполнит задание Столетов или нет, а дивизия должна была идти на прорыв.

Полковник вызвал начальника артиллерии, чтобы проверить еще раз график поддержки пехоты и все сигналы управления огнем.

Весь день он был очень занят, но при всей озабоченности его не покидала мысль о Столетове. И теперь, отпустив начальника артиллерии и оставшись один, он снова подумал о том, где сейчас Столетов со своей группой. Сделают ли они свое дело? Уцелеют ли?

Уже вечерело. Это был тот самый час, когда Столетов с Ибрагимовым и Пьяных достигли электростанции и расположились на берегу озера.

Полковник стал выколачивать пепел из трубки, потом искал спички.

— Если они не выполнят, то сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в дивизии смог выполнить, — сказал Строев и встал прислушиваясь.

Дверь землянки растворилась, и вместе с командиром взвода разведки в помещение вошел Пчелиев. Он был без пилотки, волосы его были растрепаны, одежда изодрана. И то, что из всего отделения он был один, заставило вздрогнуть полковника.

— Что со Столетовым? — быстро спросил Строев.

— Не знаю, товарищ гвардии полковник. Мы с ним расстались вчера утром, по его приказу, — отрывисто отвечал Пчелиев. — Он с Ибрагимовым и Пьяных пошел вперед, а мы с Дробитько и Гулеватым приняли удар, чтобы задержать врага. Дрались в деревне.

— Так что тебе неизвестно, добрался Столетов до цели или нет?

— Нет, товарищ гвардии полковник, неизвестно...

— А твои товарищи?

— Я полагаю, Гулеватый погиб. А вот где Дробитько, не знаю. Я думал, что он будет здесь раньше, чем я.

И Пчелиев взволнованно, торопясь, пропуская слова и повторяясь, рассказал, как, действуя по плану Дробитько, они выбежали из селения в ночной темноте и устремились прямо к огневым позициям зенитчиков, обстреляли эти позиции из автоматов и бросили по две гранаты каждый.

— Гитлеровцы всполошились, — рассказывал Пчелиев, — прозвучала боевая тревога. Они открыли вниз по склону огонь из пулеметов, винтовок и даже орудий. А оттуда, преследуя нас, продвигались каратели: на них-то и обрушился огонь зенитчиков. Началась перепалка. Они друг друга колотили. В суматохе мы и ушли, да только в темноте потерялись.

Прежде чем в деревне все утихло, Пчелиев успел пройти немалую часть пути.

— Хорошо, хорошо! — одобрительно заметил полковник, слушая молодого разведчика.

К ночи явился и Дробитько. Он был ранен и сильно ослаб от потери крови. Пчелиев навел на него перед отправкой в госпиталь.

— Дядя Тарас, я и за тебя здесь отметинку сделаю, — сказал он при расставании, достав тетрадь, полученную от Гулеватого. — Мне завещал Трофим довести его счет до конца. Может быть, нынче ночью он и сам за все рассчитался...

Пчелиев проводил санитарную повозку по редкому леску до того места, где дорога уходила в открытое поле.

VII

— Если бы у нас и была взрывчатка, — сказал, вздыхая, Пьяных, — то я бы не стал взрывать станцию. Пригодится нам. Вот плотина — это дело другое. Плотины около подъемного щита взорвать — это в самый раз. Станция сразу же с катушек долой! А хлопот с ремонтом, когда придут наши, только на неделю.

— Весь вопрос в том, где эту самую взрывчатку теперь достать, — в раздумье сказал Ибрагимов и поглядел на Столетова.

Столетов не ответил. Ему было стыдно сознаться в своей беспомощности, но время шло, а выхода он все же не находил.

Вот уже час, как они сидели в кустах на берегу озера и наблюдали за плотинной, по которой взад и вперед, словно маятник, ходил немецкий часовой.

Наступали сумерки, а разведчики все еще не знали, на что решиться. О том, чтобы вернуться, ничего не сделав, не могло быть и речи, но что надо предпринять, они тоже не знали.

Погрузившись в думу, Столетов машинально следил, как по канату подвесной дороги катилась площадка с грузом. Он проводил ее взглядом, пока она не скрылась за скалистыми холмами. И вдруг улыбнулся.

«Есть! — облегченно вздохнул Ибрагимов, не сводивший с командира глаз. — Теперь все в порядке!»

Но он не решился спросить сразу, что же надумал Столетов.

— Другого выхода нет, — вслух произнес Сергей: — иначе в глаза товарищам нельзя будет смотреть!

Тут к нему обернулся и Матвей Пьяных.

— Говори! — нетерпеливо попросил он.

— Посмотрите! — кивнул Столетов на пробегающую по канату груженую площадку.

Разведчики поглядели туда, куда указал Столетов.

— Ну, ну? — недоумевали они.

— Разве вы ни о чем не догадываетесь сами?

Бойцы молчали.

— Говори! — еще раз попросил Пьяных.

— Дело может выгореть! — уже увлекаясь своим планом, заговорил Столетов. — Только надо подождать, пока совсем стемнеет. А то дорогу эту за десять верст разглядеть можно.

И, видя, что товарищи попрежнему ни о чем не догадываются, он спросил:

— Чго там, по-вашему, на этих площадках персвозят?

— Ну, боеприпасы...

— Значит, и взрывчатку?

— Значит, и взрывчатку.

— А не попытаться ли нам достать немецкую взрывчатку, если своей лишились?

— Можно!

— Нужно! Но это можно будет сделать только в темноте...

— А если там не будет взрывчатки?

— Ну, тогда...

Впрочем, Столетов и сам не знал, что тогда можно будет сделать, но он верил в удачу.

Он уже распоряжался.

— Ты, Пьяных, — говорил он сибиряку, — остаешься здесь и точно выясняешь, через сколько времени сменяется караульный на плотине. Сам понимаешь, для чего это. Ну, заодно при-

глядишься, где поудобнее разрушить плотину. А я с Ибрагимовым попытаю счастья на подвесной дороге.

Пьяных остался на берегу озера, а Столетов с Ибрагимовым отправились к подвесной дороге.

Вечерняя темнота позволила им незамеченными подобраться к деревянным устоям подвесной дороги, а Матвею Пьяных— подползти поближе к плотине.

Теперь часовой только пяти шагов не доходил до того места, где лежал среди кочек и кустов Матвей; тот с напряженным вниманием следил за часовым, проклиная свою утреннюю неудачу с мешком, и рассматривал плотину.

Куда бы приладиться и положить взрывчатку?

Как раз в то время, когда Пьяных подползал к плотине, Столетов с Ибрагимовым подошли к огромным бревенчатым козлам-устоям, на поперечной перекладине которых на высоте двенадцати метров были подвешены канаты.

«Здесь я влезу, а сбрасывать буду у следующих устоев», — решил Столетов.

Соседние устои-козлы находились метрах в двухстах от первых.

— Там ты меня и будешь ждать... Иди! — сказал он Ибрагимову.

Для того чтобы достигнуть следующего устоя, Ибрагимову надо было пройти каменистый пригорок, спуститься вниз в ущелье, на дне которого журчал холодный ручеек, и снова подняться на склон.

Когда Ибрагимов исчез в ночном сумраке, Столетов попытался влезть наверх, к канатам. Это оказалось не так легко, как он сначала предполагал.

Очищенные от коры бревна, многократно омытые дождями, были скользкими, и выше чем на три метра Сергей никак не мог взобраться.

Он скользил вниз, царапая руки до крови, раздирая ватник. К тому же сказывалась и усталость.

После двух неудачных попыток подняться по этим покато поставленным бревнам Сергей понял, что плетью обуха не перешибешь, и, вытащив из ножен финский нож, стал вырезать в бревнах зарубки. Ставя на них сапог, он получал точку опоры и мог карабкаться вверх.

Щепки откалывались острым ножом без особого труда, но все же для того, чтобы взобраться на высоту двенадцати метров, Сергею понадобилось больше полутора часов.

Стирая со лба пот, он сидел верхом на перекладине этих гигантских козел.

Отсюда сквозь ночной мрак он не видел каменистой земли,

распростертой внизу. Но зато канаты, по которым с минуты на минуту могла пройти маленькая грузовая площадка, он мог различить. Сидя верхом на бревне, он подумал о том, что Ибрагимов давно уже дошел, наверно, до соседних устоев и теперь беспокоится о нем. Он подумал и о Пьяных, который теперь лежит один у плотины и наблюдает.

— Эх, братки, родные мои братки! — прошептал он и ловко прыгнул на проходившую в то время под перекладиной площадку с грузом.

Площадка оторвалась, поплыла во тьму.

Перил на ней не было. Один неверный шаг, и Столетов мог бы рухнуть вниз, на камни. Впрочем, о грозившей ему опасности он подумал много позднее. В ту же минуту он знал, что должен действовать возможно быстрее, а чтобы дойти до следующей фермы, у которой ждет его Ибрагимов, в его распоряжении не больше пяти минут.

Столетов стал обшаривать руками груз площадки.

Это были аккуратно уложенные деревянные ящики. К счастью, они были с кожаными застежками. Быстро вспарывая одну застежку за другой, Столетов находил в каждом ящике только патроны. Ружейные и автоматные патроны — больше ничего.

Он продолжал судорожно работать, но и в других ящиках были только патроны и патроны. Какая жалость!

Площадка приближалась к следующим козлам. Вот уже перекладина над головой. Столетов обеими руками ухватился за нее и повис в воздухе.

Площадка, качнувшись, ушла из-под ног.

Столетов спустился по бревнам вниз. Там его встретил встревоженный Ибрагимов:

— Почему так долго? Я пять площадок пропустил — думал, ты едешь. Нет тебя! Я очень боялся, что ты упал на камни.

— Потом расскажу все, — отвечал Столетов.

Надо было немедленно идти обратно и повторить рискованную поездку.

Минут двадцать потребовалось ему, чтобы пройти двести метров, отделяющих первые устои от вторых. Зато теперь по готовым зарубкам на бревнах он добрался до перекладины всего в несколько минут.

И так же, как в первый раз, он прыгнул на идущую мимо площадку. И так же плыл он над скалами на канатном пути, и так же ему не повезло.

Только на этот раз в ящиках были не патроны, а снаряды и мины!

— Ничего не поделаешь, придется идти в третий раз, — сказал он поджидавшему его внизу Ибрагимову.

— Скоро три часа ночи, товарищ старший сержант, — напомнил Ибрагимов.

Вдруг оба они вздрогнули. От озера донесся гулкий винтовочный выстрел. Один.

Они подождали.

Второго выстрела не было. Что это могло означать? Не обнаружен ли Пьяных? Не погиб ли он?

Но все вокруг было попрежнему тихо.

Столетов снова исчез в ночной темноте.

Когда он в третий раз спрыгнул на площадку, он был уже близок к отчаянию. На этот раз в ящиках были не патроны и не снаряды, а какие-то продолговатые пакеты, завернутые в шелковую ткань.

Что это было, Столетов в темноте не мог разобрать. В этих шелковистых мешках лежали какие-то длинные пластинки и круглые палочки, напоминающие огромные макароны.

— Что за чертовщина! — выругался Столетов и продолжал лихорадочно обшаривать ящики один за другим, пока наконец пальцы его не нащупали в одном ящике маленькие целлулоидные пакетики. В то же мгновение Сергей понял, что находилось в шелковых мешках. Порох дополнительных зарядов для артиллерийских снарядов! На худой конец, и это могло пригодиться.

Столетов перерезал ножом одну за другой веревки, прикреплявшие ящики к площадке. Приближались устои следующей фермы.

Столетов подтолкнул ящики к краю площадки, и она, накренившись, пошла немного медленнее. Тихонько свистнул, и Ибрагимов отозвался внизу на условный сигнал.

Тогда Столетов столкнул вниз ящик с порохом. За первым ящиком полетел второй... Столетов сдвинул с места и столкнул в темноту третий, и сам, потеряв на мгновение равновесие, чуть было не упал вместе с ним, но успел ухватиться рукой за канат и удержался. Однако перекладина, за которую он должен был ухватиться, чтобы спрыгнуть с площадки, в это мгновение проплыла над ним, и теперь Столетову ничего не оставалось делать, как впустую прокатиться следующие двести метров.

Он плыл в ночной темноте высоко в воздухе и, как ни старался, не мог припомнить, над чем проходит этот перегон. Над ущельем ли, над склоном, или над поросшим редкой елью болотом?

Теперь Сергей уже не пропустил приблизившуюся перекла-

дину. Он обнял ее обеими руками и, подтянувшись, сел на нее верхом. Затем стал осторожно спускаться на землю. Заноза глубоко вонзилась ему в ладонь.

Очутившись на земле, он попытался вытащить занозу, но второпях обломал ее конец. И, больше уже не теряя времени, побежал обратно к тому месту, где его ждал Ибрагимов и где находились сброшенные ящики.

К счастью, этот пролет дороги проходил над ровным склоном, и никаких препятствий, кроме небольших камней, Сергей не встретил.

Ибрагимов за это время успел подтащить ящики один к другому. Они были сделаны добротно. Ни один не разбился при падении. Но, раскрыв их, Ибрагимов был удивлен.

При свете звезд блестели белые длинные и узкие шелковые мешочки. Что это в них за пластинки и круглые палочки, Ибрагимов не понимал. Во всяком случае, это не был нужный для дела тол.

«Столетов знает, что делает», — решил Ибрагимов и продолжал ворочать тяжелые ящики, стаскивая их в одно место.

Когда Столетов очутился возле него, Ибрагимов спросил, что это за пластинки и палочки.

— Вот что это такое! — ответил Сергей.

Он отломал маленький кусочек пластинки и, зайдя за скалу, спичкой зажег его. Кусочек пластинки вспыхнул со свистом и в одно мгновение сгорел ярким пламенем.

— Порох это! Хуже, чем тол, да ничего!

Распарывая шелковые мешочки, они набили свои вещевые мешки порохом. Потом, взвалив мешки за спину, осторожно направились к озеру, к тому месту, где их должен был ждать Матвей Пьяных.

Однако не все случается, как намечаешь, не всегда дела идут по расписанию. Короче говоря, Пьяных на условленном месте не оказалось.

Они легли на землю и, оглядываясь, стали ждать. Может быть, он где-нибудь здесь поблизости и сейчас даст о себе знать. Но нет, его не было. Может быть, он попался и сейчас, пойманный, стоит перед фашистским офицером. Нет, он не мог так бесследно пропасть. В этом Столетов был убежден. Не такой Пьяных человек, чтобы, погибая, не выстрелить, не закричать — не подать какой-нибудь сигнал товарищам.

Нет, Матвей просто так не сгинул бы. И выстрел, который Столетов слышал, был винтовочный. Но Пьяных все-таки нет на месте! Где же он мог быть? А часовой? На плотине не было и часового...

Не веря своим глазам, Столетов стал всматриваться в предрассветную темноту. В самом деле, часового на плотине не было. На другом берегу, около здания электростанции, вероятно, были другие часовые, но здесь, на плотине, никого не было.

«Не подвох ли это?» — подумал Сергей.

Но вокруг было совсем тихо, если не считать какого-то странного шороха.

Столетов и Ибрагимов прислушались.

Ибрагимов вопросительно взглянул на старшего сержанта, но Сергей еще ничего не мог объяснить своему подчиненному. Дольше ждать было нельзя. До назначенного полковником срока оставалось всего минут сорок, не больше.

— Я поползу вперед, разведая плотину, — прошептал Столетов, — а ты оставайся здесь с мешками...

Прижимаясь всем телом к земле, он пополз по самому верху узкой и невысокой плотины.

Облака бежали по небу, и звезды выплывали из-за них и снова ныряли в полупрозрачные облачные пряди. Месяц висел где-то у самой вершины кряжа: казалось, что одним рогом он зацепился за скалу. Предрассветный ветер рябил гладкую поверхность озера.

Столетов чуть не натолкнулся на тело, лежавшее поперек плотины, и осмотрел его. Это был немецкий солдат. Часовой.

Отблеск месяца сверкнул на плоском штыке валявшейся рядом винтовки.

А где же Пьяных? А вот и он сам: мокрый, дрожащий от холода, он лежит на животе и, свешиваясь вниз по откосу плотины, орудует своей лопаткой, отбрасывая наверх землю; около него уже выросла небольшая кучка земли, и он снова свешивается и действует лопаткой.

Столетов подполз к нему.

— Где ты намок? — спросил он Матвея.

— Вместе со вторым часовым упал в воду, — не отрываясь от работы, ответил Пьяных. — И там, в воде, задушил его... Даже крикнуть ему не дал. А первого я финкой полоснул... Второй — на меня. Обнялись — и вместе в воду.

— Как второй? Откуда?

— Двух поставили!.. Скорее давай тол, времени осталось до смены полчаса...

— Тола нет! — мрачно ответил Столетов.

Матвей перестал скрести землю.

— А я уже и место для заряда подготовил! Я думал, ты достанешь... — сказал он и безнадежно махнул рукой.

— Я и достал, только порох. Тола у нас два кусочка по двести граммов в моем мешке оставались, пороха пудов пять да восемь ручных гранат. Вот я и думаю: забьем сюда, в твою ямку, и запалим!

Пьяных задумался. Может быть, и можно так сделать. Может быть, и выйдет!..

— А детонаторы где? — спросил он.

— Помнишь детонатор Ибрагимова?

«Конечно, можно попробовать гранату как детонатор. Только на месте Ибрагимова будет теперь он сам, Матвей Пьяных, потому что по его оплошности потеряна взрывчатка, и нельзя же испытывать счастье дважды, нельзя рассчитывать, что и в этот раз человек, который поставит гранату, останется жив», — думал Матвей.

И он еще яростнее принялся копать землю.

Так думал Матвей, но не так предполагал провести дело Столетов. Он пополз за Ибрагимовым; не прошло и десяти минут, как они оба были уже на месте, около Пьяных, с тяжелыми мешками, груженными порохом.

Они принялись копать. Земля была сырая и легко поддавалась их усилиям. Они вырыли нору в виде буквы «Т», в тупик норы заложили весь порох и две шашки тола.

— Как же мне гранату класть? Не достать ведь! — сказал Пьяных.

— Эх ты, непонятливый! — с укоризной ответил ему Столетов. — Вот гранаты на взводе. Мы положим их туда, внутрь, среди пороха. Надо будет только выдернуть чеку, проволоку — и бах! У нас в распоряжении штук семь мешочков из-под пороха, да лямки от заплечных мешков, да поясные ремни... Свяжем их, и метров за пятнадцать можно будет дернуть, да там еще за три-четыре секунды метров за двадцать отбежать. Почти что безопасно!

И они начали плести этот шнур, связывая вместе ремни да матерчатые полоски от рюкзаков и мешочков из-под пороха.

Сердце у Пьяных билось учащенно. Он испытывал восторг, будто к нему после тяжелой болезни возвращалась жизнь.

— Брось стучать зубами! — сказал Столетов.

А Пьяных, продрогший в мокрой одежде, даже и не заметил, что у него стучат зубы. Но и после слов Столетова он не смог удержать дрожь.

Теперь все было готово. Только вот тоненькие предохранительные проволочки гранат, которые надо было выдернуть, чтобы получился взрыв, нельзя было подцепить ни матерчатым, ни ременным концом шнура.

— Тут дело тонкое, тут нитки нужны, а где их достанешь? — вздохнул Ибрагимов.

«Неужели из-за такого пустяка все сорвется?» — подумал Столетов; больше изобретать у него не хватало энергии. Да и времени уже не было...

— Через восемь минут... — взглянул на часы Пьяных и вздохнул. И вдруг он широко улыбнулся: — Товарищи — мой Митька нас выручит! — и тотчас полез в карман гимнастерки и достал оттуда свои бережно хранимые ниточки: три мерки с сына.

В последнюю дырочку пояса вдели эти нитки. Другие концы их привязали к проволочкам на гранатах. На всех трех гранатах — для большой надежности.

Заряд был готов, и шнур метров двенадцать длиной протянулся от него.

— Я сам буду дергать! — сказал Столетов. — Ты, Пьяных, и ты, Ибрагимов, бегите подальше. Ну!

— Это мое дело дергать, — отвечал Пьяных.

— Я бы с удовольствием уступил тебе, да посмотри: у тебя руки дрожат, сорвешь нитки...

— Сейчас будет выстрел! Фашисты так дают сигнал к смене караулов, — сказал Пьяных Ибрагимову, когда они, отбежав метров пятьдесят, прильнули к земле за высокими валунами.

— Хорошие у тебя часы, воды не боятся, — молвил, взглянув на руку товарища, Ибрагимов и высунулся, чтобы посмотреть, что делает Столетов.

Но в это мгновение около электростанции раздался гулкий выстрел, раскатился над озером, отозвался в горах. И сразу же, не успело замереть эхо, огромной силы взрыв потряс окрестность.

Даже Ибрагимов и Пьяных были оглушены. Но сразу же после взрыва они, пригибаясь, побежали к плотине, к озеру, где остался Столетов. Он быстро шел им навстречу. Лицо его было в ссадинах, из носу текла кровь, словно он только что с кем-то подрался, — так его исколотило камнями.

— Плотина разрушена! Станция не будет работать! — сказал он пошатываясь. — Мы свое взяли!

— Теперь и помереть можно, — молвил Ибрагимов.

— Ну нет, теперь нам жить и жить! — ответил Столетов. И хотя ему казалось, что говорит он очень громко, на самом деле его слова были еле слышны. — Ну, Матвей, — продолжал Столетов, — молодец твой Митька, пошли от меня ему привет!

Больше у Сергея не было сил идти.

— Приляжем, отдохнем часок! — предложил он и растянулся на земле.

Нет, никогда он не думал, что человек может так устать...

Он лежал на земле, глядел на бегущие по небу быстрые облака, на занимающуюся над горами розовую полосу зари и всем своим существом ощущал счастье: они выполнили задание.

В эту минуту ветер донес дальний гул начавшейся артиллерийской подготовки. Сначала неуверенный и отдаленный, он все усиливался, ширился, нарастал.

— Началось, — сказал Ибрагимов.

— Началось, — подтвердил, выжимая рубаху, Пьяных. — Наши двинулись.

О том, чтобы возвращаться по главной дороге, не могло быть и речи. Вся она была забита немецкими повозками, машинами, вереницами раненых, нестройными толпами солдат. Видно было, что враг поспешно отступает. Над дорогой действовала наша авиация — штурмовики и легкие бомбардировщики. Гитлеровцы то и дело разбегались по сторонам, бросая свои повозки и машины.

Можно было бы остаться здесь, вблизи станции, и подождать подхода своих. Но неизвестно было, подойдут они сюда завтра или через несколько дней.

И разведчики направились по той дороге, по которой пришли к станции: мост был взорван, и поэтому большого движения здесь не могло быть.

Перед вечером они поднялись на вершину горы, у подножия которой, на краю болота, раскинулась деревня. Неведомо чем кончился бой, который приняли здесь Дробитько и его товарищи.

Сейчас вся деревня была объята пожаром. Огромными кострами пылали дома, и над языками огня вставали тяжелые и удушливые клубы дыма. Горели стога сена.

— Жгут, изверги! — выругался Пьяных.

Разведчики стали спускаться вниз к пылающей деревне. И вдруг в стороне от тропы услышали приглушенный разговор. Они замерли. Надо было разобрать, на каком языке говорят.

— Не может быть! — прошептал Столетов и сошел с тропы.

Вслед за ним сошли Ибрагимов и Пьяных.

— Я слышу голос Пчелиева, — шепнул Пьяных Ибрагимову.

Да, это был он, и с ним незнакомый боец и девушка-медсестра.

Столетов выступил из-за прикрытия.

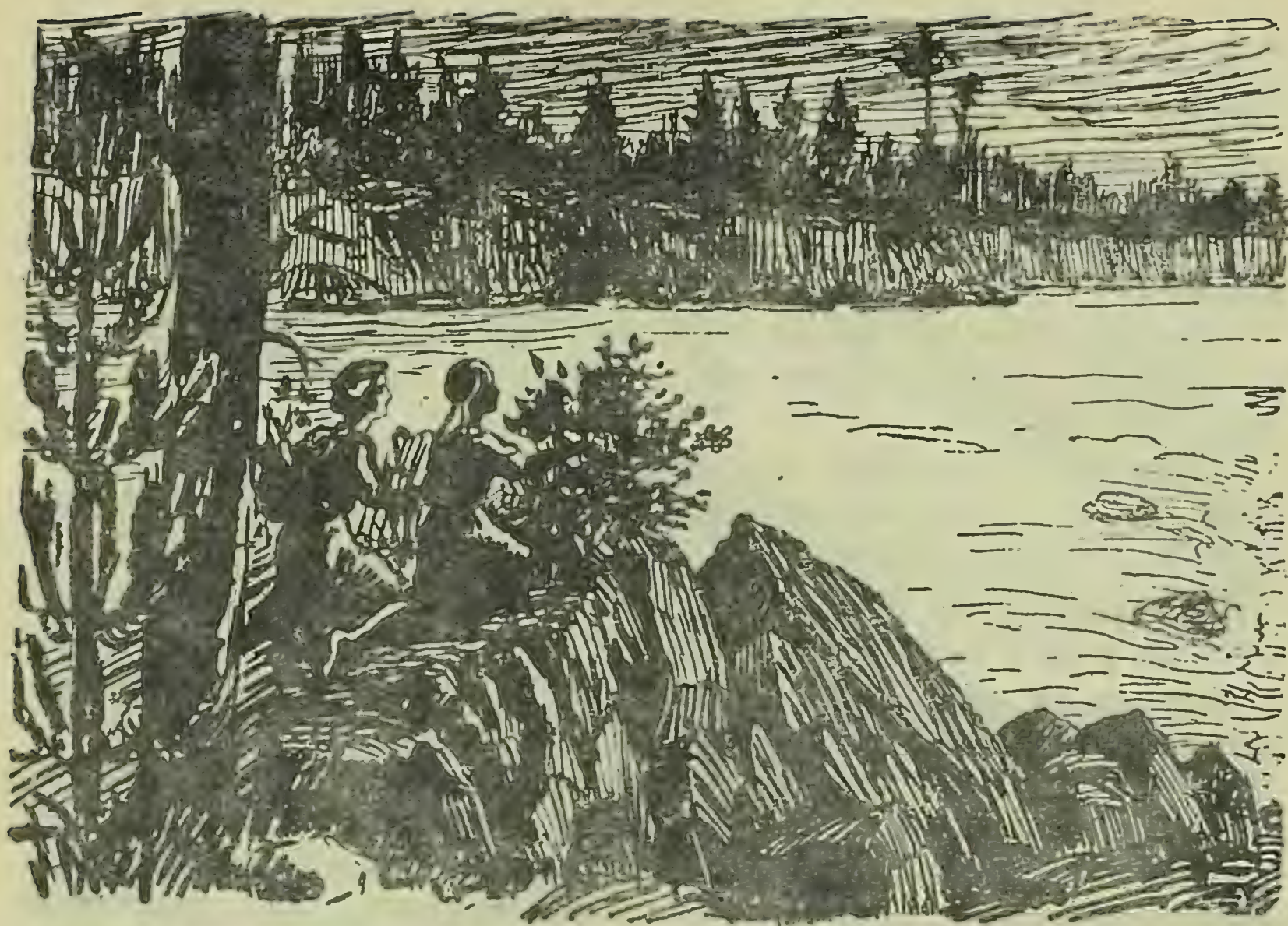
— Товарищ старший сержант! — изумленно и обрадованно воскликнул Пчелиев. — Вы живы?!

— Живы и с победой, дружище. Как у вас-то?

— Что же, дрались, как смогли... Я... сами видите. Дробить-ко в госпитале. А Гулеватый... Пришли вот, на случай, проверить, полковник послал. Да только не отыскали уже Трофима — все вокруг разметало. Вот пилотку свою нашел. — Пчелиев смущенно показал изрешеченную пробоинами пилотку, оставленную во время ночного боя на валуне. — Наши идут левее, — заметил он.

И все вместе они направились навстречу своим, рассказывая друг другу обо всем, что произошло за эти трое суток.





КАРЕЛЬСКИЕ ДЕВУШКИ

Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

I

На третий день своего пути по лесу они дошли до родника, пробивавшегося, казалось, из-под самых корней старой ветвистой березы.

— Здесь было условлено, в дупле, — сказала Аня и подошла к дереву.

Марийка стояла рядом, не сводя своих голубых глаз с подруги.

Аня вытащила из дупла сложенную, как конверт, бересту и развернула ее. Внутри лежала записка. Обе головы — Анина с гладкими, тонкими косичками, которые так смешно подпры-

гивали, когда она играла в волейбол, и Марийкина, тоже светлая, но с подстриженными, завивающимися и точно всегда взлохмаченными волосами, — склонились над запиской...

— Вот тебе и раз! — опечалилась Аня, прочитав две лаконические строки.

Сказала она это по-вепски, но Марийка поняла ее разочарование. В записке была только одна фраза: «Нас здесь нет. Дома вас ждут».

Фраза эта означала, что партизанский отряд Ивана Власовича, который посылал девушек в длительную разведку в родное село Ани — Шелтозеро, оккупированное белофиннами, ушел в другие места. Это означало еще и то, что если девушкам удалось получить важные сведения, они должны были немедленно доставить их через линию фронта к своим. А сведения, действительно, были очень важные.

Аня и Марийка шли, радуясь тому, что они смогут точно по карте указать места, где расставлены орудия неприятельских батарей, они точно знают расположение неприятельских гарнизонов в окрестных деревнях и их численность. Они поименно знали также и всех предателей в районе и могли рассказать партизанам о тех жестокостях, которые в своем неистовстве совершили белофинны. И, наконец, они несли подлинные документы оккупантов и неприятельского командования. Каждый день «командировки», длившейся почти месяц, каждый час ее, каждая минута угрожали девушкам мучительной смертью... И вот теперь, после трех дней ходьбы по лесу, без еды, с одним только маленьким пистолетом, без карт, они стояли у старой березы и перечитывали записку, предписывающую им дальнейший одинокий путь. Отсюда, из глубокого финского тыла, до линии фронта по прямой было восемьдесят километров. Прямая при таких обстоятельствах только относительно является кратчайшим расстоянием между двумя точками. А на войне, особенно когда приходится идти по густому лесу, пересекать топкое болото, вскарабкиваться на каменистую высотку, переправляться через быструю речонку, — это не всегда так.

— Ну что ж, не будем засиживаться, пойдем, — сказала Аня и посмотрела на циферблат финского компаса, прилаженного, как часы, на правой руке.

— Пойдем, — повторила Марийка. — Пусть Иван Власович не пожалеет, что отправил нас.

Иван Власович был учителем той школы, в которой до войны училась Аня. И еще совсем недавно ему и в голову не могло прийти, что он будет командовать партизанским

отрядом, а его бывшая ученица придет в отряд как рядовой боец.

— Так я на вас рассчитываю, — сказал он, беседуя с девушками перед тем, как они отправились в «командировку». — Помните партизанскую присягу?.. — спросил он девушек. И сердце его сжалось, когда он вдруг подумал о том, что грозит им, если они попадут в руки врага. — Лисыцина, можно ли тебе доверить такое дело? — вдруг строго спросил Иван Власович у Ани. — Дисциплина у тебя в школе хромала. К тому же ты никогда не признавалась, когда не знала урока. Помнишь, я как-то спросил у тебя, где находится Красное море, а ты ответила: «У нас в Карелии. Раньше оно называлось Белым, а после революции его переименовали». — И Иван Власович улыбнулся.

Марийка прыснула со смеху, а Аня покраснела:

— Так ведь то когда было? Я теперь взрослая — через неделю восемнадцать лет стукнет...

После этого разговора прошло уже больше месяца. И сейчас, возвращаясь обратно, Ане было приятно думать, что Иван Власович будет доволен их работой.

«Я расскажу ему про нашу школу», — думала она, отмахиваясь от надоедливых комаров.

В ту школу, где совсем еще недавно училась Аня, сейчас прислали учителя из Финляндии. Учитель этот бьет детей линейкой по рукам и по ушам. Он избил Володьку Полубедова, который всего на два класса был моложе Ани, за то, что тот ответил ему на какой-то вопрос по-вепски.

— Про племя вепсов, — говорил еще в школе Иван Власович, — наверно, мало кто знает, и от каждого из нас зависит прославить его на весь мир...

II

Очень легко объяснить, как надо идти в лесу по азимуту, но самому проходить через густой осенний лес, когда каждый сучок норовит или хлестнуть по лицу, или изорвать в клочья платье, когда надо прислушиваться к каждому шороху, таясь перебегать дороги, обходить стороной жилье, — очень сложно и трудно. Особенно, если за твоей спиной всего восемнадцать лет и ты еще совсем недавно боялась оставаться одна в темной комнате. А Ане еще не было восемнадцати лет. И, возвращаясь вечером домой от подруги, она, дрожа от страха, пробегала темный коридор и с облегчением вздыхала, распахивая дверь освещенной комнаты. Но сейчас рядом ровным, размерен-

ным шагом шла Марийка, и Аня, глядя на подругу, успокаивалась.

Они шли целый день без отдыха, на ходу грызли хрустящие на зубах сухари, которые казались им самым изысканным яством.

Вокруг стоял пестрый карельский лес. Ровная гладь тихих прозрачных озер у берегов покрыта была золотым ковром листьев, опавших с берез. Осины трепетали всем своим разноцветным оперением при малейшем дуновении ветерка. Хвоя елей казалась совсем темной, а стволы сосен — розовыми. Влажная, усыпанная листвой земля пахла поздними грибами. Серевший на валунах мох был совсем седым. На маленькой лужайке осанисто ходили два тетерева и важно поклевывали бруснику. Они даже не обратили внимания на девушек. Подруги тоже изредка нагибались, чтобы на ходу сорвать горсть холодной и тяжелой багряной ягоды. Но останавливаться нельзя было: надо спешить. Шли они всю ночь и только перед рассветом часа на два забылись уютным лесным сном. Спали полусидя, прислонившись спинами друг к другу, чтобы было теплее, потому что при таком сне раньше всего холодеет спина.

Утром траву покрыл иней. Девушки шли дальше. Они радовались тому, что до сих пор все было спокойно и никто не пересек их пути.

Над лесом стоял зыбкий утренний туман. Подруги пробирались, видя перед собой всего на несколько шагов. Солнце было уже высоко, когда туман разорвался, и Аня вдруг увидела, что они идут по черной земле. Земля и стволы сосен были совершенно черные, и только хвоя — оранжевая, цвета апельсиновой корки.

Это был тот самый лес, который в июле подожгли партизаны, чтобы выгнать белофиннов на дорогу. Всего в нескольких шагах от девушек быстро прошла, раздвигая кусты, лосиха с двумя телятами...

— Жаль, ружья нет!

— Все равно нельзя стрелять, — отозвалась Аня, но при мысли о жареном мясе у нее засосало под ложечкой.

Потом земля стала мягкой. Следы наливались водой.

Аня остановилась у ели перемотать портянки. И вдруг она услышала всплеск и легкий вскрик. Она быстро сунула ногу в тяжелый яловый сапог и поспешила вперед к подруге; перескакивая с кочки на кочку, она прошла метров тридцать и остановилась. Шагах в десяти перед ней в трясине барахталась Марийка. С каждой минутой она погружалась все глубже и глубже. Аня растерянно оглянулась, не зная в первый момент, что же де-

лать, чем помочь. Увидав Аню, Марийка поднесла к шее руку и стала развязывать шнурок, на котором был кисет с бумагами, добытыми в финском штабе.

«Аня их доставит», — подумала Марийка.

Невдалеке стояло сухое, тонкое, мертвое деревцо.

Аня, уже не разбирая дороги, скользя по мшистым кочкам, падая и снова поднимаясь, подбежала к деревцу. Сухое деревцо легко поддалось ее усилиям. Она притащила сухой и легкий сломанный ствол к тому месту, где все глубже завязала подруга. Трясина доходила Марийке уже чуть ли не до груди. Аня протянула ей деревцо. Марийка не могла до него дотянуться. Аня подтолкнула деревцо вперед.

— Клади его поперек! — закричала Аня.

— Тише ты! — негромко отозвалась Марийка и дотянулась наконец до сучковатого ствола.

Упершись грудью в него, она подтянулась на руках и, уже совсем изнеможенная, выбралась из трясины. Когда Аня увидела, что подруга в безопасности, она сразу как-то неожиданно ослабела и, чтобы не упасть, прислонилась к колючему можжевельниковому кусту.

Марийка, выйдя на сухое место, выжала свою юбку, и обе девушки двинулись дальше в путь.

— Это я в кино видела, как человек из болота спасся. Доску поперек положил, оперся на нее и выполз, — говорила Аня, останавливаясь около брусничной россыпи. — Вот так и я с тобой сделала, — продолжала она, опрокидывая в рот полную ладонь вкусных, чуть горьковатых ягод.

— А ты так ловко с елкой управилась, — сказала Марийка, — как настоящий лесоруб. Ты кем собираешься быть? — спросила она вдруг и сама удивилась, что, познакомившись и подружившись в отряде, они об этом до сих пор не разговаривали.

— Я очень платья разные люблю, материи цветные, — хочу после войны в текстильный химический институт пойти, по окраске материи работать. А ты?

— Я? Я в позапрошлом году летчицей собиралась быть. Даже с парашютом прыгала... Потом решила, что буду морским капитаном. Но началась война. Мне еще два класса оставалось... Мы в Пряже жили... Я сначала хотела вместе с другими эвакуироваться, чтобы продолжать учиться. Но, знаешь, в июле ребяташки играли на улице, копались в пыли — и вдруг налетели финские самолеты. Что тут было!.. Они из пулеметов стали расстреливать детишек. Соседскую девочку — шестилетнюю — убили. Я ее на руках в комнату внесла... Такая хорошая

девочка была, умница. Мать ее с ума сошла... В тот день я решила, что нет, не буду эвакуироваться, что не будет мне спокойствия, пока...

— Понимаю, — прервала ее Аня, — понимаю.

III

К вечеру девушки вышли на берег широкой, быстрой реки. До наших оставалось не больше двадцати километров. Но теперь надо было перебраться на противоположный берег. Лесистый и обрывистый, он чернел в каких-нибудь двухстах метрах от того места, куда вышли из чащобы девушки.

Было уже совсем темно. Над полноводной северной рекой стояли темные леса. Высокие звезды отражались в ночной реке. И когда Аня нагнулась, чтобы напиться, и губами втянула холодную воду, ей показалось, что она вот-вот вместе с водой вберет и звезду, но та, отраженная, продолжала сиять на прежнем месте.

На другом берегу горели костры. Видно было, как черные фигурки суетятся около костров, подбрасывают хворост, подвешивают к треноге котелок. Девушки прошли вниз по реке метров двести.

Дальше снова были видны костры.

— Ох, погреться бы у костра, попить горячего чаю и надеть легкие тапочки! — мечтательно сказала Аня.

— Тоже мне вояка! — снисходительно улыбнулась Марийка.

И ей, особенно после болота, хотелось погреться у костра, но она боялась сознаться в этом подруге.

Вблизи от реки лежало несколько поваленных сухих, тонких деревьев. Видимо, кто-то из окрестных крестьян еще в прошлом году заготавливал себе дрова, да, застигнутый какой-то бедой, так и оставил их валяться на берегу.

Девушки стали вязать плотик. Пошли в ход и косынки, и пояса, и гибкие ивовые ветви...

Через час плотик был готов.

— Ты веришь в гаданье? — спросила Марийка.

— Чепуха! — откликнулась Аня.

— Конечно, чепуха! — повторила Марийка и вспомнила, как вместе со своей подругой Паней Савватьевой в ночь под Новый год сорок первого года они вышли на лед озера.

Невдалеке от берега чернели свежесрубленные двухэтажные дома Пряжи. Девушки долго стояли в темноте, на морозе, прислушиваясь, откуда залают собаки. В ту сторону, стало быть, и предстояло выходить замуж.

— Аня! — тихо сказала Марийка. — Если что-нибудь со мной случится, передай, пожалуйста, в Беломорск Васе, что я очень много о нем думала...

— Передам. — И Аня оттолкнула плот от берега.

Марийка стояла на коленях, отталкиваясь от берега суковатой длинной палкой. Река была широкая и быстрая. Нескладно, наскоро сделанный плот уже метрах в десяти от берега стал распадаться, косынка развязалась, стволы уходили из-под ног, холодная вода подобралась к щиколоткам. До противоположного берега было еще метров двести. Скоро плот совсем распался. На остатках его девушки добрались обратно к тому берегу, от которого только что отплыли.

— Плаваешь? — спросила Марийка у Ани.

— Конечно!

— Тогда надо будет переплывать. Холодновато, но зато к утру обогреемся уже у наших. Наедемся в четыре горла.

Девушки не торопясь разделись, оставив на себе только трусики. Марийка положила финские бумаги себе в берет и снова приладила его на голове. Все свое платье девушки связали в узелок, в который уложили и пистолет.

— Я поплыву с ним, — сказала Аня и, решительно тряхнув головой так, что кончики косичек подпрыгнули выше затылка, она вступила в реку.

Ступня ее ощутила прикосновение мелкого, бархатистого, рассыпчатого песка; холод почти такой же, как у ключевой воды.

— Ох! — сказала она, сделав шаг вперед, и погрузилась по горло в воду.

Марийка тоже вошла в реку. Она оттолкнулась ногами от дна и, глубоко вдохнув воздух, поплыла к противоположному берегу. От холода заныло все тело. Плыла она, как говорят мальчишки, по-лягушечьи: выкидывая вперед руки и разводя их.

Аня плыла быстрее, чем Марийка, но она была тоненькая, и ее скорее, чем Марийку, прохватил пронизывающий холод.

Она взглянула вперед. Перед ней поднимался крутой лесистый берег. Отдельные деревья в темноте были неразличимы. Лес стоял плотной, темной, непроницаемой стеной. До этого берега было сейчас дальше, чем до берега, оставленного позади. Аня плыла и слышала ровное дыхание немного отставшей Марийки и плеск разрезаемой телом воды. Вдруг судорогой свело ее левую ногу. И сразу же, испугавшись, она стала плыть, разгребая руками теперь вразнобой. Рот ее полуоткрылся, и она хлебнула немного холодной невкусной воды. Слева она ви-

дела дробящееся в воде зыбкое отражение пламени костров. Оттуда раздавались громкие голоса.

«Вот крикну — и спасут!» — мелькнула у нее мысль, и эта мысль сразу как-то успокоила ее. Она стала дышать ровнее и попробовала, может ли двигать левой ногой, но режущая боль судороги уже подобралась и к правой ноге.

«Если закричу — спасут!» — снова мелькнула у нее мысль. И вдруг она страшно испугалась того, что она действительно закричит, и сбегутся от костров белофинны и, вытащив из воды, схватят ее и Марийку, и тогда все, что они узнали, вся их работа пойдет прахом, и Иван Власович тихо скажет себе:

— Напрасно я так понадеялся на этих девчонок.

И она вспомнила лицо Ивана Власовича, родное, трогательное и немножко смешное, когда он хочет казаться строгим. Нет!

— Марийка, — задыхаясь, спросила Аня, — ты доплывешь? Доплывешь, Марийка?

— Доплыву.

— Ты все помнишь — и про батареи, и про гарнизоны?

— Помню.

Берег был уже не так далек. Течение шло очень сильное, и казалось, что берег быстро плывет им навстречу. Аня снова глотнула воды.

— Ой, закричу!

Костры горели попрежнему. И тогда, больше всего на свете боясь, что она закричит и они попадут к врагу, Аня закусилась правой руку повыше кисти и почувствовала на языке солоноватый вкус крови.

Марийка, подплывая к Ане, услышала последние слова подружки. Она увидела, как голова Ани ушла под воду и снова вынырнула, увидела знакомые блестящие глаза, закушенную руку. Подплыв к Ане, Марийка ухватила за кончик косички и потянула ее к себе, но от чрезмерного усилия сразу потеряла дыхание и сама чуть не захлебнулась. Холод колот ее тело тысячью острых, каленых иголок, и она поняла, что если еще хоть минуту промедлит возле подружки, то и сама не выплывет. Марийка подняла руку к голове. Берет был совсем сух. Под ним топорщились бумаги. Часто и прерывисто дыша, чувствуя, что сердце бьется где-то словно у горла, Марийка подплывала к берегу. Она ухватила обеими руками за выступавший высоко над водой узловатый корень старой сосны, подтянулась, выползла на берег и встала. Тело ее дрожало непрерывной мелкой дрожью. Разглядывая гладь реки, Марийка даже не заметила, что зубы ее стучат.

Вода была темной.

— Аня, — тихо сказала Марийка, — так вот ты какая!

Не замечая времени, она стояла на берегу, разглядывая реку, зная, что некого ждать, и все же еще сердцем не веря в гибель подруги.

Потом она сняла берет, проверила, на месте ли документы финского штаба, положила шуршащую бумагу обратно, натянула на голову берет и вдруг вспомнила, что ей не во что одеться.

Сверток с платьем утонул.

IV

Голодная, в одних трусах, Марийка упрямо шла по лесу, изредка проверяя направление по компасу. Ветви царапали тело в кровь, но она шла, не обращая внимания на царапины. Тело ее посинело от холода. Густыми тучами носились вокруг острые, жалящие комары. Сначала она веткой отмахивалась от них, но потом перестала — все равно не отобьешься! Все тело казалось теперь одной большой зудящей раной. Днем, надергав моха с кочек и покрывшись им, забылась коротким и тревожным сном, пригреваемая косыми лучами солнца. Внезапно она проснулась... Ей показалось, что она забыла, в каком гарнизоне сколько белофиннов, что она забыла имена предателей... Тогда она стала перебирать в памяти места, где были расположены орудия, и имена, и все, о чем следовало рассказать своим. Но нет, хотя голова у нее кружилась от слабости, она хорошо помнила все, что следовало. Она встала со своего разрытого ложа и, преследуемая комарами, пошла дальше.

На другой день, когда Марийка лежала, прикрытая мохом, она услышала чужую речь... Невдалеке от нее по дороге прошел неприятельский патруль. Потом проехал автомобиль. Ей не хотелось вставать. Была такая слабость, что, казалось, нет большего наслаждения, чем лежать так, без движения, без дум, и самая мысль о смерти ей не казалась тяжелой. Но вдруг словно электрический ток прошел по телу Марийки. Она вскочила и пошла. Ей вспомнилось милое, навсегда родное лицо, голубые глаза и какой-то незнакомый мотив вепсской песенки, которую любила напевать Аня...

Теперь она шла, уже не нагибаясь, чтобы сорвать ягоды: когда она нагибалась — ее тошнило, кружилась голова, и потом ей трудно было снова определить, в какую сторону надо идти... Так она добрела до большого завала, который тянулся влево и вправо на несколько километров; сбоку от него начиналось топкое болото.

«Здесь пройду», — решила Марийка и стала переползать через бревна.

Сучья завала царапали ее, приподнять ногу казалось непосильным трудом... Она ложилась всем телом на бревно и затем медленно переваливалась на другую сторону. Там ей надо было несколько минут отдыхать, прежде чем снова повторить движение. Два или три раза она засыпала среди деревьев, а проснувшись, не помнила — утро сейчас или вечер. И, взяв в рот сухую, горькую кору, снова начинала переползать через поваленные деревья со вздыбленными ветвями... Лежавшую почти без чувств голую девушку нашли около завала наши разведчики.

Через три часа Марийку, укутанную в одеяла, уже отпаивали горячим чаем с коньяком. У нее пересыхали губы, и глаза тоже были сухие. И только через три дня, рассказывая медсестре об Ане, она вдруг вспомнила веселую косичку и робкий голос: «Доплывешь?» Вспомнила руку, закушенную, чтобы не закричать, — и залилась слезами...

Через некоторое время вражеские гарнизоны и батареи, о которых сообщила Марийка, были уничтожены партизанами. И это было лучшим лекарством для лежавшей в госпитале девушки.

Месяц спустя она написала в Кемь своей подружке-однокласснице Пανε Савватьевой, что ее наградили орденом. И среди воспоминаний о том, как они вместе ходили гулять на «Горку любви» в Пряже, как разговаривали о пушкинской Татьяне, были такие, написанные разбросанным, еще не выработавшимся почерком строки: «Если бы не было войны, то сейчас мы с тобой учились бы уже в десятом классе... Вот было бы хорошо!»

На всю жизнь в памяти Даши Дудковой осталась эта минута, это прощание в предрассветной полумгле, когда Марийка, торопливо обняв, поцеловала ее в щеку, а затем повернулась и зашагала к лесной опушке. Пройдя шагов двадцать, она обернулась, помахала рукой подруге и, уже не оглядываясь, перескакивая с кочки на кочку, скрылась за деревьями. Уже давно исчезла в глубине чащи ее невысокая, плотная фигурка, уже солнце поднялось над лесом, а Даша все еще стояла, глядя в ту сторону, куда ушла Мария Мелентьева. По дороге домой Даша не раз рукой трогала в кармане комсомольский билет, в котором лежал плотный, вчетверо сложенный лист бумаги.

Весь вечер перед этим Марийка начинала писать какую-то записку. Но, видимо, ей никак не удавалось написать задуман-

ное, потому что она рвала написанное на мелкие клочки, снова писала и снова разрывала. •

— Даша, — наконец сказала она, — ты ведь все знаешь! Помоги мне, а то я очень волнуюсь, и у меня ничего не получается.

И было от чего волноваться Марийке.

Выздоровев, она стала требовать, чтобы ее отправили назад, в партизанский отряд.

— Я там нужнее, чем здесь! — говорила она.

И может быть оттого, что в такие минуты она особенно ясно вспоминала Аню, ее синее сатиновое платье в белую полоску, ее упрямый, резко очерченный рот и выгоревшие на солнце, совсем белые, как колоски, брови, — просьба Марии была настолько убедительна, что ее наконец решили послать для связи в один из партизанских отрядов, действующих далеко в тылу врага.

Весь день она заучивала наизусть то, что следовало передать в отряд, а вот теперь вечером, перед уходом, хотела написать письмо Василию, с которым они вместе учились в школе, которого она любила и который любил ее не так сильно, как бы ей хотелось.

«Ну вот, Василий, — писала она, — через несколько часов я буду очень далеко от тебя, а ты совсем не вспомнишь ту девушку, которая любила тебя. Для тебя это не новость... — Тут у Марийки перехватывало дыхание и карандаш начинал дрожать в ее руке. — Видишь ли, Вася, когда мы шли по лесу с Аней, мы много говорили о жизни и о любви... Я говорила ей о тебе...»

С помощью Даши письмо было дописано поздно вечером.

— Отдай ему через несколько дней, — попросила Марийка, ложась спать.

Она приподнялась, чтобы еще что-то спросить, но Даша пригнула ее голову к подушке:

— Все равно разговаривать с тобой не буду... Спи. Рано вставать надо...

Всю ночь Даша не спала, сидя у изголовья подруги. Она должна была разбудить Марийку на рассвете и боялась проспать.

V

Уключины были обмотаны тряпками и не скрипели. Ночь стояла темная и холодная. В нескольких метрах впереди и позади нельзя было разглядеть ничего. И только потому, что Марийка знала, что позади движется другой карбас, она слышала

легкий плеск воды. Кроме нее, в лодке было еще трое разведчиков, фамилий которых она не знала и по закону разведки даже и не спрашивала. Одного из них — в шерстяном вязаном подшлемнике — звали Ваня, другого, не промолвившего ни слова за весь путь, — Саид, у третьего же было странное прозвище — «Пламенный Привет».

— Почему его так зовут? — тихо спросила Марийка у сидевшего рядом на скамье Вани.

— Солнце взойдет, сама увидишь! — отозвался он.

И Марийке в его ответе слышались смешливые нотки.

«И правильно, — укоряла она себя: — не надо спрашивать».

В лодке, шедшей позади, сидели восемь бойцов с легким пулеметом. Им было поручено во что бы то ни стало провести Марийку и ее спутников через линию фронта и самим возвратиться.

Даже и днем берега этого огромного озера скрывались за линией горизонта. В темноте же порой на середине озера вдруг казалось, что берег всего в нескольких метрах от карбасов, а когда он и в самом деле был уже вблизи, Марийке, натрудившей веслами руки, казалось, что черной, густой и холодной воде конца-края не будет.

Гребли по очереди. Начав переправу в шесть вечера, к четырем ночи приблизились к противоположному берегу.

То и дело над берегом быстро взлетали в черное небо и медленно опускались к сырой земле ракеты, на много верст освещающая все вокруг ровным, немигающим зеленоватым светом. Луч прожектора шарил по кучевым плотным облакам и вдруг опускался вниз на гладкую, словно застывшее масло, воду. И когда он подходил близко к лодке, сердце Марийки опускалось, как бывает у человека на самолете, быстро теряющем высоту. Но, уже почти доходя до лодки, луч внезапно уходил вправо. Потом светлое пятно бежало по сизым облакам. И тогда от сердца отлегалось, и пригнувшиеся гребцы снова распрямляли спины. Вдруг блуждающий луч набрел на первую лодку, прошел по ней влево и снова вернулся, точно поймав ее. И прежде чем Марийка успела что-нибудь сообразить, она почувствовала толчок и сразу очутилась в холодной, пронизывающей воде.

Вода доходила Марийке до груди. Это Саид рывком перевернул кверху дном ладью — люди очутились в озере, и белофинским наблюдателям черная, просмоленная лодка с поднятым кверху килем могла показаться одним из многих прибрежных камней. И сразу, поняв, что надо делать, бойцы с лодки, шедшей позади, открыли стрельбу по прожектору, привлекая внимание к себе. С берега слышалась ответная стрельба. Луч прожектора поймал вторую лодку и застыл на ней. Дрожа

от пронизывающего все тело холода, Марийка стояла, подогнув колени так, чтобы над поверхностью воды осталась только одна голова.

Луч уже не бегал по озеру — он застыл, не выпуская из своих цепких объятий лодку с бойцами.

Брызги, поднятые миной, разорвавшейся около второго карбаса, обдали ледяной пылью лицо Марийки. Ваня тронул ее за локоть.

— Давай будем выбираться на берег! — тихо сказал он.

И, пользуясь тем, что все внимание врага было приковано ко второму карбасу, они вышли на берег.

Быстро пробравшись в прибрежный лесок, Марийка, выжимая платье, не отрывая глаз смотрела, как отходит карбас с товарищами обратно к тому берегу, где было сейчас все, что дорого ее душе. Рядом с карбасом, почти у самого борта, то и дело поднимались вверх сверкающие в свете ракет зеленые фонтаны от разрывов мин.

Ухнул орудийный выстрел. Снаряд лег далеко впереди лодки. Где-то неподалеку дробно рокотал пулемет.

«Уйдут ли?» — с тревогой подумала Марийка.

— Уйдут, теперь это не твоя забота, — сказал Ваня, словно угадав ее мысли. — Твоя забота теперь — свое дело как следует сделать! Пойдем!

Они пошли вглубь леса на запад.

Если бы не холод от облежавшей тело мокрой одежды, то идти по этому лесу было бы нетрудно, потому что приходилось шагать налегке — заплечные мешки утонули, и не было времени разыскивать их на дне озера. Оставалось лишь по несколько сухарей в карманах. Только у одного Пламенного Привета был автомат с диском, у других же — лишь тульские пистолеты Токарева.

— Ничего, дойдем! — подбодряя других, сказала Марийка. — И то счастье, что нынче уже комаров нет!

— А то как же! — улыбнулся Пламенный Привет, тоже совсем молодой парнишка. — Я ведь лодку сейчас так накренил, что она обязательно затонет. Даже никто и не подумает, что две было... И место подметил, чтобы в случае чего обратно выбираться!..

— Ты раньше туда дойди! — перебил его Ваня.

Когда солнце поднялось высоко, разведчики легли отдыхать, зарывшись в мох. Устраиваясь поудобнее, Пламенный Привет снял шапку и положил ее под голову... У него была густая, ярко-огненная шевелюра.

Марийка никогда не видела таких рыжих волос. Поймав взгляд Марийки, он улыбнулся и произнес:

— Спокойной ночи! Привет!

«Теперь понятно, почему его так прозвали», — подумала Марийка.

Они спали, согревая друг друга теплом своего тела. Один по очереди дежурил. Укладываясь поудобнее, Марийка подумала о том, что Даша уже встала и пошла на работу, а письмо она передаст Василию только завтра...

С этой мыслью она заснула, и плечо товарища казалось ей мягче, чем маленькая девичья подушка на кровати в комнате в Беломорске.

VI

Так шли они, обходя стороной редкие обезлюдевшие деревушки. Ели крупную багряную бруснику, сладковато-горькую рябину и кое-где еще сохранившиеся ягоды пьяного гоноболя. У одного глухого маленького озера Ваня бросил в воду двухсотграммовую шашку тола, и через несколько минут они собрали штук двадцать щучек, окуньков, линьков и сижков. Марийка поджарила рыбу днем на маленьком костре из сухих сучьев, предварительно содрав с них кору, чтобы не было дыма. И хотя у них не было ни щепотки соли, рыба показалась им чудесной.

На четвертые сутки такого блуждания по лесу, когда уже больше чем полпути к условленному месту было пройдено, они приблизились к деревушке Топорная гора.

На небольшом совещании было решено, что Ваня, не заходя в деревню, пойдет дальше и в десяти километрах остановится, чтобы подождать остальных.

— Если через десять часов мы не догоним тебя, иди дальше один, — сказала Марийка. — Значит, нам не удалось достать в деревне ни хлеба, ни соли, или еще того хуже...

Марийка одна из всей группы говорила по-карельски и по-фински.

— Я пойду в деревню одна! — сказала Марийка товарищам. — Вы меня здесь за околицей ждите.

— Ну нет, не на таких напала! Мы тебе защитой будем, — грубовато сказал Пламенный Привет.

Так и сделали. Ваня пошел дальше, а двое разведчиков с Марийкой притаились среди кочек леска около деревни и, наблюдая через косо́й плетень за тем, что происходит на деревенской улице, дожидались сумерек.

Солнце садилось далеко за озером, и маленькие окна бревенчатых изб, украшенные резными наличниками, горели, отражая дальний неумемный пожар заката.

Ослабевшая за несколько голодных суток, Марийка с тру-

дом поднялась по крутым ступенькам высокого скрипучего крыльца и, потянув щеколду, вошла в тесные сени. За нею, нагибая голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, вошел в сени Саид. Пламенный Привет шел позади, держа палец на гашетке автомата.

Из горницы доносились громкие голоса, Марийка вошла в комнату и окинула ее взглядом.

Несколько женщин, сидя на лавочке и суча нитку кудели, вели между собой оживленную беседу. Два старика с окладистыми седыми бородами сидели молча около окошка. Девушка с толстой косой налаживала чадившую лампадку. Когда Марийка вошла в комнату и следом за ней появился Саид, беседа сразу приостановилась. Девушка отставила в сторону лампадку, повернулась к Марийке и радостно воскликнула:

— Ты от наших, правда?

И не успела Марийка промолвить и слова, как все повскакали с мест, обступили ее и стали расспрашивать:

— Ну, как там? Да как ты решилась сюда прийти? Здесь и без всякой вины в беду попадешь! Где наши сейчас стоят?

На эти и еще на десяток других жадных вопросов Марийка должна была сразу же ответить. И так радостно было ей говорить правду этим запуганным, обездоленным людям! Все они слушали ее с напряженным вниманием, и никто не заметил, как из горницы вышла кривая старуха. В сенях она увидела разведчика, стоявшего у дверей. Старуха знаками показала Пламенному Привету, что ей необходимо в отхожее место, которое было тут же, в коровнике, и отделялось от сеней невысокой дощатой перегородкой.

В горнице девушка с толстой косой подошла вплотную к Марийке:

— Родная моя! Возьми меня с собой, прошу тебя! — взмолилась она. — Все, что угодно, я буду там делать. Только вызволи отсюда! — И она опустилась на колени перед растерявшейся Марийкой.

— Ой, женки! — вдруг спохватилась хозяйка избы. — А куда же Петровна скрылась?

Все переполошились.

— Не иначе, как к лахтарям побежала... У нее сын ведь еще в двадцать втором году в Финляндию скрылся. Недавно нашла его. Посылку прислал ей... Быть беде!.. — быстро, перебивая друг друга, затараторили женщины.

— Голубушка, что ж ты стоишь, иди скорее! — торопили они Марийку. — Иди прячься... — Говоря это, они совали ей в руки куски хлеба. Хозяйка избы вытащила из печи котелок с кар-

тошкой и, обжигая пальцы, стала запихивать в карманы Марийке и Саиду горячие, дымящиеся картофелины.

— Эх ты, Пламенный Привет, что ж ты ее выпустил! — с упреком сказала Марийка, быстро выходя в сени.

— Да не выпустил, она здесь! — весело ответил разведчик и, с силой выдернув задвижку, распахнул дверь в уборную.

Она была пуста. Две большие доски были отодвинуты в сторону.

— Ух ты, сволочь! — выругался Пламенный Привет и выскочил на крыльцо вслед за Марийкой.

Вместе с Сандом она уже шла по улице. Сбегая по ступенькам, Пламенный Привет вдруг увидел, что из-за угла, навстречу Марийке, вместе с кривой старухой вышли несколько финских солдат. Один из них держал на поводке повизгивающих собак. Пламенный Привет поднял автомат и дал по солдатам длинную очередь. Несколько белофиннов упали. Другие забежали за угол двухэтажной избы.

Марийка быстро повернула к баням, стоявшим у ручья, за которыми начинался лес на болоте. Пламенный Привет большими, размашистыми шагами побежал туда же... Несколько выстрелов раздалось им вслед.

— Ну, вот и попались! — тихо сказал Саид, проверяя, сколько патронов осталось в обойме его пистолета.

— Уйдем! — уверенно бросил Пламенный Привет.

Но в эту минуту они слышали залиvistый лай собак на дворе.

— Не уйдем! — прислушиваясь к лаю, сказала Марийка и, помолчав, добавила: — Надо идти назад, в другую сторону, чтобы не подвести Ваню.

Они пошли, перескакивая с кочки на кочку, проваливаясь в болото, обратно на восток.

— Знаешь, Марийка, далеко на Каме, у самого берега деревня моя стоит. И там жена моя, Айши, — сказал Саид. — Один только год мы с ней прожили, Марийка. Глаза у нее черные, и голос тоже совсем другой, а все ж таки, когда я смотрю на тебя, чем-то ты на нее очень похожа. Если что, Марийка, разыщи ее и скажи, что в последний мой час думал я о ней. Пусть она замуж выйдет за Илаева. Он хороший парень. А ругал я его потому, что ревновал Айши.

— Ладно, скажу. Все скажу, — ответила Марийка и вспомнила, как на берегу реки сама просила Аню рассказать обо всем Васе. — Ладно, скажу, — еще раз повторила она.

Собачий лай раздался сейчас совсем близко. И не успела Марийка перескочить еще несколько кочек, как сзади в подол

ее юбки вцепилась зубами овчарка. Марийка остановилась и выстрелила в собаку. Раздался жалобный вой, собака разжала челюсти.

Марийка пробежала еще несколько шагов, но с другой стороны также послышался лай. Слышны были голоса и грубая ругань на финском языке.

Марийка остановилась.

Навстречу из леса шли солдаты с собаками. Саид лег в болото. Рядом с ним улегся Пламенный Привет. Марийка тоже опустилась на сырую землю.

В это время раздалась длинная очередь из автомата.

Пламенный Привет работал точно. Человек шесть солдат, как подкошенные, упали и больше уже не поднимались. Послышались стоны. Потом все смолкло, и только слышно было, как жалобно чавкает болотистая почва и повизгивают сдерживаемые собаки. Солдаты подползали к кочкам, между которыми таились разведчики. Потом они начали стрелять. Огонь был плотный. Марийка прижалась плашмя к холодной, сырой земле.

«Последнюю пулю сберегу», — решила она.

Над самой ее головой нависал кустик брусники, отягощенный тяжелыми ягодами.

Есть почему-то не хотелось, а вот выпить она бы могла сейчас целый ковш. Брусника, наверно, утолит жажду. Пули посвистывали в нескольких вершках от нее. Марийка хотела сорвать ягоды, но не успела поднять руки, как кустик свалился в сторону, срезанный пулей.

Снова раздалась очередь автомата. Пламенный Привет бил безостановочно.

— Чего ты торопишься, эконошь! — прикрикнул на него Саид.

Но тот не отвечал и продолжал стрелять.

После небольшого молчания со стороны противника раздался выстрел; одной из первых пуль был убит Пламенный Привет, и в предсмертных судорогах он пальцем нажимал на спусковой крючок автомата. Палец его не распрямился и после того, как окончился диск.

Еще автомат Пламенного Привета продолжал стрелять, когда в двух шагах от Марийки выросла фигура солдата. Марийка прицелилась и выстрелила. Солдат рухнул на землю, но в то же мгновение что-то тяжелое обрушилось сзади на Марийку и вдавило ее в зыбкую землю. Теряя сознание, она успела еще крикнуть:

— Смерть захватчикам! — и услышала гортанный голос Санда, выкрикивавшего, очевидно по-татарски, проклятия.

Очнулась она уже на рассвете в холодном и темном подвале. Голова тяжело ныла. Рассеченная нижняя губа кровоточила, мокрое платье было разодрано.

Рядом во тьме стонал человек.

— Саид? — окликнула Марийка.

— Ты жива? — спросил Саид. — Лучше бы ты уже умерла!

Они лежали молча на холодной, влажной земле. В наступившей тишине только и слышны были шаги часового, ходившего взад и вперед около дома. Время потянулось в молчании, продолжавшемся, может быть, несколько минут, а может быть, и несколько часов.

Марийке казалось, что от боли у нее разорвется голова. Желая унять сочившуюся из губы кровь, Марийка оторвала лоскут от старой, порыжевшей юбки, и при этом ей вспомнилось, как она в позапрошлом году торопилась сшить себе нарядное платье в цветах к Первомайскому празднику. Потом ей привиделась подушка, на которой она спала в день выхода, и ей очень захотелось, чтобы эта подушка сейчас была под головой.

— Марийка! — окликнул ее вдруг Саид. — Спасибо тебе за всё!

— Послушай, — молвила Марийка, — сколько мог пройти Ваня? Мы десять часов лежали у деревни. Потом разговор — час, да бой — час. Теперь, наверно, утро наступает. Сколько времени мы здесь?

И они стали шопотом подсчитывать, далеко ли успел уйти Ваня. То, что он был теперь, вероятно, ближе к условленному месту, чем к деревушке, в подвале одной из изб которой они были заключены, успокаивало их и радовало сейчас больше всего на свете. Захотелось есть. Марийка выгатила из кармана две картошки и протянула одну Саиду. Картошка была вкусная, рассыпчатая, и только из-за рассеченной губы было больно откусывать. Над головой заскрипели доски и застучали сапоги. Послышались голоса. И среди других фраз Марийка услышала:

— Посмотри там, очнулась она или нет? Если пришла в себя — доставь сюда. Девушка будет сговорчивее, чем этот чорт татарин!

Со скрипом поднялся квадрат люка. Яркий свет ударил в глаза Марийке. Она застонала. Спустившийся в подполье солдат толкнул ее в бок ногой. Она не шевельнулась. Солдат поднес к лицу девушки карманный фонарик. Веки ее были плотно смежены.

Солдат прикрикнул:

— Вставай!..

Она не ответила. Тогда он, кряхтя, полез наверх и с силой захлопнул крышку люка.

— Для чего ты так сделала? — спросил Саид. — Мук боишься? Все равно не уйдешь, для чего ж тянуть?

— Ване каждая лишняя минута дорога!

— Ты хорошая девушка! — сказал Саид.

...Прошло еще несколько часов, прежде чем их вытащили из подвала, вывели на деревенскую улицу и поставили около плетня поблизости от большой избы.

Недавно прошел дождь — дорога была грязная и вязкая, но небо было уже синее, и в большой луже перед домом отражались бегущие по небу облака. Марийка оглянулась. Казалось, вся деревня вымерла — ни одного жителя не виднелось на улице. Лишь вблизи стояли несколько солдат. Саид едва держался на ногах. Взглянув на него, Марийка содрогнулась: лицо его было неузнаваемо — сплошная кровоточащая рана.

«Неужели так и у меня будет?», — подумала Марийка. И ей, так недавно печалившейся из-за нескольких веснушек на лице, стало страшно.

— Ну, девушка, — вежливо сказал финский офицер, — ты мне сейчас ответишь на вопросы.

Он говорил по-русски. Марийка ответила по-фински, чтобы все стоящие поблизости солдаты понимали разговор:

— Смотри какие вопросы будешь задавать.

— Так ты финка? — удивился офицер. — Ну, тогда другой разговор!

— Я карелка.

— Это тоже неплохо. Одним словом, твоя жизнь в твоих руках. Откуда вы пришли?

— Мы — народ! Мы — здешние!.. А если бы мы на минуту раньше из деревни вышли, так вы ни за что бы не взяли нас! — вдруг добавила она.

Офицер посмотрел на ее бледное, худое теперь лицо, на синюю, рассеченную, кровоточащую губу, на спутанные волосы, на оборванное платье и засмеялся:

— Ну нет! Я за вами с собаками от самого берега шел. Минута-другая тут роли не играет.

И Марийка поняла, что офицер ничего не знает про Ваню, что они остановили погоню и приняли ее на себя. И от этого сознания ей стало легко и радостно, словно не смерть ее ждала сейчас, а большая удача. Лицо ее просветлело. Голубые глаза засияли.

Удивленно глядя на нее, офицер продолжал ее допрашивать:

— Сколько вас было? Трое?

— Ну нет! Нас не только трое! Нас больше, чем тебе кажется!

— Не обманешь! — усмехнулся офицер. — Один из вас в болоте лежит — значит, осталось двое. А теперь... — он вытащил из кобуры пистолет и выстрелил прямо в лоб Саиду, — а теперь ты одна осталась!

Саид упал навзничь. Он лежал в грязи дороги у ног Марийки. Девушка покачнулась; слезы подступили к глазам. Она ухватилась рукой за неровные жерди косого плетня. Переводя дыхание, она взглянула на облака, бежавшие по высокому голубому небу. И перед ней возникло лицо Ани, когда она спросила: «Доплывешь?»

— Доплыву! — прошептала Марийка и заплакала.

— Вот плачешь, — сказал офицер, довольный произведенным впечатлением, — а если будешь хорошо вести себя, мы дадим тебе возможность и порадоваться!

— Я и сейчас радуюсь! — громко, чтобы слышали солдаты, сказала Марийка. — Я и сейчас радуюсь тому, что порученное мне задание выполнено. А плачу я от злости, что не могу убить тебя, фашистскую собаку!

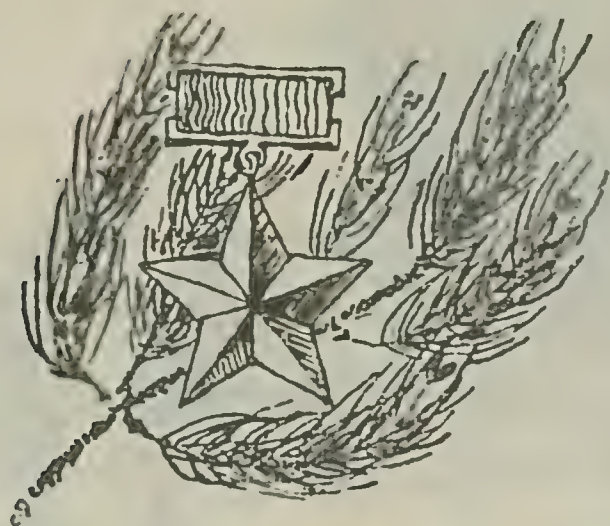
И в ее широко открытых глазах, наполненных слезами, глядящих на него в упор, офицер увидел такую неприкрытую ненависть, что внутренне содрогнулся. Подняв пистолет, он отвел в сторону глаза и, не целясь, выстрелил в Марийку. Резко повернувшись к стоящим чуть поодаль солдатам, он вдруг увидел лицо старой женщины, прильнувшей к стеклу маленького окошка избы на другой стороне улицы, и во взгляде ее он прочитал ту же ненависть, которой светились и большие голубые глаза застреленной им девушки. И тогда он снова выстрелил в уже лежавшую неподвижно рядом с Саидом Марийку и стрелял до тех пор, пока не окончились патроны в обойме.

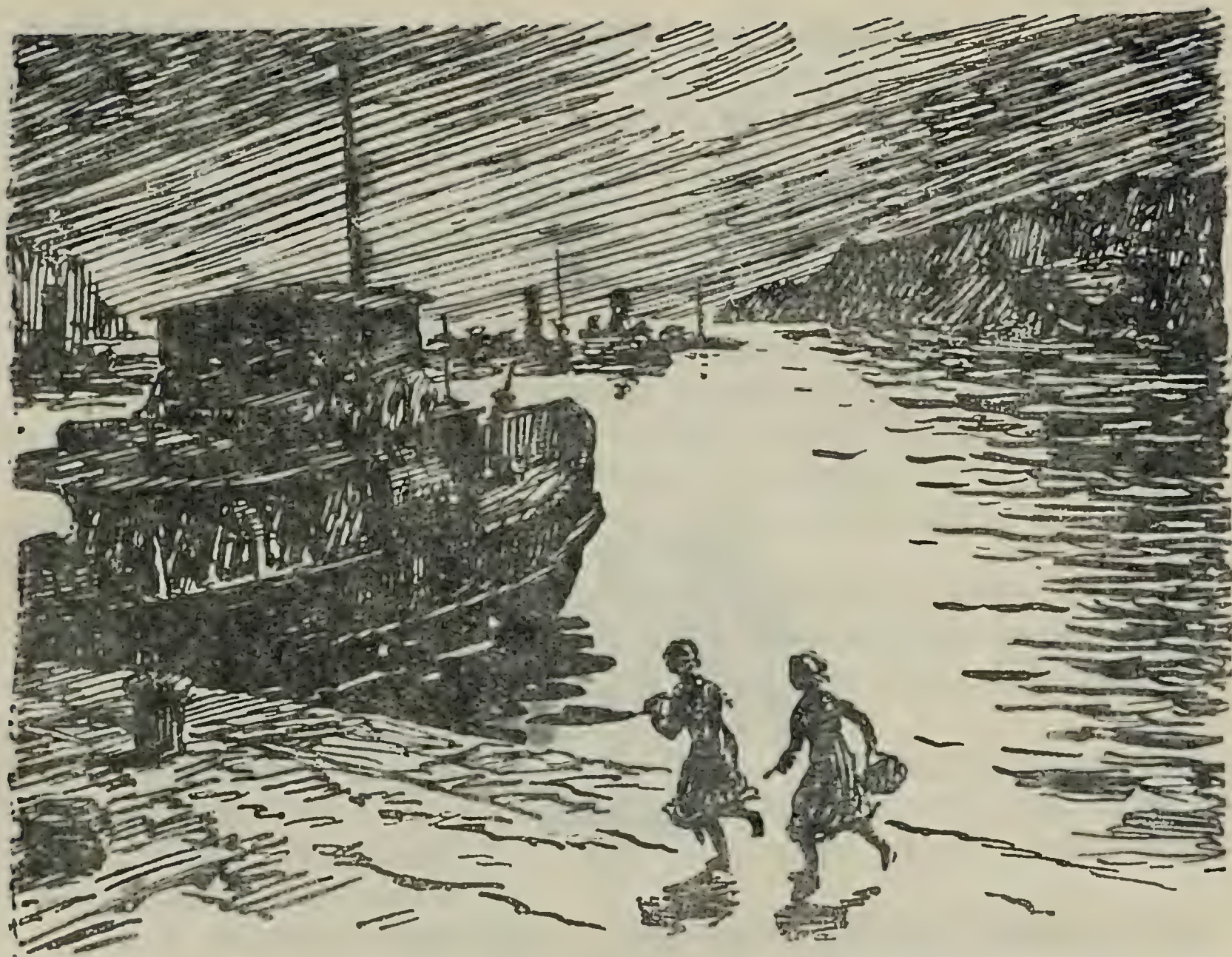
Ваня дошел до отряда и выполнил то, что было поручено. Жители деревни похоронили девушку и ее погибших товарищей. Рассказы крестьян о том, как умерла Марийка, были подтверждены показаниями взятого в плен финского солдата, который присутствовал при последнем допросе и был свидетелем последних минут жизни Марии Мелентьевой.



Советская армия разгромила вражеские орды на всех фронтах Великой Отечественной войны. В освобожденной от ига оккупантов Карелии кипит творческая жизнь. Гудят в карельских лесах электропилы. Яркими, радующими глаз огнями отражает-

ся, дробясь в бесчисленных озерах, свет сельских электростанций, построенных после войны. Видны эти огни и из широких окон школы имени Марии Мелентьевой в Пряже. Вспыхивает яркий свет лампочек Ильича в длинные зимние вечера в избах колхоза имени Анны Лисицыной на берегу Онежского озера в селе Шелтозеро. Знает и любит своих героев советский народ и свято бережет в сердце своем память о них.





«ЛЕБЕДЬ»

(Рассказ-быль)

Геронческой команде «Лебедя».

Доставив в город пленного немца, сержант Чайкин торопился обратно в часть. Полк его находился на самом северном участке фронта, на крайнем правом фланге, и бился у изрезанного глубокими бухточками и узкими каменистыми заливчиками берега Баренцова моря. И дорога к нему через каменистые сопки еще не была проложена. А тут началась обычная для этих мест предвесенняя апрельская метель, когда холодный и резкий ветер несет неисчислимые хлопья мокрого, пушистого снега, заваливает им все ложбины и в несколько часов неузнаваемо преобразует весь мир. Трех суток такой непроглядной снежной бури оказалось достаточно, чтобы засыпать все тропы

и сделать непроходимыми ущелья. И теперь к полку было ни проехать, ни пройти.

Чайкин в крайнем случае мог бы дожидаться, пока через три-четыре дня установится дорога, но дело было не в Чайкине. В полку кончались снаряды. Об этом радировали несколько раз. И теперь добираться в полк можно было только по морю, на небольших, малозаметных суденышках, которые могли прошмыгнуть мимо береговых немецких батарей.

«Лебедь» — рыболовецкий бот — уже закончил погрузку снарядов и патронов, когда Чайкин появился на пирсе. Пора было отваливать, но капитан, часто взглядывая на часы, все еще почему-то медлил.

— Чего это мы здесь канителится, товарищ Сизюхин? — спросил Чайкин матроса, взявшегося за румпель.

— А вот чего, — кивнул рулевой: по пирсу, торопясь к мотоботу, полубегом приближались две девушки. — Разве без кока можно двигаться в путь!

«Вот она, штатская расхлябанность! Эх, рыбаки!» — укоризненно подумал Чайкин, взглянув на вновь прибывших.

Одна из них, круглолицая, которую звали Тамара, несла какой-то тяжелый сверток.

— Андрей Григорьевич, — крикнула она, еще не доходя до бота, — сегодня в рыбкопе тарелки и чашки раздобыли, с цветочками! Первый класс!

Капитан строго сказал:

— На место! А то задерживаемся.

Вторая — остролицая, быстренькая, вихрастая девушка, пробегая мимо капитана, бойко проговорила:

— Сегодня мало! Всего одиннадцать! — и исчезла в каюте.

— И чего это ей так пишут?.. — развел руками капитан и дал приказ отчаливать.

Сразу все засуетились, забегали — и через минуту мотобот уже шел по широкому заливу.

В черных каменных кубах, облитых вечным зеленоватым светом луны, Чайкин угадывал дома ночного, притаившегося, израненного города.

Ровно и негромко рокотал мотор. Сиявшая на просторном небе луна, казалось, озаряла своим светом только снег на высоких и скалистых берегах и теряла свою силу, достигая воды. Вода же была из черного, непрозрачного стекла и нехотя пенилась за кормой у винта. Было совсем безветренно, и «Лебедь» шел по фиорду, пыхтя и пофыркивая.

— Плохая погода! — покачивая головой, сказал капитан «Лебедею», коренастый и усатый помор, похожий на моржа, обращаясь к сержанту Чайкину. — Вот вчера и позавчера было

чудесно! Такая метель — за двадцать шагов ничего не видеть!

— Андрей Григорьевич, а луна-то какая! Прямо зверская! — сказала капитану вихрастая остролицая девушка в комбинезоне.

Она вышла из машинного отделения, и руки ее были запачканы маслом.

— Да, Тоня, беда — ясная погода!

— Ничего, и на этот раз проскочим, Андрей Григорьевич! — успокаивающе сказала мотористка и снова словно провалилась в черную дыру люка.

Сержант Иван Чайкин, наоборот, был очень рад тому, что погода тихая и ясная. Откровенно говоря, бесстрашный на суше, он боялся, что его на море укачает. И если бы не желание скорее добраться к товарищам в разведвзвод, он ни за что не взошел бы на мотобот. И еще его радовало, что внизу, в трюме, были снаряды и патроны. Тяжело нагруженный мотобот медленно шел по заливу. Если бы Чайкин не видел плывущих назад, залитых лунным сиянием прибрежных снеговых гор, ему казалось бы, что «Лебедь» совсем не двигается. Красным ровным светом равнодушно мигали фонари, обозначая фарватер. И Чайкин подумал о своем доме — ему стало грустно. Затем он вспомнил ребят своего взвода: может быть, в эту минуту немцы снова пошли в контратаку, а полковые пушки молчат, экономя последние снаряды.

— Чорт дери, как мы медленно идем! — выругался он.

— Да, пять узлов немного! — сказал рулевой матрос Сизюхин.

Он сменялся. Увидев золотую нашивку под распахнувшимся полушубком Чайкина, Сизюхин стал расспрашивать Чайкина о службе разведчика.

— Трудно! — признался от души Чайкин. — Бывает, десять часов лежишь почти перед самой немецкой траншеей и смотришь так, что глаза заболят. А замерзнешь как! Просто и не рассказать! Ползешь обратно, а ноги и руки не действуют, окоченели совсем. Ну, что делать? Возьмешь автомат в охапку, сожмешься весь, подберешься — и покатишься так по склону, под сопку вниз, по снегу, как кубарь какой, честное слово! Жуть!

— Тоже нашел чем хвалиться! — вмешалась в разговор вышедшая из машинного отделения Тоня. Она слышала только последние слова Чайкина. — Я вот сегодня одиннадцать писем от разных людей получила и то не хвастаюсь. А верно ведь — хорошая у меня работа. Столько людей встречаешь! У нас здесь, на море, людно... И всякий парень норовит адресок спро-

сильно. А воть встретимся! А потом на письма только и отвечаю!

«Пустая девчонка! Вздорная девчонка!» — подумал Чайкин и степенно сказал:

— Так я что... Вот ребята у нас бедовые.

— Лево руля! Лево руля! — крикнул вдруг капитан и с неожиданной для своего возраста и комплекции быстротой метнулся к штурвальному колесу.

И в это мгновение Чайкин краем глаза уловил какой-то отдаленный отблеск.

...Оглушительный разрыв снаряда. Такой близкий, что Чайкин машинально, управляемый новым, создавшимся на фронте чувством, упал плашмя на палубу, растянувшись почти у ног капитана.

— Ну, это далеко еще! — сурово сказал капитан. — Вам, сухопутным, кажется, что близко, потому что над водой звук сильнее раздается... А это километр в сторону.

Из камбуза выскочила Тамара и стала смотреть на берег, откуда били немецкие орудия.

Чайкин почувствовал себя неловко и подумал: «Ладно, поглядел бы я на вас в разведке!»

Немцы били из четырех орудий, и Андрей Григорьевич повел судно зигзагами. В ночном, неверном свете трудно точно определить расстояние. Воздух был прозрачен и тих. Высоко, разливая холодный свет, сияла северная луна. И с вражеского берега — на фоне сверкающих снегом склонов — мотобот был ясно виден, словно вырезанный из черной глянцевитой бумаги силуэт на белоснежном листе. Второй, третий, четвертый выстрелы.

Капитан повернул свой корабль прямо на немецкие батареи. Теперь уже совсем невдалеке разорвались, не долетая до воды, два снаряда.

«Достаточно одного, чтобы мы все очутились в вагоне для некурящих», — подумал Чайкин, ни на минуту не забывая о грузе.

И снова судно изменило курс.

Чайкин понял, почему так мечтал о снегопаде Андрей Григорьевич.

Самым тягостным для него сейчас было ощущение своей беспомощности, словно он попался в ловушку. Вот если бы он мог стрелять сам или хотя бы врукопашную схватиться с врагом, он чувствовал бы себя прекрасно. Но здесь! Погибнуть так бесславно и не дать сдачи! Нет, пожалуй, действительно не стоило садиться на эту посудину. Пешком и то быстрее! Но тут Чайкина облило с ног до головы. Совсем близко разорвался в

воде снаряд. Осколками снаряда была разбита спасательная шлюпка.

И вдруг заблестели вспышки и раздался гул выстрелов с другого берега. Это отвечали наши батареи.

— Так держать! — сказал капитан рулевому. — Вышли из опасной зоны. Немцы остались за горой... Ну как, сухопутный товарищ? У меня вот осколком перебило машинный телеграф и крышку компаса. Ну, да это не важно. По этим местам я и всплывшую судно проведу. Все эти воды избороздил.

— Андрей Григорьевич! Семьдесят девять! — раздался снизу звонкий голосок Тони.

— Правильно! Семьдесят девять! — ответил ей Андрей Григорьевич. — Это ей, товарищ сержант, поручено считать, сколько снарядов по «Лебедю» выпущено! Вот в прошлый раз было девяносто два и три прямых попадания. Это невесело... Ну, теперь уже скоро рассвет. А там опять держись!

И капитан пригласил Чайкина в камбуз:

— Выпейте чайку и поспите немного. Молодые спать любят! — сказал он и лукаво улыбнулся. — Я так мог в вашем возрасте двадцать четыре часа проспать подряд. Правда, и по двадцать четыре часа работу ломили. Это тоже бывает. Все ж таки «Лебедь» наш по всем морям известен. Хорошо рыбу ловили!

Через полчаса, напившись чаю из новой чашки, которую ему поднесла Тамара, Чайкин мирно заснул, привалившись спиной к подрагивающей стенке рубки. Проснулся он от тревожного гудка.

— Тревога! Тревога! Летят! — крикнула Тамара.

Гул самолета уже раздавался над самой головой.

Чайкин выбежал на палубу.

«Лебедь» шел уже по открытому морю, и только слева сверкали покрытые снегом скалы берега.

Был ясный и прозрачный солнечный день. И вдруг тень от черного крыла пронеслась над самой палубой и на мгновение закрыла солнце.

За первым «Фокке-Вульфом» шел второй, и низко над зеленой морской водой на бреющем полете приближался третий.

Раздался грохот — взметнулся фонтан воды и обрушился на палубу.

Словно мокрой простыней хлестнуло по всему телу Чайкина. И опять так же близко раздались второй и третий взрывы. Утлое суденышко задрожало, затрепетало.

«Да, здесь до дна морского не меньше чем полкилометра», — подумал Чайкин. И хотя ему стало очень страшно от сознания этой бездонной глубины, от которого груз тяжелых

снарядов и он сам были отделены только несколькими тоненькими досками, он теперь все-таки не чувствовал себя таким беспомощным, как ночью.

Он прицелился из своего автомата и выпустил сразу всю обойму. Но самолет, как ни в чем не бывало, развернулся и пошел на второй залет.

На носу заработал спаренный зенитный пулемет. Это бил штурман Келарев.

Тяжелый взрыв потряс снова до основания все суденышко, и очереди судового пулемета были перекрыты очередями трассирующих зажигательных пуль, летевших сверху. Стервятник бил всеми своими пулеметами по палубе. И снова вслед за первым самолетом и второй и третий обрушили огонь своих пулеметов на низкую палубу мотобота.

— Почему же ты больше не бьешь? Бей! — крикнул Чайкин, подбегая к пулемету.

— Заклинило! — с отчаянием в голосе ответил штурман и махнул рукой: — Тяжелая система! «Браунинг»! — И в это время он заметил, что суденышко, круто повернув, пошло прямо к берегу.

Над зеленой, мерно раскачиваемой водой, в том месте, куда теперь плыл «Лебедь», поднимались и ниспадали белые гребешки. Подводные камни!

— Сизюхин! — крикнул штурман.

Но Сизюхин не ответил. И в быстрой тени от крыла сержант увидел, что рулевой, положив голову на штурвал, грузно, как мешок, оседает на доски палубы.

Штурман, оставив пулемет, бросился к штурвалу и, разжав пальцы Сизюхина, опустил тело на палубу. Схватив румпель, он с силой повернул его.

Фашистские самолеты не унимались: они кружились над беззащитным ботом и продолжали делать заход за заходом.

И опять трепетало утлое суденышко, и снова острые брызги хлестали палубу, и привкус соленой воды все время застывал на губах Чайкина.

Вдруг рядом с бортом, словно со дна морского, взметнулся высокий столб воды и отбросил в сторону «Лебедя».

Из кубрика на палубу выскочила Тамара.

— Сволочи! — крикнула она. — Всю посуду перебили!.. — И, увидев сержанта, стоящего у пулемета, крикнула ему: — Почему не стреляешь?

«Фокке-Вульф» шел в пятый заход.

— Заклинило! — злобно ответил Чайкин и махнул рукой.

Как ему хотелось, чтобы это был «Дегтярев», или «Максим», или хоть немецкий пулемет. Но это был незнакомый — «Брау-

нинг». Тамара быстро подскочила к пулемету и привычной, умелой рукой стала подвинчивать что-то, передвигая рычажки.

— Действует! — крикнула она и хотела стрелять по второму «Фокке-Вульф», пикировавшему на «Лебедь», но щепкой, сорванной с палубы немецкой пулей, ударило ее по правой руке, и она, оставив пулемет, схватилась за ушибленное место.

В это время третий стервятник в пятый раз пошел на мотобот.

Теперь у пулемета стоял Чайкин. Он поймал кабину «Фокке-Вульфа» в самую сердцевину паутинки прицела и с наслаждением выпустил длинную очередь.

Что произошло на самолете, никто не узнает, никто даже не успел увидеть пламени вспыхнувшего мотора.

Взрыва не было. Пулеметные очереди не прочертили палубу. Машина, так и не выйдя из пике, всей своей стремительной тяжестью врезалась в изумрудную воду и канула на морское дно.

Одна какая-то неуловимая секунда — и самолета словно и не существовало.

Оставшиеся два «Фокке-Вульфа» сделали еще по одному кругу, уже в вышине, и, не стреляя, не бросая бомб, ушли на запад. И только длинный белый след их долго вился, не исчезая на прозрачно-голубом морозном небе.

Но зажигательные пули сделали свое дело: горела палуба над люком, в котором были снаряды. Чайкин, скидывая с себя на ходу полушубок, метнулся к дыму, к тоненькой струйке пламени на палубе. Плотник по профессии, он не раз тушил начинающиеся на стройках пожары. Сейчас его больше всего волновала мысль о том, что мотобот взорвется и тогда товарищи его, ведущие смертный бой с гитлеровцами, не получат снарядов.

Когда боцман, сорвав огнетушитель со стены надстройки, подбежал к Чайкину, прижавшему свой полушубок к палубе, пожар был уже затушен, так и не успев разгореться.

И стало необыкновенно тихо, и слышно было, как журчит вода, рассекаемая грудью «Лебеда», как попрежнему неутомимо, но с какими-то перебоями рокошет судовой мотор. И еще Чайкин слышал, как громко, с хрипом, дышит у руля штурман Келарев. К штурману подходил капитан.

— Да ты ранен, братец! — сказал он. — Иди немедленно к себе в каюту, отдохни!

И снова на палубе появилась Тамара с санитарной сумкой. Она наклонилась над штурманом, который теперь даже не мог пошевелиться. У него было шесть ран. Чайкин помог Тамаре перетащить раненого в рубку.



Когда Чайкин вышел наверх, около капитана стояла Тоня. Комбинезон девушки был залит кровью.

— Не беспокойтесь, Андрей Григорьевич! — сказала она. — Это у Степанова кровь из носу. Ему дурно... Задыхается!

— Ну, а как там в машинном?

— Ничего! Дышать еще можно! Вот только плохо проворачивается гребной вал. И воды прибавилось! Но теперь недалеко, дотянем!

Тоня вся была вымазана маслом и мазутом. Из-под синей косынки выбивались светлые пряди волос, и в лице было все то же детское упрямое выражение и та же еле уловимая морщинка у губ, как будто ее кто-то дразнит, а она делает вид, что это ее совсем не касается.

— Ты бы помог мне вытащить Степанова, а? — обратилась она к Чайкину.

— Ну что же... — согласился Чайкин.

...Внизу было так чадно, что Чайкин чуть не задохнулся в этом густом, отравленном отработанным газом воздухе. А Тоня проскользнула, как ловкая и быстрая ящерица, и, наклоняясь над какими-то краниками, подворачивала их, подвинчивала какие-то гаечки, всматривалась в дрожащие стрелки непонятных циферблатов. Здесь она была у себя дома. И пока Чайкин, задыхаясь, вытаскивал потерявшего сознание механика, она настороженно прислушивалась к перебоям в ритмическом постукивании поршней.

На палубе Чайкин с наслаждением полной грудью вдохнул свежий, холодный воздух. Механик тоже начал дышать ровнее. Мертвенная бледность стала сходить с его щек. Чайкин положил его на доски палубы и, подняв глаза, увидел высокие прибрежные каменистые сопки, за которыми дрались его товарищи, увидел мерно колыхавшуюся прозрачно-зеленую водную гладь.

— Сержант! — позвал его Андрей Григорьевич. — Штурм-тросы порвало! Видишь, не действует.

И он круто повернул несколько раз штурвальное колесо, но «Лебедь» ни на иоту не повернулся. И Чайкин увидел, что их несет на пенящуюся каменистую подводную гряду.

— Надо впрячься! — сказал Андрей Григорьевич.

Вместе с матросом Конопляниковым Чайкин впрягся. Он стоял, держа трос у одного борта, а Конопляников — у другого, и когда капитан приказывал: «Лево руля!», Чайкин, срывая кожу на руках, изо всех сил упираясь ногами в скользкую леденеющую палубу, тянул неподатливый и промерзший трос, а когда капитан командовал: «Право руля!», Чайкин постепенно отпускал трос, а тянул Конопляников.

Это была нелегкая работа. Но зато мотобот теперь шел уже по положенному курсу.

Через два часа такой работы, которые совершенно вымотали Чайкина, из машинного отделения вышла Тоня. Она была очень бледна. Комбинезон ее промок до самого пояса.

— Фильтры пробито осколком! Я пластырь наложила, но все-таки заливает. Вода уже выше колен. Большая течь, а водоотливной насос не действует.

Капитан, надвинув на глаза свою шапку, спустился вслед за Тоней в машинное отделение.

Чайкин взглянул на море и увидел, что оно стало ближе. Суденышко осело, и теперь вода была значительно выше ватерлинии — всего в каком-нибудь метре от фальшборта.

— Да-с! — озабоченно сказал Андрей Григорьевич, поднимаясь наверх. С него струилась вода и быстро заледеневала на без того скользких досках палубы. — Да-с! Случилось то, чего я опасался. Не выдержала сотрясения посудина. А может, где и днище осколком пробито... До места еще восемь километров — не дотянуть! Да к тому же каждую минуту могут снова налететь. — И он взглянул на берег.

На высокой, нависавшей над морем скале видна была бревенчатая постройка. Пост.

— Сигнал! — приказал Андрей Григорьевич Конопляникову. И матрос, взяв сигнальные флажки, пошел на нос.

С поста ответили: «Принимаем!»

— Семафор! — громко диктовал Андрей Григорьевич. — «С грузом снарядов выбрасываемся под скалой у поста. Вызывайте прикрытие! Сообщите командиру прибытие груза!»

С поста просигналили: «Прочли! Поняли! Делаем!..»

— Ну, а теперь на место! — скомандовал Андрей Григорьевич, кивком указывая на концы штурм-троса.

Чайкин и Конопляников подошли к своим концам. «Лебедь» круто повернул к берегу и пошел к нависшей над морем скале.

В это же время раздался низкий рокот мотора. По морю быстро шел катер «Морской охотник». Он обходил стороной мотобот, и маленький рыжий дымок за его кормой все вырастал и продолжал, густея и темнея, расти и подниматься вверх, отрезая плотной стеной «Лебедь» от моря, застилая открытую даль.

Чайкин не сразу понял, что катер «Морской охотник» закрывает «Лебедь» от нападения фашистских самолетов с моря. Ему было даже немного жаль, что скрывается из глаз манящая своей прозрачностью океанская даль.

Зато с каждым мгновением все ярче и подробнее вырисовывался крутой и высокий каменный берег, словно грифельная

доска, исчерченная полосами выветривания. И на черных скалах, как следы мела, лежали снеговые прожилки.

Все глуше и прерывистее билось сердце «Лебедя», и он толчками приближался к скале. Она уже нависала над его единственной мачтой, которая теперь казалась низкой, почти игрушечной — волна дохлестывала до самого фальшборта.

Мотор заглох. Из люка показалось истомленное лицо Тони. Она была теперь изжелта-бледна.

— Больше нельзя! — сказала Тоня. — Все залито! И я, кажется, тоже не могу...

— Больше и не надо... — ответил Андрей Григорьевич. — Иди в надстройку. Переоденься.

Катер «Морской охотник» подошел вплотную к «Лебедю». Молоденький высокий младший лейтенант спросил, может ли он помочь чем-нибудь.

— Возьмите раненых и убитого, — попросил Андрей Григорьевич.

— А остальные как будут?

— Просто: разгрузимся, поставим пластырь, откачаем воду и потихоньку тронемся домой. А если мотор не потянет — попросим буксир...

«Однако как же здесь разгружаться?» — подумал Чайкин, взглянув на нависавшую скалу.

Но тут сверху раздались голоса:

— Берегись!

И на палубу грохнулся конец толстого пенькового просмоленного каната. Он извивался, как живой.

А когда отчалил с телом Сизюхина и ранеными «Морской охотник», оставляя за собой пенный след и ставя вторую дымовую завесу, все, кто был на «Лебеде», стали вытаскивать из трюма ящики со снарядами. Первый ящик вытащил Андрей Григорьевич с механиком, второй тащили Тоня с Чайкиным...

Ящик привязали к опущенному со скалы канату. И после того как капитан три раза дернул канат, ящик со снарядами поплыл вверх.

«Значит, они не в первый раз ходят в такие рейсы, раз без слов все слажено!» — подумал Чайкин. И он не ошибся.

Это был девятнадцатый боевой рейс «Лебедя» за последние месяцы.

Выгрузка продолжалась почти до самых сумерек. Вместе со всеми работали, опускаясь в наполненный водой трюм и вытаскивая тяжелые ящики, кок Тамара и мотористка Тоня. Дело ускорилося, когда на канате спустились со скалы вниз на палубу пять бойцов. Один из них узнал Чайкина:

— Ну и дела, товарищ сержант! Бьем немца почему зря! Если снаряды во-время подтянуть, не то еще будет!

И они с жаром принялись за выгрузку.

Было любо смотреть, как уходят вверх тяжелые ящики. Было любо смотреть, как понемногу поднимается над водой корпус «Лебедя».

— Я был прав — есть пробойна в подводной части, — сказал капитан Чайкину. — Ну ничего, с этим мы справимся. За нами еще идут другие мотоботы. А ты там, товарищ сержант, передай привет фронтовикам от нас, от службы тыла!

— Ладно, передам! — горячо сказал Чайкин.

И когда «Лебедь» уже был разгружен и Чайкин привязывал себя к канату, чтобы подняться наверх — на скалу, он вдруг торопливо задал очень важный и существенный для него вопрос:

— Тоня, а как ваша фамилия? По какому адресу письмо отправить?

— Устиновская. Мурманск, улица Полярных Зорь, 77, — тихо ответила Тоня.

— Вот еще один тебе будет письма писать, — улыбаясь усталой улыбкой, сказал Андрей Григорьевич.

Но Чайкин уже не слышал того, что сказал капитан. Его вытащили наверх товарищи, и вместе с другими бойцами он, держа автомат на ремне перед собой, потащил по снеговой тропе к батарее снаряды.

А в вечереющем многоцветном небе разыгрывался воздушный бой между нашими «Лагами» и «Мессерами».

И на каменистой северной земле, отбив все немецкие контратаки, наши подразделения снова устремлялись вперед.





ОСТРОВ ИЛЬИНА

Все четырнадцать участников описанного в рассказе поиска награждены орденом Красного Знамени; Николай Ильин — посмертно орденом Ленина.

Прощай же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой.
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

Когда, на каждом шагу проваливаясь по колено в трясину, разведчики прошли от боевого охранения километров двадцать, их настигла непроглядная, дремучая темнота.

— Ну что, кочколазы, — спросил капитан Суслов шедших впереди Ильина и Пеняйинена, — спать будем в болоте?

«Кочколазами» прозвали Ильина и Пеняйнена потому, что никто другой не ходил по болотам и трясинам лучше, чем они, и никто так ловко не перескакивал с вязкой кочки на другую, такую же зыбкую.

— Да, лучше идти утром, — ответил Пеняйнен.

— Правильно, Уголек, — сказал Суслов.

Так называли товарищи Ваню Пеняйнена. Светловолосый, краснокожий от ветреного северного загара, он и впрямь походил на неостывший веселый уголек: светится, и в руку не возьмешь — жжется. Разведчики называли друг друга по именам или кличкам: никто из посторонних не должен был услышать настоящих фамилий. Сам Суслов назывался Батка, хотя двадцатидвухлетний капитан был ровесником своих разведчиков и сейчас отличался от них только тем, что вместо пилотки носил вязаный подшлемник.

На ночлег остановились в болоте. Было мокро и холодно, костры раскладывать запрещалось. Спали, подстелив плащ-палатки, на краю трясины, почти касаясь ногами ржавой воды.

— И откуда только у тебя терпения хватает? — спросил стоявший на страже Ильин у секретаря комсомольской организации роты Алексея Алексеева. — Отдыхал бы, как все!

Сидя на камне, Алексеев держал на коленях тетрадь и, освещая ее темным синим светом ручного фонарика, что-то записывал.

— Не мешай, Робинзон! — отозвался он, не отрываясь от тетрадки.

Робинзоном Ильина называли потому, что он любил ходить в разведку один и прекрасно ориентировался без карты и компаса. Ему для пробы друзья завязывали глаза, кружили, затем снимали повязку, и он безошибочно шел сразу же туда, куда было заказано. Такой удивительный дар был у человека!

Ильин пожал плечами и отошел от комсорга.

Впрочем, ни для кого в группе не было секретом, что Алексеев тщательно, изо дня в день, перед тем как лечь спать, записывает в дневник свои мысли и события из жизни отряда.

Суслов прикорнул рядом с бойцами. Устало вытянувшись, он закрыл глаза и, прижавшись спиной к широкой спине коренастого Пеняйнена, чтобы согреться, еще раз подумал о прошедшем дне и остался доволен им.

Предстояла серьезная операция. Командованию для нанесения удара необходимо было добыть контрольные сведения. И разведчикам приказано было во что бы то ни стало достать языка. Тщательно продумав все возможности, Суслов решил добыть его в гарнизоне единственного населенного острова огромного озера. В таком глубоком тылу белофинны даже и по-

думать не могли о налете разведчиков. И вот сегодня разведчики вышли в свой опасный и трудный путь по болотам, лесам и озерам с тяжелым грузом за плечами. Каждый нес патронов на пять полных дисков, по шесть гранат и продуктов на две недели.

Поднявшись на рассвете после первой ночевки, шли по болоту двенадцать километров, пока наконец не вышли к большому озеру, к рыбацкой деревне на берегу закрытого залива. Стояло радостное, теплое утро. И в ярких лучах солнца еще мрачнее выглядело то, что осталось от деревни: обугленные до черного блеска головешки, треснувшие валуны фундаментов, ржавые ведра с выбитыми днищами, расписное колесо от сломанной прялки.

Отряд был уже в глубоком тылу у врага.

— Вот так с домом каждого из нас могут сделать! — мрачно сказал Ильин.

А Пенный горько задумался. Родная его деревня была захвачена фашистами в первые же дни войны. И что стало с родными и девушкой, которую любил, он не знал и даже боялся подумать об этом.

На ровный, гладкий песчаный берег мерно накатывала волна.

Ни в самой деревне и нигде поблизости не было ни одной исправной лодки. Казалось, вот она, целая, но стоило только тронуть ее, взяться за борт крепкой рукой, как каждая доска начинала шевелиться, легко отделялась от другой, и в конце концов обнаруживалась где-нибудь у кормы огромная дыра. Боясь разведчиков, финские егеря пробили лодки гранатами.

За несколько часов поисков удалось найти только одну лодку, ремонтом которой стоило заняться.

Вместе с наступившим вечером пришел ливень. Он шел всю ночь без перерыва. На плащ-палатке, под которой заснули, скопились тяжелые, глубокие лужи дождевой воды. Так прошла вторая ночь. Утром спящих разбудил громкий и веселый голос Ильина:

— А ну, бегом на рейд! Крейсера устанавливать!

Проснувшись на рассвете, Ильин вместе с Ковалевым решили, что здесь должны быть где-нибудь и затопленные лодки. Они разделись, вошли в воду по пояс и стали шарить по дну ногами. И действительно, вскоре удалось нащупать несколько затопленных лодок.

— Не хватило у щюцкора гранат! — сказал Ильин и пошел будить остальных.

Вода леденила тело, но товарищи работали дружно и быстро вытащили на берег две лодки. Дырявыми ведрами выкачивали из них воду. «Начахо» группы — старший сержант Хача-

туров извлек из своего бездонного заплечного мешка паклю и веревку. Щели были быстро законопачены, «живые» доски приколочены гвоздями.

Прищеп с товарищем в это время вырубал в прибрежном леске сосенки для мачт.

На потрескивающем костре кок Вася, напевая песенку, готовил обед. На сладкое было подано варенье из только что собранной клюквы.

Все три лодки были готовы. После работы в воде разведчики, чтобы согреться, выпили по сто граммов «жми-дави» и стали рассаживаться по пять человек в лодку. Оттолкнулись веслами от песчаного берега и вошли в залив. Поверхность залива была гладкая, и только пробежавший ветерок поднимал едва заметную быструю рябь, в которой дробился ослепительный блеск высокого солнца.

В первой лодке плыли «кочколазы», Олег Василевский, Блинов. На руле был Леша Ковалев.

Как только вышли из заливчика, перед глазами развернулось огромное, бескрайнее озеро. Берегов совсем не было видно — только один неровный от волн горизонт. И сразу же брызги высокой волны ударили в утлую посудину, в лица разведчиков. Вместо паруса поставили плащ-палатки. Ручной компас был привязан к скамейке у мачты. Оставленный берег быстро таял за спиной.

Когда на волнах резко закачалась ладья, «кочколазам» показалось, что это наступил их последний час.

Но это было только начало.

На озере разыгрывалась буря. Сняли парус, и Ковалев поставил лодку носом против ветра. Она прыгала по волнам, как мяч. Волны вставали рядом. Они были выше двухэтажной избы. Казалось, вот-вот волна захлестнет лодку, но в следующее мгновение она уже зыбилась на высоком гребне волны.

У Пенняйнена кружилась голова. Он нагибался, набирал полный котелок воды и выливал ее за борт. Потом он стал работать не разгибаясь — так было легче и не надо было смотреть на каждую подходившую волну. Ильин делал то же самое, и все же воды в лодке становилось все больше — она доходила уже до щиколотки.

— Не теряй, кума, напрасно сил — опускайся сразу на дно! — услышал Пенняйнен донесшийся по ветру голос Суслова.

Шутка командира подбодрила разведчиков.

В кромешной ночной темноте они боролись с бурей, и когда уже казалось, что нет конца этому ветру, волнам и темноте, Ковалев вдруг заметил черную полосу островка. Волны били

о борта. Лодка скрипела и, накреняясь, готова была опрокинуться десятки раз каждую минуту. Трудно было причалить к берегу, не разбив лодку о камни.

Вскоре причалила и вторая лодка.

Ветер продолжал хлестать промокших до последней нитки разведчиков, холодная вода подступала к ногам, но они стояли не двигаясь и пристально вглядывались в ночную мглу. Лодки с Сусловым не было. Ковалев стал сигналить синим карманным фонариком. Тонкий пучок синих лучей прорезал темноту.

— Неужто погиб командир? — тихо сказал Блинов.

Ильин зло взглянул на него, но не сказал ни слова. Так в молчании сидели они на холодных камнях больше часа. Затем Ильин, Ковалев и Василевский все так же молча пошли по берегу, надеясь, что лодка Суслова пристала в другом месте.

Они шли по берегу и вдруг слышали скрип весел. В полукилометре от двух первых лодок приставала лодка Суслова.

...Над озером, в рваных тучах, уже занимался малиновый рассвет. При дневном свете нечего было и думать о том, чтобы плыть дальше. Вытащили на берег лодки, замаскировали их между скалами, поставили часовых, а сами ушли поглубже на островок и там, среди деревьев, где было несколько теплее, мокрые повалились спать.

Так прошла третья ночь и наступил четвертый день похода. Он был ясный, солнечный, но холодный ветер пронизывал промокших разведчиков до костей. Они наблюдали в бинокль за соседним островом.

— Уголек, погас ты, что ли? Почему молчишь? — спросил Ильин.

— Тебе хорошо: ты Робинзон, привык на острове жить, — отозвался Пеняйнен.

— Брось привязываться с охотничьими историями! — махнул рукой Ильин и подбросил в костер сухую ветку.

— А ты расскажи свою, рыбачью! — рассмеялся Пеняйнен.

Но Ильин не стал рассказывать рыбачьей истории, за которую он получил «Красную Звезду», потому что ее знали все. Незадолго перед этим походом, также находясь в тылу у неприятеля, Ильин заметил разъезжавших в лодке по озеру двух финских солдат. Они глушили рыбу гранатами. Ильин, таясь за кустами, долго шел по берегу за этой лодкой. Он выждал, когда солдаты пристали к берегу, и в ту минуту, когда они собирались уже выходить, Ильин вскочил в лодку, пристрелил одного солдата, а второго, растерявшегося, приволок через линию фронта на командный пункт.

...На пятую ночь похода разведчики переправились на большой скалистый, поросший густым лесом остров. Он считался

геобитаемым. За ним была цель похода — долгожданный остров с неприятельским гарнизоном.

На рассвете, оставив около вытащенных и припрятанных на берегу лодок пятерых разведчиков, Суслов с остальными отправился осмотреть окрестности.

На берегу валялись гильзы расстрелянных патронов, сломанные лыжи.

Пенияйнен увидел между двух камней останки красноармейца в валенках.

— Дело, значит, было зимой, — тихо сказал Ильин.

Лес и днем казался безлюдным.

Но вдруг неподалеку раздались винтовочные выстрелы. Что за чертовщина! На острове, значит, есть люди! Как бы не напороться на неприятность.

— Леша, — приказал Суслов Ковалеву, — влезай на эту сосну, погляди в чем дело.

Сосна была высокая, но ветвистая, и Ковалев, сбросив гранаты и снаряжение, быстро взобрался на дерево.

— Там триангуляционная вышка! — сказал он.

И разведчики отправились к вышке, построенной на высокой скале, торчащей из болота. В бинокль увидели телефонный аппарат. Разведчики заняли оборону вокруг вышки, а капитан взобрался на самый верх. Оттуда далеко была видна огромная ширь озера и можно было разглядеть соседний остров, к которому стремились разведчики. А внизу, под вышкой, раскачивались и шумели вершины сосен. Суслов взглянул на провода, идущие от телефона, проследил, куда они шли, и заметил низкий дымок жилья.

— Надо уничтожить тех, кто здесь находится. Нельзя идти дальше, оставляя их у себя в тылу, — сказал он, спустившись вниз. — Сделаем это ночью.

Остаток дня провели у лодок. Пытаясь скрыть друг от друга свое волнение, в который раз разведчики проверяли свои исправные и не однажды уже проверенные автоматы.

Ночью снова подобрались к вышке на середину острова и решили идти к вражескому логову не по пробитой стежке, а вдоль, по проводам. Шли гуськом, и, как всегда, впереди шел Ильин. Вдруг он остановился и схватился за куст, чтобы не упасть. Скала обрывалась, и провода круто опускались вниз, в лес. Разведчики пошли за проводами. В непроглядной темноте они спотыкались о камни, налетали друг на друга, на стволы сосен. Провод окончился. Концы его лежали на сыром мохе.

Разведчики залегли, ожидая, что вот-вот темноту лесной ночи разрежут вспышки выстрелов. Только бы угадать, с какой стороны.

— Провокация, — тихо сказал Ильин, — заманили нас в засаду...

Вся тщательно продуманная и стоившая таких трудов операция могла провалиться.

— Пойдем дальше, — сказал кок. — Их тут не может быть много.

Но Суслов рассердился:

— Сам разведчик, а хочешь действовать вслепую. Численность врага неизвестна! Днем разведаем и ударим!

Так проходила шестая ночь похода. Она казалась бесконечной. Пенняйнен разобрал записи в унесенной с вышки тетради финского поста и прилег на камнях.

— Не могу спать, — сказал он.

— И я тоже, — отозвался Ильин.

В ожидании, молча они лежали рядом.

С рассветом нашли тропу от вышки и осторожно пошли по ней. День был ясный. Дятел где-то поблизости выстукивал свою однообразную песню. И вдруг Ильин поднял руку и показал: снова начались и пошли провода. Вскоре товарищи увидели на другом конце болота, у берега озера, несколько срубов — фашистское стойбище.

— Прищепка, — приказал Суслов, — возьми четверых и иди в обход к берегу. Ударишь слева! А мы пройдем напрямик и будем ждать вас, чтобы начать вместе.

Но, пробравшись через болото, Суслов не стал ждать. Разведчики услышали, как хлопнула дверь сруба, и через секунду кверху взвился сизый дымок. Они поняли, что часовой вошел в помещение. Держа автоматы на боевом взводе, разведчики безмолвно поднялись и побежали к первому сруб. Ильин распахнул дверь. Внутри было пусто.

— Да это баня, чорт бы ее побрал! — сквозь зубы выругался он и замер.

Из-за кочки на разведчиков в упор смотрел станковый пулемет «максим»... Но у пулемета никого не было.

— Уголек, ты пулеметчик!

Пенняйнен пополз к пулемету, залег около него и стал наводить его на второй сруб, из-за которого выступал угол третьего. Около пулемета лежали две ленты.

— Разрешите зарядить?..

— Обожди! Хлопать будешь! — отозвался Суслов и сам побежал ко второму сруб, около дверей которого стояла пирамидка.

Блинов навел автомат на дверь, прикрывая командира.

Суслов взял финский автомат из пирамидки, принес и положил рядом с автоматом Пенняйнена. Затем он принес финскую

винтовку. Когда он в третий раз снимал оружие, с пирамиды, гремя, упала на землю винтовка. На шум выскочил финский часовой. Блинов «срезал» его из автомата. Суслов застрелил второго, выскочившего из сруба финна, Ильин покончил с третьим. Блинов и Пенняйнен также открыли огонь. Ковалев швырял в окно гранаты. Товарищи ему передавали свои. И за минуту он бросил в помещение семнадцать штук. Подоспел Прищепа с товарищами. Они открыли огонь по окнам третьего сруба. У окна стояла рация. Немецкий радист метнулся к ней и был убит наповал. Перезаряжая пулемет, Пенняйнен слышал финские выкрики:

— Сдаемся!

— Батяка, — крикнул он Суслову, — шюцкоровцы сдаются! Не стреляйте, а то языка не останется.

В эту секунду Ильин метнулся к третьему срубу. Из внезапно открывшейся двери раздался выстрел. Пуля попала прямо в сердце Ильина. Он упал навзничь, не выпуская из взметнувшейся вверх руки автомата, и тот продолжал бить до тех пор, пока не опустел диск. Пенняйнен видел это, и сердце его сжалось.

Первым из финского сруба, подняв руки вверх, держа в правой руке платочек, вышел прапорщик Мартикайнен — он сдавался по всем правилам устава. За ним вышел второй. Из немецкой избы тоже вышло двое с поднятыми руками.

— Иди допрашивать, Уголек, — сказал Суслов.

У Пенняйнена сердце разрывалось от горя при взгляде на тело друга.

— Спроси, успели ли они запросить помощь по радио?

— Не успели, — перевел Пенняйнен ответ фендрика.

— Может, правду говорит, а вдруг врет — на самом деле вызвал, а теперь хочет выиграть время? — сказал задумчиво Суслов. — Нет, нам нельзя терять ни одной минуты!

И он приказал захватить оружие и пленных и немедленно отходить к лодкам.

— А ты, Уголек, с Лешей похоронишь Николая и уничтожишь рацию, — сказал Суслов, перехватывая взгляд Пенняйнена.

Пенняйнен с Ковалевым подняли тело товарища, отнесли его подальше от сруба. Могилу обложили камнями и мохом. Они стояли над камнями, как бы молча беседуя с самым близким своим товарищем. Трудно оставить тело друга на чужом берегу. Тяжко последнее прощание. Наконец Ковалев прервал молчание.

— Клянемся! — тихо сказал он.

— Клянусь! — еще тише повторил Пенняйнен.

Надев пилотки, товарищи молча пошли к домам. Собрали документы, разбили рацию. Пенняйнен насчитал шесть трупов финских солдат и два немецких.

Задание выполнено. Языки взяты. Надо было скорее доставить их командиру.

Суслов, опасаясь погони, решил, что надо избрать путь самый дальний. Поэтому пошли не на север, а на юг, вдоль финского берега.

И действительно, через некоторое время слышался шум мотора катера. Разведчики опустили весла в воду, засунули пленным в рот платки и притаились. Но вскоре гул мотора затих, потому что катер пошел догонять по кратчайшей — на север.

День был ясный. Озеро отражало вершины прибрежных лесов. Попрежнему Ковалев сидел у руля, Василевский и Блинов — у весел. Пенняйнен допрашивал финского офицера и все время чувствовал пустоту оттого, что в лодке не было Ильина... И никогда его не будет рядом. Потом Пенняйнен сел за весла.

— Переведи ему, — сказал Ковалев, — что они влипли, как кур во щи, потому что с дисциплинкой у них обстоит неважно.

— Влипли, как кур во щи?.. Как это перевести? — задумался Пенняйнен и что-то сказал пленному.

Офицер с сокрушением покачивал головой, а ребята смеялись.

Возвращались с большим успехом! Захватили четыре языка вместо одного и убили восемь фашистов, потеряв только одного товарища. Правда, этот один был Николай Ильин...

Вскоре проехали остров, на котором они днсвали. Потом появился финский самолет. Если бы самолет их заметил, то все погибло бы. В озере он мог обстрелять их и потопить, на берегу — навести погоню на след. Заслышав гул мотора, разведчики вытащили свои лодки на берег и запрятали среди скал. Сделав несколько кругов — о, как мучительны были эти минуты! — самолет ушел обратно.

Разведчики поплыли на своих утлых посудинах дальше. И так шли без отдыха весь день и всю ночь.

На другой день одну из лодок волной бросило на камень, и она расползлась по швам. Пришлось разместиться по девять человек в лодке. Теперь от края борта до воды было только два пальца. А порой казалось, что борта идут вровень с уровнем воды.

Но и этот день и ночь гребли без отдыха и останавливались у прибрежных островков только для того, чтобы поесть.

Веки у всех были воспалены, глаза красны. Ладони покрылись огромными водяными волдырями.

— Знаете, почему на острове была стрельба? — спросил Пеняйнен, перевязывая кровоточащую ладонь бинтом. И сам же ответил, кивнув на офицера: — Это шюцкоровцы на лосей охотились. И никакой засады не было. Провода лось порвал.

Вслед за Пеняйненом и все остальные намотали на каждую руку бинты, израсходовав все индивидуальные санпакеты, и продолжали грести. Распухшие пальцы не могли держать карандаш, и Алексееву пришлось записать в свой дневник обо всех этих событиях значительно позже.

На исходе третьих бессонных суток разведчиков обстреляли. Но это были наши! Первое наше боевое охранение. Ведь никто не мог знать, что сюда, так далеко, выйдет группа Суслова.

На другое утро все разведчики — тринадцать человек — выстроились в шеренгу на самом берегу, и капитан Суслов вышел и сказал:

— Товарищи, простимся с озером! Назовем этот остров островом Ильина! — Дальше он говорить не мог. По лицу его текли слезы.

— И мы все заплакали, — рассказывал мне Пеняйнен. — Потом дали салют на весь диск и пошли дальше через болото с пленными...

Скалистый остров на дальнем северном карельском озере отныне будет носить имя Николая Ильина. Рубежи, острова, озера, деревни, высоты проходят свое второе крещение. Так рождается в наши дни новая география, география доблести и славы.





ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Трофимов споткнулся о кочку. Можжевельниковая ветка хлестнула его по лицу. Он удержался на ногах и еще крепче сжал необструганную ручку самодельных носилок. Но носилки все же качнулись, и Илья Ильич тихо застонал.

— Тише вы, лешие! — прикрикнула на носильщиков Мария и с тревогой взглянула на раненого.

Трофимов чувствовал себя неловко. Натруженное плечо болело.

Ведь так, с носилками на плечах, они шли по краснолесью, по сухому сосновому бору, уже второй день. Четверо мужчин несли самодельные носилки — плащ-палатку на двух необструганных палках. Раненый, лежавший на носилках, запрокинув голову, видел, как плывут в ясной голубизне неба зеленые вершины строевых сосен. И оттого, что рядом, в муж-

ских шароварах, в свитере и красноармейской пилотке, шла его жена, он старался ни словом, ни движением, ни стоном не выдать боли.

Трофимов давно слышал о подвигах Ильи Ильича, который в радиошифровках партизанского штаба именовался Ильей Муромцем. И вот теперь пришлось нести его на своих плечах.

Иван Трофимов был уроженец здешних мест, отличный охотник и рыболов. Когда враги захватили Петрозаводск, он ушел в партизаны. Партизанский штаб назначил его связным.

Когда он должен был уходить на Большую землю, командир отряда сказал:

— Подорвался Илья Муромец. Надо его отправить в Сегежу через линию фронта. Людей у меня в обрез. Придется тебе стать носильщиком.

Другими носильщиками были «старичок» Лангуев, Федор Кутасов — в мирной жизни лесоруб, и Леша Коровин.

Командир отряда послал с ними Марию — медицинскую сестру, жену Ильи Ильича.

На второй день пути Федор Кутасов с утра шел в первой паре с Трофимовым. Трофимов приловчился даже по покачиванию носилок понимать, насколько устал Федор и куда он собирается повернуть. Идти по лесу с ношей нелегко, но особенно плохо то, что обе руки заняты и нельзя отмахиваться от комаров, мошкары, которая движущимся столбом поднималась над землей.

Через некоторое время облака на небе разошлись и выглянуло солнце.

Жаркие лучи его разгоняли комаров. От жары, от усталости, от слабости проступали на лице тяжелые капли пота. Рубахи на спине почернели. Земля была скользкой от устилавшей ее сухой, прошлогодней хвои и высыхающего на солнце моха. Трофимов поскользнулся. Носилки перекосились. Илья Ильич застонал.

Было самое время располагаться на привал. Солнце стояло над головой.

Опять выкопали ямку у ключа, опять наломали сухих веток. Одной спички, которую поднес к ним Лангуев, было достаточно, чтобы быстрый и легкий огонь побежал по ветвям и, потрескивая, запылал в ямке. Мария выстирала в холодной ключевой воде портянку, заменявшую бинт, и разложила ее сушиться на камне.

— Ишь ты! — вдруг вскрикнул Илья Ильич и показал на вершины деревьев.

Трофимов поднял глаза. По верхним веткам высоких сосен быстро перескакивали с дерева на дерево три белки.

Послышался треск, и, ломая кусты, как валун, поросший рыжеватым мохом, выкатилась на поляну огромная лосиха. Не разбирая дороги, она шла очень быстро, маленький лосенок с трудом поспевал за ней.

— Вот и обед сам идет! — весело сказал Леша Коровин. — Лося быют в осень...

— А дурака завсегда! — перебил его Федор и, положив руку на ствол Лешиного автомата, отвел дуло в сторону. — Если она так, без ума, прёт, значит за ней охотятся. Может быть, немцы близко, а ты шуметь хочешь.

Лосиха с лосенком скрылись за мелким сосняком.

«В самом деле, может быть, она бежит от немца!» — подумал Трофимов и перевел рычажок автомата на стрельбу очередями.

В своем предположении Федор не совсем ошибался.

Командир немецкой горно-егерской дивизии праздновал день рождения и решил угостить гостей не только привозными деликатесами, но и местным блюдом. Он послал четырех егерей на охоту. Они нашли след лося, потом сбились с него. Тогда они сели закусить, развели на привале костер. Отдохнув, они притоптали огонь, раскидали по сторонам тлеющие ветки и пошли дальше.

Когда партизаны встретили лосиху с теленком, немцы были неподалеку и стремились спастись от лесного пожара, вспыхнувшего на месте их утреннего привала.

Едва скрылась лосиха с детенышем, как стремительно, точно мохнатый шар, промчался бурый медведь. Трофимов лишь успел заметить, что шерсть медведя торчала клочьями, словно подпаленная.

— Эх, огонь да вода — нужда да беда! — принюхиваясь, сказал Лангуев и, почуяв недоброе, опрокинул в костер котелок с недоварившейся похлебкой. — Вставай, вставай, быстрее! Бежим!

— Да, — поддержал его, вскакивая с места, Федор. — Только вот куда бы укрыться?..

Трофимов с недоумением посмотрел на них.

— В чем дело? — спросил он.

— В чем дело? — так же недоумевающе спросил Илья Ильич.

— Горим! Илюша, горим! — отозвалась Мария и, сдернув с камня сырую портянку, быстро упрятала ее в рюкзак. — Только вот куда бежать?

— Туда, — махнул рукой Федор. — Туда! — уже уверенно повторил он и, указывая на носилки, крикнул Трофимову: — Поднимай!

«Лесной пожар!» — понял Трофимов и вместе с другими поднял носилки.

Теперь он отчетливо чувствовал запах гари.

Они быстро пошли в том же направлении, куда бежали звери.

Трофимов не мог понять, к чему такая спешка: пожар-то еще не близко. При такой быстрой ходьбе ветви хлестали Илью Ильича по лицу, а некоторые словно стремились сбросить его с носилок. Но он лежал молча, крепко вцепившись руками в носилки, плотно сжав зубы. Время от времени он едва слышно стонал. И когда его стон долетал до слуха Марии, кровь отливала от ее лица.

Огонь в лесу опережает самый быстрый шаг человека, и через несколько минут Трофимов почувствовал, что упругая волна горячего воздуха подталкивает его в спину. Взглянув на вершины замерших в страшном ожидании сосен, он увидел, что в воздухе летают, кружатся, как черные галки, обгорелые легкие ветви, занесенные теплой воздушной волной сюда из самого пекла лесного пожара.

— Эх, будь у нас белый голубь!.. — сказал Лангуев.

И Трофимов вспомнил старинное поверье: если в пламя лесного пожара бросить белого голубя, то пожар сразу погаснет.

Трофимов еще не видел нигде язычков пламени, а уже впереди начинал темнеть мох. Воздух становился все горячее и горячее, из-за спины доносился все нарастающий ровный гул. Трофимов чуть не споткнулся: прямо под ноги его метнулся какой-то небольшой зверёк.

— Огонь-то беглый, — сказал Федор Кутасов. — Пожар беглый, не повальный, — повторил он.

И в голосе его Трофимов почувствовал какое-то удовлетворение.

— Хорошо бы не повальный; верховой и то лучше, — огозвался Лангуев.

Беглый пожар здесь еще называется иногда «наземный». Он проходит по земле, истребляет весь сухой покров в лесу, но не приносит особого вреда деревьям. Гораздо опаснее поваль-ный пожар, захватывающий деревья от корня до самой вершины.

«Куда мы бежим? Куда он ведет нас?» — думал Трофимов, когда Федор вдруг поворачивал то направо, то налево.

Трофимову казалось: если он обернется, то увидит бушую-

щее пламя. Вдруг он заметил, что впереди в мохе заиграли, забегали маленькие огоньки.

«Как это по воздуху передается?» — изумленно подумал он. Ногам его стало жарко.

Партизаны с колыхавшимися на плечах носилками бежали по загорающемуся моху, а над ними тучей летели лесные птицы. Метались неуклюже не видящие ничего в дневном свете неясны-совы, сычи и филины; тяжело взмахивали крыльями глухари. Лежа на спине, Илья Ильич увидел птичьи стаи. Он глянул вниз: горела трава.

— Машенька! Машенька! — крикнул он. — Машенька, оставьте меня, спасайтесь сами!

— Ты помалкивай, и без этих слов тошно! — разозлился вдруг Лангуев.

В эту секунду Трофимов заметил впереди голубоватую полосу воды.

— Озеро! Озеро! — вскрикнул он, поняв, куда вел их Федор.

Земля уже горела у них под ногами, когда они добежали до берега. Партизаны вошли в озеро. И только тогда, когда вода достигла колен, они остановились, чтобы отдышаться.

— Лось!

В воде, метрах в десяти от них, стояла лосиха с лосенком. Лосиха уставилась сливами своих больших глаз в порозовевшую от отблесков пламени и потеплевшую воду озера; лосенок плотно прижимался к ней.

Трофимов вдруг ощутил какую-то опасность. В первые секунды он не мог точно определить, откуда идет это ощущение тревоги.

Он осторожно повернул голову и увидел то, чего еще не заметили его товарищи: справа, метрах в тридцати, по пояс в воде стояли четверо немецких егерей, с автоматами в руках, с жестяными цветками эдельвейса на рукавах. Это были злополучные охотники, еще на рассвете ушедшие за лосями. Лосиха с теленком стояла близко от них. Неподвижная, прекрасная мишень. Но теперь им было не до лосей. Трофимов двинул плечом, чтобы обратить внимание товарищей на немцев, но партизаны, словно замороженные, не отрываясь, глядели на лосей. И только один Илья Ильич увидел егерей.

— Товарищи, немцы здесь! — тихо прошептал он.

И шопот этот услышала Мария.

Она посмотрела вправо и обмерла: дула четырех автоматов показались ей наведенными прямо на Илью Ильича.

Федор смотрел на вершину сосны, по ветвям которой пере-

бегали несколько белок. Огонь подходил все ближе к этому дереву; он играл уже у его подножия на кустиках брусники. Язычки пламени лизали корчащуюся от жара кору, стремясь подобраться к веткам. И вдруг, словно обезумев, белки одна за другой стали прыгать вниз, прямо в огонь.

— Вот дуры-то! — с горечью прошептал Федор и отвернул лицо в сторону, чтобы не видеть гибели белок.

Тут он заметил егерей. Он стоял в оцепенении, как человек, замерший перед змеей и знающий, что если он сделает неосторожное движение, змея бросится на него. И ни он, ни его товарищи не смогли бы сказать, сколько времени продолжалось это оцепенение, в котором пребывали и партизаны и егеря.

Федор оказался прав. Пожар был беглый — и, не поднявшись по стволу сосен, пламя побежало по низу дальше, обходя озеро по берегу, а затем стало удаляться.

Лосиха стала медленно поворачиваться к берегу, лосенок не отставал от нее. Глаза Федора встретились с зелеными глазами одного из егерей. Они пристально смотрели друг на друга, и вдруг немец громко крикнул что-то... В этот момент носилки перекошились — и Илья Ильич соскользнул с них в воду. Мария вскрикнула и бросилась к нему. И вдруг в лесную тишину, перекрывая всплеск воды и вскрик Марии, врезалась длинная, оглушительная очередь автомата. Трофимов бил по егерям — он опередил их. Судьба всех была решена одним неуловимым мгновением. Видя, как падают в воду один за другим три немца и как поднял руки четвертый, Трофимов подумал: «Мы спасены!» Он посмотрел на Илью Ильича, которого вытаскивали из воды и несли на руках к берегу Мария и Леша. Глаза у Ильи Ильича были закрыты; на лице его блестели капли воды. Трофимов шагнул вперед к немцу, который продолжал стоять с поднятыми руками.



...Земля была еще горячая. На мокрой плащ-палатке лежал Илья Ильич. Федор связывал пленному руки. Алеша осматривал рюкзаки убитых. Рюкзак пленного так и оставался на спине у него.

— После разберемся! — сказал Лангуев. — Фриц пойдет с нами. Приведем и «языка» — перевыполним программу!..

— Вот что, — перебил его Федор: — нам придется немного изменить маршрут, потому что на черной земле среди черных стволов мы будем видны издалека. Кустарника-то совсем не осталось. Надо обойти пожарище слева, а там — через болото...

Черная, обгорелая земля лежала перед ними. Горький сизый дымок стелился впереди, и запах гари, тошнотворный и навязчивый, преследовал их.

Илья Ильич открыл глаза. Он увидел высокого немца, стоящего вблизи от него, и снова закрыл глаза.

— Да нет же, открой! — радуясь тому, что он очнулся, сказала Мария. — Это мы его взяли в плен.

После небольшого привала они пошли дальше, а через три дня их встретили наши разведчики и помогли выйти к Сегеже.





ПИСЬМО НАДЕЖДЕ

Земля в воронке была черная, влажная и липкая. На кромке воронки лежал еще тонкий, как тающий сахар, ледок. Он хрустнул и переломился под тяжестью тела Харламова. Втягивая голову в плечи, боец вполз в воронку и привстал. Стоя на дне воронки, можно было выпрямиться во весь рост: такая она была глубокая. Но Харламов, стирая грязной рукой налипшую на колени землю, стоял полусогнувшись, не решаясь выпрямиться.

На дне воронки, поблескивая, чернела лужа. И в этой ржавой луже отражалось голубое, по-весеннему просторное небо, по которому быстро бежали легкие облака. Харламов взглянул вверх и увидел — у самой воронки стоит высокая, стройная березка. Ветви ее набухали прямо пахнущими почками, и на одной сохранилось еще несколько резных золотых листьев.

«Вот ловко! — подумал Харламов. — Здесь земля дыбом поднята, а она стоит как ни в чем не бывало, только листьями встряхнет — и всё».

На склоне этой воронки, на подостланной твердой плащ-палатке, лежала женщина. Она тяжело и часто дышала. И хотя день был ветреный и прохладный, на лбу у нее проступали мелкие, прозрачные капельки пота.

— Надя, ну как? — спросил Харламов девушку в ватнике, склонившуюся над женщиной. — Ну как?

— Еще ничего нет, — торопливо сказала девушка и отвела рукой прядь волос, спустившихся на ее круглое, почти детское веснушчатое лицо.

— Да... У меня дома двое пацанов осталось... — понимающе сказал Харламов. — Я к тебе вот за чем пришел. Отдай-ка нам гранаты и патроны. Здесь они ни к чему.

Надя быстро раскрыла мешок, вытащила и передала Харламову одну за другой девять полных обойм. Затем сняла с пояса три гранаты и тоже отдала ему.

— А эту не отдам, — кивком показала она на четвертую, оставшуюся висеть на поясе. — Может быть, понадобится.

— Понятно!

Перед тем как отправиться назад к товарищам, Харламов еще раз взглянул на лежавшую на плащ-палатке женщину. Ей было лет двадцать пять. Рыжеватые волосы, раньше связанные узлом на затылке, теперь расплескались по плечам. Она то жмурилась от боли, то снова широко открывала глаза.

— Скоро ли? — шопотом спросил Харламов, выползая из воронки.

— Скоро, — так же шопотом ответила девушка, — скоро! Продержитесь еще немного...

И словно в ответ на ее слова раздалось гудение летящей мины. Она разорвалась где-то неподалеку. Но ни Харламов, ни девушка, снова склонившаяся над женщиной, не обратили на мину внимания. Женщина, ни на кого не глядя, тихо спросила:

— Опять стреляют?

— Ничего, не бойся, Аннушка, скоро все будет в порядке, — отозвалась девушка.

Отвинтив пробку трофейной алюминиевой фляжки, она вылила на ладони спирт и затем деловито растерла руки этой прозрачной, охлаждающей влагой.

Харламов подполз к товарищам, притаившимся между огромными, толстыми корнями вековых сосен. Сосны стояли около дороги, и на их бронзовой коре прозрачными и пахучими, клейкими каплями поблескивала смола.

— Вот и вооружились за счет санчасти, — весело сказал Харламов. — В такие дни у нас в затонах пароходы готовятся к выходу на открытую воду. На реку... Чудесная река Волхов! Березки по берегам. Кручи...

— А у меня, понимаешь, яровые!.. — отозвался длинноусый старший сержант Коновалов. — У меня в колхозе скоро сев начнется. Весна ранняя, а земля у нас рассыпчатая — успеют ли снег задержать? — Он вытащил зеленый сатиновый кисет, на дне которого сохранилась щепотка махорки. Коновалов взвесил на ладони опустевший кисет, вздохнул и, не развязывая, положил обратно в карман ватных брюк.

— Ну, как там Аннушка? Не родила еще? — спросил Харламова коренастый, круглолицый, похожий на мальчика, разведчик Грунь.

— Надя говорит, что все в порядке... Тише. Смотри! Шевелится.

На той стороне дороги зашевелился можжевельниковый куст и медленно стал передвигаться вдоль по обочине.

— погоди стрелять, — сказал Коновалов и положил руку на плечо Груня, — успеешь.

И они стали вглядываться в движущийся куст. Рядом с ним начал двигаться второй.

«Вот вы как!» — подумал Харламов и увидел, как покачнулся третий куст.

И в эту минуту раздался громкий, пронзительный крик.

— Вот она, материнская мука! — сказал Коновалов, смущенно подергивая левый ус.

— Ну и Надя! А говорила — все в порядке! — с укором сказал Грунь и выстрелил в движущийся куст.

Куст качнулся и упал, открывая металлическую каску на голове фашиста.

— Так... — сказал Грунь и снова приложился к винтовке, целясь во второй куст. — Не уйдешь!

И снова выстрел заглушил донесшийся из воронки крик.

Разведчики Коновалов, Грунь, Харламов, Алиев и сандружинница Надя Малая — фамилия которой так соответствовала ее росту, что казалась не фамилией, а кличкой, — возвращались из дальней разведки по тылам неприятеля. За неделю их блужданий робкая, точно приготовишка, весна превратилась в уверенную в своей красоте и молодости задорную восьмиклассницу.

Разведчики сбили вконец сапоги. От недосыпания и недоедания тела их казались им то необычайно легкими, то чрез-

мерно грузными, но они узнали столько интересных и важных для командования вещей, что последний день шли безостановочно, торопясь скорее выйти к своим. Идти было трудно. Молодая весенняя земля налипала на сапоги, хотя шли, обходя раскисшие дороги, по прошлогодней, прелой листве, густо устилавшей землю перелесков и прозрачных рощ.

Сегодня утром разведчики обходили стороной маленькую деревушку, старые избы которой толпились на пригорке. На узкой тропе, между не вскопанных с прошлого года гряд колхозного огорода, они догнали женщину в сером вязаном шерстяном платке, медленно идущую на восток... Казалось, она просто вышла прогуляться в это ясное и погожее весеннее утро — и вот это-то и было самым странным, потому что, как знали разведчики, без специального разрешения старосты, поставленного немцами, ни один житель не имел права выйти из деревни.

— Товарищи, — обрадовалась женщина, сразу поняв, что перед нею свои, — товарищи, а я как раз к вам иду... Немцы сегодня вечером всех жителей в Германию угоняют... Костя, муж мой, здесь в лесах партизанил. Убили его. Скоро уже месяц. Я бежать решила к нашим. И вот вы тут...

— Ладно, идем с нами, — сказал старший сержант Коновалов и ладонью пригладил усы. — Ты нам в тропах поможешь разобраться.

И они пошли дальше вместе с Анной Степановной. Она была учительницей средней школы, понимала по-немецки и знала про немцев больше, чем им того бы хотелось. Но сейчас, зябко кутаясь в свой большой шерстяной платок, она не хотела вспоминать о них, словно боясь разбередить незаживающую рану.

— Идемте тише! — к великой радости притомившейся Нади, сказал Грунь.

— Ты чего это? Устал, что ли? — спросил Коновалов.

— Посмотри на нее! — кивком указал на учительницу Грунь.

Коновалов увидел большой выпуклый живот женщины и рассердился на себя: «Мальчишка Грунь сразу увидел, а я дедом скоро буду — и не заметил». Но едва только он это подумал, как заметил на дороге немецких солдат.

Те шли спокойно, не оглядываясь, держа в руках автоматы.

«Надо уходить, нельзя завязывать бой, слишком много нельзя рисковать. Не зря ж мы ходили в разведку. Полковник ждет от нас сведений», — сразу же решил Коновалов и скомаандовал:

— Ходу!

Но немецкие автоматчики тоже заметили разведчиков. Хар-

ламов длинной очередью из своего автомата уничтожил пяти-рых гитлеровцев: они сразу и одинаково, словно по команде, повалились в грязь дороги, чтобы больше не вставать. Но, к несчастью, врагов оказалось здесь очень много. Харламов уничтожил только передовой дозор. Из-за поворота показались еще солдаты в зеленых шинелях.

Они рассыпались по роще и, прячась за стволами деревьев, открыли беспорядочную стрельбу. Не видя разведчиков, которые успели залечь, они стреляли в ту сторону, откуда раздалась очередь русского автомата.

— Ой-ой! — застонала женщина.

— Что, ранена, Аннушка? — деловито спросила, подползая к ней, Надя.

— Нет. Началось... — ответила Анна Степановна, кусая уголки шерстяного платка. — Товарищ Коновалов, я дальше идти не могу. Оставьте меня здесь... и уходите.

— Ну нет! — резко, почти грубо, ответил Коновалов. — Не на таких напала!.. Да как же после этого я своей жене в глаза посмотрю!

И Харламов, и Алиев, и Грунь, и Надя тоже всем существом своим понимали, что Анну Степановну и новорожденного нельзя оставить здесь, в лесу, у врага.

Харламов на мгновение представил, что вот он возвращается домой и детишки — мальчик и девочка — бегут ему навстречу, обхватывают его ноги, а льняные головки их достают ему только до колен.

Надя вспомнила, как мать сердилась на нее за то, что она записалась добровольцем. А Грунь ничего не вспоминал, он думал только о том, как убересть шедшую рядом с ними женщину, и ни на мгновение не забывал о врагах, рассеянных в роще через дорогу. И как только наметанный глаз замечал подозрительное движение в роще, он с наслаждением нажимал на курок.

— Алиев! — позвал Коновалов. — Вот возьми. — И он вытащил из-за пазухи пакет: — Передай это майору и расскажи обо всем, что мы видели... Немедленно иди к нашим. Мы здесь за нового человека будем биться! А задание должно быть выполнено! Повтори приказ.

— Вы здесь за будущего человека биться станете, а мне приказано обо всем, что видели, доложить майору.

— Иди!

И Алиев исчез в лесной чаще.

Затем Коновалов приказал Наде:

— Отведи отсюда Аннушку в спокойное место. А мы здесь задержим их...

И Надя не могла найти для Анны Степановны места более спокойного, чем воронка от полутонной авиабомбы, метрах в двухстах от того места, где бились товарищи.

И вот ребенок появился на свет, красный такой и нелепый, как будто не настоящий... Девочка!

И, схватив ребенка на руки, Надя закричала:

— Урра! Девочка! Урра!

Тонкий ее голос разнесся далеко по пустому, прозрачному, еще не одетому весеннему лесу... Анна Степановна утомленно и спокойно улыбнулась.

— Урра! — еще раз крикнула Надя во всю силу своих легких.

Это «ура» было подхвачено у дороги. И Надя различала низкий голос Груня, звонкий — Харламова и хриловато-грудной — Коновалова. Затем раздались выстрелы, взрывы гранат, и снова стало тихо...

Минут через пять у воронки появились Грунь и Харламов.

— Идем! — сказал Харламов.

— Быстрее! — добавил Грунь.

Они подняли на руки Анну Степановну и понесли ее.

Надя держала младенца, завернутого вместо пеленки в марлю и обернутого сверху куском разорванной плащ-палатки.

Они шли быстро, хотя Наде казалось, что можно было бы идти и потише — ведь за ними никто не гонится...

К ночи они были уже на командном пункте нашего полка.

Было темно, и мигалка на столе почти не разгоняла тьмы. На жарко натопленной печи, на мягких овчинах, дремала Анна Степановна, а в углу, в люльке, которую бойцы привыкли видеть пустой, лежал завернутый в свежестыранную мужскую нательную рубаху младенец. То и дело в избу входили бойцы, подходили к люльке, трогали ее, раскачивали, вглядывались в сморщенное личико Надюшки (так все прозвали девочку в честь повивальной бабки) и с какой-то счастливой улыбкой снова выходили на скрипучее крыльцо. А за столом около мигающей коптилки сидела Надя и крупными буквами писала письмо. Слева, заглядывая через ее плечо, сидел белобрысый Харламов; справа, поставив локоть на стол, — маленький, коренастый Грунь. Тонкий и стройный Алиев, не находя себе места, все время шагал по горнице. Майор приказал им отдыхать, но они решили сначала написать письмо Надежде. Это письмо Анна

Степановна должна была распечатать и прочитать Наде в день ее восемнадцатилетия, в апрельский день 1961 года.

— Пиши, — диктовал Грунь: — «Дорогая Надежда! Сегодня весенний день, и ты, наверно, веселилась и радовалась вместе с друзьями и подругами. Тебе сегодня исполнилось восемнадцать лет, столько, сколько было нашей санитарке Наде, когда она в роще, в воронке, принимала тебя. Надя уже успела вынести из боя сто одиннадцать раненых с оружием. Мы говорим тебе, что это нелегкая работа, когда пули свистят кругом. Для того чтобы ты могла ходить во весь рост, не пригибаясь, мы ползали по липкой грязи. Для того чтобы тебе всегда было светло, мы проводили непроглядные ночи в лесу на морозе и затемняли окна своих домов. Для того чтобы нам и тебе жить свободными, наши бойцы бросались под гусеницы танков. И мы отстояли тебе и твоим ровесникам жизнь и счастье. Так не забывай — ты родилась на земле, политой кровью, и должна быть достойна трудов наших! Расскажи об этом твоим подругам, которые радуются жизни вместе с тобой».

— Не про меня писать надо, а про Коновалова, — тихо сказала Надя, отрываясь от письма. Тень ее качнулась по стене и остановилась.

— Вот, вот! — подхватил Алиев. — Я тоже так думаю. Пиши, как все было. Такого командира... такого командира искать надо — и не найдешь!

И тут Харламов начал диктовать тихим, как будто чужим голосом, медленно, с трудом подбирая слова:

— «Если рассказать про весь этот бой, то получится очень сухо. Сухо получится потому, что у нас не было никакой техники, даже патронов уже не хватало, а только одни гранаты... И когда мы издали услышали, как сестра наша Надя закричала «Ура!», мы все поняли, что новый человек родился и надо его защищать от лютого врага, от хищного волка. Враги приближались, а патронов у нас не было... Тогда Коновалов поднялся во весь рост, закричал «Ура!» и бросился вперед на врага, размахивая гранатой. И мы все поднялись за ним — у каждого граната в руке — и бросились на врага. Разорвались наши гранаты на фашистских спинах. Не выдержали враги, испугались, что нас много, и побежали. А Михаила Антоновича Коновалова пуля ударила в самое сердце...»

— Товарищи, я не могу больше писать... — сказала Надя и заплакала, всхлипывая горько, как маленькая девочка.

Но Харламов, недвижными глазами глядя на тусклое пламя мигалки, не обращая внимания на слезы Нади, продолжал диктовать:

— «Михаил Антонович упал на сырую землю. Из рта у

него выступила кровь и залила усы. И сказал он нам: «Прощайте, товарищи! Я за все в ответе! Спасайте Анну Степановну и ее младенца...» И пишут тебе об этом, уважаемая Надежда, бойцы третьего взвода, второй роты, отдельного разведывательного батальона, чтобы сегодня, в день своего совершеннолетия, ты вспомнила, Надя, старшего сержанта Михаила Коновалова, как он жил и как боролся за тебя».

За спиной Харламова раздавались шаги Алиева; рядом всхлипывала, вытирая рукой глаза, Надя; на печи ровно дышала, засыпая, Анна Степановна; и жалобно поскрипывала пружина, на которой была подвешена колыбель.



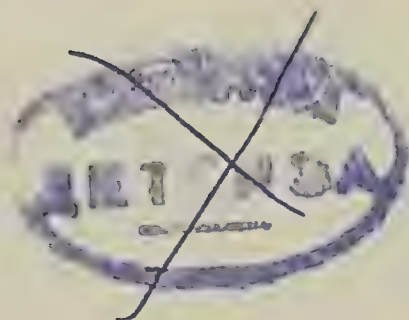
СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Третий поезд	3
Падение Қимас-озера	99
На земле Калевалы	205

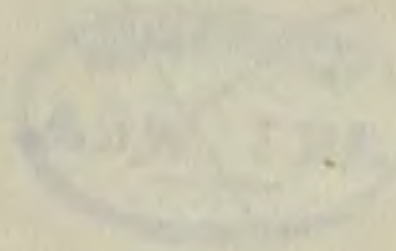
Рассказы

Дальний поиск	321
Карельские девушки	355
«Лебедь»	376
Остров Ильина	388
Встреча в лесу	398
Письмо Надежде	405



К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об
этой книге присылать по адресу:
Москва, Д-47, ул. Горького, 43,
Дом детской книги.



ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Фиш Геннадий Семенович
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

*

Ответственный редактор З. С. Карманова.
Художественный редактор Н. И. Комарова.
Технический редактор Т. И. Добровольнова.

Корректоры
Л. А. Кречетова и Р. С. Мишелевич.

Сдано в набор 20/VII 1954 г. Подписано
к печати 15/XI 1954 г. Формат 60×92¹/₁₆
— 26 печ. л. (23,52 уч.-изд. л.). Тираж
75 000 экз. А07840. Заказ № 814.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.
Цена 8 руб.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Суцевский вал, 49.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

В 1954 году вышли в свет произведения на современные
темы для детей среднего и старшего возраста:

- А. Авдееenko. Над Тиссой.
- А. Алексин. Тридцать один день.
- А. Батров. Завтра — океан.
- Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь.
- Л. Воронкова. Беспокойный человек.
- С. Георгиевская. Отрочество.
- А. Дугинец. Золотая чаша Байтемира.
- Б. Емельянов. Мечта.
- Л. Кассиль. Ранний восход.
- Л. Карелин. На тихой улице.
- И. Ликстанов. Первое имя.
- А. Мусатов. Дом на горе.
- М. Прилежаева. Над Волгой.

Обращайтесь за этими книгами в свои районные
и школьные библиотеки.

350=

Цена ~~8~~ руб.